

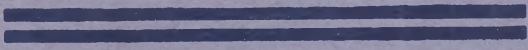
|| 2 ||

Н О В Ы Й М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

|| 1959 ||

2



1959

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXV

№ 2

Февраль, 1959 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
П. ВЕРШИГОРА — Рейд на Сан и Вислу	3
СО СТРАНИЦ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ, стихи А. Прокофьева, М. Светлова, А. Суркова, А. Твардовского	80
Р. КАЗАКОВА — Офицерская жена, стихи	87
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — В Беларуси, стихи	89
ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ — Забытая армейская тетрадь, стихи	90
ИЗ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ Мамарасул Бабаев. Широкие горизонты.— Гафур Гулям. Осенний саженец.— Зульфия. Другу поэту.— Мирте- мир. Озеро в степи.— Максуд Шейхзаде. Тамаре Ханум. Звезды.— Шухрат. Плакучая ива. В Мирзачуле. Перевели с узбекского Веро- ника Тушнова, Я. Ильясов, С. Липкин, Р. Моран, Рауф Галимов	92
А. НАУМОВ — По мотивам узбекского фольклора	99
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ	
И. ДУБИНСКИЙ — В строю червонных казаков	101
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
И. ОСИПОВ — Вторая молодость Баку	146
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
ИОГАННЕС Р. БЕХЕР — О поэтическом. Перевела с немецкого Е. Кацева	171
ПУБЛИЦИСТИКА	
Я. ИОФФЕ — Решающий этап	189
И. СОБОЛЕВ — Группа «Вера»	200
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ — «День русской поэзии»	211
И. РАДВОЛИНА — Прямой разговор (О некоторых книгах югославских писателей)	223
Б. ПОДОЛЬСКИЙ — Щедрость гения (Заметки о языке И. П. Павлова)	236

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	245
Б. Галанов. На переднем крае.— А. Злобин. Годы великой битвы.— С. Залыгин. Книги одной области.— А. Лебедев. «Лес Богов» Балиса Сруоги.— А. Коган. Две повести о воинском подвиге.— Н. Денисов. Очерки о героях	
<i>Политика и наука</i>	269
Инженер И. Беспрованный. Ленинская электрификация.— Е. Бородин. Путь к коммунизму.— Кандидат филологических наук Л. Ерихонов. Они сражались за революцию.— И. Латышев. Издательство и автор.— А. Таланов. Нет, они не близнецы!	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	284
БОРИС АНДРЕЕВИЧ ЛАВРЕНЕВ	288

П. ВЕРШИГОРА

★

РЕЙД НА САН И ВИСЛУ

1

Киев. Конец 1943 года. На улицах древнего города, месяц тому назад освобожденного,—рвы и ходы сообщения. Приземистые доты, словно черепахи, застыли на перекрестках улиц. На обрывистом высоком берегу Днепра, изрытом пещерами,—бронеколпаки-крабы; разрушенный, исковерканный Крещатик; слепые глазницы домов на Красноармейской, Пушкинской, Прорезной, а над Липками — насто-роженная, мертвая тишина... Не дымят фабричные трубы, еще мало пешеходов, жители ютятся в подвалах. Окна в нетопленных квартирах покрыты матовой изморозью.

Украинский штаб партизанского движения расположился на улице Ворошилова, в домах номер 18 и 20. К первому зданию прирос куполообразный цементный дот. Дот этот совсем не нужен партизанскому штабу. Он захламлен, и вот-вот его скovyрнут с тротуара. Всего два месяца тому назад здесь размещалась какая-то немецкая комендатура, а может, зондеркоманда, полицейский постерунок или черт его знает что еще... Фашистские оккупанты и их прислужники, дрожа за свою шкуру, насооружали такие гнезда по всему Киеву, по всей Украине, по всей Европе: бункера, бронеколпаки, дзоты, доты... Нет, не помогло! Войска Советской Армии выгнали оккупантов из Киева. Вытряхнули и из этого смешного, хотя некогда и грозного, колпака, мешающего сейчас проходим двигаться по тротуарам.

Я не был в Киеве давно. С улицы Фирдоуси, где помещался городской военкомат, начался мой солдатский путь. Утром двенадцатого июля 1941 года тысячи киевлян с котомками за плечами — мобилизованные солдаты и офицеры запаса, добровольцы ополчения — двинулись пешком на Полтаву. Через час колонна переходила уже днепровский мост. Словно комары-толкунцы, выскакивая из синей тучи, закрывшей полнеба, сновали над нами пикирующие «юнкерсы» и «хейнкели». Один за другим они устремлялись вниз, к одной цели — узенькой линейке моста, перечерчивающей извилистую ленту Днепра. Было страшно. Мы казались сами себе маленькими и беззащитными — одни между ошервившимся небом и водой Днепра... Правда, высокий правый берег реки огрызался зенитным перестуком, из облаков по одному выскакивали юркие звездокрылые истребители, а бомбы, несмотря на это, сыпались, сыпались... и ни одна не попадала.

Тогда это казалось чудом. Мы были не шибко грамотными в военных делах людьми и не подозревали, сколько металла, взрывчатки, бензина, нефти, пороха тратится впустую на войну. Не многим из нас были известны артиллерийские расчеты при стрельбе «по площади», никто из нас не знал, сколько самолетовылетов нужно потратить на то, чтобы поразить стрелковый окоп, полевой дзот, а тем более мост через такую

реку, как Днепр. Но мы уже почти все были обстрелянными, «бывальными» парнями и уже усвоили ту простейшую солдатскую истину, что не всякая бомба, оторвавшаяся от самолета, попадает тебе на голову.

Да, ни одна бомба не попала в мост, по которому уходили на Полтаву батальоны киевлян. С той поры много таких «чудес» пришлось пережить на военном пути за эти два с лишним года. Непонятность постепенно исчезала, шлифуясь наждаком солдатского опыта. Даже самый злой дух войны — случай — находил оправдание и объяснение.

И вот сейчас, в декабре сорок третьего, снова идем пешком с Дарницкого вокзала через днепровский мост — тот, который бомбили на моих глазах двенадцатого июля 1941 года десятки «юнкерсов», прикрытых «мессерами». Конечно, тот мост давно уже взорван, и только буруны днепровской мутной воды указывают, где были его опоры. Мы бредем по фронтовому мосту, наспех наведенному саперами Первого Украинского фронта. Узкий, комбинированный из свай и понтонов, с настилом у самой воды, он все же способен перебросить на тот, западный, берег войска, танки, артиллерию — все, чего в первую очередь требует прожорливая утроба войны.

Спешат люди на запад. Военные и гражданские, мужчины и женщины, старики и дети — все спешат на запад. Мы проходим по улицам освобожденного Киева, полной грудью вдыхая родной воздух, и не замечаем, что еще главный запах — это запах гари, что главный цвет — это цвет солдатской шинели, главное чувство — стремление на фронт. Город неузнаваем. Он разбит, разрушен, полусожжен. И все же это наш Киев. К нему вернулась душа, вернулся хозяин — советский человек, хотя где-то в закоулках еще и заметны остатки того двухлетнего, непонятного, чуждого нам города, который вынужден был строить на своих улицах доты, задраивать наглухо окна и двери на ночь, скрываться от глаз патриотов, подпольщиков, партизан. Два с половиной года воюет страна. Почти столько же вместе со всей Родной воюю и я: сначала незадачливый интендант, затем вояка на Каневских подступах к родному Киеву, политработник ПОАРМа 40 под Курском и вот уже полтора года — разведчик-партизан, помощник легендарного Ковпака.

После завершения Карпатского рейда пришлось мне более месяца провести на Большой земле. Теперь я вновь откомандирован из Москвы в Украинский штаб партизанского движения, к генералу Строкачу — лицу, известному всем партизанам от Крыма до Припяти, от Брянских и Хинельских лесов до Кавказа и Волги... А до каких краев на запад распространяется его власть, мне пока не известно...

— Летом, во время битвы на Курской дуге, далеко было и до Карпат, — говорит мой спутник Иван Намалеванный, с которым мы вместе ночевали в Нежине. — А сейчас, мабуть, пойдём и дальше. На Татры, на Вислу... Га?..

— Чего прежде времени загадывать! Не спросив броду, не суйся в воду...

— Глянул я на карту... Все горы да горы... Самая партизанская стихия... Вон какой славы добыл наш дед на Карпатах! Гремит кругом.

Намалеванный не участвовал в Карпатском рейде. Он пролежал в госпитале все лето и не знает еще, как и во что обошлась нам эта слава...

Полтора месяца пребывания на Большой земле не прошли для меня даром. Повидал могучий военный тыл, резервы, потоки техники, устремляющиеся на фронт, прочел кое-что, подзубрил Боевой устав пехоты, таскаю с собой проект Полевого устава... И, главное, много думал. Так ли мы воевали? Воевали на совесть. А ошибки? Промахи, недочеты?.. Конечно, и это есть. Но главное сделано: нанесен удар по нефтяным промыслам, проведена разведка юго-западных границ. «А слава, ну что ж слава... Это дело вторичное — так сказать, над-

стройка. Будет сделано дело, будет и слава»,— мысленно полемизирую с Намалеванным. «Тем более, впереди дел хватит. И это будут уже новые дела. Ведь мы еще летом достигли западных границ, были и на той горке, откуда один петух на три государства поет: на стыке Румынии, Венгрии и наших границ»,— так думается мне, а соскучившийся по отряду Иван Намалеванный, словно угадывая, подхватывает:

— А теперь вон куда Ватутин и Конев махнули! За Днепр! Скоро на Карпатах фронт пройдет. И нам, боевой разведке, не положено в старых местах топтаться. Так, что ли? — И он заглядывает мне в глаза.

Конечно, так. Но помалкиваю, смиряя разгулявшуюся фантазию.

После Карпатского рейда, из которого мне пришлось выводить значительную часть соединения Ковпака — Руднева, в штабе, видимо, решили дать мне самостоятельное командование. Об этом генерал Строкач поговаривал еще в Харькове. Поэтому проявлять болтливость в разговорах вроде не положено. Слишком ретивый на разговоры командир — это уже полкомандира.

Через несколько дней меня вызывает генерал Строкач. Он собран и немного взволнован.

— Ну, подполковник, собирайся. Поедем в Военный Совет фронта. Захвати карту Карпатского рейда. Ту самую...

— Я ведь уже докладывал...

— Ладно, придется повторить. Командующий интересуется.

«Та самая» карта — это коллективное творчество нашего штаба во главе с Васей Войцеховичем, военным топографом, а по мирной профессии — мелиоратором-лесником. Выполнял ее «архивариус» штаба Семен Тутученко — архитектор, рисовальщик, энтузиаст всяких изобразительных дел.

Еще в Полесье, на хуторе Конотоп, создавалось это произведение. Долгими днями, лежа на животе, Вася и Сеня клеили из отдельных листов огромную простыню. Под рукой была только километровка. Разными красками выводили они на ней маршрут Карпатского рейда, запечатлевая все лихие дела и мытарства памятного лета 1943 года.

Вначале думали обозначить рейд топографическими знаками. Но Семену это показалось скучным.

— Не люблю я всяческого убожества,— приговаривал он, рисуя на карте паровозы и вагоны, свалившиеся под откос под Тарнополем пятого июля 1943 года.

Начальник штаба Григорий Яковлевич Базыма твердил ему нравоучительным тоном сельского учителя:

— А ты не колеса вымалевывай на своей картинке, а цифру точную лучше поставь. И чтобы она читалась сразу.

Но Тутученко изобразил и мосты через реки Гнезна, Золотая Липа, Быстрица и Днестр, взорванные нами в первой половине июля сорок третьего; много потрудился над нефтяными вышками, взгромоздившимися прямо на откосы Карпатского хребта; старательно вырисовал танки, подбитые на шоссе на дороге Станислав — Львов; задрал из ущелья под селом Мапява хвост «мессершмитта-110», сбитого ружейно-пулеметным огнем; поставил флажков на высотах возле Яблонового перевала, показывая пунктиром пути разведчиков, шагнувших за венгерскую границу и забравшихся на вершины Говерлы и Попа Ивана; и, наконец, старательно вычертил паутину обратных маршрутов, возникших в результате «Звездного маневра», который совершили мы из Карпат.

С этой-то картой и поехали мы в закрытой машине в штаб Первого Украинского фронта, куда-то под Житомир.

Нас пригласили в кабинет генерала армии Ватутина. Командующего еще не было. Но там уже был член Военного Совета фронта Н. С. Хрущев.

— Сумеете кратко доложить? — спросил Никита Сергеевич.

— О Карпатском рейде?

— Да. Кратко, сжато. И на военную сторону не напирайте, как тогда в Харькове. Больше обстановки и характеристики вражеского тыла. Подготовьтесь. Если надо — набросайте конспект. Это что у вас в руках?

— Карта.

— Хорошо. Легче будет ориентироваться.

Конспект набросать не удалось: вошел Ватутин. Поздоровавшись, он вопросительно посмотрел на члена Военного Совета. Хрущев сказал: — Это товарищ, которым вы интересовались. Из Карпат.

Ватутин беглым взглядом окинул мою фигуру. Подполковник, всего лишь месяц перед этим сбросивший штатский костюм и брыль крестьянина, я, видимо, не поразил его внешним видом. Ватутин задал несколько вопросов анкетного содержания: откуда родом, где воевал, сколько времени пробыл в тылу врага.

Затем взглянул в открытый блокнот и, взяв хорошо отточенный карандаш, спросил:

— Сколько времени были в горах?

— Два с половиной месяца, товарищ генерал армии.

— Вы сами, лично?

— Сам, лично, в составе партизанского соединения генералов Ковпака и Руднева.

— Соединения? Как понимать?

— Объединенный сводный отряд из четырех отрядов-батальонов.

— Численность?

— В момент выхода в рейд тысяча семьсот тридцать шесть человек.

— Вооружение?

— Две горные полковые пушки 76-миллиметровки, пять сорокапятков, тридцать две бронебойки, десять батальонных и сорок два ротных миномета, около двухсот пулеметов, четыреста семьдесят автоматов. Остальные вооружены винтовками. Стрелковое оружие — примерно треть трофейного, две трети наших систем.

— Связь?

— Семь радиостанций облегченного типа.

— Ну, и куда же вы дошли?

— До советско-венгерской границы в районе Яблонового перевала.

— Точнее можете? По карте? — Он посмотрел на стену, где, задернутая занавесками, висела штабная карта. Затем мельком вопросительно взглянул на члена Военного Совета.

Я перехватил этот взгляд, но сделал вид, что ничего не заметил. Раскрывать и показывать карту фронта с нанесенной на ней обстановкой человеку, который, может быть, и побывал в Карпатах, командующий, конечно, не мог. Тем более, что черт его знает, куда занесет еще военная судьбина этого бородача. В вопросах генерала сквозило что-то вроде недоверия. Мои ответы, пожалуй, воспринимались им как рассказы охотников или рыбаков. Все, что я сообщал, его явно интересовало, но верить на слово он не привык. А я уже оправился от первого смущения, возникшего вследствие неравенства положения и слабого владения штабным языком. Во мне заговорила партизанская жилка, желание убедить большого начальника в своей правоте. Как можно безразличнее я сказал:

— Разрешите, товарищи генералы, по своей карте?

Ватутин молча кивнул головой. И тут случился неожиданный конфуз. Простыня наша была огромного размера, она никак не умещалась

на столе. Разворачивая громыхающие, на совесть склеенные тестом листы, я громоздил их складками на столе, но разворачивал слишком медленно, опасаясь как бы не натворить на нем бед. Заметив, что я никак не могу добраться до лицевой стороны карты, Ватутин неопределенно хмыкнул. Член Военного Совета пришел мне на выручку. Весело посмеиваясь, Хрущев сказал:

— Да расстели ты ее на полу, партизан. Не влезает твоя карта на штабные столы! — И быстро помог расстелить карту поверх ковра.

На полу раскинулось изображение Полесья, Волыни и Ровенщины, Приднестровья и Карпат. Вся Западная Украина, Тарнопольщина и Львовщина, Покутье, Буковина и Гуцулия, верхушка Венгрии, часть Румынии и Бессарабии огромным бело-зеленым ковром лежали у наших ног. Ватутин быстрым профессиональным взглядом окинул в правом углу условные обозначения, затем подошел к левому углу, где кончался южный крюк Карпатского рейда, подтянул бриджи, склонился на колено и, облокотившись, прилег на карту. Посмотрел на несколько пунктов, рек и переправ, быстро и ловко вскочил на ноги, еще раз подошел к правому углу, несколько раз перевел взгляд с карты на меня.

— Изображено неплохо, — сказал он, обращаясь к члену Военного Совета. — Но есть вопросы. Я хотел бы получить на них ясный, а главное, правдивый ответ. Сказки и легенды нам не нужны. Более того, они вреднее самой неприятельской и неприятной правды.

— Отвечайте правду, без фантазии, — сказал строго и официально член Военного Совета фронта и Секретарь ЦК Украины.

— Вопрос первый. Что означает этот флажок возле села Ослава Черная на восточном берегу Прута под Делятином?

— Нас здесь разбили.

— Кто?

— Группировка немецкого генерала Кригера.

— Состав?

— Восемь эсэсовских охранных полков, один горно-стрелковый егерский немецкий полк, одна венгерская горная дивизия и части четырнадцатой дивизии СС «Галичина». Общая численность около двадцати шести тысяч штыков. Полки СС — четвертый, шестой, двенадцатый, тринадцатый, шестнадцатый, двадцать четвертый, двадцать шестой, тридцать второй и двести девяносто третий егерский.

— Ваши потери?

— Точно сказать не могу, так как соединение еще до сих пор собирается. Приходят группы и одиночки. Но примерно одна треть личного состава, все тяжелое вооружение и обоз.

— Обоз? Послушайте, вы как дошли до Карпат?

— Походной колонной.

— Конкретно?

— Обычным порядком. Впереди — головная походная застава, обычно одна рота или эскадрон; затем авангард — один батальон; затем главные силы: примерно два батальона, штаб, артбатарея, санчасть, хозяйственная часть, да один батальон в арьергарде, он же выставляет вперед заставы и боковое походное охранение. Движение ночью. Днем круговая оборона.

— Дневные стоянки? — спросил Ватутин.

— Зимой в селах, летом в лесах.

Ватутин долго молча смотрел на карту. Затем сказал, обращаясь только к члену Военного Совета:

— Не верю. Нет, как хотите, Никита Сергеевич, а я этому не верю.

Хрущев улыбнулся, развел руками и сказал как-то удивительно просто, по-штатски:

— Ну, если ему не верите, так, может быть, нам поверите?

— Нет, не в этом дело, я и ему верю. Но неужели у Манштейна такой тыл?

— Представьте себе, такой. Только не в одном Манштейне и в его тылах тут дело. Может быть, и хлопцы тут кое-чего стоят, наши советские воины-партизаны, действующие в этом вражеском тылу. Народ! Патриоты! — убежденно сказал Хрущев.

— Правильно! Это, конечно, прежде всего. Манштейном мы займемся особо. В свое время. А раз есть на свете такие хлопцы, надо им помочь.

Никита Сергеевич улыбнулся и сказал вполголоса, но так, чтобы все слышали:

— Не зевай, партизан. Проси у командующего все, что надо. Он теперь добрый. Хоть и не шибко верит в эти ваши картинки, но в дела, видно, поверил. — И обратился к генералу Строкачу: — Это, пожалуй, для вас поважнее. А картинки и все прочее припрячьте, как говорится, для истории. — Затем сказал мне мимоходом: — Только никогда не говорите: нас разбили. Побили крепко — это верно, на войне это случается, а разбить нас — нет, нас разбить нельзя!

Тут же, не уходя из штаба, вместе со штабными работниками и с их помощью мы набросали заявку на вооружение, боеприпасы, медикаменты и взрывчатку. А еще через час вместе с генералом Строкачом мы снова были у командования.

Докладывал полковник, представитель службы тыла. Он еще до этого требовал назвать точное количество самолетовылетов. Но я разочаровал его, заявив, что грузы получу непосредственно в войсках где-нибудь на правом, лесном, фланге Первого Украинского фронта.

Ватутин бегло просмотрел представленный список и спросил полковника о количестве тонн груза. Затем, уже поглядев на левый верхний угол страницы, где было написано «Утверждаю», взглянул на нас.

— Ну, а где же тут пункт получения?

— Овруч, — брякнул я смело, так как только вчера через Овруч из вражеского тыла на трофейной машине прикатили в Киев генералы Сабуров и Ковпак.

— У вас что, площадка посадочная там имеется? — спросил командующий генерала Строкача.

— Нет. Вызовем подводы...

— Через линию фронта? — заинтересовался Хрущев.

— Так точно, — быстро сказал я. — Полтора месяца как там сплошного фронта нет. Во всяком случае, у противника.

Командующий перевел взгляд на интенданта. Тот молча пожал плечами, отчего серебряные погоны на его плечах на миг изогнулись вроде двух лежащих вопросительных знаков.

— Я указывал товарищу на это обстоятельство. Но он так уверенно утверждает... словно сам командует правым флангом фронта, — съехидничал интендант.

— Да нет же, товарищ прав, — задумчиво сказал Ватутин. — Там действительно нет никакой линии фронта. Впереди нас на запад от Овруча и Белоковичей до самого Стохода нет ни одной шоссейной дороги. Противник крупных группировок держать там, конечно, не будет.

— А мелочь они перетрут и сами. Если уже не перетерли, — сказал Хрущев.

Ободрившись поддержкой Никиты Сергеевича, я сказал — правда, не очень уверенно:

— Мы просили еще в ноябре... целый эшелон боеприпасов перебросить. Из Москвы.

Ватутин с интересом быстро взглянул на меня, затем подошел к своей карте, откинул на миг занавеску и, тут же задернув ее, подошел к столу.

— И что же вам ответили? Отказали, конечно?

— Да.

— Правильно. В ноябре Овруч был еще у противника,— задумчиво сказал Хрущев, и мне показалось, что думает он о чем-то далеком.

— Овруч был занят партизанами генерала Сабурова и отрядом чехословацких партизан во главе с Яном Налепкой,— сказал генерал Строчак, обращаясь к Ватутину.

Командующий улыбнулся и, тут же согнав улыбку, сухо сказал:

— Да, помню, помню. Была тут такая перепалка. Значит, девиз партизан твердый? Чужого не хотим, но и своего не отдадим?

— Нет, почему же чужого не хотим? Вот просим же у вас помощи вооружением, боеприпасами, товарищ генерал армии.

— Но это не наше собственное, а народное. А вот что своей славы не отдаете — одобряю. Хотя можно было бы и поменьше пылу проявлять. Так. Все-таки что же вам конкретно ответили в ноябре? На вашу просьбу? — настойчиво спросил он у меня.

— Мы не можем заниматься погрузкой и отправкой воинских грузов по прогнозам всяких партизанских безответственных романтиков.

Ватутин и Хрущев расхохотались. Никита Сергеевич смеялся долго и весело, а затем, все еще перебивая слова смехом, сказал:

— Надо будет подсказать, чтобы в академии тыла побольше изучали историю войн.

— Как вы думаете, Иван Павлович? — спросил Ватутин у докладывавшего. И я не понял, был ли задан вопрос всерьез или в нем была ирония по адресу нас, штатских в военной форме.

Полковник из службы тыла сделал какой-то неопределенный жест, отчего его погончики снова съезжились на плечах. Командующий продолжал:

— Ну, хотя бы историю первой мировой войны. Припять всегда разрезала фронт на северный и южный участки. Во всяком случае, при позиционной войне.

Тут уже пришлось удивиться и мне. Раньше как-то в голову не приходила эта довольно простая истина из области военной географии — дисциплины, о существовании которой мы и не подозревали в те дни. Ведь я тоже был не ахти как подкован по военной теории.

Хрущев медленно сказал, обращаясь к Ватутину:

— И в войне с белополяками тоже... тогда не учли эти лесные массивы. Не организовали взаимодействия Западного и Юго-Западного фронтов. Не вовремя сняв Первую Конную из-под самого Львова, Трощкий поставил ее под удар. Но зато в тридцать девятом был учтен этот опыт. Мы тогда использовали танки и конницу и выиграли время. Львов, Карпаты и Забужье до самого Перемышля были заняты в несколько дней...

— Верно, верно,— оживился Ватутин.— Одну минуточку, прошу обождать,— сказал он, быстро подойдя к карте, и, откинув резко шторку, впился глазами в лесной массив севернее Коростеня и Сарн.

Широкая спина командующего закрывала карту, да и из элементарной военной вежливости мне не полагалось заглядывать туда. Зазвенели колечки от сильного задергивания шторки. Командующий повернулся к нам лицом, и его взгляд встретился с внимательным и спокойным лицом Хрущева. Удивительные глаза были у обоих в этот миг. Так, наверно, смотрят молодые следопыты, найдя какой-нибудь замысловатый, тысячелетней давности черепок, так смотрят ученые, оторвав глаза от окуляра микроскопа, так смотрят композиторы, запечатлев на нотной бумаге еще никем не слышанную мелодию...

— Верно. Очень верно. Путь неожиданный... Фланговый удар механизированной конницей,— сказал Ватутин, обращаясь к Никите Сергеевичу Хрущеву.

Что-то мелькнуло в их взглядах теплое, дружеское.

«Понимают друг друга с полуслова»,— подумал я.

Хрущев все еще смотрел на Ватутина, а затем сказал тихо:

— Сидор Ковпак тоже такого мнения. Он предлагает из партизанских отрядов Полесья создать корпус и бросить его на Сарны и Ковень. Но я думаю, пусть они делают свое партизанское дело...

«Удар правым флангом фронта,— подумал я.— Ох, не успеем мы уйти в тыл к врагу. Леса, болота, а южнее незамерзшие реки...»

Ватутин прошелся взад и вперед, сделал в раскрытом блокноте какую-то отметку, показал ее Никите Сергеевичу, и Хрущев кивком головы подтвердил согласие.

Затем Ватутин снова взял нашу ведомость.

— Так как же все-таки вы из Овруча доставите все это через линию фронта? К себе? По назначению?..— спросил он, возвращаясь к прерванной беседе.

— На лошадях и волах, товарищ командующий,— ответил я лихо, как и подобает партизану.

— Ну что ж... И это дело,— пряча улыбку, сказал Ватутин.— Только не мешкайте... Потом трудно будет вам на волах... от Красной Армии уходить.

А Хрущев подозвал Строкача и сказал ему тихо:

— Отработали задание на рейд?

— В ЦК, у Демьяна Сергеевича.

— Хорошо. Я посмотрю.

— Можно вручить командиру?

— В опечатанном конверте.

Находясь уже далеко во вражеском тылу, южнее Луцка и Ровно, не раз вспоминал я этот знаменательный разговор. Особенно тогда — это было пятого февраля 1944 года,— когда разведка донесла о том, что ударом двух кавалерийских корпусов, обошедших левый фланг Четвертой танковой армии немцев, Первый Украинский фронт с ходу занял Ровно и Луцк. И я рассказал тогда партизанским командирам, как сияли горящие догадкой глаза Хрущева и Ватутина.

Но это был лишь один миг: силой воли или по долголетней привычке к дисциплине Ватутин первый потушил этот взгляд.

Затем подошел к столу и под одним-единственным словом, решавшим многое в успехе предстоящего нам партизанского рейда,— под словом «Утверждаю» поставил свою четкую подпись.

2

Еще до вызова в штаб фронта я успел мимоходом, в столовой партизанского штаба, перекинуться несколькими словами с Ковпаком и Сабуровым. Весь их вид — маузеры, колотившие по подколенкам, генеральские бриджи партизанского пошива, походка, энергичные голоса,— все говорило, что они еще там, где гремела народная война. На меня вновь пахло нравами и обстановкой партизанской жизни.

Сидя в штабной столовой и изредка поглядывая на своего партизанского учителя, я невольно думал: «Вместе с Васей Войцеховичем мы вывели из Горного рейда самую крупную группу и привели ее к Ковпаку. Это так... Но как сейчас отнесется он к сдаче дел? Во всяком случае, настроение у него вроде воинственное». Ковпак разговаривал со мной ласково, шутливо, но деловых тем избегал, таинственно поглаживая усы и бородку. Он весь еще был полон впечатлений от недавно проведенной им Олевской операции. Хлопцы на прощание обрадовали старика, четко и смело выполнив его лихой замысел по разгрому железнодорож-

ной станции Олевск. На станции стояло несколько вагонов с артиллерийскими снарядами. Кроме того, там скопилось несколько эшелонов награбленного гитлеровцами имущества: продовольствия, скота, станков, машин, вплоть до нескольких киевских трамваев, которые гитлеровцы пытались уволочь к себе в Германию. С ходу захватив станцию, партизаны стали хозяйничать на путях. В это время на подкрепление гитлеровцам подошел бронепоезд. От снаряда или от пули партизанской бронебойки, угодившей прямо в один из вагонов с порохом, раздались оглушительные взрывы. Загорелся эшелон с боеприпасами, и партизанам пришлось спешно отходить со станции, вокруг которой на полкилометра летали осколки взрывававшихся снарядов и авиабомб. Опережая партизан, улепетывало и немецкое подкрепление. Еще долго на покинутой людьми станции громыхали взрывы, дымились пожары...

Рассказывая об Олевской операции, Ковпак загорался, бегал по тесной столовой.

Дед немного бравировал, да и похвалиться действительно было чем¹. Но стоило мне попытаться повернуть разговор в будущее, как дед сразу замолкал, ухмыляясь. И я больше не пытался добиться от него чего-нибудь, так как знал его натуру: если уж он не хотел говорить, то из него и клещами не вытянешь слова.

Пока генералы балагурили за обедом, я думал о своем.

— Ты что скучный такой, брат? — спросил Сабуров, заканчивая обед.

— Да так... Разлучает вот меня военная судьба с теми, с кем ходил в горы, бродил по Полесью и Днепровскому правобережью.

— Ну, что поделаешь. Служба все-таки. Война. Зато выходим в самостоятельные командиры. Хватит тебе в пристяжке ходить... На Карпатах, говорят, отличился... — сочувственно отозвался Сабуров, с улыбкой поглядывая на деда. — Пора и своей головой работать. Принимать самостоятельные решения и выполнять их.

А Ковпак таинственно улыбался.

В столовую зашел связной.

— Подполковника Вершигору просят срочно в штаб к генералу Строкачу.

Начальник партизанского штаба стоял у стола, подчеркивая этим официальность беседы. Он молча протянул мне документ. Это было решение о предоставлении Ковпаку длительного отпуска для лечения и отдыха.

Вторым документом был приказ Украинского штаба партизанского движения о назначении меня командиром соединения. И дальше ставились конкретные задачи.

— Ковпак знает об этом назначении? — тревожно спросил я.

— Не только знает, но и первый предложил твою кандидатуру. Познакомься со второй частью приказа и распишись.

Помню одно — не было ни минуты колебания. Даже то, что задача соединению была уже поставлена и, видимо, разрабатывалась по устаревшим данным и что в ней не учитывалась изменившаяся обстановка, как-то мало смущало. Самым важным казалось побыстрее добраться до своей братвы, увидиться, посоветоваться с разведчиками. «Уже больше месяца работают они без меня. Эх, хлопцы...»

Я сразу же попросил Строкача радировать начштаба Васе Войцеховичу несколько слов: «Срочно высылай через фронт Овруч подводы».

¹ Генерал Строкач доносил в Ставку о результатах этой последней боевой операции Ковпака: «При занятии станций Олевск—Сновидовичи уничтожено: паровозов—7, вагонов—58, автомашин—40, танкеток—5, пульмановских вагонов—10, разрушено 1700 метров ж.-д. полотна и 700 метров связи, убито и ранено 702 солдата и офицера противника» (Центральный партархив ИМЛ, ф. № 69, д. № 53).

Через несколько часов пришел ответ: «Высылаем сто пар быков и пять тысяч мобилизованных в армию».

Показал шифровку Ковпаку.

— Не понимаю я, Сидор Артемович, что это за мобилизованные...

Дед прочел ответ Васи. Расхохотался.

— Ось видишь — не был дома больше месяца и уже оторвался. Так это наши хлопцы, чтобы не сидеть сложа руки, как только нащупали овручскую дырку во фронте, сразу мобилизацию объявили...

— Партизаны ведь — дело добровольное...

— Так то партизаны. Верно. А мы уже не одну неделю локтевую связь держим с той самой гвардейской дивизией, что от Курской дуги через Десну, Днепр, Припять без передышки наступала. Ну, и выдохлась дивизия. Один только номер, да штаб, да полковые знамена, да техника. А солдат-стрелков полсотни на батальон. Все у них расчеты на пополнение. И вот в Овруче — остановка.

— Оперативная пауза?

— Ага. Вот мы и провели мобилизацию... Почти на сто километров вперед и на две-три недели раньше. Пускай мобилизованные потом сами свои села освобождают. Так? Собрали людей на сборные пункты — и давай их муштровать. Там така наука пошла — только держись! Коли через Овруч ихав, я з командованием договорився. Они знаешь как благодарят за вырубку!.. Ты не зевай там. Патронов тоби могут подкинуть...

* * *

Уже вторые сутки мы почти не выходили из штаба. Ковпак деятельно и придирчиво следил за всеми приготовлениями. Хотя он находился в отпуску после ранения, однако ни за что не хотел уезжать в санаторий, пока мы не снарядимся и не отбудем в тыл врага. Он, видимо, не мог иначе. Формальная передача дел — это одно, а отеческая забота о своих партизанах — это что-то поважнее, чем простое соблюдение формальностей. Кроме того, мы видели, что ему искренне жаль расставаться со своими хлопцами, с которыми провоевал более двух лет и прошагал всю Украину — от Путивля до Карпат.

На третий день нас обоих вызвали к генералу Строкачу.

— Ну, командир, готов? Когда отбываешь?

— Мы-то готовы... Да вот пушки держат... Никак не получим,— ответил я.

Генерал взялся за трубку телефона.

— В чем дело? Почему не отпускаете пушки для соединения Вершигоры? Есть же приказ командующего... Наряды? Какие наряды? Зайдите ко мне со всей документацией.

Через две-три минуты начальник снабжения штаба явился к генералу.

— Майор Новаковский. По вашему приказанию... Вот наряды на артиллерию...

— Покажите,— сказал генерал.

Майор Новаковский, партизанивший в 1941 году под Ленинградом, грузноватый, лысеющий человек, подал бумаги.

— «Арсенал»? Так це ж тут под боком,— сердито сказал Ковпак.

— Но он разрушен... Еще только налаживается работа. Через две недели смогут для вас отремонтировать артиллерию.

Две недели? У меня даже заныло под ложечкой... За две недели можно безнадежно отстать и очутиться в советском тылу. И сразу вспомнил, почти услышал голос командующего фронтом, который предупредил на прощание: «Не мешкайте... Потом трудно вам будет от Красной Армии отрываться. Да еще на волах...»

— Товарищ генерал,— обратился я к Строкачу,— разрешите вместе с майором в «Арсенал» самому съездить. Поговорим с дирекцией, с рабочими. Тут же не полк артиллерии, а всего две-три пушки да сорокапяток батарея-другая...

— Правильно, Петро... Оце дило,— оживился Ковпак.— Вы с рабочим классом помозгуйте... Не может быть, щоб арсенальцы не пришли партизанам на помощь.

— Дельное предложение. Стоит попробовать... Берите мою машину и езжайте. Сейчас же...— Генерал посмотрел на часы.— Как раз попадете между сменами.

— Вы звоните. Я тут задержусь в штабе. Як що треба буде, и я приеду. З рабочим классом да партизаны щоб не дотолковались,— оживленно говорил Ковпак, проходя вместе с нами по коридору.

Через полчаса мы уже были на знаменитом киевском «Арсенале». Теперь он был порядком разрушен.

— Плохо со станками, одно старье...— жаловались в дирекции, отодвигая наряды, которые совал им майор Новаковский.

Но партизаны — народ напористый, и, поглядывая на интенданта партизанского штаба, представитель дирекции только помахивал головой, словно его жалили шмели. Затем он уставился на мою новую шинель, подполковничьи погоны (новоиспеченному командиру партизанской армады для шику были выданы не фронтовые, а с блестящими галунами), новый пояс со звездой и вдруг спросил доверительно:

— Военпред, что ли? Ну, кому-кому, а вам должно быть ясно, что не можем же мы за две недели наладить ремонт пушек. Так?

Я молчал. По всему выходило, что в рейд придется идти без артиллерии. Прикидывал уже, нельзя ли заменить орудия минометами. Так я и сказал. Представитель дирекции изумленно разинул рот, сочтя, видимо, предложение технически неграмотным.

— Да вы кто будете? Инженер или, может... доктор, товарищ подполковник?

— Командир партизанских отрядов. Группа отрядов — соединение называется. Ну, вроде бригада или дивизия, а может, и корпус. Там, в тылу, все может быть. От самого Ковпака отряды под командование принял... А вы говорите — без пушек, без артиллерии, — объяснил Новаковский.

— От Ковпака? Что же вы раньше нас не предупредили... Вот какое дело...— вдруг захлопотал наш собеседник.— Как же тут быть? А? Знаете что? Пошли прямо в цех. Может, что и придумаем.

Цех походил на кладбище металлолома: части пушек, ходы, лафеты и другая искалеченная военная техника — все это лежало навалом.

Сухой, официальный деятель дирекции вдруг как-то весь изменился. Изможденное желтое лицо его чуть порозовело, недовольные дряблые морщины у губ смягчились, скучные глаза подобрели и осветились изнутри огнем озабоченности и скрытой энергии.

— Вот он, фронт. Из-под Житомира и Брусилова...

К нам подошел мастер цеха. Старый и угрюмый.

— Партизанам пушечки требуются, Остапыч. А? — сказал наш знакомый, оказавшийся вридом главного инженера «Арсенала».

— Сколько? — спросил Остапыч.

— Возьмем, сколько дадите,— рубанул я напрямик.

— А все же?..

— Хотя бы парочку. Полковых. Да пять-шесть сорокапятков...— заискивающе сказал Новаковский.

— Когда надо?

— Прямо сейчас. И надо срочно...— нажимал Новаковский.
 — Ох, всем надо срочно,— кряхтел Остапыч.
 — Война, Остапыч, война... Ждать некогда,— вмешался я.
 — И то верно,— согласился мастер.— Зараз, конечно, я вам не выложу. Но обождите трошки, с бригадой потолкую. Тут есть у меня на примете одна дивизионная...

К нам подошло несколько рабочих. Поздоровались.

— Партизанам помочь потребовалось, ребята. Как? Сможем соорудить ту самую, дивизионную? — спросил инженер.

— Надо — значит надо. Как дирекция смотрит? — кашлянул выразительно Остапыч.

— Успеете до завтра?

— Раз трэба для такого дила...— сказал усатый слесарь, похожий на запорожца с картины Репина.

— Ну, значит договорились,— вздохнул инженер.— Получайте завтра вашу пушку. Сорокапятки выбирайте сами, сколько требуется.

На следующий день мы, сами того не ожидая, присутствовали на маленьком заводском торжестве. Через цех были протянуты скромные лозунги. Человек сорок пришло со знаменем. Митинг по поводу начала работы для нужд фронта начался. Произносились краткие речи. Играл оркестр.

Выступали и партизаны.

Так пошла с нами в рейд первая пушка, отремонтированная на освобожденном киевском «Арсенале».

* * *

Сразу же после митинга меня попросили зайти в дирекцию.

— Вы будете командир партизанский, по имени-отчеству Петро Петрович? Вас спрашивали из ЦК. Просили срочно позвонить по этому номеру. Срочно...

Набрал номер. Назвал фамилию.

— Одну минуточку. Соединяю!

И я услышал знакомый голос товарища Демьяна.

— Как с артиллерией? Все в порядке?.. Не обижает рабочий класс?.. Вот видите. Это же наша опора. Первая пушка из ремонта? Знаем, знаем. Когда думаете отбывать? Завтра. Ну что ж, хорошо. Тогда так — сразу из «Арсенала» приезжайте в ЦК, ко мне. Никаких особых дел нет, никаких бумаг захватывать не надо. Но попрощаться, пожелать сил, удачи могу я или нет? Я ведь тоже в некотором роде ваш партизан... Значит, сразу ко мне.

Через час я был у Демьяна Сергеевича Коротченко. Секретарь ЦК неторопливо расспросил о подготовке. Из разговора было ясно, что в ЦК знали о встрече с арсенальцами и одобрили ее.

— Надо было поподробнее выступить. Рассказать об отряде, о партизанах. Поддержать дух рабочих. Ну, мы попросим товарища Ковпака. Он теперь посвободнее будет. Значит, завтра? — Товарищ Демьян прошелся по кабинету и, подойдя к окну, взглянул в сторону бульвара Шевченко, где за горбатой тополевой полосой угадывалось шоссе на запад. Потом продолжал: — Что же вам сказать на прощание? Берегите традиции, развивайте, умножайте их. И никогда не стойте на месте. Помните, старики свое уже отвоевали. Они нужны партии здесь для восстановительной работы. А у вас в соединении выросла прекрасная молодежь. Да и вы сами молодой коммунист. Мы верим вам и вот — доверили командование. Как сами чувствуете? Справитесь? Я не требую сейчас ответа. Слова — это что? Вы сами продумайте для себя этот вопрос. И не отрывайтесь от коллектива. Коллектив у вас

замечательный! Это он создал Ковпака. И Руднев — партийный организатор этого коллектива — тоже создан им.

Демьян Сергеевич говорил неторопливо, с душевным чувством.

За окном пролетали снежинки, черная аллея тополей на горбатом бульваре Шевченко манила вдаль.

— Ну, ни пуха, как говорят, ни пера. Желаю вам, Петрович... — Он уже поднял правую руку, чтобы крепко ударить по ладони, но остановился. — Что бы вам подарить на память?

Он подошел к шкафу. Ровными рядами выстроились книги: Маркс, Энгельс, Ленин, энциклопедии, разноцветный ряд художественной литературы. Товарищ Демьян раскрыл одну дверцу и легким движением провел по корешкам, на которых было вытиснено имя великого вождя.

— Вот. Возьмите, пожалуйста, эту, почитайте. Это наш источник мудрости, вдохновения... Обязательно почитайте, когда будет время между боями. Полезно... И может помочь во многих затруднениях, которые встретятся на вашем пути.

Я посмотрел на книгу. Это был десятый том сочинений Ленина до-военного издания. Показалось странным, почему именно десятый... Но, решив, что выбор случаен, я поблагодарил и задал какой-то вопрос, не то об оружии, не то об оформлении партийных документов вновь вступающих в партию товарищей.

Демьян Сергеевич внимательно посмотрел мне в глаза и, не отвечая на вопрос, взял ручку и написал на титульном листе: «Многому можно научиться и многое правильно понять партизану, читая эту книгу».

— Понятно? — сказал он. — Она может помочь в трудной обстановке принять правильное решение.

Через несколько минут мы попрощались. У двери кабинета товарищ Демьян, еще раз крепко пожав руку, сказал:

— А книгу не потеряйте. Это вам наш подарок.

Остались считанные часы до отъезда. Надо было торопиться. На расвете — начало похода. Артиллерия, отремонтированная арсенальцами, уже была перетащена во двор штаба, около нее возились пушкари. Шоферы «студебеккеров», солдаты фронтовой автобазы налаживали крепление.

Вечер и часть ночи прошли в последних хлопотах и прощании с семьей.

3

Марш из Киева был назначен на двадцать восьмое декабря. На расвете к четырнадцати «студебеккерам» собрались своеобразные пассажиры: в советском и немецком обмундировании, в штатских пальто и телогрейках, в сапогах и обмотках, в военных шапках, ушанках и папахах, в кепках и шляпах; совершенно здоровые лесовики и еще бледные после госпитального режима люди. Веселые, возбужденные хлопцы громоздились на машины поверх ящиков с минами и снарядами, устраиваясь там надолго и всерьез, шумливо, как грачи весной. Не обошлось и без «зайцев». Перед самым отбытием колонны ко мне подошел командир ее, лейтенант Кожушенко, — рябой, черноглазый, шустрый и хитрый украинец.

— Товарищ командир, тут меж ящиками нашли какого-то... Говорит, черниговский, из какой-то Крючковки или Корикивки.

— Что же он там делал?

— А бис его знает.

— Где он?

— Да вот стоит, в валенках и в кепке.

Мне было не до «зайцев», но надо было выполнять службу, и я сказал строго, для порядка:

— Давай сюда.

Кожушенко подозвал парня. Выше среднего роста, молодой, бело-брысый, со смущенным, но плутоватым лицом, в брюках, натянутых поверх валенок с самодельными калошами из камер немецких грузовиков, ватном, явно с чужого плеча, пальто и маленькой, почти детской кепочке на голове.

— Фамилия?

— Сокол Николай.

— Ну який ты Сокол? — не выдержал Кожушенко. — Ты на общипанную ворону похож.

Действительно, из дыр пальто торчали, как рваные перья, грязные куски ваты.

Кривая, неловкая улыбка и умоляющий, но плутоватый взгляд серых, с рыжиной глаз.

— Партизанил?

— А как же? В местном отряде. Под Черниговом.

— Чего же ты зайцем забрался? В чужую телегу зачем залез?

— За это и плетюгов можно враз схлопотать, — предупредил Кожушенко.

Почесывая валенок о валенок, Сокол сказал безразлично:

— Вчера только узнал. Сбегал в отдел кадров, а там говорят — рабочий день закончен. Приходите завтра...

— Ну?

— А я от ребят узнал, что вы чуть свет отбываете. Пока отдел кадров мне бумажку даст, вы тем временем и уедете. Так я и решил: прибуду на место, а там разберутся. Мне же не бумажка, а автомат и взрывчатка нужны, — играя на моей партизанской психологии, рассудительно говорил Николай Сокол.

— Что ты в ней понимаешь, туха-матуха? — презрительно сказал Кожушенко.

И парня как подменили. Пропала заискивающая улыбка, грудь пошла колесом, на лице петушиный задор.

— Да я шесть эшелонов под откос спустил. Сам взрывчатку вытапливал. Из снарядов. Если б не подполковник, я б тебе показал матюху...

Парень начинал нравиться. Но все же я сказал:

— Ну, а как же мы тебя без справки проверим? Мало ли чего можно наболтать.

— А у меня свидетели есть. Из вашего же пополнения.

— Где?

— А вот Васька...

Действительно, в стороне стоял мальчишка лет пятнадцати. В ладном, подогнанном по фигурке красноармейском обмундировании, в командирской шапке-ушанке. Было в нем что-то такое по-солдатски справное, что сразу внушало к нему доверие. Мне показалось, что я где-то уже видел этого мальчонку. И только я повернул голову, как он четко, печатая шаг, подошел, взял под козырек и отрапортовал:

— Старший подрывник Черниговского соединения Героя Советского Союза Попудренко, партизан Коробко.

Многие из нас слышали о знаменитом подрывнике Васе Коробко. Но никак не ожидали, что этот подросток, по существу мальчишка, — тот самый грозный диверсант, о котором с уважением говорили даже маститые, усатые подрывники.

— Тот самый Коробко? — не скрывая своего любопытства, спросил я мальчугана.

— Так точно, тот самый, — Сойко ответил он.

— Вася Коробко?

— Я.

— Давно служишь?

— Два года и три месяца.

— Имеешь награды?

— Орден Ленина, Красной Звезды и медаль партизанская... Первой степени. Представлен к герою...

Вокруг собирался народ. Послышались одобрительные восклицания. Андрей Цымбал подтвердил, что это он завербовал Васю в свою роту еще в госпитале, где они лежали рядом на койках.

— Можешь рекомендовать этого товарища к нам в отряд? — спросил я.

— А как же? Это же наш...

Вася вдруг запнулся, так как парень в валенках из-за моей спины делал ему какие-то загадочные знаки.

— В чем дело? — спросил я парня.

Но Вася уже оправился.

— Так же, как и мы, подрывник. Несколько эшелонов имеет на своем счету.

— Шесть эшелонов, — как суфлер из будки, подтвердил Николай Сокол откуда-то из-за спины.

— Что-то они хитруют, товарищ командир, — шепнул Кожушенко, рьяно выполнявший свои обязанности.

Конечно, и я видел, что хлопцы что-то затеяли, но это наверняка была одна из тех забавных и безобидных партизанских хитростей, в которых ничего не было опасного. Что ж удивительного в том, что эти люди ловчат в своей не очень уж веселой и легкой партизанской жизни. «Вообще надо будет расспросить на месте построже, попридиристей», — отметил я в памяти мимоходом. Но сейчас было некогда, и, махнув рукой, я сказал командиру колонны:

— Погоди, на месте разберемся. А теперь... — И оглядел колонну. — Шагом марш!

Раздалась команда: «По ма-ши-нам!», и, направляясь к одной из них, я заметил, как важно, с чувством собственного достоинства, шел по мостовой складный маленький боец Вася Коробко, а рядом с ним, вприпрыжку, мелкой рысью, немножко нагибаясь, прищелпывал валенками его подопечный Сокол. Они вместе забрались в кузов машины. Сел и я в кабину грузового «студебеккера», умащивая меж ног автомат и немудрящие фронтовые пожитки. Еще через минуту лейтенант Кожушенко подбежал к открытому окну машины, форсисто козырнул и попросил разрешения двигаться.

Колонна тронулась.

4

Движение по улицам города шло рывками. На перекрестках машины, сгрудившись вплотную, словно сжатые мехи двухрядки, смыкались в единую плотную цепь колес, хребтиной брезентовых кузовов напоминая допотопного ящера, а затем по сигналу регулировщиков снова вытягивались по проспекту. Лишь когда вышли на длинный, как стрела, Брест-Литовский проспект, колонна стала набирать темп движения. Четырнадцать грузовых машин везли около сорока тонн боеприпасов. Пять пушек прицеплено было к мощным «студебеккерам», и около ста человек лихих, как на подбор, бывалых партизан запели песню.

Многие бойцы были знакомы в лицо еще до Карпат, но я не сразу вспоминал их фамилии. По свежему впечатлению на ум пришли только что встреченные люди — лейтенант Кожушенко, Вася Коробко, Николай Сокол. И мысль сразу побежала от них к тем, чьими представителями они были в нашем отряде. Черниговские партизаны. Мы с ними встречались не раз. Мимоходом — во время рейда к Днепру осенью 1942 года: тогда не было времени для налаживания долговременных связей и длительной, устойчивой дружбы, лишь наши разведчики и дозорные на за-

ставах Федорова и Попудренко успели встретиться, наскоро обменяться новостями и тут же заспешили каждый своей дорогой... Вторая встреча — на Припяти в апреле 1943 года — была продолжительнее.

В Киеве я узнал о героической гибели Попудренко. Он был убит в Софиевских лесах и похоронен в селе Николаевке. А Черниговщина к концу 1943 года была полностью освобождена от противника. Оставшиеся партизаны Попудренко стали как бы безработными. И ничего удивительного не было в том, что такие «профессионалы», как Коробко и Сокол, рвались к тем, кому надлежало двигаться вперед, на запад.

В конце Брест-Литовского проспекта, где-то возле Пересечения, колонна остановилась. Ретивый Кожушенко еще раз решил проверить, все ли в порядке.

Выйдя из машины, мы последний раз глядим на Киев. С горы хорошо видна его западная часть — шоссе, вплоть до привокзального базара, и сразу за ним бульвар Тараса Шевченко, с его стройными тополями.

— Ну что ж, прощай, Киев,— вздохнул я. Это налетевшее, как осенний ветер, чувство разделяли в колонне многие.

Лишь хлопотливому начальнику нашей колонны было не до лирики. В который раз он требовательно осмотрел конвой и, всем своим нахмуренным видом заставив военных шоферов подтянуться, скомандовал:

— Походной автоколонной... интервал между машинами пять — десять метров... начальник колонны впереди, помощник начальника в замыкающей машине, марш-марш!

Колонна трогается и вскоре сворачивает на север — вправо от Брест-Литовского проспекта. Мысли летят, обгоняя одна другую. Воспоминания теснятся, наползая одно на другое, и в памяти возникают отгремевшие бои, принесшие славу партизанским друзьям, командирам, бойцам... Мы держим курс на знакомые места: впереди — Дымер и Дымерские леса, в которых на этой же шоссе дорожке рота Пяташкина весной 1943 года взорвала мост; слева от нашего маршрута, на Тетереве, угадывалась знаменитая Блитча — там мы держали бой с частями киевского гарнизона, брошенными против нас обер-гаулейтером Зоммером. Впереди Иваньковский мост через реку Тетерев, сожженный нами при помощи немецкой киноплёнки...

«Интересно будет посмотреть на него при дневном освещении», — думается мне.

Дорога оказалась плохой. Груды булыжников, вывороченных танками, частые воронки от авиабомб и снарядов. Предусмотренный Кожушенко график движения колонны в пятнадцать — двадцать километров в час явно срывался. Так и не пришлось посмотреть знаменитый Иваньковский мост при дневном свете. Мы проехали его поздним вечером. Но зато мы компенсировали свое вполне понятное партизанское любопытство тем, что разместились в этом самом Иванькове на первую ночевку.

Путь до Овруча занял весь второй день марша. Бывший учитель истории и географии, а сейчас наш разведчик Кашицкий говорил на последнем привале перед Овручем:

— Древний этот городок известен еще по первым русским летописям. Именно сюда, в Полесье, ходили на полуостров — грубый феодальный грабеж — первые киевские князья.

Я слушаю о том, как отсюда, из района Овруча, стягивалось на север к Гомелю и Могилеву украинское ополчение времен 1812 года. Где-то выше, под Салтановкой, взяв за руки двух сыновей, генерал Раевский поднимал в атаку своих бравых солдат.

— Слушай, Кашицкий! А ты бы разведчикам об этом лекцию прочел,— пришло мне в голову.

— Да я уж и так рассказываю. Лекция не лекция, а вроде этого...

— Ну и как? Слушают? Действовали вокруг Овруча партизаны гражданской войны?

— А как же! Интересуются хлопцы, как стягивал свои полки к Коростеню и Житомиру Николай Щорс — туда, где против Петлюры прорубались на запад батько Боженко и лихой Черняк.

Связано было с Овручем и более близкое к нам смелое партизанское дело. Всего какой-нибудь месяц тому назад налетел на Овруч партизанский генерал Сабуров. В составе соединения Сабурова действовал Чехословацкий партизанский отряд. Командовал им бывший капитан словацкой армии Ян Налепка, погибший в бою за этот самый Овруч.

«Надо будет посетить могилу нашего товарища по оружию в Овруче», — подумал я.

А колонна двигалась по фронтовой дороге то растягиваясь, то собираясь впритык. Натужно взрывая моторами, «студебеккеры», переваливаясь, переползают воронки и выбоины, а на коротких участках сохранившегося шоссе, весело брызнув голубоватым дымком глушителя, устремляются вперед.

Вот выдался довольно длинный отрезок нормального шоссе, стало клонить ко сну.

— Два Андрея, два Андрея, — шепнул я с полусонной улыбкой.

— Чего? — повернулся ко мне фронтовик шофер.

— Да так.. Вспомнил, как с нами в горы ходили два Андрея.

Лицо у солдата расплывается. Он удивлен.

— Какие тут горы, товарищ подполковник?

— Да не тут, друг. Это в Карпатах было дело.

— До Карпат еще далеко... — беззаботно отвечает шофер из транспортно-батальона службы тыла Первого Украинского фронта.

Вместо ответа я затягиваю нашу песню, сочиненную Платоном Воронько.

Дни и ночи стрельба, канонада,
Только эхо в Карпатах ревет.
Партизан не желает пощады
И на помощь к себе не зовет.

Не зовет он далекого друга,
Что на фронте за тысячу верст.
Из-за Дона и Южного Буга
Ты придешь к нам, наш сменщик, на пост...

Водитель нажимает на газ. Впереди — Овруч. А в Овруче сто пар быков, на которых мы махнем снова туда, на запад, и, может, снова за-синееют на нашем пути Карпатские горы...

5

На следующий же день, прибыв в Овруч, мы, партизаны Карпатского рейда, посетили холм с останками Яна Налепки и других товарищей, которые навеки уснули в братских могилах.

— Он что — из того полка? — спросил я, имея в виду визит землячки Кашицкого, нашей знаменитой Карповны, к словакам.

— Точно не знаю, — ответил Кашицкий. — Слышал только, что капитан этот был начальником штаба Словацкого полка.

Вспомнил я и командира полка, полковника Иозефа Гусара — того самого, с которым еще весной 1943 года наша храбрая Карповна вела переговоры. Он так и не решился сам перейти к нам. Но все же установил с нами контакт и не особенно препятствовал бегству своих солдат и даже унтер-офицеров в партизанские отряды. Вспомнил и о том, что

благодаря работе Карповны и Кашицкого мы смогли в Карпатах перебросить в Словакию грамотных в партизанском деле словацких «войников», будущих застрельщиков партизанской войны и словацкого восстания.

Я сказал об этом Кашицкому, сожалея, что наш спешный уход из тех краев помешал поддерживать со словаками регулярную связь.

— Они еще себя там покажут,— уверенно ответил Кашицкий.

Мне вспомнились открытые, честные лица словаков партизан. «Да, они еще себя там покажут...» Один из них — Андрей Сакса — и сейчас воюет в нашей главразведке, а другой Андрей действовал в знаменитой третьей роте Карпенко. Дойдя с нами до словацкой границы, этот второй Андрей во главе небольшой группы словаков махнул в июле 1943 года через границу, став застрельщиком партизанского движения у себя на родине. (Уже после войны кто-то из наших партизан, путешествовавших по Чехословакии, встречал его в Братиславе.)

— А Сабуров-то? Переплюнул нас с тобой, разведчик. А? — подзадорил я Кашицкого.

— Так ему что? Пока мы на Карпаты ходили, он имел время агентуру наладить. Вот летом 1943 года он и установил тесную связь со словаками.

Ян Налепка, видимо, был решительнее Иозефа Гусара. Не знаю, сам ли Налепка был инициатором или этот смелый план ему предложили Сабуров и его разведчики, но они задумали организовать переход всего Словацкого полка на сторону партизан. План был разработан умело, но, может быть, слишком детально. «В таких случаях детализация вступает в противоречие с конспирацией,— говаривал не раз комиссар Руднев.— Чересчур тщательная разработка операций в подполье часто грозит срывом из-за неосторожности или предательства». И вот план перехода всего полка на сторону партизан вдруг оказался под угрозой провала. Налепка не дал немецкому гестапо времени переловить своих единомышленников, как цыплят. Собрав наиболее активных подпольщиков, бежал с ними к партизанам. Немцы организовали погоню за беглецами на автомашинах и танках. Словацким офицерам и солдатам удалось скрыться в лесу. А там они уж были встречены украинскими и русскими товарищами с распростертыми объятиями.

Так возник первый словацкий партизанский отряд. Я о нем слышал немало по возвращении из Карпат. Это была боевая патриотическая организация, сильная в военном и крепкая в морально-политическом отношении.

Ян Налепка и его боевые товарищи показали гитлеровцам, на что способны войники, когда они сражаются за правое дело. Вынужденные до этого нести караульную и патрульную службу в пользу своего исконного врага — немецкого империализма,— словаки всячески саботировали ее. Часто при встречах с партизанами они стреляли для вида в воздух, быстро оставляли занятые позиции, бросая на месте «боя» ящики с патронами, минами,— они знали, что партизанам все это, ох, как необходимо. Так было и под Юревичами... Словаки умудрились подбросить партизанам Мельника даже две отличные шкодовские пушки с полным бсекомплектном снарядами. Оченьгодились они партизанам в бою за город Брагин.

Немедленно после организации словацкого отряда гитлеровское командование вынуждено было спешно снять не только с фронта, но убрать даже и из своего оперативного тыла все словацкие полки, дислоцировавшиеся в районе Полесья. Даже для охраны гитлеровских тылов они оказались негодными.

В партизанских рядах словацкие войники быстро преобразились: на высоких туляях офицерских и солдатских фуражек появились ярко-крас-

ные партизанские ленточки, переняли они и партизанскую манеру лихо носить оружие, а легкие чешские ручные пулеметы с удивительной меткостью и методичностью стригли немецкие колонны и цепи на заставах и в засадах.

Ян Налепка и его войники-партизаны рвались в дело. Им хотелось участвовать не только в мелких стычках, но и в крупных наступательных партизанских боях. Поэтому при разработке операции по захвату Овруча партизанское командование пошло отрядом Яна Налепки навстречу, выделив ему самостоятельный сектор наступления. Отряд словаков должен был захватить и удержать мост.

В ночном бою мост был взят сразу. Несмотря на неоднократные попытки и контратаки гитлеровцев, выбить партизан не удалось. Гитлеровцы бросили на отряд Налепки бронемашину. Словаки стояли насмерть. Они помогли партизанам Сабурова полностью освободить Овруч от гитлеровцев. Но эта победа досталась дорогой ценой. Смертью храбрых пал верный патриот словацкого народа, жизнь и смерть которого стали символом братской дружбы славян, советский партизан, наш словацкий товарищ — капитан Ян Налепка.

Указом Верховного Совета СССР Яну Налепке посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. И вот мы стоим у его могилы.

Цветов и венков у нас не было. Мы без команды выровняли шеренгу, а затем, не сговариваясь, дали трехкратный залп в воздух.

Еще во время этого салюта я вдруг почувствовал, как у меня закружилась голова. Приложив руку ко лбу, я понял: жар. А когда дошел до своего жилья, меня шатало из стороны в сторону.

— Вот уж нам с вами это ни к чему, товарищ командир,— сказал бравый Кожушенко, успевший организовать мне квартиру рядом со своей.— Временно переходите под мою команду. И шагом марш в постель.

Пришлось подчиниться. Ничего не поделаешь, лучше отлежаться день-два, пока перегрузят боеприпасы со «студебеккеров» на волов и лошадей — они ночью уже прибыли в Овруч через линию фронта. Вместе с ними прибыло и пополнение, мобилизованное в тылу врага.

Возглавлял маршевые батальоны, уже разместившиеся в окрестных деревушках, наш командир главразведки капитан Бережной. Мы топали с ним вместе от самого Брянского фронта, а еще раньше спускались на парашютах в Брянских лесах. Отношения у нас были самые дружеские.

Как всегда веселый, балагур и шутник, он ввалился прямо в квартиру, когда я уже был в постели. И шутливо отрапортовал:

— Сын собственных родителей. Иван Иванович Бережной явился в качестве временного командующего пятью маршевыми батальонами по две тысячи лаптей в каждом. Войско как на подбор — от одного выстрела не разбегается. А как поведет себя в будущем, дело не наше. Пополнение сдал, расписку получил — и с плеч долой. Ванька-солдат лежит, а служба идет. А вы что ж это задумали свалиться, товарищ будущий партизанский генерал? Завтра Новый год, надо отметить.— Он присел на уголок кровати, взял меня за руку, покачал головой.

— Боюсь, Иван Иванович, что придется и тебе Новый год встречать не совсем по-людски. Принимай грузы, людей и завтра же с утра отправляйся в соединение,— сказал я, сам не узнавая собственного голоса.

— Это мы можем. Завтра пораньше встанем и до полуночи будем у своих.

Мне вспомнилось, как любил поспать Бережной. За это ему не раз попадало и от комиссара и от меня. Но он продолжал:

— Тридцать пять километров отсюда наш Третий батальон стоит.

— Матющенко?

— Он. И Петя Брайко рядом. Так мы до них, пожалуй, и дотянем.

— На быках?

— Ага. Там такие быки, держись только. В особенности если перцем под хвост...

— Ну, хватит, хватит,— шепнул Кожушенко,— давай дадим отдохнуть.

— Да, чуть было не забыл...— Иван Иванович вернулся от двери и, склонившись к моему уху, зашептал: — Я тут инициативу проявил, чтоб вы знали в случае чего... Когда сдавал свои батальоны гвардейцам, так я закинул удочку насчет патрончиков. Винтовочных и автоматных. Автоматных не обещали, а винтовочных — у них вчера летучка со станции Коростень прибыла. Командир дивизии расшедрился. Очень его мы выручили этим пополнением, от самой Курской дуги прет его гвардейская. Довоевались до ручки. А тут мы ему как с неба — раз, и пять тысяч бойцов... Тоже чего-нибудь да стоит. А? «Бери,— говорит на радостях генерал,— столько, сколько унесешь». Я прикинул быстро и говорю: «Да полмиллиона винтовочных патрончиков вполне унесу, товарищ гвардии генерал». «Смеешься?» — говорит. «Нет, почему же, вполне серьезно,— отвечаю.— Вон у меня сто пар быков сено жуют у вас на площади». Подошел к окну генерал, глянул, головой покрутил и говорит: «Ну и хватай вы, партизаны». А с другого конца начбой дивизии генералу моргает, головой мотает: «Не давайте, мол, много». А я ему и рта раскрыть не дал и говорю так, вроде сам про себя: «Ну что ж, генеральское слово должно быть крепкое, а гвардейское — вдвойне крепче. Пиши,— говорю,— накладную, товарищ гвардии начбой, без особой бюрократии. Тут сейчас же и утвердим».

— Ну, а генерал как? — заинтересовался и Кожушенко.

— Покрутил головой, посмеялся и говорит: «Здорово поймал ты меня на слове. Ну, что поделаешь, товарищ начбой, слово дано, неудобно». И тут же поперек накладной резолюцию написал: «Утверждаю». И подпись. Вот, пожалуйста, документик налицо. Разрешите, я ночью постараюсь, отхвачу и погружу, чтобы завтра же до света двинуться в обратный путь. Все же охота моим обозникам до Нового года добраться к своим. Да и чтоб в дивизии не раздумали. Все же дело-то сляпано на живую нитку. А начбой у них вроде нашего Павловского... Ох, и скупердяй! Патронов ему жалко. Все они, видать, на один манер...

— А кто же тебе ночью отпускать боеприпасы будет?! — с сомнением сказал Кожушенко, слушавший рассказ шустрого партизанского капитана с некоторой завистью.

— Ха! Это уже дело другое. Тут, конечно, уже разговорами не поможешь. И самый тонкий подхалимаж не пройдет. Здесь четвертная первака нужна. Это же понимать надо. Психология. У армейцев, как-никак, тоже Новый год. Пошарим по телегам — в соломе чего-нибудь да найдется.

Мы слушали веселую речь капитана Бережного: лейтенант Кожушенко хмуровато и недоверчиво, а часовой у двери прямо трясся от смеха. Это был тот самый черниговец, в штатском пальто, в валенках с галошами. Меня тоже трясло под одеялом, но от лихорадки. Бережной жестикулировал, пытаюсь, видимо, рассмешить и меня. Но вдруг он вытянулся и прямо на моих глазах стал расплываться. До слуха донеслась воркотня Кожушенко: «Хватит, хватит». И часовой в дверях стал кивать Бережному. А тот, попрощавшись, сказал мне на ухо: «Так я завтра на рассвете отбываю... Не будет никаких приказаний?»

— Смотри, разведку высылай вперед. И боевое охранение... — сказал кто-то рядом. И только когда Бережной, склонившись совсем близко к моему уху, ответил: «Не беспокойтесь. Понимаем, что повезем», я понял — это я сам говорю ему о разведке и боевом походном охранении. На цыпочках, пятясь, они отошли и вдруг растаяли в двери, в створе кото-

рой остались на несколько секунд одни только встревоженные глаза часового.

Я откинулся на подушку.

— У вас сильная простуда, температура. Дайте пульс, товарищ подполковник,— слышу я голос часового.

Я удивляюсь.

«Вот чудак... Ну что может понимать диверсант в пульсе? Ведь это же не мина замедленного действия. И не магнитка».

— Зачем же ты суешь мне под мышку взрыватель английской эм-эм? Ведь я же могу взорваться. Ты хотя бы замедление поставь на трое суток. Я доеду на волах к своим. А там уж и взрывавай, черт с тобой!

Белобрысый часовой смеется и дает мне выпить какую-то жидкость, от которой я быстро прихожу в себя. Сокол улыбается и говорит:

— А я не только подрывник, я и доктор. Нет, серьезно. Вы не смейтесь, я не шучу.

— Почему же ты мне в Киеве не сказал?

— Боялся — не возьмете. В отделе кадров сказали: санчасть у Ковпака — Вершигоры укомплектована.

— Значит, не подрывник? Какого же ты дьявола сунул мне под мышку взрыватель?

— Нет, я и подрывник тоже. Это не взрыватель, а настоящий термометр.

И он ловким, чисто профессиональным, медицинским жестом вынимает из-под мышки термометр, подносит его к своим глазам.

«А ведь верно. Я забыл... Совсем забыл, что взрыватели английской магнитной мины удивительно похожи на термометры».

— Так ты доктор или диверсант? — спрашиваю я своего часового.

— И доктор и диверсант. На месте разберется. Вы же сами так сказали в Киеве. Придем — там и разберемся. Выпейте порошок.

Он достает из кармана, предназначенного для часов, медальонов — а в походной партизанской жизни диверсантов для капсулей, — порошок и дает выпить, приговаривая:

— Там, во вражеском тылу, понадобится — буду диверсантом. А теперь я доктор. У вас высокая температура.

И вдруг я ясно понимаю, что это не бред, что это происходит наяву, действительно происходит в жизни... И что же тут такого? Доктор так доктор. Белый доктор... белый...

И засыпаю беспокойным, горячечным сном. Среди ночи снова просыпаюсь. Надо мной склонилось лицо белого доктора. А рядом со мной Вася, Усач, Давид, Павловский, Женька-ординарец... И комиссар Руднев склонился надо мной. Все-таки вышел он из карпатского котла. Живой! Красивый, дорогой. Нет только Ковпака. Мы же выручили его в Карпатах, раненого вынесли на руках. Даже комиссара не смогли вынести, когда лежал он раненый под горой Рахув у Черной Ославы. А что же дед? Ах да, он и сам ранен... Он в Киеве передал мне команду, говорил на прощание: «Петро, не подведи». «Ну как же я подведу, если со мной Сокол...» Он склоняется надо мной, кладет холодную ладонь мне на лоб и словно снимает горячку с головы. Шепчу ему:

— Сокол, не подведи!

И он отвечает тихо:

— Не подведу... Не подведу...

Благодаря заботам часового, который оказался хотя и не врачом, а только фельдшером, на следующий день температура у меня упала. Правда, Новый год я встречал еще в постели, но утром первого января решил все же двигаться на запад. Сашка Коженков, мой бессмен-

ный ординарец, раздобыл огромный тулуп с высоченным меховым воротником. Белый доктор достал где-то столового красного вина, и Новый год мы встретили как положено.

— Лекарство, а по совместительству и новогодняя задравная чарка,— смеялся, раскупорив бутылку, Сокол. Он встретил Новый год вместе со мной и уложил меня силой в постель. Погом долго о чем-то шептался с Коженковым.

— Насчет выполнения моего категорического приказа совещаетесь? Ничего не выйдет, выезжаем на рассвете...

И вот во второй половине дня первого января мы уже переезжаем «линнию фронта». Перед глазами успокоительно колышется широкая спина Сашки Коженкова, а ноги мои упираются в бесшумный куль овса, который всегда возит на тачанке запасливый донской казак. Мы двигаемся рысью вначале по небольшому аппендиксу — шоссе, которое начинается в Овруче и оканчивается тупиком в бывшем районном центре Словечно. Местечко начисто сожжено фашистами осенью 1942 года.

Возле Словечно обгоняем обоз. Он ползет ужом по направлению к лесному селу Собычин, где расположены наш штаб и главные силы. Пока пушки тянутся волами. Номера у пушек сидят торжественно, словно священнодействуя. И действительно, ведь до сих пор у нас были короткорылые «полковые» десантные пушконки, облегченные пукалки горного типа. Ковпак был вынужден взорвать их в Карпатах. А теперь? Теперь у нас настоящая пушка из знаменитого киевского «Арсенала».

Моя тачанка обгоняет артиллерию. Подзываю политрука батареи Михайлика и, усадив его рядом, рассказываю ему историю орудий.

— Вокруг этого факта и строй свою политработу в батарее,— говорю ему.— Что такое «Арсенал», знаешь? Это все равно, что Путиловский в Питере или... Ты сам откуда?

— С Урала.

— Про Мотовилиху на Каме слышал?

— А как же...

— Ну вот, это по революционным традициям все равно, что в Киеве — «Арсенал»...

Политрук с уважением смотрит на пушки. Спрыгнув с тачанки, он подходит к пушке, и я вижу, как он что-то весело говорит батареяцам и похлопывает ладонью по стволу.

— Ну вот вам и волы, господа фашисты... А то: вас ист дас — волы? — весело говорю я, поднимая воротник тулупа.

— Что? — оборачивается на облучке Сашка Коженков.

— Ничего,— смеюсь про себя,— погоняй.

Через полчаса тачанка и взвод конной разведки уже в лесных дебрях Полесья. Хорошо знаю — теперь до самой Горыни нет ни поля, ни степи. Сплошные леса, болота, лесные речушки, проходимые вброд, узкий, извилистый коридор дороги в этой глухомани; затем пойма реки Горыни, и снова лесная сотня километров на запад до реки Стохода; тот совсем без поймы, тихо струится десятками русел среди болот, словом — Стоход; а за ним снова леса до Западного Буга, а там и до Вислы — леса, леса и леса...

— Теперь можешь затыкать свою дырку в линии фронта, господин Манштейн. Гляди только затычку не потеряй,— не могу отказать я себе в удовольствии подумать вслух, подымая выше воротник тулупа.

И, словно понимая меня, Коженков, обернувшись, подмигивает и, подтянув вожжи, говорит:

— Перешли фронтовые ворота...

Эти слова вызывают в моем воображении целую бурю чувств и воспоминаний.

«...Вот и еще раз пересек я линию фронта. В который раз?!» Конечно, с широкой оперативно-стратегической точки зрения, где-то именно тут и проходит та незримая, условная линия, которую на картах штабов обозначают пунктиром или отдельными полукругами... Но куда нам с Сашкой Коженковым до стратегии? Ведь с нашей, партизанской точки зрения, именно здесь ворота, «фронтовые ворота», сквозь которые могут пройти десятки партизанских отрядов. А может быть, и дивизий.

Проезжая уже мимо партизанских землянок, застав и пикетов, мы перекидываемся словом-другим с конными патрулями, которые с интервалами в полтора — два часа встречаются на пути.

Перед глазами покачивается спина Сашки Коженкова. Рядом с ним сидит белый доктор, который уже изрядно надоел мне своей сверхусиленной медицинской заботой. После очередного приема порошка укутываюсь с головой в огромный тулуп и, устроившись рядом с кулем овса, делаю вид, что уснул. Потом, приоткрыв глаза, смотрю, как вверху торжественно проплывают верхушки сосен и елей...

Морозец прихватил болотистую полесскую землю. Дороги затвердели.

— Скоро на санки перейдем,— говорит про себя Коженков.

Никто не отзывается, и ординарец, причмокивая, пускает лошадей рысью.

Как кости мертвецов, стучат по кочкам колеса тачанки. В воздухе редко-редко пролетают белые мухи.

Когда-нибудь, если останусь жив, будет больше всего вспоминаться первый «переход» линии фронта. В ночь на 13 июля 1942 года... На самолете «У-2» поднялись мы с Елецкого аэродрома: вместе с радисткой должны были прыгнуть на парашютах к брянским партизанам. Конечно, и сейчас кое-кому из моих друзей, даже бывалых партизан, этот перелет покажется подвигом. Но я-то хорошо знаю, что никакого там подвига не было. Просто везли тебя, как кота в мешке. И если кто-нибудь и отличился в ту памятную ночь, так это летчик. Фамилия его была, кажется, Кузнецов. Он умудрился так перелететь линию фронта, что линии-то этой мы и не заметили. Помню, уже минуло более двух часов нашего пребывания в воздухе, когда я спросил летчика:

— Ну, скоро линия фронта?

Тот повернулся ко мне и из-под шлема на миг блеснул озорным зеленоватым глазом, в котором отражались фосфоресцирующие приборы управления. Насмешливая торжествующая улыбка мелькнула в зеленоватой мгле.

— Эге, друг! Поздновато вспомнил. Мы уже давно над оккупированной территорией чапаем. Прошли больше двухсот километров...

Так мы и не заметили той первой «линии фронта», которая представлялась нам такой страшной. А на самом деле, как убедился я еще в ту памятную ночь, ее можно перелететь, даже и не заметив... И вот, оказывается, ее можно и перейти пешком, переехать верхом или на тачанке. И даже на волах... И мы отнюдь не исключение. Пересекали ее под Витебском и конные партизаны белорусского отряда Флегонтова, и обоз ленинградских патриотов, доставивший на санках сотни центнеров замороженного мяса, масла и муки в осажденный Ленинград, и лыжники полковника Медведева, перешедшие фронт где-то в непроходимых Брянских лесах, и карело-финские партизаны, все действия которых и заключались в периодическом проникновении в тыл врага: каждый раз после ударов на коротке они возвращались обратно через «линию фронта» к своим войскам. Здесь отдыхали и снова уходили в тыл врага.

Что же это за химера такая — линия фронта? Ведь уже девятый раз за эту войну пересекаю ее. Но до сих пор делал это только по воздуху...

Из Брянских лесов в штаб Брянского фронта, к Рокоссовскому, и оттуда обратно, поднявшись возле Красивой Мечи; перелетал фронт где-то над Бежиным лугом; садился на партизанский аэродром под Салтановкой; принимал самолеты с Большой земли на партизанский аэродром и на юге Брянских лесов, под Смелижем, и на ледовом аэродроме белорусского Князь-озера, и на колхозном выгоне под Чернобылем, возле деревень Толстый Лес и Тонкий Лес. Да и отсюда, из Полесья, летал со знаменитыми летчиками Феофаном Радугиным и Тараном к Москве, Харькову и Курску... А вот перехожу эту «линию фронта» впервые...

Конечно, все мы, пересекавшие в тот новогодний день «линию фронта», — и пушкари, и обозники, и командиры — понимали, что на север от нас оцетинился железом и траншеями фронт до самого Ленинграда, знали, что южнее — под Брусиловом и Житомиром — только что отгремело ожесточенное танковое сражение. Но и там тоже не все было так четко и красиво, как это стало выглядеть после войны, скажем, в некоторых статьях на военно-исторические темы. Нет, и там были такие бреши и глухие места, через которые можно было незаметно для врага переходить среди бела дня «фронт» — безопасно перевозить пушки, обозы, переводить мобилизованных... Но практика — одно, а отражение ее в схемах — другое. Ведь и над нами довлел застарелый жупел позиционной войны. И поэтому обычный марш, движение обоза по лесистой дороге многие были склонны рассматривать как из ряда вон выходящее дело. Знают ли о таких «фронтных воротах» наши ученые мужи?.. Ватутин во всяком случае знал... И понимал. Вскоре он мастерски использовал партизанские ворота для крупной фронтальной операции. Хорошо понимал это и непосредственно руководивший действиями сотен партизанских отрядов и соединений Н. С. Хрущев...

Отвлеченные размышления о тактике и стратегии вскоре сменились вполне конкретными делами и впечатлениями, встречами и мимолетными дорожными беседами. На лесных бивуаках кипела жизнь, люди несли службу, обозы, тылы делали свое дело. В глубине леса стлался дым костров — в лагерях варили обед, пекли картошку, стирали белье, у землянок читали сводки, газеты, письма, чистили оружие. Вот попался целый поселок врытых в землю бункеров: и дотов и жилья одновременно.

Мы в партизанском крае.

7

Ночевали в ночь на второе января в расположении соединения, в батальоне Петра Брайко.

— Петя окончательно уже стал командиром батальона, — говорил, умываясь снегом, Андрей Цымбал. — До сих пор ему что-то не везло.

Действительно, только примет Брайко командование, повоеет недельки две, как с Большой земли из госпиталя возвращается по излечении организатор Кролевецкого отряда, он же и комбат, Кучерявский... И приходится Петру сдавать батальон и тянуть штабную лямку. Кучерявский покомандует, отбудет куда-нибудь «в распоряжение» — батальон принимает Подоляко; ранили его — опять комбат Петя Брайко. Только развоюется как следует, снова появляется Кучерявский.

Вспоминаю любимца всего нашего соединения Валентина Подоляко. В Карпатском рейде в бою с четвертым полком СС сложил он в селе Рашковцы свою буйную голову. Кучерявский же, раненый, улетел после Карпат в Москву. Теперь Брайко твердо и уверенно обосновался на положении комбата. Он фактически и командует этим батальоном начиная с отхода из Карпат.

Петя Брайко — маленький, стройный, юркий, всегда собранный, с талией, туго перетянутой офицерским ремнем, аккуратно подогнанной

командирской сумкой, планшетом и кобурой с трофейным пистолетом. Язык у него точный, военный. Вот только голос подводит: тоненький бабий голосок, никакой солидности. Ну, и характер... Но об этом потом. А в обычном товарищеском быту первое, что бросается в глаза,— это смешок, ехидный, быстрый, как гороховая россыпь.

Вот он говорит за ужином:

— Товарищ командир соединения, обстановка на нашем участке вполне благоприятная, фронт с тыла мне прикрывает Четвертая гвардейская, та, что без солдат. Хи-хи-хи...

— Это как же понимать? Фронт с тыла? — спрашиваю я.

— А я по приказу Ковпака держал оборону фронтом на восток. А теперь это наш тыл.

— Ну, ну, продолжай...

— А с севера сидят в лесах те, с красными ленточками. Петушки, одним словом, хи-хи-хи... На западе наши батальоны, Кульбака, Матющенко, штаб, а теперь уже и батарея... на волах, хи-хи-хи... А на самой железке, под Олевском, это ж надо придумать, хи-хи-хи, линия Бакрадзе. В общем, воюем... на одном боку. Перевернулся на другой бок и снова воюю, хи-хи-хи...

Не пойму я, что тут смешного. Ведь жалуется комбат, что около месяца просидел в партизанской обороне.

Только перед отъездом Брайко подошел к тачанке и серьезно, без хихиканья, приложил руку к папахе, которую он лихо наловчился носить в Карпатах.

— Разрешите обратиться с просьбой, товарищ подполковник...

— Слушаю...

— Дайте мне в батальон старшего лейтенанта Цымбала...

Мне не понравилась эта просьба.

— Что это ты? Опять в замы, в помы захотел?

Брайко молчал.

— Ну что ж не хихикаешь?..

— Нет, я комиссаром батальона его прошу...

Я задумался. Шуточки кончились, надо принимать решение. Цымбал, с рукой на черной перевязи, в черной кубанке с малиновым верхом, стоял в стороне, похлопывая себя нагайкой по голенищу. Эту нагайку с вечера я видел у Брайко. «Обменялись — значит, друзья...»

— Погоди, Петр, дай разобраться... Покажи-ка, браток, свое войско.

Мы объехали расположение батальона. Когда возвращались, Брайко, ехавший верхом рядом с тачанкой, ожидающе взглянул мне в глаза.

— Какое впечатление, товарищ командир?

— Противоречивое, комбат,— и хорошее и плохое.

Хихиканье застряло в горле у Брайко. Он настороженно замолчал.

— Службу несут хорошо. Поздоровели...

— Да, отъелись маленько после карпатской голодухи...

— Оружие держат в порядке. Много новеньких?

— Тридцать шесть человек...

— Но вот что, комбат. Вроде жирком обросли твои люди. Как ты сам не замечаешь этого?

Комбат залился своим смешком.

— Хи-хи... Так дело же за приказом. Не от нас зависит. Будет приказ к маршу...

— Приказ, Петя, будет.

— Дней десять на подготовку и...

— Доложить о готовности к маршу завтра вечером,— приказал я.

Брайко даже обомлел от удивления, натянул поводья, отчего его верховой конь прижал уши.

— Вот это я понимаю! — сказал он с неподдельным восхищением. — Разрешите ехать выполнять, товарищ командир?

— Да поедем уж вместе. Через полчаса — часдвигаю в штаб соединения, в Собычин...

В Собычине стоял наш штаб. Соединение было разбросано в радиусе до полусотни километров. Стояли гарнизонами, перейдя по возвращении из Карпат на тактику партизанского края.

За весь последующий час до самого отъезда я больше не слышал хихиканья Брайко. Он был собран, молчалив, хотя попутно уже вызвал по тревоге командиров рот.

8

Второго января к вечеру мы благополучно прибыли в Собычин. И сразу я закрутился в командирских делах. Замельтешила карусель встреч. Сразу же, чтобы не оторваться от главного, решил я потолковать с начальником штаба Васей Войцеховичем. Он один пока должен был знать задачу.

— Не больше недели на подготовку... Немедленно давай команду в батальоны и роты. Быстрее готовиться. Распределяй оружие, боеприпасы. Каково состояние соединения?

— Самое сложное положение с транспортом, — начал докладывать Войцехович. — Не ожидали никак выхода в рейд.

— Придется, Вася, придержать твоих волов мобилизованными. До Горыни дотянем на обывательских подводах? А там уже добудем коняток...

— Вообще-то, выход правильный. Но...

Войцехович замаялся, и по озабоченному его лицу я заметил, что не один транспорт беспокоит начштаба. За время выхода из Карпат, где без малого тысячекilометровый поход совершили вместе, душа в душу, проверяя в глазах друг друга свои мысли, оценки, решения, мы научились понимать один другого с полуслова.

— Что же еще? Говори!

— У какой-то части личного состава появились демобилизационные настроения, — докладывал откровенно начштаба. — В особенности среди стариков-встеранов. Они ведь, как-никак, в тылу врага чуть ли не с первого дня войны. А горя-то хлебнули! И слух прошел, что нас в Киев на парад потребуют.

— Ох, слух, слух... Но это, брат, тоже учитывать надо. Из слухов настроения-то как раз и получаются.

— Вот именно! Надо локализовать, разъяснить.

Посоветовавшись, решили: не будем особо задерживать стариков, действительно многим из них надо дать отдохнуть. А в отношении молодежи займем твердую линию и с сегодняшнего дня начнем справедливо, но жестко завинчивать гайку.

После этой беседы с начштаба мы предприняли первые шаги в организационных делах. Вася сел писать отдельные строевые и хозяйственные распоряжения. А я занялся, так сказать, психологией. С каждым надо было потолковать, перекинуться словечком, и в этих мимолетных, а иногда затягивавшихся на полчаса встречах восстанавливался тот необходимый душевный контакт, который был прерван вынужденной разлукой.

Отряды длительное время задержались на одном месте — состояние, непривычное для рейдовиков. И это наложило свою, может быть, для них самих и незаметную, а на свежий взгляд очень бросающуюся в глаза печать. В рейде все ощущают себя ежеминутно начеку, люди подтянуты, насторожены, всегда готовы с ходу, не мешкая, вступить в бой. Там они живут в каком-то повышенном темпе и напряженном ритме,

умеют ценить время и бойко справляются с пространством. Даже и на кратковременных стоянках, на дневках находятся как бы в стремительном движении. А сейчас я замечаю медлительность, неторопливость, благодушное спокойствие, переходящее, как мне показалось, в самоуспокоенность. Бойцы ходили по улицам как-то вразвалку, командиры не торопясь выслушивали указания и так же не спеша удалялись не то выполнять их, не то отложить в долгий ящик.

Вечером я с тревогой сообщил об этом начштаба.

— Ничего, один-два марша — разберутся по местам. Втянутся. Верховой конь, он быстро шустреет, как почувствует седло, а обозный — хомут на холке.

— Тоже, сравнил...

Правда, приглядываясь, заметил я и другое, более утешительное обстоятельство. Несмотря на медлительность, люди были необычайно веселы. В шутках, прибаутках, веселых побасках, которых я наслушался уже в первый же день, я узнавал истинную душу нашего ковпаковского соединения. Партизанский юмор хлестал вовсю. Это значило, что последствия карпатской драмы начали изживаться. Раны затягиваются, и даже самое тяжелое, что случилось всего два-три месяца тому назад, пройдя сквозь призму времени, уже оборачивалось своей веселой стороной. А если и ни с какой стороны не было ничего веселого, то люди придумывали его.

Вот один из ветеранов рассказывает, как он во главе отделения, в котором половина было раненых, вышел из Карпат.

— Решил я доставить хлопцев на сабуровский аэродром в Дубровичах. Идем по лесной дороге. Начались знакомые места. Перешли через реку Уборть... Ну, думаю, теперь уже наша коренная партизанская земля. С конца сорок второго года мы тут как дома... Навстречу — повозка, парой запряжена. На всякий случай шархнулись в лес. «Стой! Кто такие?» — «А вы кто?» — «А хйба не бачишь? Партизаны... А вы?» — «А тебе шо, повылазило?!» Откашлялся я и голосом погрознее пытаю: «Откуда путь держите? Отвечайте без утайки!» — «Из Карпат путь держим, браток...» — «Тю-у-у... та хйба ж Карпаты там? Где же ты задом наперед научился ходить?» — «Та там же, где и ты, — в Черном лесе через дорогу пятками наперед разве мало дорог и болот переходили... чтобы эсэсовцам голову замутить, следы запутать?!» Ну, видим, это наши. Третьего батальона. Это их Матющенко все каблуками наперед водил.

— Эге, Мыкола. Здорово! Це не ты, случаем, корову в эсэсовские сапоги обувал? Те самые, с подковками и горными шипами на подошвах. Даже сами гуцулы не смогли разобрать, куды коровы пошли, а куды генерал Кригер.

А в другом месте слышится:

— Ты откуда, связной?

— С линии Бакрадзе... в штаб донесение везу.

«Что это еще за такая линия Бакрадзе? — подумал я. — Второй раз слышу...»

Подзываю связного, расспрашиваю. Тот подробно рассказывает:

— Выдвинул штаб после Олевской операции девятуя нашу роту в голове с Бакрадзе и с приданными ему саперами и подрывниками под самый Олевск. Приказ — держаться твердо, назад ни шагу не отходить. Оборудовали мы поначалу блиндажики. Жиденькие... Так, для виду и запаху, от дождя только хорониться, как шалаши пастушеские. Ну и пасем фрицев на той железке. А потом видим — время идет, стали дзоты-бункера строить. На фрицевский манер — закрепляемся, значит. Подбросили нам еще подкрепления. Ну, раз так, тогда мы перекрываем все дороги и лесные тропы. И ходы сообщения нарыли. Давай бункера

сооружать покрепче. Теперь к нам не то что полицай не проскочит, но и заяц не пробежит. Лесу кругом сколько хошь. В три-четыре наката врылись, связь наладили... И получилась у нас целая линия партизанских укреплений... фронтом на юг, значит. Стали мы ей название подбирать. Кто говорит: хай будет линия Мажино, а другие Зигфридой называть хотели, а третьи Маннергейма вспомнили. А хлопцы, которые на этой линии засели, обижаются: «Станем мы зигфридами да маннергеймами себя пачкать. Линия Бакрадзе — и точка».

На следующий день я вернулся с этой самой линии, которую проехал вместе с Бакрадзе и его конвоем верхом. Довольный Бакрадзе докладывал:

— По нашему примеру местные партизаны и на западе и на юге подтянулись к железной дороге. На моих флангах сели. Теперь только узкая, в несколько сот метров, полоса железной дороги находится в руках у фашистов. Да и то одни блокпосты и станции, укрепленные со всех сторон. Вышки, башни, дзоты, бронеколпаки. Такого понастроили! Стараются. Неважно себя чувствуют фашисты в этом новом, сорок четвертом году...

Бакрадзе весело засмеялся.

Вспомнилось, как весной прошлого года где-то под Житомиром, в небольшом рабочем поселке Кодре, мы стояли под навесом возле каменного дома, крытого дранкой; за стрехой его прилепилось несколько ласточкиных гнезд. С ранней весны в эти гнезда забралась нахальная воробья. Они домовито умасливались для высиживания потомства. Некоторые из них прямо перед лицом людей пикировали на землю, где вокруг партизанских повозок было много свежего конского навоза. Деловито митингуя, воробья рылись в помете, шныряли взад и вперед, с писком взлетали под крышу, таская туда солому. Мы с Рудневым и Базымой засмотрелись.

— Весна,— вздохнул Семен Васильевич.— Жизнь кипит. А мы вот Володю Шишова похоронили...

А к полудню откуда-то с высоты, рассекая крыльями воздух, спустилась стайка ласточек. Вначале они парили устало, снижаясь. Видимо, только что закончили дальний перелет. От стаи отделились несколько разведчиков; юркнув под крышу, они встревоженно взмыли обратно: обнаружили непрошенных гостей.

— Ишь, как воробья нахохлились, их пока больше. И они в обороне,— подтолкнул меня локтем заинтересовавшийся Базыма.

Забравшись по двое в ласточкины гнезда, воробья не хотят покидать захваченное. Разведчики ласточек отбиты. Они взмывают вывы, примыкают к стае, и там, на лету, происходит нечто тревожное: быстрота их полета увеличивается, они описывают дуги и стремительно переходят в атаку. Пронесаются со свистом вдоль стены, оглашая входы в гнезда воинственным писком. А затем начинается совсем невообразимое. На каждое гнездо нападают по пять, по шесть, а то и по десять пичужек. Они цепляются крохотными красноватыми лапками за наружную сторону гнезда, быстро трепыхают своими острыми крыльями, клюют воробьев и вышвыривают их вон. Бьют их крылышками по голове, по глазам. Как ошпаренный, вылетает грабитель из чужого гнезда. Но сразу не сдается. Пытается вернуться обратно. Тут его встречает другая группа ласточек, которая в воздухе отгоняет его прочь.

Так дружно были очищены почти все гнезда. И уже из крохотных отверстий-лазов торчат головки настоящих хозяек птичьего поселка.

Но в одном наиболее прочном гнезде основательно забаррикадировался непрошенный гость. Он и не пытался высовывать свою голову. Он просто засел в гнезде и не пожелал уходить.

— Этот воробей самый тактически грамотный,— показал я рукоятью нагайки на гнездо.— Видите, он занял жесткую оборону.

Но когда со всеми, кто не знал тактики жесткой обороны, была закончена расправа, ласточки обратились и к этому гнезду. Они облепили его сплошным роем.

— Теперь они напоминают пчелиный рой,— восторженно шепнул ярый пчеловод Базыма, даже на войне проводивший беседы по вечерам на пчелиные темы.— Интересно, что же они придумают. Гляди, гляди!

Ласточки, словно пошептавшись, сразу воинственно свистнули и черной тучей миглом исчезли куда-то в сторону вскрывшейся заболоченной реки. Через две-три минуты вся стая вернулась обратно и села на старое место. Копошась у крохотного лаза гнезда, они сидели там минуты две. Затем вся стая снялась. Спокойно парили теперь пичуги в весеннем небе, оглашая его победным кличем. Нашему взору открылась неожиданная картина. Гнездо представляло собой сплошной, без единой трещинки и отверстия, шар из глины и грязи.

— Живьем замуровали нахала,— захохотал комиссар.

— Не хочешь освободить квартиру для настоящих хозяев — сиди,— ухмыльнулся и Ковпак.

— Он думал, это крепость, а они превратили ее в саркофаг,— заливался смехом Радик.— Папа, смотри, настоящая Хеопсова пирамида, только вверх ногами!

Вот эту-то картину вспомнил я на линии Бакрадзе. Как ласточки воробья, обсели фашистов со всех сторон партизаны и наглухо замуровали гитлеровские гарнизоны, предназначенные для охраны немаловажной дороги между Коростенем и Сарнами.

Итак, два дня прошло во встречах и беседах. Я раздумывал: «Людей — сотни, люди — разные. Но важно прежде всего, чтобы крепок был командный и политический состав, за которым люди пойдут в бой. Не прирос ли Бакрадзе к своей линии обороны? Платон Воронько? Павловский? Мыкола Солдатенко? А как отнесутся к новому заданию Кульбака, Матюшенко? Лучшие командиры, опытные вояки, ветераны партизанской борьбы. Все это верно. Часть из них, несомненно, уедет в Киев. А те, кто останется? Как они отнесутся к смене командования? Со мной прибыли и свежие силы: Цымбал, Намалеванный, Кожушенко... И этот немец Кляйн, венгр Тоут... Как их примут наши?.. А в обстановке какие трудности? Первое и главное — сократился партизанский плацдарм. Коренные советские районы севера Правобережной Украины уже освобождены от противника. Осталась только Западная Украина. Как это скажется на продвижении, маршах, пополнении людьми? А отношение населения к нам? А пограничные линии? А густота шоссежных и железных дорог?..» Тут было над чем подумать... посидеть над картой.

Под вечер в штаб набился народ. Накануне, под Новый год, хлопцы выпили и устроили партизанский салют по всей линии Бакрадзе.

— Всполошили фашистов и в Олевске и в Белокоровичах. Наверно, и до самых Сарн переполох был,— рассказывает оживленно Михаил Иванович Павловский.

— Будут помнить нашего Ковпака. Это ведь он Олевскую операцию надумал.

— Не дал дед киевские трамваи в Германию уволочки. Сейчас и сам в Киеве на трамваях разъезжает,— философствовал бронбойщик Арбузов.

— Ты, Тимка, так рассуждаешь, как будто нет в Киеве трофейных машин,— рассудительно говорит ездовой Ковпака, Политуха.— Кого ж там на них и возить будет, если не нашего деда.

Бронепойщик Тимка Арбузов охотно соглашается. Трофейных машин ему, конечно, не жалко для своего легендарного командира.

А я слушаю эти разговоры, и у меня зреет текст первого приказа, который я подпишу ночью, а завтра связные развезут по ротам и батальонам.

Вместе с начштаба Войцеховичем мы усаживаемся за перегородкой.

— Так для начала будет добре? — Вася передает мне «шапку». «Приказ по войсковой части 117, № 449, село Собычин, 2 января 1944 года. На основании приказа Украинского штаба партизан за № 269 от 24 декабря 1943 г. сего числа принимаю на себя командование соединением...» — Как? — спрашивает начштаба. — Это констатирующая. А насчет политики вы сами набросайте.

— Надо бы и Мыколу позвать. — Я почесываю в нерешительности бороду.

Когда минут через пять начштаба вернулся с Мыколой Солдатенко — кандидатом в новые замполиты, — было написано и продолжение:

«Приступая к исполнению служебных обязанностей, напоминаю, что наша часть выросла и окрепла в двухлетних многочисленных боях с немецкими захватчиками. Рейды по глубоким тылам врага под руководством героев партизан генерал-майора...»

— Кого писать раньше?

— По-моему, раньше Руднева. Все-таки погиб смертью храбрых и партийную линию вел, — предлагает будущий замполит.

— Но все же по командиру считается.

— Ну, напишем через тире. Как два Федоровых делают.

— Так Ковпак-то ведь один. Его не спутаешь с другим.

Решаю я по военной психологии:

— «...Ковпака и Руднева выковали наш коллектив в боевом духе».

— Точка. Абзац, — машинально шепчет начштаба.

— Теперь насчет истории? — спрашиваю я.

— Само собою, — важно отвечает замполит. — Чин чинарем. Пишите сами. По этой части я шось туговат.

— Как историю делать, так на полную железку. А как писать про нее... — язвит начштаба.

— Оставь его, — задумчиво говорю я. — Все мы насчет истории вахлаки. В деда-прадеда такие. Запорожцы. Всем светом трясли, а остались потомкам одни клейноды¹ да прелые онучи. Француз Баплан да шляхта о них писали. Со скрежетом зубовным.

— Може, и про нас какой фашист напишет?

— Може, союзник? Англичане или американцы?

— А шо ты думаешь? Эге-ге-ге... Такое набрешут... что к правде все дороги закажут.

— Ну ладно. Хватит. Надо писать. — Я склоняюсь над бумагой. — «Комиссар Руднев и командир Ковпак оставили нам богатое наследство — это традиции части, ее боевой дух и моральный облик бойца-партизана, народного воина, которого любит народ и ненавидит, боится враг». Давай теперь ты, Васыль.

Васыль садится и пишет о рейдах, о дисциплине, бдительности, взаимоотношениях с населением.

Заглянул связной, поглядел на склонившиеся головы, перепутавшиеся чубы и тихо шепнул кому-то за дверями:

— Стенгазету выпускают... а може, и стратегику разрабатывают. Мыкола нахмурился. Связной на цыпочках вышел.

— Будет, хлопцы! — говорю я. — Длинный приказ не так ударит в точку. Давай два-три пункта «приказываю» и подписи.

¹ Казацкие знамена, бунчуки и т. д.

«П р и к а з ы в а ю:

1. Свято хранить боевые традиции части, ненависть к врагу, преданность Родине, товарищескую и боевую дружбу. Хранить военную тайну, усилить революционную бдительность». Хватит, может быть?

— Эге. А приказ двести? — спохватывается Мыкола.

Мы улыбаемся.

— Приказ двести — расстрел на месте¹. Так, что ли, и писать? — смеюсь я.

— Нет, нет, тут и есть самая главная политика. Пиши,— диктует Мыкола.— «Не забуваты, шо наша сыла в народе. И его любви до нас. Правильный подход к народу — тут и есть увесь толк, уся политика...» Ну, и дальше давай про приказ двести.

— «...Приказ двести остается в силе. Командирам, политрукам, всем партизанам объяснять его новым бойцам». Так?

— Так. Нагадувать и старым. Тоже шоб не забувалы.

— «Приказ объявить всему личному составу». Подписи. Точка.

Вся прочел, расставил запятые и сел за машинку.

Мы с Мыколой пошли в роту.

В штабной роте уже собрались партизаны — участники самодеятельности, которые за эти недели отдыха подготовили новую программу. Верховодил и чудил Дорофеев. Заместитель Карпенко по знаменитой третьей роте Гришка-циркач, как его звали в отряде за неистощимую изобретательность, был признанным заводилой партизанской самодеятельности. Всерьез, в боевой обстановке, он имел и третью кличку — Гришка-ленинградец. Но сейчас, на отдыхе, его больше звали циркачом. Он возглавлял организацию «чудаков», как именовали себя участники этого партизанского ансамбля музыкантов, певцов и веселых балагуров. Конечно, ребята обиделись бы, откажись мы посмотреть их немудрящий репертуар.

Терпеливо высидев более часа в душевной хате, где на каких-то самодельных «полотях» Гришка Дорофеев выделял сложные акробатические номера, я в перерыве вышел на улицу. Отойдя на задворки, окунулся в звездную морозную тишину и тревожно стал вслушиваться в далекий, смягченный ватой лесных далей грохот канонады.

«Видимо, перешел в наступление правый фланг Первого Украинского фронта. Не иначе...» И сразу возникла в памяти беседа в штабе фронта: «Надо срочно вырваться вперед. Чтобы совсем не очутиться в своем тылу».

— Красная Армия вроде... А? — говорю я подошедшему начштаба.

Остановившись рядом, Вася тоже встревоженно прислушивается к канонаде.

— Наступают?

— Как слышишь. Надо скорее выступать.

Прикинули, когда же можно двинуть вперед наши батальоны, и твердо решили форсировать день выступления.

— На утро пятого, Василь, назначай общее движение на северо-запад. Идет?

Начштаба, козырнув, уходит в хату, где размещен штаб, и через минуту там ярче загорается огонь. Верный друг и помощник мой склонился над бумагами. Задумавшись, иду дальше по улице, мимо часовых и конных патрулей, машинально вполголоса отзываюсь на пароли.

¹ В соединении Ковпака — Руднева был приказ № 200, категорически запрещающий мародерство и неблагоприятные поступки по отношению к населению. За злостные нарушения карали вплоть до расстрела. Поэтому в ходу была прибаутка: «Приказ двести — расстрел на месте».

Село набито партизанами до отказа. Одних новичков прибыло больше сотни. В хате, где квартировал неделю тому назад Ковпак, кроме меня, размещено еще человек шесть из вновь прибывших через «фронтовые ворота».

Когда я вернулся, почти все уже разошлись с вечеринки, устроенной «хором чудаков».

— Заберусь-ка я на печку,— говорю сидящим у стола постоянным жильцам.— Давно хотелось отогреться.

Но не спалось почему-то. По потолку бродят тени. Тепло. Потрескивает сверчок, светит полесская лучина, которую хлопцы называют «парашютом»: это жаровенка из жести или дюрала величиной с хорошее блюдо. Свисает она на четырех проволоках с потолка, наподобие детской люльки. В ней ярко горит маленький костерик из сухих смолистых чурбашков, а над огнем широкая полотняная вытяжная труба, сужающаяся кверху, вроде как у украинского камина. Огонь — теплый, оранжевый, домашний — располагает к душевному разговору... Вокруг уютного огонька склонились головы — чубатые, стриженные... «Кто ж это в кубанке набекрень? Ага, Цымбал». Он соскучился по отряду и возбужден. Многих закадычных друзей он увидел в первый день.

До самого вечера мысли мои были прикованы к политработе. Она уже персонифицировалась в определенном человеке, который будет ее возглавлять. И, видимо, не только я думал о нем.

Вот и сейчас Цымбал толкует о нем с новоприбывшими.

— Видали? Ну того, который как сухая жердина?! Это орел. Ну тот, что за весь вечер ни одного слова не сказал. Молчун. Так это же и есть он, Мыкола Солдатенко. Тот самый, о котором я вам еще в Киеве толковал. Ох, мужик!

Цымбал с восхищением мотает головой и, поправляя сползающую с чуба на затылок кубанку с малиновым верхом, оглядывает слушателей.

— Это тот Мыкола, что на Припяти...— Цымбал заливается тихим смехом над чем-то одному ему ведомым.— Тот самый, ну, который в бою с пароходами на Припяти умудрился сразу от деда и выговор и благодарность получить. Был и политруком роты и командиром орудия. Это, брат, сейчас он и военный спец, и дипломат, и политработник. А до войны бывший колхозный активист из села Воргола...

Слушатели придвинулись ближе к огню и не сводят глаз с Цымбала.

«Что он там такое брешет, этот Андрей Калинович? Не упомяну что-то я такого случая. Знаю только, что Мыкола — командир сорокапятимиллиметровой пушки — подбил на Припяти не то один, не то два парохода. Ну, а благодарность или выговор — это за что же?» — думаю я, задремывая.

Через некоторое время хохот слушателей колебнул пламя полесского «парашюта». Зашевелились тени на потолке. Смеется Слава Слупский, смеется венгр Тоут, смеется даже серьезный Сокол, грохочут басами связные у двери, и заливается искренним ребячьим смехом Вася Коробко.

— Так, значит, и выговор тут сразу и благодарность? Одним снарядом заработал?— спрашивает сквозь смех Сокол.

— Ага,— отвечает довольный Цымбал.— А шо ты думаешь? Режим экономии. Снарядов-то всего семь штук осталось.

И опять взрыв хохота. Ну как тут уснешь на печи?

А на Цымбала нашла говорливость. Я слушаю его складную украинскую речь и думаю: «В самом деле, не пустить ли его по политчасти? Во-первых, только что из госпиталя после тяжелого ранения, во-вторых, самое главное, умеет он душу человека раскрыть. Это в партизанской жизни, пожалуй, главное для политработника».

Цымбал подсел уже к связным, среди которых немало и стариков-ветеранов (лет им по шестнадцать — восемнадцать от рождения). И завел новую легенду.

— Вы рыжего бачили? Тот новый капитан с вострым таким носиком? Ну тот, что на одну ногу приседает? Так то ж, хлопцы, немец! Чистокровный. Тихо, не вскакивать, не шебаршить! Сиди, лежи тихо. Это ж наш немец — советский. Скоро ему геройскую звезду дадут. Сам генерал Строкач нам говорил: на днях ждем указ.

— А звиткилля он суды взялся? — все же подозрительно спрашивает связной разведки Третьего батальона Шкурат.

— А як его звать? — спросил кто-то.

— За какие же такие заслуги-подвиги? Это ж надо что-то такое... чтобы немцу и героя дали,— удивляется Вася Коробко.

Но, раздражив слушателей, Цымбал зевнул и сказал:

— Спать, братва, пора. Времени впереди много. И все — наше. Завтра еще, если успею, обскажу вам и про этого немца.

Через несколько минут все спали.

Цымбал залез ко мне на печку и, умащивая раненую руку в теплую горку проса, спросил:

— А вы шо ж не спите, товарищ подполковник?

— Здорово ты рассказываешь...

— Да в госпитале наловчился. Надо же хоть языком воевать, раз фриц руку перебил. Эх, проклятая...

— Болит?

— Не то что болит, а ноет, вроде комахня какая в самой кости шевелится.

Помолчали.

— Как ты, Андрей Калинович, о Брайко думаешь?

— Да ничего — батальон хороший... — неопределенно ответил он.

— А командир? Сам Петро?

— У плохого командира и батальон будет ни рыба ни...

— Вот к нему комиссаром пошел бы?

Долго молчал Цымбал, шурша просом.

— Значит, так? Командиром не считаете меня?..

— Ты неправильно меня понял. Разве Руднев плохим был бы командиром? А вот комиссар же был.

— То Руднев. Он, может, на всю Украину партизанскую комиссар был перевающий.

— Вот таких нам и в батальоны надо.

— Эх, ну разве я смогу...

— А ты постарайся. Ведь про Мыколу сегодня не просто так разговор вел, а с воспитательной целью.

— А що, заметно? — встревоженно спросил Цымбал.

— Нет, нет, никто и не подумал даже,— поспешил я его успокоить.— Это ты верно. Надо, чтобы агитация от души, не казенная, не по службе, а по дружбе, по человеческому чувству...

— Ага. И я не раз так думал... Щоб она поперек горла или в ухе не застревала...

И уснул, не договорив.

Раннее утро четвертого января было ознаменовано приездом уполномоченного Украинского штаба партизанского движения полковника Старинова. Прибыл он на «эмке» фронтного типа. Эта машина появилась перед самой войной. В армии смеялись: мол, специально сконструирована для того, чтобы выворачивать седоков в кюветы во время бомбе-

жек в начале войны. Высокая, словно на цыпочках, закамуфлированная под осенний лиственный пейзаж, она резко выделялась своей пятнистостью и вызвала ассоциации с первыми днями войны.

— В сорок первом бежали на таких антилопах. А теперь на них же через фронт ездим,— сказал, потирая руки, полковник Старинов.

— Кто на антилопах, а кто и на волах,— буркнул Михаил Иванович Павловский, чем-то недовольный.

Старинов ухмыльнулся.

— Да и в сорок первом тоже не все уж так бегали, как кое-кому кажется...

Старинова хорошо знали во многих партизанских отрядах. Энтузиаст диверсионно-подрывного дела, он воевал в Испании и был отличным подрывником, воспитателем и наставником целой плеяды молодых диверсантов. Мины конструкции Старинова срабатывали в разных местах вражеского тыла. Они подняли в Харькове на воздух крупный немецкий штаб с гитлеровскими генералами; кубанские партизаны использовали мины Старинова в предгорьях Кавказа; он был автором сложного минирования проливов на Азовском море — волчьи ямы там были расставлены так остроумно, что под лед ухнул не один десяток автомашин с фашистскими солдатами, военными грузами и награбленным на Кубани имуществом.

В партизанском отряде, как в деревне, — новый человек сразу замечен. И уже через полчаса большинство партизан узнало о Старинове по беспроволочному телеграфу партизанской молвы. У нас умели ценить подлинную отвагу, и знания, и сноровку. Особенно уважали тех, кто не дрогнул в первые тяжелые месяцы войны. А о харьковской диверсии Старинова слышали все, хотя и не знали имени ее автора. И вот он сам приехал к нам.

Старинов быстро успел ознакомиться с положением дел. Он видел, что мы хотим быстрее выйти в рейд. И не подгонял нас без толку. Он выступил на летучем собрании комсостава, где в меру возможности объяснил, какая перед нами поставлена серьезная задача. Старинов одобрил наше решение освободить кое-кого из стариков-ветеранов, уже достаточно повоевавших. Они заслужили отдых. Кроме того, для освобожденной части Советской Украины были нужны партийные и советские работники, а хозяйственные — особенно.

— Таким людям, как, скажем, ваш Павловский, в только что освобожденном, разрушенном тылу цены нет,— говорил нам Старинов.

— Ну, во вражеском тылу ему тоже цены нет,— сказал Брайко.

Но Павловский, узнав, что его отзывают в Киев, заскучал. И даже прослезился.

— Что, недовольны решением? — спросил на следующий день Старинов. — О вас и других товарищах я шифровку дал. Есть решение ЦК.

— Нет, доволен. А сердце шемит. Хлопцы ж свои. Молодые, а на смерть идут. Кто ж их накормит, оденет? У них же еще ветер в голове, чи тая, как ее называют... романтика. Через тую романтику они ж и наголодаются и завшивеют, чего доброго...

Пробыв у нас больше суток и уверившись в том, что при первой же возможности мы двинемся в рейд, полковник Старинов и его сопровождающие решили отбыть на своей «антилопе» в другие соединения, южнее нас. Надо было проверить и их готовность к выходу в рейды. От Старинова же мы узнали, что идем на запад не одни.

— Туда же нацелены и Сабуров, и Бегма, и Шитов, и Иванов, и Андреев, и многие другие,— сообщил он мне по секрету.— Как, не отстанете?

— Это еще больше подхлестнет нас,— ответил я.

Не получили мы от него сведений только о кавалерийском соеди-

нении генерала Наумова. А у меня с Наумовым была не то чтобы личная дружба, а тактическое единомыслие, что ли... Неужели он не примет участия во всеобщем походе украинских партизан на запад?

— Наумов где-то на юге,— сказал неопределенно полковник.— И еще до сих пор не получил боеприпасов. Ну, Петрович, занимайся своими командирскими обязанностями, а я пойду с народом поговорю. Кто у тебя комиссар или замполит?

— Мыколу Солдатенко намечаю.

— Вот мы с ним и потолкуем.— Старинов взял меня под локоть и отвел в сторону.— Так все же, когда думаешь двигать?

— Завтра утром.

Старинов отошел на два шага, словно хотел измерить меня взглядом.

— Ого. Смелая стратегия...

— Скорее вынужденная, товарищ полковник. Ватутин, наступление Советской Армии требуют от нас такого решения.

10

Вечером четвертого января Советское Информбюро сообщило о взятии советскими войсками города Олевска. Наши разведчики донесли, что армейские части движутся вдоль железной дороги на Сарны.

— Все-таки обгоняют нас,— хмуро сказал начштаба, принеся на подпись приказ о движении.— Ох, трудно! Мало времени на подготовку.

Последний день на месте мы прожили неважно. Нас покидали старики. Отбывал на юг в тачанке, подаренной Ковпаку польским капитаном Вуйко, ординарец деда — Политуха; уезжал Михаил Иванович Павловский — старый щорсовец, знаменитый помпохоз, тот, что спас в Карпатских горах отряд от голодной смерти: в своей анекдотической скупости он до последнего припрятывал мешок сахарного песка. Как пригодился на высоте Шевка этот мешок, когда уже целую неделю люди не имели во рту ни маковой росинки! Сейчас с большим трудом, путем всяких дипломатических уловок и хитростей, удалось нам в конце концов всучить Михаилу Ивановичу мешок белой муки и копченый окорок. Уезжал и Федот Данилович Матюшенко — комбат-три, хитрющий украинский дядько, мудрый стратег, осторожный командир, выведший с наименьшими потерями свой батальон из карпатской прорвы (правда, той ценой, что в труднейшем положении подбросил в нашу группу всех своих раненых). Расставались мы и с секретарем парткомиссии Яковом Григорьевичем Паниным. Его отзывали в ЦК, и он увозил с собой тщательно упакованный, обитый жестью самодельный сейфик-сундучок с ценным грузом: там хранились сотни партийных дел принятых в партию боевиков-партизан.

Везде, где решалась судьба войны,— в двухсотпятидесятидневной осаде Севастополя, в блокированном Ленинграде, в окопах Сталинграда — тысячи сынов и дочерей нашего народа писали: «Иду в бой за Родину, прошу считать коммунистом!», «Хочу умереть коммунистом и прошу принять в ряды большевиков!». И партия принимала их в свои ряды. Тех, кто, не дрогнув, погибал смертью храбрых, навечно зачисляли в славные железные ряды бессмертных; тем же, кто оставался жив, вручали партийный билет, а с ним и строгое доверие партии.

Так было и у нас: в боях на Князь-озере, в рейде под Киев, на Припяти и за Днестром, под Ровно и на карпатских вершинах твердые партизанские руки писали те же слова, что и севастопольцы, сталинградцы, ленинградцы. Люди шли в славные партизанские рейды, считая себя коммунистами. И вот сейчас наш секретарь партийной комиссии увозил в бесценном сундучке лаконичные, бесхитростные заявления, анкеты, решения ротных партийных собраний и парткома партизанского соедине-

ния — все в том сундучке... Он вез нашу веру, и нашу надежду, и нашу любовь. И сотни партизан, многим из которых не суждено было вернуться из предстоящего похода, провожали нашего Якова Григорьевича.

Уезжали многие: путивляне, конотопцы, глуховчане... Их районы уже были освобождены. Их звали колхозы, жаждала земля, ждали семьи. Надо было людям войны готовиться и к севу. И старые ветераны, плача навзрыд, обнимали нас, молодых, нацеленных партией на запад. А у них уже был другой прицел — на восток.

Впереди провожающих высилась фигура преемника Яши Панина — Мыколы Солдатенко. Бравый артиллерист, а затем политработник, сначала политрук роты, затем комиссар батальона, Солдатенко был, бесспорно, одной из самых колоритных фигур нашего соединения. Это он по приказу Ковпака и Руднева ходил на рискованные переговоры с командиром бандеровской банды Беркутом, о котором мы еще услышим позже, когда узнаем о трагической смерти командующего Первым Украинским фронтом; это его, Мыколу Солдатенко, молчаливого и медлительного, можно было посылать на любые сверхтрудные задания, и он выполнял их скромно, тихо и методично, а рапорты о выполнении заданий чаще всего состояли у него из одного-двух слов, например: «Зробыв!» или «Хлопцы постарались», «Хвашистов вже нэма!» И все.

Утром пятого января началось построение колонны. По разным лесным дорожкам стягивались ротные обозы. Ездовые, подтянутые, успевшие подзапустить усы (сказывалась гвардейская мода, заимствованная при кратковременном общении с передовыми частями армии в Овруче), важно восседали на облучках. Между телегами сновали старшины. Последние сутки они совсем не отходили от обозов и знали уже каждую телегу и каждую пару волов и лошадей. Но сейчас придирчиво еще раз осматривали свое хозяйство.

— Це вже просто так, для порядку стараються,— ухмыльнулся Павловский.— Надо же показаться перед командирами рот.

— Демонстрируют перед начальством свою заботу и ретивость,— сказал начштаба.

— А як же? А ты як думав? Старшина, що не знає, як пыль в глаза пустить и на подчиненных страх нагнать, який же це старшина?

Павловский вдруг как-то странно хмыкнул и отвернулся. Я заметил, что по щеке его скатилась и спряталась в усах непрошенная слеза. Он последним отбывал на паре битюгов в Киев. Его сменял бывший командир Олевского местного партизанского отряда Федчук, тоже партизан гражданской войны, инженер-строитель. Великих дел их отряд не совершал, за пределы своего района не выходил, но воевал в Полесье честно. Занимая всего несколько глухих лесных деревушек Олевского района, он в основном участвовал в блокаде железной дороги. Летом в Полесье активизировалось всенародное партизанское движение. Взрослое мужское население олевских деревень, а частично и женщины повалили в свой партизанский отряд. К осени он насчитывал уже в своих рядах около трехсот человек. Реально и трезво взвешивая свои организационные возможности, Федчук решил влить свое войско к нам, когда мы вернулись с Карпат. Ковпак назначил к Федчуку комиссара, подрывника и поэта Платона Воронько, а затем мы передали ему и строевое командование. Перед самым своим отбытием на Большую землю Михаил Иванович Павловский предложил кандидатуру Федчука на должность помпоза. Это нас вполне устраивало. Сейчас Михаил Иванович Павловский ревниво следил глазами за своим преемником, который трясся верхом, осматривая подводы.

В батальонах своего обоза почти не было, и основной груз пришлось снова взвалить на обывательские подводы; они-то и были преимуще-

ственно запряжены быками. Эта часть колонны, как раз находившаяся в центре села, выглядела весьма неказисто. Непривычные к строю воловьи упряжки стояли беспорядочно, кое-как. А батарейный обоз и санчасть вообще смахивали на базарную толкучку. Это, видимо, больше всего смущало нового нашего партизанского интенданта, и он носился верхом от одной группы подводчиков к другой. Они тут же обступали его и, по-стегивая размашисто батогами по заборам или колесам своих огромных возов (я про себя отметил этот признак волнения и нервозности), о чем-то упорно расспрашивали нового помпохоза. Федчук разговаривал с ними спокойно, но иногда и покрикивал, после чего возницы быстро расходились, пожимая плечами.

Для меня настроение этой части нашего войска было сейчас важнее всего. В своих солдатах я был уверен, а на воловьи упряжки было погружено более миллиона патронов, тысячи гранат, тонны взрывчатки — почти весь боезапас предстоящего рейда, выданный нам по приказу Ватутина и пополненный у гвардейцев в Овруче.

Особенно оживленно Федчук беседовал с представителями обоза Четвертого батальона. Кое-кого из них я узнал. Это были те самые возчики, которые всего три дня назад прибыли из Овручского похода через «фронтные ворота». Вырвавшись из их кольца, Федчук затрясся в седле рысью. Покружив минуты две, подъехал к штабу, кряхтя слез с коня и подошел к нам.

— Народ бунтуется, товарищ командир, — тщательно и с непривычки курьезно вытягиваясь во фронт, доложил Федчук. — Простят точные сроки им указать. Толкуют, тягло у них подбилося. А кроме того, говорят, что они сейчас уже на армию намерены ориентироваться и партизаны для них теперь не защитники.

— Ого, быстро смекнули, — сказал начштаба Войцехович.

— А як же? Политику воны добре знают, — оживился Павловский.

— В особенности в свою пользу, — поддакнул Солдатенко.

— Что же вы, товарищ Федчук? Вы же человек местный, народ вас знает... — укоризненно сказал я помпохозу.

— Так в том-то все и дело. Если бы чужой, они прямо не говорили бы. Просто на марше смылись бы где-нибудь с быками, побросав груженые телеги в лесу. А так, по совести, как своему, выкладывают все сомнения.

— Ну что же? И это неплохо. Будем хотя бы знать настроение, — сказал Солдатенко, намереваясь пойти к возчикам.

— Да, настроение у них, прямо скажем, неважное, — подтвердил наш интендант.

— Хорошо. Погоди, товарищ Солдатенко. Какое ваше предложение, товарищ помпохоз? — спросил я Федчука, одновременно задумав испытать организационные способности и изворотливость своего нового помощника.

Федчук подумал, погладил свою инженерскую, с сильной проседью бородку и сказал рассудительно:

— Все грузы своим обозом мы не поднимем. Но определенный срок возчикам указать следует. Чтобы у людей перспектива была. Ну, скажем, пусть доставят нас до конных мест. А там перегрузим на другие обывательские телеги.

— Так, на обывательских телегах, и рейд думаете совершать, Федор Константинович? — недовольно спросил начштаба. — Нет, так у нас дело не пойдет.

— Насчет рейда ничего не могу сказать, товарищ начштаба. Опыта у меня по этой части нет, — с достоинством отвечал помпохоз. — Мы ведь другой, лесной и болотной тактики партизаны. Но с народом надо ладить.

— Правильно. При любой тактике с народом ладить надо, — поддержал помпохоза Мыкола Солдатенко.

«А помпохоз вроде с головой... — мелькнула мысль. — Он по-своему прав».

И, прикинув с Васей примерный маршрут и его возможности в смысле наличия в селах тягла, мы решили поставить перед возчиками определенную и вполне конкретную задачу.

— Соберите все свое воловье войско, товарищ Федчук, и твердо им заявите: если до реки Горыни ни одна повозка не поломается, никто не дезертирует и не будет симулянтов, то сразу за Горыню мы их отпустим домой.

— Можно от вашего имени им доложить? — козырнул Федчук.

— А разве вам своего имени мало? — отрезал я помпохозу, сразу давая ему понять, что он пользуется достаточными правами в отряде и что от него требуют самостоятельности.

Федчук, кажется, так это и понял. Даже, может быть, слишком принял к сердцу мое замечание: неожиданно и странно для пожилого мужчины он покраснел и смутился. Немного смутился и я, чувствуя неловкость перед человеком, старшим по возрасту. Да и мешали пытливые глаза Павловского. «Ревнует он, что ли? Уезжал бы уже... А то Федчук мой вроде спутанный по рукам и ногам».

Но служба есть служба. А времени для длительного изучения характеров и установления оттенков во взаимопонимании у меня не было.

— Действуйте.

Помпохоз лихо козырнул и грузно повернулся через левое плечо.

«Все это притрется. И характеры и натуры. А мужик честный и будет на своем месте... Это главное...» — думал я, глядя, как инженер Федчук взгромождается на кургузую полесскую клячку.

Через несколько минут он верхом приплясывал среди обоза, со всех сторон окруженный погонщиками быков. Они внимательно выслушивали его объяснения. Затем молча стали расходиться. Уже у повозок, собираясь кучками по пять-шесть человек, о чем-то судачили.

— Настроение у них вроде поднялось, — кивнул Солдатенко, внимательно наблюдавший за всей этой историей.

Именно тогда, наблюдая этот маленький общественный конфликт, я подумал: «Какой все же чудесный наш народ! Под любую ношу он подставит свое могучее плечо. Надо только говорить ему правду. Без обмана. И всегда давать ему перспективу, как выразился Федчук. Только что шумели, протестовали против предстоящего изнурительного похода, который взвалили мы на них сразу же после предыдущих тяжких дел. И вот сейчас они молча согласились: «До Горыни так до Горыни».

А сможем ли мы отпустить их там?

Сразу же спросил об этом Василия Александровича.

— Э, там видно будет, — беззаботно ответил нашштаба.

— Надо, чтобы политруки рот возле них покрутились. Пусть изучают людей этих... На всякий случай. Может, вам еще и на голом энтузиазме придется ехать, а не только на волах, — сказал Павловский.

Колонна, куда уже подстраивались пешие роты, становилась все более оживленной. Вокруг бойцов сновали жители, преимущественно женщины. Многие провожали своих родных, влившись к нам в виде пополнения. Женщины помоложе явно симпатизировали кадровым партизанам, ветеранам Карпат и Брянских лесов. Перехватывая на лету затуманенные слезой взгляды, видел я не только простые, дружеские, но и более чем дружеские объятия, слышал вздохи, а то и тихие причитания.

Для бывалых партизан считанные недели стоянки были мирной, спокойной жизнью. И вот снова поход! В неизвестное, грозное...

Надо было рвать все эти кратковременные связи. Жаль, конечно, но наш долг был суров и не позволял нежностей.

Мы торопили комбатов. Те зычными голосами шевелили своих подчиненных. Прощания, слезы, приветы... Разве только мелькнет лукавая залихватская улыбка бравого партизана, который, прижимая левой рукой к своей мощной груди разревевшуюся дивчину, от неловкости озорно подмаргивает друзьям, словно давая им понять, что он тут ни при чем, что с самого начала крутой и кратковременной партизанской любви не скрывал от нее, что это все ненадолго, и сама, мол, знала, на что шла... Так, мол, — солдатский грех. А затем вдруг отвернется партизан и глубоко вздохнет.

Прощался с нами и полковник Старинов. Он должен укатить на своей «антилопе» в другие соединения, куда-то на юг.

— Вот уже и начальство разъезжает на машинах. Вроде как директор мэтэсэ какой, — сказал, глядя вслед машине, Павловский.

— Це така мэтэсэ, шо Гитлеру кишки выпускает. Мину Старинова знаете, дядьку? — сказал Вася Коробко, один из многочисленных учеников Старинова.

А на юге все погромыживает и уже чуть-чуть на запад продвигается канонада. Значит, не шутил тогда генерал Ватутин! Эх, не хватает только, чтобы появилась вблизи кавалерия. Тогда совсем пропали. Ну куда мы с этим воловьим базаром и скоростью два-три километра в час? Нет, нет! Хватит прощаний и слез. Надо давать команду...

— Ну, друзьяки мои дорогие, давайте прощаться, — сказал Павловский и, шагнув вперед, крепко обнял меня, начштаба, а затем своего премника Федчука.

«Нет, эту пуповину рвать куда труднее. Это не короткой ночью на сеновале или на печи... Это на льду Князь-озера, в припятском мокром мешке и на вершинах Карпат крепла боевая дружба».

— Ша-а-гом ма-арш, Василь. А? — сказал я, обращаясь к начштаба.

И только перекинул ногу через седло, как Митька Гаврилов из комдантского взвода выпустил вверх длинную очередь на весь круглый диск автомата.

— Салют, товарищи командиры, салют! — лихо закричал он.

«Ох уж эти мне штабные лоботрясы! Всюду они одинаковы... Что это — подхалимаж или искреннее пожелание успеха? Хорошо еще, что удержался в седле на шарахнувшейся лошади. Не предупредил, черт!..» Хмурюсь, а в груди какое-то тревожное ликование. В поход, в поход... Эх, еще бы недельку подготовки, да пушчонок полную батарею, да спаренных зенитных... Вперед, на запад, вперед!

А вокруг сияющие глаза и настроженные лица. В голове колонны зарождается шорох. Минута, другая — и шорох вырастает в шум. Движение тысяч ног и сотен колес.

— Как говор горного ручья, — говорит комбат-пять Платон Воронько.

— Ох, и не згадуй мне про те Карпаты, — перебивает его комбат-два Кульбака.

— Не нравится? А на Западе, в Европе, есть горы и повыше, — смеется Петя Брайко. — Хочешь, карту покажу? Полюбуйся, Петро Леонтьевич!

И заливается веселым смехом, а Кульбака чертыхается.

«Все комбаты здесь. Ну что ж, хорошо. Вперед!» И я пускаю застоявшегося коня рысью, обгоняя обоз и пехоту, как это любил частенько делать на марше наш незабываемый комиссар...

Покрикивания обозных, возгласы погонщиков, говор, смех... Еще минута — и над вытянувшейся за селом колонной взмыла и понеслась над Полесьем звонкая партизанская песня.

Шумит, шумит наш горный поток по равнинному Полесью. Колонна уже вытянулась из села, когда я обогнал обозы и пехоту. За мною стайка связных и конные маяки батальонов. Пустили коней шагом. Молчат соскучившиеся по живому, быстрому делу связные.

И внезапно вновь загудела канонада по южной кромке Полесья. Надо уходить быстрее. Я стегнул коня. Через три километра галопа остановился, бросил поводья ординарцу.

— Дождусь тачанки здесь.

У развилки дорог — широкий пень дуба. Чем не кресло... Дорога, по которой шуршит позади наша колонна, лимитируемая средней скоростью воловьего шага, ведет на северо-запад. Лесная пустыня тянется более чем на шестьдесят километров. Только один островок — село Глинное — впереди.

Что же главное? Обоз и людей мы кое-как подняли. С грехом пополам двинулись с места. Опыт подсказывал, что тренированный, боевой коллектив быстро втянется в поход. Надо только дать три-четыре дня марша, а потом один день стоянки — для устранения неполадок — и дело пойдет. Это в смысле физической нагрузки. А если бой? Тогда требуется что-то более решающее... Как у нас с политико-моральным состоянием? Этот вопрос неотступно преследовал все эти дни. Но отодвигали его организационные дела. Не то чтобы никто не занимался политработой — в ротах регулярно принимали сводки Информбюро, мы привезли с собой из Киева целую кипу центральных и украинских газет, — но это все же была «текущая политика». Она велась в эти дни даже более оживленно, чем когда бы то ни было раньше. Сказывалось соприкосновение с частями Красной Армии, немалую роль сыграла и «сотня резерва», которая прибыла вместе со мною. Среди новоприбывших было немало политработников: Андрей Цымбал, Иосиф Тоут, Славка Слупский... Но политработу тоже надо организовывать. Постоянную, углубленную. И это тебе не обоз... Тут на волах не выедешь. Конечно, коммунисты свое дело знают. Хорошо, если судьба даст нам хотя бы неделю спокойного марша. Закончим с обозом, с боевыми порядками, притрется комсостав. Ну, а если завтра-послезавтра бой?..

Опять мысли упирались в политико-моральное состояние. Хорошо было деду: у него какой комиссар был! А мы двинулись в рейд, вообще не имея комиссара. Еще в Киеве я говорил об этом в ЦК вместе с генералом Строчаком. Тогда и возникла мысль о переходе на военный принцип организации.

— Полки, дивизия — там видно будет, — сказал генерал. — Но так или этак, а потребуются уже не комиссары, а замполиты. По армейскому образцу.

Все это было очень ясно в Киеве. А как решать сейчас, тут, сидя на пеньке срезанного наискосок дуба? С песнями и веселым гомоном подходила сюда колонна.

Подъехал начштаба.

— Карту, Вася, — бросил я ему.

И пень быстро превратился в штабной столик.

Склонившись над ним, мы шарим по карте взглядом, стараясь понять, что же ждет нас впереди.

Леса, леса, бескрайние, угрюмые. Хлипкие мосточки через болотистые канавы и речушки, а впереди — река Горынь и впадающая в нее Случь. По берегам Горыни, повторяя ее изгибы, то по правому, то по левому берегу, проходит рокада — железная дорога, еще находящаяся в руках у немцев: из Ровно на Сарны и далее на север, в Белоруссию —

к Луинцу и Барановичам. Городки и станции: Высоцк, Домбровица, Столин, Давид-городок.

— Железная дорога эта почти не работает,— подсказывает начштаба.— Со времен Сарнского креста.

— Видно, до сих пор она была не очень нужна гитлеровскому командованию. Но теперь?

— Все ведь зависит от оперативной обстановки, мгновенно возникающей в ходе разгорающихся боев. Фронт приблизился...

Еще прикинули по карте и, вскочив на коня, начштаба ускакал вперед, к разведчикам.

А я долго сидел на пенке, пропуская мимо себя роты.

«...На вид несерьезное какое-то войско»,— мелькнула вдруг мысль. Если глянуть на колонну с армейской точки зрения, прямо можно сказать — не в рейд двинулись, а на собственную гибель. Но вот эти же хлопцы, галдящие в нестройных колоннах, одетые кто во что горазд, сковывали в Карпатах восемь эсэсовских полков... Ох, какой удивительный народ! К новым смертельным опасностям стремятся с шутками, улыбками, с милыми, плутовскими искрами в глазах. И лишь у немногих, озабоченных текущими, постоянно требующими решений делами, сосредоточены и суровы лица.

Можно и должно с такими хлопцами воевать и побеждать. Только думать надо серьезно, трезво, чтобы меньше терять в боях дорогих товарищей — вот задача командира.

А комиссара? Его пока нет.

Но главное, главное что? Надо налаживать политработу. А с чего ее начинать? Конечно, с замполита соединения. Годится ли Солдатенко? Как люди его примут? Уж очень это серьезный и важный участок, и на такую «должность» мало подбирать только толкового и грамотного в военном или политическом отношении человека. Тут, кроме всех качеств, необходимых командиру, нужен еще и человек с большой и широкой душой, с чувством меры, с юмором, сердечностью и вместе с тем с негибимой волей...

Надо непременно еще понаблюдать за тем, как относятся бойцы к Солдатенко. Одно дело — личные впечатления и личные симпатии, а другое — свежий глаз. Цымбал правильно раскусил Мыколу и правильно его, мне кажется, «подает». И братва вроде ничего к этому молчуну относится. Не дутый будет у него авторитет, а приобретенный и проверенный в боях. А что он немногословен, так ведь не только в речах политработа. Иногда одного слова, сказанного к месту и с душой, бывает достаточно. Самое главное — боевой опыт есть у Мыколы.

И, проезжая мимо Третьего батальона, где издали, как дикий мак, на обочине дороги мелькал малиновый верх кубанки Цымбала, я кивнул ему:

— Андрей Калинович! Ты бы в Пятом батальоне повертелся немного. Народ еще новый. Необстрелянный.

— Что? Командира там надо? — с надеждой спросил он.

— Командира или комиссара... Там видно будет. Командиром там Платон Воронько.

— Я приглядывался к этим олевцам. Но попробую потолковать.

— Ты им больше насчет традиций. А?..

Но Цымбал что-то не очень схватывает это мудреное слово и, растерянно хлопая глазами, молчит.

— Насчет Солдатенко... Как там, в Собычине. Ну, выговор и благодарность одним снарядом.

— Понятно. Будет сделано, товарищ командир.

К вечеру привал в селе Глинном. В первый день прошли всего двадцать три километра. Гнать особенно нельзя, нужно дать людям и лоша-

дям втянуться, ведь на следующий день опять марш. Тогда возьмем побольше. В Глинном сразу сталолюдно. Разведчики и старшины бывали тут не раз, имели знакомых. Среди подводчиков было немало свояков. Из Олевского отряда многие — здешние жители...

Олевцы разместились на крайней улице. Через час я подошел к хате, где вел свою «политработу» Цымбал. Видимо, он успел уже рассказать несколько случаев о Ковпаке и Рудневе. «Хорошо, конечно, но надо и о тех, кто поведет их завтра в бой...» И, словно догадываясь, комбат-пять Платон Воронько спросил у Цымбала:

— А что там за история была... С одним снарядом?

— Это где, на Припяти, что ли? — говорит безразлично Цымбал.

— Да вроде там. Тут молва идет — поучительный случай. Интересно очевидца послушать.

Слушатели придвинулись поближе. Кто-то подбросил огонька. Стало светлее. Цымбал откашлялся.

— Как было дело? Перебросили мою вторую роту в Аревичи из тех самых Мухоедов, где меня подбили на засаде у Черниговского шоссе. Забрались мы за Припять. По всему видать, отдохнуть решило командование тут с недельку. Подремонтироваться. Стали место для аэродрома искать. Нашли такую луговину — ровную, с твердым грунтом — возле села Тульговичи...

«Действительно, все так и было, как рассказывает Цымбал», — и память, уже подстегнутая этим рассказом, забегает вперед. Как только мы обосновались в Аревичах, я пустил разведчиков вдоль реки — до Чернобыля, за которым Припять впадает в Днепр. Словом, к «мокрому углу». Прощупать этот угол! Задача им была такая: «Пойдете сколько сможете. Обследуйте дорогу, а главное — как на реке. Не собирается ли противник навигацию начать. Ледоход только что кончился».

Прошло дней пять, конная разведка докладывает по радиции: «Прошли благополучно до верховья, все в порядке, кругом белорусские партизаны. Газовали до реки Пины, а за нею канал начался, на канале скопление барж и буксиров, есть и пароходы».

А Цымбал бубнит параллельно с моими мыслями:

— ...И в это самое время Гитлер организовал или, как его там, Рейхсбан, что ли, — ну, в общем, удумали Днепровский бассейн с Вислой соединить. Значит, Украину с Восточной Пруссией водяной петлей связать. Через этот королевский канал, Днепровско-Бугский еще иначе он называется. Возвращается наша разведка — слух из штаба пошел, что на том канале что-то штук двадцать шесть пароходов...

«Так и было, еще по радиции отстукал я им приказание: следовать дальше, вниз по реке».

— Приходит наша разведка и докладывает: возле Мозыря видели пять пароходов. Тут наш подполковник разведчиков за шкуру взял. Взъерепенился. Уже хотел второй раз до Мозыря разведку погнать, уточнить, куда остальные делись: было двадцать шесть штук, а осталось всего пять. Дед с комиссаром как раз к разведчикам зашли. Ковпак послушал-послушал и говорит: «Слухай, Петро, и на що хлопцы будут зря ноги бить? Це ж тобі не океан». «И даже не Азовское море или, скажем, Сиваши какие», — поддакнул комиссар. «А це ж всего-навсего речка». «А речка всегда течет в одну сторону», — говорит комиссар. «Никуды они от нас не денутся», — говорит дед. — Все судна-пароходы мимо проплывут. Вот мы на них тут и подывымся. Потопым, а потом уже и посчитаем».

Подождав, пока в огонь подбросили новую порцию лучины, Цымбал продолжал:

— Ну, про тот бой вам хлопцы еще не раз расскажут во всей подробности, а я вам обскажу, как Мыкола Солдатенко там отличился.

Был он тогда командиром орудия. Орудие, конечно, партизанское, пушка без прицела, без панорамы, но он и без оптики с ней управлялся неплохо. Присядет возле пушки, через ствол наводку точную сделает, снаряд в казенник, да как шандарахнет... В общем, приспособил Мыкола свое орудие среди штабелей сплавного леса — примечайте, на самом берегу были те штабеля. Удобно замаскировали пушку, окопали и сидят. Ждут. О, тут вже должен я вам его характер обрисовать. В полный его рост, ну и натура какая. Росту, сами видели, длинного. Но худой. Это не то что Кульбака наш глуховский или, скажем, грузин Давид Бакрадзе. Те в плечах ширше будут. А у грузина еще и нога — сапоги номер сорок семь требует... Этот же высокий, худой, как жердина, а ростом, пожалуй, ни Кульбаке, ни Давиду не уступит. Характера молчаливого. Хотя политруком роты уже в Карпаты ходил.

— Какой же из него политрук, — спросил кто-то из олевцев у Цымбала, — раз он молчит все время? Так ни доклада сделать, ни беседы провести, только в молчанку играть...

— В засаде с ним хорошо сидеть, — вздохнул Платон Воронько. — Или на диверсии.

— А как с политработой он управляется с таким характером? — удивился Слупский.

— Тут не в разговорах, товарищ лейтенант, дело. Тут, бывает, одним словом дело совершается. Все зависит, кто с каким подходом к бойцам-партизанам... И главное — к мирному народу. В общем, какой из него политрук, я сам не знаю. Об этом начальство пусть раздумывает. Им виднее. Но что молчун — так молчун. И, кроме всего прочего, украинец. Слобожанин наш.

— Упрямый? — спросил венгр Тоут.

— Не то чтобы без толку упертый, а так, можно сказать, настырный, и привычка у него знаешь какая? Вот задают ему, скажем, вопрос. Он станет, как колодезный журавель, выпрямится, ногами посучит — видать, думка у него от ног вверх идет, — настоящий рейдовый партизан. Потолчет, значит, землю немного, подумает с минуту, затем вытянет правую руку кверху, шапку на лоб сдвинет, постоит-постоит, два пальца на это самое место сзади шапки покладет. По-украински оно потылицей называется. Ну, почешет потылицу еще с минуту, а потом уже и скажет слова два-три, от силы пять. И замолчит.

— На полчаса?

— Как когда. Когда и на час. А то, может, и на целый день. Твердый человек. Комиссар его на переговоры с бандерью посылал на Горыни и на Случи с Ганькой Самогонщицей и с Бородой — втроем. Ковпак тогда говорил комиссару: «Правильная делегация, хай они попробуют с Мыколы слово вытянуть. Цей лышнего не скаже. Подорвутся, пска из него вытянут не то что секрет какой, а просто балачку про погоду или там про другие нейтральные дела. А Борода — обкрутить Бандеру круг пальца... цей выбрешется...»

— Так шо ж все-таки на Припяти? И выговор и благодарность, говоришь? Как же он их получил? — перебил Платон Воронько, видимо, уже увлекаясь рассказом.

— Поставил, значит, Мыкола расчет и пушку между штабелей. Подчиненные номера у него шустро действовали, без единого слова команды. Как-то они научились своего командира по носу, по пальцам разбирать. Нагнулся Мыкола, через ствол глянул, чтобы удобнее было прямую наводку сооружать, замер. Одни только пальцы ходят по системе наводки, а сам так и прилип к орудию. Чуть-чуть ногой шевельнет — мигом хлопцы правило налево; нижним бюстом Мыкола шевельнет — враз укопали; подбородком своим кивнул кверху — хлопцы снаряд

в тело пушки р-раз, готово. Вот так и в бою у них. Только снаряд в казенник — и шарахай! В конце подготовки Мыкола вынул пистолет и вступительную речь сказал.

— Объяснил, значит, задачу?

— Ага. И про дислокацию: «Хлопцы, будем топить хлот». А снарядов для этой пушки было у него восемь штук. Вот тут и пришлось Мыколе речь говорить.

— Раз снарядов в обрез, тут уже без речи не обойдешься, — засмеялся кто-то из связных.

На него зашикали. Цымбал продолжал:

— Конечно. Пистолетом помахал и кажет: «Як хто мне без команды стрельнэ, так девять грамм между глаз... Понятно? Мелочь там всякую — катера или баржи, то хай бронебойщики и минометчики кончают. А мы будем топить самый бильший пароход. Вольно! По номерам разойди!» Такая речь, как дополнительный боевой комплект, подействовала... Номера стоят, как истуканы, глаза повылупили. Видят, действительно дело сурьезное. Такой длинной речи они от своего командира давно, видать, не слыхали. И стали ждать. Лежат на песочке, загорают.

— И прозевали? За что выговор Мыколе? — спросил нетерпеливый Вася Коробко.

— Подожди, не лезь поперед батька...

— Значит, пушка Мыколы и наша вторая рота на самом берегу. Ну, а сбоку Аревичей, на песчаной высотке, возле сосенок, комиссар наблюдательный пункт выбрал. И дед наш туда вышел. Глядят. А Припять как на ладошке оттуда. Ближе к полудню показались на реке дымки. Потом загудело. Стали сиренами они перекликаться, гундосые у них такие гудки, не то что наши на Днепре или на Волге. Вроде как фашисты шпрехают себе под нос теми гудками. Ковпак тихо матюкнулся. Связные сразу во все стороны, к реке. Поняли, значит, команду: приготовиться. Без приказа не стрелять. Запускай их в мешок огневой. Уже два глиссера — один настоящий, второй так, на катерок смахивает, дымит на угле или, может быть, на дизеле — мимо нашей роты проскочили. Молчим. Вот прошел еще один пароходишко, речной, небольшой, вроде буксира. Не стреляем. Баржа самоходная плывет, и на палубе у нее полно пехоты. Как потом оказалось, рота речной полиции была там нагружена. Ну, тут дали команду, и сразу со станкачей и ручников ту палубу стригут да минами накрыли. Фрицы в воду прыгают, плывут к берегу, тут их автоматами стали полоскать. Вслед за баржей еще один буксиришко и один катерок проскочили вниз. Там их Кульбака потопит, думаем, — стоял батальон Кульбаки ниже, у самого моста.

— А говорил — всего пять пароходов?! А уже шесть получается, — улыбнулся Вася Коробко.

Цымбал продолжал:

— Говорил же я вам, що вначале двадцать шесть насчитали, а к концу только пять оказалось, и точных данных разведка не дала. Вот шесть штук прошло, а може и семь, не упомяну. А Мыкола молчит. Дед стоит на своем наблюдательном, в бинокль смотрит. Бой в самом разгаре. Он и спрашивает комиссара: «А що это наша пушка не стреляет?» Комиссар не отвечается. «А ну, малой, скачи, выясни и доложи, почему пушка не стреляет». Наш «малой» — это же Семенистый, связной. Самый шустрый, Михаил Кузьмич! На коня и галопом на пойму. В это самое время и показался самый большой пароход. «Лейпциг» его название было. Мыкола встал во весь свой длинный рост, прижался к казеннику, руку на ручную наводку положил. «Оце наш», — говорит. Номера замерли со снарядами в руках. Мыкола подпустил поближе и одним снарядом как даст ему прямо в бок. В котел угодил. Капитан, видать, хотел пластырь на пробойну поставить, рулем судно на правый борт

положил. Но не рассчитал, повернул слишком круто вправо, ближе к берегу. И прямо на мель посадил своего «Лейпцига». Мыкола встал во весь свой рост и говорит: «Этому хватит!» Снарядов-то у него семь штук осталось. «Кто ж их знает, сколько еще приплывет с того королевского канала? Говорили же поначалу разведчики: двадцать шесть штук видели». А в это время малой по лугу скачет во весь опор. Осталось ему каких-то метров сто, как в это время с того «Лейпцига» очередь из пулемета. Малой — кубарем с коня. Ковпак смотрит с НП в бинокль: «Не видно — убило чи ранило малого... Или, может быть, сам спешился». Рассвирепел командир: «Комиссар, я до пушки, порядок наводить». На коня вскочил и галопом к тем штабелям сплавного леса. Но скачет хитро, зигзагом, вдоль складок на луговине. Доскакал. На полном ходу с коня слетел, бросил поводья за штабелем леса и с нагайкой подбегает к пушкарям: «Сметанники! Туды-растуды и обратно! Кто командир орудия?» Значит, Мыкола встает во весь длинный рост. Под козырек взял. «Почему пушка не стреляет?» — кипит Ковпак и плеткой перед самым носом Мыколы размахивает. Ну, Мыкола вже хочет ответить, но ему надо вперед подумать минуты две.

— А потом двумя пальцами потылицу чесать, — залился смехом Вася Коробко, уже слышавший эту историю.

— А рука занята, под козырек держит. Ковпак совсем терпение потерял: «Чертовы вы боги, а не артиллеристы. Вам бы сметану только собирать да за бабьи подола держаться. Выговор командиру орудия!»

Тут как раз наш Мыкола два пальца на потылицу положил. Но не успел он как следует подумать, подлетает к ним командир батальона, наш геройский Петро Леонтьевич Кульбака, бывший кооператор и дуже дипломат. Всегда он умеет к командиру с подходом сунуться. Пушка значитса за его батальоном, и выгзор в батальоне, конечно, ему ни к чему. Понимает, что говорить сразу наперекор нельзя, уж очень командир разгорячился. Поэтому он начал издаля, с рапорта. Тоже руку под козырек и рапортует: «Товарищ командир, Герой Советского Союза...» На такой рапорт командир, немного поохолонув, тише: «Ну, що там у тэбэ?» — «Так я насчет того орудия, товарищ командир, Герой Советского Союза...» — «Так почему пушка твоя не стреляет?» — вже поласковее пытает Ковпак. «А не стреляет потому, что она, товарищ командир, Герой Советского Союза...» — «Да знаю уж, герой, герой... Ты мне прямо говори, почему не стреляет?» — «А не стреляет она потому, товарищ Герой... извиняюсь. Не стреляет потому, что он и одним снарядом в пароход попал». Ковпак встал. Подумал, посмотрел на обоих, подошел поближе к штабелям и выглянул. Пароход стоит как на ладони. Его теперь до следующего половодья с мели не стащишь. Хмыкнул дед и до Кульбаки: «Попал, говоришь? А чога пароход не тонэ?» — «Потому не тонэ, товарищ командир, Герой Советского Союза... Не тонэ потому, что сел на мель!» — «А ты не брешешь?» — спрашивает Кульбаку Ковпак. «Да хйба ж я когда вам брехал?» — говорит кооператор укоризненно. «Ну ладно, выговор снимаю, объявляю благодарность», — говорит Ковпак. И цигарку закурил.

Пока шел этот рассказ, я все думал: правильный ли выбор? Уж очень резко отличается Мыкола по своим личным качествам от Руднева, который казался нам образцом комиссара. Да и не только казался... Правда, после истории в Аревичах прошел без малого год. За это время Солдатенко побывал и в политруках роты, и «дипломатом» на Западной Украине. Ему неоднократно давал поручения Руднев. Он уже заменял секретаря парторганизации Панина, когда того отозвали в Киев.

Да, впрочем, и думать теперь нечего. Кандидатура Солдатенко уже послана нами на утверждение. Теперь надо вместе с ним работать.

Я нашел Мыколу в Третьем батальоне. Он сидел у Брайко, просматривал подшивку сводок Совинформбюро, делая какие-то заметки в записной книжке.

Я не стал ему мешать. И, шагом проезжая по затихшему селу, подумал: «Надо будет подсказать Цымбалу, чтобы он эту байку про Припятю прекратил рассказывать. Для начала она, может, и годится. Так сказать, для солдатского авторитета... А теперь хватит. Пусть сам Мыкола действует. А мы поддержим. Чудно! Раньше комиссары о командирском авторитете хлопотали, а тут что-то совсем наоборот получается...»

В конце второго дня марша наша колонна напротив города Столина подошла к восточному берегу Горыни. Разведчики уже ждали нас. Сведения, полученные ими, были довольно утешительны.

— Сплошной линии фронта нет. Но в городках и крупных селах гитлеровские гарнизоны,— докладывает Кашицкий.

— Явная очаговая оборона. Круговая,— добавляет Осипчик.

Конечно, если поискать, то можно было бы и проскользнуть между этими очагами. Но ощущалась внутренняя чисто командирская потребность проверки в деле боеспособности соединения, в особенности новичков.

Бывший Олевский отряд Федчука до сих пор участвовал только в засадах и мелких стычках. Многим командирам он не внушал серьезного доверия. Сам комбат Платон Воронько на мои вопросы только пожимал плечами.

— А кто ж их знает! Хлопцы вроде ничего, держатся бодро...

— А в глазах як? — спросил Солдатенко, уже понемногу входивший в новые обязанности замполита, хотя Киев пока и не присылал утверждения.

— Да в глазах большой лихости нет. Кроме того, бабы растравили. Со своими прощаниями да причитаниями.

— Как смотришь насчет Столина? — задал я прямо вопрос комбату.

— А чего же? Можно попробовать. Проведем сегодня ночью разведку...— охотно отвечал комбат.

— Нет уж, разведку вести некогда. Если брать, так сегодня ночью. С ходу.

— Это посложнее.— Воронько почесал чуприну, сразу на глазах превращаясь из вихрастого поэта в рассудительного хозяина, вдумчивого комбата.

— Разведка проводилась, но не из расчета на бой. Хлопцы из главразведки шупали,— ответил начштаба Войцехович.— Ты, Платон, езжай к ним, потолкуй с Кашицким и Осипчиком. Возьми у них все сведения, а через час — полтора вместе с командирами рот возвращайся в штаб. Прикинем задачу.

Столин решили брать с ходу в ночь на десятое. Расчет был на внезапность. От разведчиков и проводников выяснилось, что напротив города реку уже прихватило льдом.

— Хотя он и прогибается, но не трещит,— докладывал многоопытный Кашицкий.— Как в прошлом году Припятю. Пехота вполне может рассчитывать на успешную переправу.

Неясно было одно: как укрепился противник в Столине. Есть ли там окопы, проволочные заграждения, дзоты? Или всего-навсего придется выбивать фрицев из городских зданий. Сложность заключалась еще и в том, что нельзя было перевезти по тонкому льду пушки. Сумеют ли к тому же олевские хлопцы сделать быстрый и незаметный бросок?

— Попробуем,— сказал не очень уверенно Платон.

В полночь начался бой. И сразу же, с первой минуты, стало ясно, что дело пошло неважно. Батальон Воронько перешел реку хорошо, быстро

и незаметно ворвался на улицы города, но в центре, огороженном колючей проволокой, застрял, залег. Началась тягучая перестрелка. Изредка бухал наш миномет, сухим треском отзывались автоматы, новые противотанковые ружья выплевывали сразу по целой обойме.

— Продвижения нет,— сказал через полчаса начштаба.

— Плохо. Залегли — теперь их не поднимешь,— чертыхался Солдатенко.

Вдруг залпом зажавкали немецкие минометы, завывли скорострелки и вражеские станкачи.

— Контратака. Эх, дела! — вскрикнул начштаба.

Еще через полчаса начштаба предложил дать приказ об отходе. Выслали связного. Но он застрял на льду. А как выяснилось потом, Платон Воронько без приказа не решился отходить. Обстановка говорила, что преимущество партизан — внезапность — нами все более и более теряется. Когда же олевчане, все-таки не выдержав контратаки, стали откатываться, фашисты выкатили на берег — высокий западный берег — минометы и станковые пулеметы. Необстрелянный батальон отходил по льду в панике, под огнем. С нашего берега мы выставили прикрытие. Подавили немцев огнем двух пушек. Но когда батальон переправился обратно, с ним не было комбата. Он остался, раненый, на льду.

— Это же позор для всего батальона! — буркнул Солдатенко Цымбалу, всего второй день комиссарившему у олевчан.

Тут же, в прибрежном лозняке, Цымбал устроил командирам отошедших рот и политрукам хорошую нахлобучку. И сам вторично повел партизанскую цепь на лед. Пушки держали Столин и противоположный берег на прицеле, цепь двигалась бесшумно, и, пока она шла по темному берегу, противник ее не обнаружил. Но как только фигуры бойцов зачернели на светлом ледке Горыни, ударил шквал огня. Атаку партизан уже не могли прикрыть даже пушки. И через несколько минут цепь снова откатилась назад.

И все же задача была выполнена: раненого комбата вытащили волоком, положив его на большой тулуп, который легко скользил по льду. Но и Цымбал был ранен, хотя и остался в строю.

— Эх, не повезло Платону. Не повезло. Какой был бы командир полка! И вот... — скрипнул я зубами, когда мимо пронесли тяжело раненного комбата.

Этот боевой эпизод через несколько лет вспыхнул в своеобразных лирических стихах, написанных самим Воронько:

Коли виносили із бою
Мене по чистому льоду,
Чотири впало на ходу,
А два дійшло...

Два коротких четверостишия лучше всякого пространного описания передают суть этой памятной ночи.

...І я з тобою,
Тому що там на полі бою
Чотири впало на льоду.

Итак, рейд начался. Но первый бой был неудачным.

На следующую ночь, обойдя Столин с севера, наши отряды форсировали Горынь. За сутки крепенького мороза лед прибавил прочности настолько, что колонна свободно могла перейти на западный берег реки. Только для тяжелых телег и пушек пришлось сделать узкий дощатый настил с длинными, похожими на редкие щпалы доперечинами.

Ступив с настила в сторону, я вышел на темно-зеленый прозрачный паркет первого льда. Гляжу как зачарованный вниз и вижу, как под ледяным панцирем сердито ворчит Горынь. Упругие гитарные струны гудят подо мною. На еще более мрачной стремнине позванивают быстрые струи...

И вдруг словно покачнулась земля. Лед прогнулся.

А бойцы колонны, чтобы не мешать переправе тяжелых подвод и артиллерии, растекались мелкими ручейками по льду.

— Товарищ командир. Шли бы вы по настилу,— сказал старший сапер Яковенко, мастер партизанских переправ.

По настилу двигалась пушка.

«Вот куда ты уже попал, подарок рабочих киевского «Арсенала»,— думал я, шагая к западному берегу Горыни.

За те несколько коротких минут, что я провел на берегу Горыни, все видимое пространство было покрыто черными фигурками бойцов, озабоченно перебивавшихся на запад. А из лесу выползали все новые и новые. Не было слышно ни криков, ни матюков. Спокойно, деловито, в темноте разбирались люди, и каждый находил свое место и выполнял свое дело.

«Даже новички в рейде не путаются под ногами и не нарушают слаженности движения»,— подумалось мне.

В трех-четыре километра за Горынью проходил тракт. И сразу за ним — железная дорога. На ней было заметно необычное оживление. Разведчики, высланные еще днем и поджидавшие нас в рощице недалеко от переезда, сообщили: за день по железке прошло более десятка эшелонов.

— Цифра небывалая на этой однопутной рокадной дороге. Что думаешь, начштаба?

— Надо с ходу атаковать. Не сегодня-завтра тут будет фронт.

— Днем?

— Сейчас. Авиация нам тут не страшна.

Через полчаса, необходимых боевому охранению и авангарду для движения вперед, мы прошли с небольшой перестрелкой через переезд, охранявшийся мадьярами. Под копытами свежеподкованных коней, певучая, звонкая, запела дорога.

— Вот начнут наши быки разъезжаться ногами, скользить на гололеди,— намекает помпохоз Федчук.

Я помалкиваю.

На рассвете расположились в селе Колодно, в полутора десятках километров западнее Столина. Наше соединение уже бывало в этих местах в феврале 1943 года.

— Пересекаем свой старый маршрут,— узнавали места многие командиры.— Только тогда с Князь-озера шли мы с Ковпаком и Рудневым на юг, на Западную Украину.

Колодно и его окрестности расположены на слегка всхолмленной местности, за которой дальше, на север и на запад, начинается низменная равнина. Там на десятки и сотни километров чавкают, пузырятся бескрайние Пинские и Каширские болота.

С переходом рокады путь на запад был открыт. Теперь, если на рубеже Горыни фашистское командование и попытается воссоздать фронт, нам это не страшно. Мы уже будем западнее его. Но перед нами растянулся другой, не менее трудный для нас фронт: вязкий, непроходимый фронт болот и топей, с отсечными позициями осушительных каналов, волчьими ямами бездонных трясин и густой чащобой непроходимого мелколесья.

— Для местных партизан эти дебри, может быть, и хороши,— резюмировал Петя Брайко,— но нам сейчас они не годятся.

— Тут можно залезть в такую пущу, что и не выберешься. Корми

мошкарю и пивок до конца войны,— недовольно борчал командир кавалерии Усач. Он не любил ни лесных дебрей, ни болот, где нельзя было развернуться в лихой конной атаке.

— Стремительный марш нам сейчас нужен, да-да... Сплошной колонной. Такая местность нам ни к чему,— поддержал его Петя Брайко.

— То ли дело, генацвале, Карпатские горы,— весело поддразнивал Кульбаку Давид Бакрадзе.— Вышел на горку — на сто километров вглубь!

Кульбака только головой завертел в ответ. Он терпеть не мог гор. Спустившись с Карпат под Делятином, это он заявил во всеуслышание:

— Теперь хоть и помирать... Все на ровном месте...

Да, горы, болота и непроходимые леса — это не самая лучшая местность для партизан-рейдовиков. Именно по этим причинам мы выбрали несколько иной путь. От Колодно свернули на юго-запад, где равнина немного подымалась, становилась пересеченной и лес не стоял бескрайним густым сплошняком.

— Нужно сделать рывок километров на сто пятьдесят и выйти в направлении Ковеля,— сказал я вечером начштаба.— Давай прикинем по карте, а?..

Там, впереди, перед нашими взорами на карте маячил новый партизанский край, где дислоцировались отряды генерала Бегмы и крупные соединения под командованием двух Федоровых. Правее, поближе к Пинским болотам, огромный район занимало партизанское соединение Федорова-Ровенского, а впереди, на юго-запад, недалеко от станции Рафаловка, действовал Федоров-Черниговский. Их так и величали, как когда-то древних русских князей. А в военных переговорах и документах обозначали с прибавлением фамилии комиссара.

— Это который Федоров? — спрашивал кто-нибудь в штабе.

— Тот, который Федоров — Дружинин,— отвечали ему. И спрашивающий знал, что речь идет о Федорове, совершившем рейд из Черниговщины. Комиссаром у него был Дружинин.

Или наоборот:

— Тот Федоров, который Федоров — Кизя?

Значило это, что речь идет о ровенском партизане, комиссарил у которого смуглый, черноволосый Кизя.

— Тот, который Федоров — Кизя, нам сейчас ни к чему,— рассудил начальник штаба.— Наши заслоны с его заставами локтевую связь держат. Пока он, видимо, никуда не собирается двигаться. Передадим ему боевой привет и — ша-агом арш на запад.

— Значит, будем держать курс на Федорова — Дружинина? Так, что ли? Есть. Утвердили. Высылай вперед дальнюю разведку.

Впереди, в полустепной местности, которую нам предстояло проскочить в ближайшую ночь, находилось два-три полицейских гарнизона.

— Трудно понять, что там за войско. Какая-то помесь местной полиции с украинскими националистами и недобитками из власовцев,— докладывал новый замкомандира разведки Роберт Кляйн. Он уже понемногу осваивался с обстановкой, стажирясь у капитана Бережного.

— Мы думаем проскочить мимо. Не связываться же с этим сбродом? Пускай волынцы с ними повозятся, раз они до сих пор на своей земле эту пакость терпят,— резюмировал данные разведки начштаба.

Но связаться пришлось. Вечером перед маршем к помпохозу Федчуку явилась депутация от подводчиков. Они хорошо помнили его обещание: после Горыни их должны отпустить домой. Федчук, хозяин своего слова, взмолился в штабе:

— Надо отпускать быков, товарищ командир. Народ и так обижен.

— Что с вами поделаешь?! Сам вижу, что надо.

И вот на ходу мы разработали налет на бандитские гарнизоны.

— Занимать нам села нужды никакой нет. Только отсечь гарнизоны от фольварка, где находятся лошади. Эту мысль и вложи в устные приказания комбатам,— сказал я Войцеховичу.— Боевого приказа писать не будем. Не прибавит эта операция нам славы. И для истории ни к чему. Правда?

Начштаба согласился.

— Не стоит на эту пакость и бумагу марать.

Хозяевам воловьих упряжек Федчук заявил:

— Каждый, кто приведет ладную повозку с лошадьми, сдавай ездовому, перегружай груз и отправляйся домой восвояси.

— А документы?

— Какие еще документы?

— О том, что мы были мобилизованы. Сколько дней пробыли, и все такое.

— Народ, видать, опытный. И тертый,— хмыкнул Мыкола Солдатенко.

Налет прошел удачно. В группы прикрытия были выделены старики из Путивльского отряда, в группу захвата фольварка назначены лучшие роты тоже из сумских партизан: по одной роте от Второго, Третьего и Четвертого батальонов. Бой продолжался от силы каких-нибудь сорок минут. Помог снегопад. Пушистые легкие хлопья прикрыли фольварк от прицельного огня. Из гарнизона палили наугад, «в белый свет, как в копейку». Вылезать из своих нор трусливая шваль и не думала. Так, постреливали впереди себя — для храбрости, что ли. Мы быстро и сноровисто сделали свое дело. Колонна ускоренным темпом, огрызаясь пулеметными трассами, рванулась на запад и к утру зацепилась за Рафаловские леса.

С рассвета в штабе стало многолюдно, словно в день получения в конторе какого-нибудь леспромхоза. Старшины рот и помпохозы батальонов являлись, окруженные толпами веселых и возбужденных подводчиков.

— Вот это я понимаю... Все честь по чести. Чинно, благородно. Как надлежит настоящим военным,— разглагольствовал тот самый высокий седобородый старик, который еще в Собычине норовил смыться со своими круторогими волами.— Теперь документы получим и — погоняй.

— Назад порожняком быстро отмахаем...

— Напрямик через Высоцк,— поддакивали старику два инвалида — один на деревянной ноге, другой с пустым рукавом.

— А може, и через Сарны. Там уже, мабуть, Армия наша Червона.

— Нет, через Высоцк будет сподручней. Там Сабуров наступает. Мы с ним лично знакомы.

— Старшина, подтверждай: груз сдан — принят! Новые, уже пароконные, повозки оборудованы. Счастливый вам путь, добрые люди!

Получив справки, подводчики тут же подпарывали подкладки пиджаков, шапок, припрятывая большевистские документы.

— Это чтобы перейти свободно через рубеж! Там еще можно встретиться с немцами и их прихвостнями.

Командиры провожали первую партию подводчиков до околицы. Федчук держался гоголем. Подходил к своим землякам. (Были среди них уже и подвыпившие.) Прощался. Передавал приветы, поклоны и советы. Мы с удивлением наблюдали за ним, и я увидел своего помощника в каком-то новом свете. Это был народный вожак, пусть вожак всего нескольких лесных деревушек, но вожак, избранный народом, признанный им.

— А мужик он у них, видать, авторитетный,— сказал мне Солдатенко.

— Что же такое авторитет, Мыкола? — спросил я у кандидата в комиссары.

Он задумался.

— Мабуть, щоб народ... уважал...

— И только?

Больше. Мыкола ничего не сказал, но всю дорогу обратно поглядывал на меня испытующе.

Вернувшись, я сказал начштаба Войцеховичу:

— Ну, Василь, теперь мы всерьез вышли на оперативный простор. Вперед до самого Западного Буга можно двигаться без остановки.

Видимо, и на меня действовало общее приподнятое настроение. «Эх ты, главноверх лесной заварухи... Но ведь все ободрились тем, что заполучили свой собственный обоз. А я что, хуже всех, что ли?..»

— Если уж на волах вырвались, то конями пойте-о-ом!

— Ход конем? Это как же понимать, товарищ командир? — спросил вдруг начштаба. — В смысле этих полицейских коней-кобылят или в смысле тактического хода... Как на шахматной...

Мы задумались. Действительно, до сих пор ползли на волах вроде шахматных пешек.

— Поглядим дальше, Вася. Эту мысль обдумать надо. Как бы не зарваться.

Снова и снова изучали с начштаба лежащую перед нами на карте местность. Зеленое море раскинулось до самой Вислы. Позади вытянулась Горынь. Впереди, с юга на север, пересская наш маршрут, текут всякие речушки: километрах в ста западнее нас путаное кружево — вязь Стохода; еще сотня километров на запад — и там уже круто петляет, тоже стремясь на север, Западный Буг; а южнее — Сан, севернее — мощная голубая лента многоводной Вислы. Все это рубежи боев начала первой мировой войны, боев 1914 года и позиционного гнилого отсиживания в окопах 1915—1916 годов. А южнее, в степной Волыни и Галиции, гигантское поле трагического танкового сражения июня 1941 года.

Мы разглядываем театр будущего рейда по десятикилометровой генштабовской карте. Но тянет больше к двухкилометровке. На ней ведь рельефнее местность, видишь дороги и тропы, сталь рельсов и железные фермы переправ на коммуникациях, бетон мостов на шоссеиках, очертания лесных опушек и полян, конфигурацию населенных пунктов. Сидишь над картой, и невольно напрашиваются сравнения и параллели.

— Во всяком случае, до Стохода путь свободен, — задумчиво говорит начштаба.

— Народ втянулся. Можно на завтра намечать сорокакилометровый марш? Как думаешь? Потянут?

— Разрешите пехоту посадить на санки?

— Да, если хватит саней. И марш начинать за два часа до наступления темноты.

— Попробуем. Леса. Авиации что-то у фрица не густо.

— Да, друг Вася, в авиации теперь перевес наш. И фронтовики все в один голос это же утверждают.

Пользуясь установившейся хорошей санной дорогой и тем, что фашистскому командованию сейчас явно не до нас, мы стремительно рвались на запад. Сарны уже были заняты войсками Ватугина. Вдоль железной дороги откатывались немецкие части в направлении Ковеля. Лесные дебри были очищены от противника многочисленными партизанами. Мы вошли в тот район, который год тому назад шутя прозвали «районом дядей». По какому-то неписаному правилу командиры небольших диверсионных групп именовали себя схожими кличками. Тут были сотряды

«дяди Пети», «дяди Коли», «дяди Васи», «дяди Жени» и еще добрых полутора десятков «дядей». Потом они оказались Героями Советского Союза Бринским, Прокопюком, Карасевым, Бановым... А кроме того, с лета 1943 года тут уже базировались и отряды покрупнее, о которых сказано выше. Только Ковель на юго-западе да на северо-западе Брест удерживались крупными немецкими военными гарнизонами, и вдоль железных дорог стояла сплошная линия блокпостов и станционных гарнизончиков. Да еще где-то в глуши, в самом переплетении каналов и болотистых речушек, заблокировался полесский городишко Камень-Каширский. По слухам, фашисты передали его украинско-немецкой полиции, активно сотрудничавшей с бандеровцами. Все же остальное Полесье давно было в руках партизан.

Начштаба повеселел, хлопнул по плечу командира кавалерии, лихого Сашу Ленкина.

— Ну, Усач, теперь уж мы всерьез вырвались на оперативный простор! Газуй, брат, на все четыре кобыльих копыта.

— Люблю размах и движение! — подкрутил ус Ленкин.

— Как это у тебя? Ночка темная, кобыла черная...

— ...Едешь, едешь да пощупаешь, не чертяка ли тебя везет, — закончил с удовольствием свою любимую прическу Усач.

Я прекрасно понимал настроение начштаба. У всех подъем и оживление. Тонкая пуповина полуторамесячной сидячей жизни явно оборвалась. Может быть, незаметно и без боли она и была перерезана острым ножом горынского рубежа. «Но не обошлось и без крови... Эх, жаль Платона...» Его мы отправили в Киев на паре коней и с двумя санитарями. Хирург Скрипниченко, прибывший к нам после Карпат, успел с ним подружиться. Он хлопнул стакан первака и несколько часов при освещении полесского «парашюта» вытаскивал из полости живота комбата осколки разрывной пули и клочья полшубка.

Прошло три дня. Стремительный марш, маленький успех, и у людей проснулся выработанный годами рефлекс движения, а вместе с ним и лихость, беззаботность, отвага.

Дал команду по колонне: привал на тридцать минут, и спрыгнул с тачанки. Хотелось размять затекшие ноги. Через минуту где-то рядом быстро и осторожно затюкал топор. «Фу ты, черт! Никак для костра хворост рубят?» Пошел на звук приглушенных голосов. В свете выгнувшейся луны блеснуло лезвие топора. Кто-то ловко обрубал снизу молодую пушистую елку, кто-то, катаясь шариком, подбирал лапник и оттащивал его к кочке, густо покрытой прошлогодней сухой и ломкой травой. «С комфортом даже на полчаса устраиваются. Не втянулись еще хлопцы в марши. Ученье надо...» Задумавшись, я остановился в стороне, наблюдая легкую и какую-то слаженную, милую сердцу возню хлопцев, устраивавших себе «комфортабельные» ложа. Где-то совсем рядом сверкнул красный светлячок папиросы, тут же упрятанный в рукав. Понялся смешок, и чей-то густой, простуженный голос произнес:

— Да, братва. А погодка-то не устоялась. Не разберешь: сани готовить, телегу ладить?..

Затрещали сучья под мощными телами, подминавшими походную постель, раздался смешок, и молодой голос, захлебываясь, сказал:

— Пусть про погоду старшина думает да господь бог. А мне вот лично жаль было от хозяйки нашей последней в путь трогаться. Ну и красива-а, гадиска!.. Коса — в руку, росту — высокого, гладкая, как печка, не ущипнешь.

— Хороша-то она точно хороша, — выругался тихо и виртуозно кто-то забравшийся в самую гущевину молодого ельника. — А бульбу на завтрак ни разу за три дня чищеную не подала. Все в мундире... Спать она, видать, хороша!

— А нам досталась уж такая карга, такая ведьма, не приведи ночью присниться! Испугаешься,— весело сказал другой голос.— И чего там квартирьеры смотрят? Абы куда пихнуть.

— Да они ж не обязаны выбирать по вкусам, чудак.

— Да я ничего и не говорю. Тем более бельишко нам наша ведьма всем выстирала, зачинила. Нас у нее одиннадцать человек стояло. Сапоги всем просушила, жиром смазала. Гляди... Ноги как в печке, теперь не сапоги, а благодать. Портяночки всем сменила. И откуда она такие раздобыла мякотькие? И всем хватило.

Раздались смешки.

— Ну и что же портяночки? Наша все равно лучше. Королева, а не хозяйка,— не сдавался молодой голос.— Картоха что — это дело проходящее.

— То-то тебе всыпали по первое число за нечищенное оружие. Политрук и то крыл...

И вот уже слышалась команда: «По коням!» Зашевелились, поднимаясь с лапниковых лож, так и не решив извечной дискуссии о красоте и пользе, смешались голоса, и через пять минут колонна вновь двинулась...

Пользуясь тем, что над лесами совсем не видно было разведывательной авиации фашистов, мы на следующие сутки полностью перешли на дневной марш. Это облегчало движение, сберегало силы.

— Марш стал похож на прогулку, товарищ командир,— потирая руки, говорил мне начштаба, подвалившись боком на розвальни.

Но я ничего не отвечал на лихие реплики.

Думалось и о другом — о рейде и его цели. Правда, я не знал тогда ни формул, ни соображений, ни даже общей концепции, составляющей зерно, метод советского оперативного искусства. Но суть того, что в нем называют «глубокой операцией», начал осмысливать как практик именно в эти дни. Прimitивно, смутно чувствуя и, так сказать, по боевому опыту, на ощупь улавливая значение сложных и многообразных условий, которые создаются независимо от нашей воли, хотя зерно их командир обязан понять и использовать с максимальной выгодой для своего войска, я уже знал, как ведущий вперед боевую единицу командир всем своим естеством срастается не только с картой, которой он доверяет свои мысли и проводит над ней бессонные часы, но и с самой местностью: с ее горизонтами, далями, четкими рисунками лесов и безбрежной зыбью равнин. Не только мыслями, но и всем телом, кожей, мышцами, узелками нервов чувствуешь то, что впереди. Мало того — мысль все время упорно возвращается к фронту, к наступающим частям Советской Армии, к возможной и реальной нашей помощи... А впереди, конечно, разведчики. Они рассеялись веером и прощупывают, разглядывают бугры, дороги и бездорожье. Справа, к Камень-Каширскому, рыскает со своим отделением неутомимый Кашицкий; вперед мчится на трех санях, выставив по бокам четыре пулемета-ручника, долгоязыый Журов — его длинная, как у журавля, шея вертится во все стороны, острые глаза пограничника шарят по горизонту, пролескам, лесным полянам, крючковатые пальцы на спусковом крючке; налево, к самой железке, газует верхом Миша Демин, или Мишка Ария, как его прозвали за чудесный голос, которым он услаждает на привалах слух партизанок... А Шкурат и Мурашко — разведчики из Третьего Кролевцевого, а Иван Дудка и ученики знаменитого Швайки, а уралец Берсенов, а бравая комсомолка Надя Цыганко?.. Это они освещают тебе путь, делают тебя более зорким, уверенным. Но, конечно, глубина проникновения командирской мысли, а вслед за нею и стремительно движущихся колонн зависит не только от предстоящего противника: его можно обмануть, силы его преуменьшить хитроумными маневрами, разуму его

противопоставить свой. В партизанской войне особенно следует учитывать, как встретит тебя на этом оперативном просторе народ. В любой войне действия войск во многом зависят от окружающей их среды, а в партизанской особенно. Не знаю, как при планировании крупных оперативно-стратегических операций с огромными массами войск, со всей их сложностью и взаимодействием различной техники, учитывается ли этот, на первый взгляд, неуловимый фактор или он загнан куда-то на самое последнее место в таблицах взаимодействия, но при движении в рейде партизанского соединения это уже не простая графа в штабном документе, а сама жизнь. Успех или провал! Она кровь твоих подчиненных! Среда либо увеличивает твои силы многократно, либо, при неблагоприятных обстоятельствах, тормозит не только само движение, но умаляет и боевую силу и результат рейда.

Мы уже познали это на собственной шкуре летом.

«Надо было не в Гуцулию нам переться, а на Советскую Подолию и на Хотин идти. Там революционные традиции Котовского да гайдучества были бы нашим резервом», — говаривали тогда не раз Тутученко и Бережной.

Сейчас же мы двигаемся при самых благоприятных условиях по освоенному партизанами району. И это, бесспорно, облегчает нашу задачу. Переход через партизанский край — просто отдых. Надо его использовать. Лежу на розвальнях, и под скрип полозьев хорошо думается: «Значит так: втянулись в рейд. Со скрипом, но дело пошло. Теперь что? Наверное, расстановка командирских кадров. Это одним махом не решишь. Но уже кое-что сделано: комбаты на месте, командиры рот, политруки — вроде тоже. Вот разве разведка? Там дельный командир капитан Бережной. Но его пора выдвигать — он командир главразведки с самых Брянских лесов. А кого на его место? Ну, конечно, Роберта Кляйна. Он уже пригляделся. Это командирские кадры. А политсостав? Вот где у нас слабина. Нельзя же на байках Цымбала политработу строить. Как бы тут наш «комиссар Мыкола» по неопытности не увлекся очень. Текущая политика — это еще так-сяк: газеты пока есть — читают, сводки по радио. — тоже, приказ Главковерха... Но говорят же: политико-моральное состояние... Ведь это же неуловимое ни в какие графы тонкое кружево отношений, товарищества, быта, личностей. А биографии, а проступки? Многие побывали и в плену. Какие рубцы на их душах оставил трагический сорок первый год? Их ведь не разглядишь сразу, эти травмы, но они есть. А характеры, а просто привычки? Вон в Глинном половина слушала Цымбалову байку, столпившись у дверей, а половина дрыхла на соломе».

Сказывалось на политико-моральном состоянии тесное общение всего отряда с фронтом, которое, несомненно, дало хорошую зарядку. Но любой аккумулятор, даже при самом бережном его использовании, рано или поздно откажет без перезарядки. И вот как тогда? Надо бы подсказать Солдатенко свои соображения о нашей святой обязанности — помогать фронту. Ребята, конечно, это прекрасно понимают и сами, но в текучке, на марше, в ежедневных хлопотах стирается в памяти эта первоочередная задача. Необходимо это почаще освежать — особенно важно, чтобы помнили об этом разведчики, вели разведку и на себя и для фронта.

Вспомнилось, комиссар Руднев не раз говорил: самая лучшая политработа на войне — это хорошо бить врага. Верно-то оно верно, но... Он имел право так говорить. А мы? Еще два-три марша, и повьются требования к политработе. Появился новый враг — националисты... Конечно, Солдатенко не один. Есть партийная организация. Вот провели партсобрания: о предстоящих задачах в рейде, но тут все говорилось туманно, в общих чертах, поскольку военная тайна. Нет. Надо

партсобрания проводить поочередно, чтобы в каждой парторганизации могли быть и командование и коммунисты из соседних подразделений. Неплохо было бы наших комиссаров к другим партизанам послать. Увидят там что-нибудь полезное. И надо Мыколе Солдатенко дать помощника по комсомольской работе...

Так, в раздумьях, отмахали за день по санной дороге километров шестьдесят. Поздно ночью разместились по хатам. Зашел в штаб, лег, а мысли все о том же.

Захотелось кое-что записать, я зажег «Летучую мышь», как всегда предусмотрительно оставленную ординарцем у постели. Задумался над записной книжкой.

Шорох за стеной заставил оторваться от страницы.

Покосив взглядом к окну, увидел приплюснутый стеклом нос и озорные, удивленные глаза подчаска. Делаю вид, что не замечаю. Через минуту шепот:

— Маракует чегой-то над бумагой. Вот чудак. Я бы спал без задних ног на его месте...

— А чего не спишь? — добродушно спрашивает старший.

— Так я ж на часах...

— Сам ты чудак... Тоже — на часах...

Смешок, ответ, легкий тумак и возня. Слов не слышно.

Тушу свет, натягиваю кожух и спокойно засыпаю по рекомендации шустрого подчаска.

14

Так, отдыхая, мы шли еще два дня. Разведчики, выброшенные вперед и по сторонам, легко связывались с заставами и отрядами партизанского края. Лишь изредка мы проверяли полученные от товарищей данные, если они вызывали сомнения. Штаб заботился о том, чтобы все многочисленные факты, сведения, даже слухи собрать, сплусовать в общую картину, называемую разведсводкой, а затем осмыслить ее. Разведчики же проверяли, накапливали все новые данные и снова проверяли их. Нам надо было знать, что делается на юге Волыни и на западе — там, за Стоходом. А пока мимоходом мы приглядывались к быту многочисленных отрядов нового партизанского края. Разумная и необходимая специализация этих отрядов иногда доходила и до крайностей: были отряды, долгие месяцы сидевшие на одном месте; но были и отряды, главным методом действий которых являлось стремительное движение, внезапное нападение на противника; были отряды чисто разведывательные, были и сугубо диверсионные, никогда не принимавшие открытого боя, а действовавшие только миной и толом; были конные, были пешие; были громоздкие, с обозом, стадом скота, а были и обосновавшиеся в глубинах леса, с землянками, хозяйством, семьями, гусями и курами, системой оборонительных укреплений, на протяжении месяцев и лет оперировавшие в одном районе; были боевые подпольные группы, действовавшие непосредственно во вражеских гарнизонах, такие, что днем работали в хозяйстве, на хуторах или даже на службе в фашистских учреждениях, а ночью собирались для налетов, чтобы к утру превратиться опять в хуторских дядьков или «подхалимствующих» служак. Словом, были всякие.

«Кто лучше, кто хуже?» — могут задать вопрос. Ответить на него даже и сейчас, когда с течением времени люди становятся объективнее и избавляются от временных пристрастий и заблуждений, нелегко. Тем более, что и я, ворвавшись тогда в зимний оперативный простор партизанского края, тоже был страстным представителем одной из крайностей этой профессиональной специализации. Но и тогда я имел

возможность отнестись без особого предубеждения к тем, с кем пришлось встретиться перед решительным броском в неизведанную и, главное, во многом неразведанную часть оккупированной врагом территории — равнинную лесостепь за Стоходом и Бугом.

Пятнадцатого января, остановившись на суточную передышку севернее станции Рафаловка, мы пришли в ближайшее соприкосновение с соединением Федорова — Дружинина. Оно прибыло в этот район с Черниговщины еще в начале лета сорок третьего года. Может быть, именно в этом соединении наиболее гармонично сочетались различные особенности партизан Украины. Партизаны Федорова — Дружинина совершали рейды, но одновременно у них высоко и разнообразно была поставлена диверсионная работа.

— Тут лучшие ученики полковника Старинова, — сказал Войцехович. — Мне об этих зубрах еще Платон Воронько рассказывал.

Завершив свой рейд из Черниговщины на Вольнь, командование этого соединения главное внимание обратило на диверсии вокруг Ковельского узла.

— Массированный удар по узлу дорог — это главное, что было проделано диверсантами Федорова летом и осенью 1943 года, — рассказывал мне Старинов. — Тогда, когда вы действовали в Карпатах, он Ковельский узел намертво блокировал.

О том, что руководство партийным и комсомольским подпольем было тут особенно хорошо поставлено, нечего и говорить. Во главе боевой группы черниговских отрядов стояли опытные партийные работники. О периферии этого подполья мы в то время по причинам конспиративного порядка, конечно, знали мало. Но нас больше всего интересовало, как у них обстоит дело с разведкой и не сможем ли мы осветить себе путь на запад без особых хлопот для нашей разведки. Именно с этой целью мы вместе с замполитом Солдатенко и начштаба Войцеховичем решили съездить с визитом в знаменитый Лесоград.

— Пока мы с Мыколой будем с генералами дипломатию разводять, ты, Василь, вынюхай в штабе, что у них там новенького. В особенности как там насчет немецких гарнизонов, за Стоходом, — сказал я Войцеховичу.

В качестве эскорта с нами напросились Вася Коробко и Николай Сокол. Им охота было повидать земляков.

Конечно, у этих ребят нашлась в соединении куча дружков. Особенно среди подрывников и особенно у Васи Коробко. Когда я увидел, как встретили федоровцы этого мальчугана, я понял, какого отличного разведчика-диверсанта мы приобрели.

Федоров и Дружинин приняли нас радушно. Разговоры вначале шли насчет успехов Советской Армии. Далекая канонада фронта изредка доносилась даже до этих мест. Затем наша беседа коснулась и ближайших задач. Напряжение летнего удара, переключившегося с «рельсовой войны» белорусских партизан, потребовало от Федорова — Дружинина максимального расхода взрывчатки. У наших хозяев чувствовалась нехватка боеприпасов и особенно тола.

— Диверсанты у меня орлы. Но они ж на голодном пайке сидят, — искренне сетовал Федоров. — Уже давно в котлах свою «мамалыгу» варят — вытапливают взрывчатку из неразорвавшихся авиабомб и снарядов.

Дружинин сказал напрямик:

— Везешь, наверное, тола уйму, новоявленный командир? Одолжил бы тонну-другую. А? Если жалко подарить, могу дать расписку. После войны отдадим. Хочешь, даже с процентами?

Но тут я при всем желании ничем помочь не мог. Учитывая особенность нашей тактики, а может быть, и пристрастие Старинова к отрядам

диверсантов (для него мы, рейдовики, были пустым местом, в чем и сами были виноваты, так как орудовали минами неохотно и не очень умело), толу и мин нам выделили действительно мало. В самый обрез.

— Ничем, товарищ подполковник, не могу вам помочь. У самого тонны полторы. А нам еще топтать да топтать,— ответил я федоровскому комиссару.

— Неужели опять до Карпат думаешь добраться? Понравилось? — подшучивал Дружинин.

«Так я тебе и сказал...» — подумал я, не особенно склонный раньше времени бахвалиться своими планами. Этому учили и Руднев и Ковпак. «Раньше времени не кажи гоп» — это была любимая поговорка деда. «Чтобы потом не пришлось краснеть», — добавлял комиссар Руднев.

Федоров был немногословен, но радушен. Он сам лично вызвал начштаба капитана Рванова, с которым мы вместе действовали под Брагином.

— Вот разведанными товарищи интересуются. Так вы всем, чем надо, помогите.

Отношения явно установились хорошие. А с чего бы им быть плохими? Все делали общее дело.

Но, конечно, каждый соблюдал и свои интересы. Хлопцы Федорова тоже шныряли возле нашего народа, и тут уже Федоров удивил меня осведомленностью, когда вдруг сказал:

— Слушай, подполковник, отдал бы нам одну пушку...

Я вытаращил глаза: он что, всерьез или шутит? Вторично отказывать было совсем неудобно. «Придется отдать им килограммов двести толу. Неудобно как-то». А Дружинин, со свойственным ему юмором, припирал к стенке:

— Ты, брат, не только все вооружение под Киевом загреб, а и экипировался на славу. Форс гвардейский, погоны золотые. Наверное, у тебя в запасе и полковничьи погоны есть? Давай хоть этими поделись, а? А то звание мне военное присвоили по радио, а хожу в ватной тужурке, как штатский охламон какой. Неудобно, брат,— подталкивал он меня локтем.— Командир — генерал, а комиссар так себе. Выручай...

Запасные погоны у меня действительно были, и я охотно отдал их.

— Бери, и двести килограмм толу в придачу. А пушку, нет уж, товарищи, извините, себе пригодится.

— Ну, правильно,— сказал Дружинин уже серьезно.— И за это, брат, большое спасибо. Наш Егоров и его хлопцы за каждые двести грамм, за каждую шашку толовую зубами держатся.

— Нет, зачем же, раз товарищам так трудно расставаться,— немного обиженно сказал генерал.

Но тут принесли из радиоузла сводки Совинформбюро. Дружинин громко стал читать сводку. Она была радостной. Все присутствовавшие в штабе склонились над картой. Мысленно представляли себе приближающуюся линию фронта. Она уже шагнула за рубеж Горыни и где-то вдоль Збруча подходила к верхнему течению Днестра.

Но и мы были уже глубоко в тылу врага. «И кони у меня сейчас хорошие. Завтра будут еще лучше. Одним словом, ход конем», — думалось ладно под аккомпанемент сводки. Политработники Федорова—Дружинина тщательно записывали в блокноты названия населенных пунктов, иногда переспрашивая у комиссара то или иное слово. Когда кончили слушать, Федоров сразу дал команду. Тут же политруки и комиссары разошлись по лагерю для проведения политчаса. Вместе с ними вышел и наш замполит Мыкола Солдатенко.

— Пойду перенимать опыт,— шепнул он мне перед уходом. Но так шепнул, что его слышали и командир, у которого мы были в гостях, и его комиссар.

— Ну что ж,— польщенный, сказал генерал.— Пускай перенимает. Дело общее.

Я был доволен инициативой замполита: во-первых, потому, что тут действительно было чему поучиться, ну, а во-вторых, и потому, что этот его шаг как-то уменьшал неловкость, связанную с нашим отказом передать пушку.

Беседа заняла больше часа.

— Попробовали пищу духовную, соседи дорогие, давайте и пищу, так сказать...

— Греховну-у-у-ю,— пробасил один из федоровских комбатов, крепкий, ладный, в черном дубленом тулупе.

— Прошу отобедать с нами,— пригласил генерал.

На штабном столе появились украинские миски с парующей картошкой. Их споро расставляла перед нами полногрудая женщина. Она уже внесла и бутылъ с мутноватой жидкостью. Хозяин начал с тоста:

— За боевую дружбу и с пожеланием успеха!

Затем последовало предисловие и ко второму блюду.

— Ну, бульбой подзаправились. Отдали дань основной продукции здешних мест.

— Не отведаете ли галушек?! Наши, черниговские,— немного жеманно говорила женщина, неся впереди своего высокого бюста знаменитую черниговскую снюдь.

Мыкола Солдатенко крякнул:

— Оце так адъютантша! Оце так галушки!

Дружинин поперхнулся и изо всех сил под столом нажал мою ногу каблуком. Озорные его глаза заблестели. Я даже скрипнул зубами: комиссарский каблук угодил как раз на любимую мозоль.

В остальном все было чинно, благородно. Покушали плотно, выпили в меру, только «для сугреву».

В гостях и заночевали. Выехали на рассвете, наспех проглотив завтрак.

После нескольких дней снегопада с Забужья потянуло гнилым ветром, низкое, аспидно-синее небо напоздало на черные зубцы еловых вершин. Оно так и грозило пролиться слякотным снегом, а то и мелким, занудным полесским дождичком. Когда пошли белоствольные березнячки, небо еще больше почернело, словно где-то там, на западе, в огромных чанах заваривали асфальт. Начинавшие укатываться санные дороги порыжели. Снег в лесу оседал и стал похож на смоченную вату. Надо было торопиться к следующему рывку на запад.

— Как бы не пришлось снова с саней переходить на телеги,— поглядывая в темень небес, хмурится Вася.

— Да, суток двое-трое потянет этот западноевропейский культурный ветерок, и поползешь по пузо в грязи,— говорит уже освоившийся при штабе фельдшер-диверсант Сокол. Голова его верховой клячочки почти тычется нам в плечи. Они с Васей Коробко трясутся впритык с санями.

— И болота еще не успело прихватить морозом,— совсем расстроилея начштаба.— Ну-к, донской казак, газуй! Надо сегодня же в ночь двигать за Стоход.

И пока Саша Коженков нахлестывает отдохнувших лошадей, мы на ходу, среди мелькающих по бокам елей, бегущих наперегонки с березами и осинами, делимся своими впечатлениями.

— Политраба поставлена у них хорошо,— говорит Солдатенко.

— Политруки работают как часы. Вокруг сводки каждый свое накручивал,— подтверждает вдруг Сашка Коженков.

— В подразделениях тоже порядок. Живуть, як на казарменном положений,— оправдывается мой замполит.

— Придется тебе подтянуться, комиссар,— подсмеивается начштаба.

— А что ж, правильно. Все, что полезно, перейдем. Дело ясное, — не возражает Мыкола. — А по боевой и строевой части как, товарищи командиры? — вдруг ехидно подмаргивает он.

— По подрывному делу у нас тоже послабже будет, — объективно признался Войцехович.

— Жалко, не захватили капитана Кальницкого (нашего инженера), — сказал я. — Пускай бы тоже на практике подучился.

— Может быть, все же успеем послать его? — предложил Солдатенко. — Пусть пригляделся бы, расспросил. А?

— Ну, нет! Это уже упустили. Сегодня в ночь надо марш за Стоход.

— Мы же разведку еще не посылали? — спохватился Войцехович.

— Теперь уже поздно чесаться.

— Так я же надеялся у федоровцев кое-что разузнать. А потом своих разведчиков — только бы на перепроверку. А вот разведка-то у них и слабовата. Даже за Стоходом не знают, что и почему и какой противник. Бандюки там, говорят. А сколько, где и за какое место их лучше хватать — ни гу-гу, — сказал Войцехович. — Так что погоняй, брат Коженков, погоняй. Надо будет за три-четыре часа до марша выслать своих хлопцев за Стоход.

И вдруг придержал рукой Коженкова.

— Стой. Шагом.

Резвый ход саней был сбавлен.

— Слушай, доктор. Или ты, Васек, — сказал начштаба юному подрывнику. — А то и оба. Скачите вперед. К конникам. Поднять эскадрон по тревоге. Ждать нас на западной околице села.

Через полминуты, как только ошметки талого снега полетели в кошеву саней и впереди замелькали хвосты низкорослых полесских лошадок, которым пришлось ходить под седлами у доктора-диверсанта и его юного дружка, начштаба успокоенно вздохнул.

— Все-таки выиграю полчаса, — сказал он, поднял воротник и лег спиной к влажному, промозглому ветерку.

— Потерял сутки — сэкономишь полчаса, — съязвил Мыкола.

Ответа не последовало.

Посетовав на соседей, мы и сами начали разбираться в причинах, которые ограничили работу партизанской разведки только что оставленного соединения. Да и не только его. Там, где густо были расположены бандеровские банды, мелким группам партизан почти невозможно было работать. Хорошо зная местность, имея во всех селах свою агентуру и связь, бандиты ловко и безжалостно уничтожали наши мелкие группы. Убивали из классовой, бандитской ненависти. А кроме того, специально охотились за первоклассным вооружением наших автоматчиков. Сами они были вооружены обрезам, заржавленными карабинами, а иногда и охотничьими ружьями, вплоть до допотопных берданов.

— Этот противник для нас, конечно, не новый, — сказал начштаба, поворачиваясь к Мыколе. — Но к встрече за Стоходом надо все же подготовиться.

— Что верно, то верно, — подтвердил тот.

По прибытии к себе на стоянку мы сразу же нарядили сильные разведывательные группы за Стоход. В разведку пошли эскадрон конников Саши Ленкина и три роты.

— Веером рассылай. Пусть тщательно прощупают и осветят нам обстановку, — приказал я Усачу.

Мы были уверены, что этим сильным разведотрядам не обойтись без боя. Однако ночью, когда голова колонны уже форсировала Стоход и в ближайших хуторах нас встретили оставленные разведгруппами маяки, нам показалось, что предостережения и страхи федоровцев были на-

пасны. Конные разведчики прошли вперед без выстрела, а наши пешие роты утром с ходу заняли большое село Личинье, из которого, слегка отстреливаясь, бежала в лес небольшая банда противника.

— Вышли из партизанского края! — крикнул Брайко, на ходу огрев коня плетью, и скрылся впереди.

Да, партизанский край «дядей» остался позади. Колонна медленно, но верно искала новый путь и новый ритм движения. Постепенно смолкали выкрики, понукания коней, перебранка ездовых. Народ почувствовал — прогулка кончилась. Уже давно рассвело. Мимо прошла санчасть, хозвзвод. Старшины и комвзводы вопросительно поглядывали на старших командиров: скоро ли стоянка? Но мы решили двигаться и днем. Вряд ли взаимодействие бандеровцев с фашистами дошло до того, чтобы они могли вызвать авиацию. Да и погода...

Оттепель сменялась снегопадом. Отдав команду боевому охранению, я пристроился к проходившей роте за чьими-то тщательно увязанными санями. Движение стало ровным, спокойным. Чутко прислушиваясь, отдав поводья, я секундами забываюсь, подремываю после бессонной ночи. На санях о чем-то бубнят. Ездовой прыгивает и на ходу поправляет сползающую упряжку у левой пристяжной. Двое закутанных в немецкие плащ-палатки ведут, видимо, давно начавшийся неторопливый разговор.

— Будет вам, товарищи, душу мотать... Да что станется, да как обернется... Будет то, что надо, и нечего наперед загадывать, — вפלелся голос ездового в тихо журчавшие голоса. Что-то в этом свежем и довольно громком голосе привлекло мое внимание. Я прислушался. Речь, видимо, шла о предстоящих трудностях, о поставленной соединению задаче и ее выполнении. Ездовой продолжал: — Ведь и мы сейчас не маленькие, а обученные. И позаботились о нас — дай бог на пасху. Вот обоз какой, на патронах сiju. Как на печке. Экономить не придется. И вооружения тоже полный комплект. Политрук намедни рассказывал: киевские арсеналы — пожалуйте, без разговоров, пушку нам! И с дорогой душой. А кому: не в армию, а нам — партизанам. Понимает народ, которые хлебнули фашизма полной мерой, что мы за сила.

— Сила, сила... Вот дадут этой силе, как под Делятином.

— Ну, это пускай командиры маракуют.

— Да пока вроде ведут правильно. Вперед, на запад. А куда только выведут...

— Эх вы, бу-бу да бу-бу... Как новенькие!

— Ты мне новичками в нос не тычь. Они половины не понимают, а мы — сами с усами. Да и не к тому мы вопросы обсуждаем, что поджилки у нас трясутся. Просто прикидываем, как бы все ладнее впредь было. Вот и с комиссаром тоже накладка. Все к Мыколе прутся. И чего его в штабе не утверждают — самый он для нас подходящий...

— Ну, много ты понимаешь, — подходящий. Это же не должность, а комиссар. Тебе абы назначение было на бумажке, а мы все равно ведь к Мыколе со всеми душевными болячками, как к доктору, идем. Мне вот лично плевать, что ты в немецком мундире, как сизый ворон, а все равно ты мне друг.

— Так я и коммунист к тому же...

— А я об чем же? Так и тут разумеи! Кто наградные составлять будет, это нам пока не известно, а кто с нами в самые трудные бои полезет — это дело ясное.

— Будет, стратеги! — Ездовой снова соскочил с саней и, обернувшись, свистящим шепотом добавил: — Командир за санями, его конь. А вы раскаркались, как вороны перед дождем... — И весело и спокойно добавил: — Дела-а! Каждому глазами вперед охота ходить, товарищ командир. Вы уж не обижайтесь.

— А чего мне обижаться,— весело ответил я.— Хуже было бы, если бы ни о чем не думали.

И я пустил коня вскачь, обгоняя вереницу саней. На каждом из них сидел маленький боевой коллектив в три — пять человек. И каждый думал свою думу — пусть пока маленькую, но свою думу, а из всего этого складывалось то морально-политическое состояние коллектива, о котором так много и беспокойно думалось в эти дни.

Я подъехал к саням, на которых из-под тулупа торчали длинные ноги Мыколы. Солдатенко не вмещался в небольших полесских розвальнях.

— Ты бы заказал себе кошевку по росту, что ли,— сказал я, прыгнув с верхового коня, и, разминаясь, пошел рядом.

— Успеется.— Мыкола потянулся и легко сел, спустив ноги с плетеного облучка.

Я присел рядом с ним и рассказал ему о невольном подслушанном разговоре.

— Еще не такое говорят,— сказал он неопределенно и засмеялся.

— Ты чего?

— Да так. А вот насчет политработы на марше — цэ дило треба разжувать. Та шо, дает мне командир помощника по комсомолу?

— Да бери Мишу Андросова. Но это пускай комсомольское начальство его утверждает.

— Тут еще дивчина одна есть. Надя Цыганко. Да вот...

— Чего?

— В кавалерию ей захотелось. А комсомолка хорошая.

Начавшаяся впереди перестрелка помешала закончить разговор. Я вскочил на коня, а замполит прямо по снежному полю зашагал к боковому походному охранению. Ускакав вперед с полкилометра, я оглянулся. Издали Мыкола походил на журавля — высокий, худой и молчаливый.

Чем дальше мы уходили от Стохода на запад, тем чаще вспыхивала перестрелка. А в селе Меньцы уже пришлось дать бой. Был он молниеносен, как летняя гроза. Колонна пошла дальше, не останавливаясь, оставив добычу арьергарду. Комбаты — Кульбака, Брайко, Токарь, Бакрадзе (Бакрадзе я тоже готовил на комбата, придав ему начштаба Бережного), Сердюк — подъезжали во время движения верхами к штабу, кратко докладывали о различных мелких стычках.

— Твое впечатление? — спросил я начштаба.

— Впечатление путаное. Действия носят характер дальней перебранки. Противник трусливый. Бойтся ближнего боя. Но если так двигаться долго, то, конечно, все это притормозит марш. А так никакой реальной военной силы впереди нас разведка не прошупывает.

Однако потребность в усиленных караулах и больших группах патрулей становилась очевидной. А это выматывало силы.

— Надо сделать привал часа на четыре, товарищ командир,— сказал Войцехович, подъезжая в сопровождении целой кавалькады комбатов и комиссаров.

— Где?

— Хуторок. Перед броском. От железной дороги километров десять будет.

— Добро.

Минут пять ехали молча. Каждый, казалось, думал о своем.

— Вот она, украинская Вандея,— сказал Семен Тутученко.

— Вандея не Вандея, а фашистское переиздание контрреволюции,— поправил комбат Токарь.

— Плюс петлюровщина,— добавил Сердюк.

— Плюс пятая колонна,— добавил и Брайко.

— Плюс махновщина,— загнул палец Кульбака.

— Плюс Ватикан,— снова подзадорил Тутученко.

— Плюс устроенная гестапо провокация — резня между украинцами и поляками,— добавил Войцехович.

— Ну и, может быть, еще плюс наши промахи и ошибки...— сказал всегда немного критически настроенный подполковник Журкин, наш особист.

— Стыльки плюсив нащиталы, що и пальцев не хватает,— буркнул недовольно Кульбака.

— Но есть еще один плюс,— сказал я довольно безразличным голосом.— Там, где бандеровцы, там же почти нет немецко-фашистских войск.

Все громко засмеялись.

— Так це ж уже плюс в нашу пользу,— весело сказал Кульбака.

Это было очевидно и не требовало объяснений. Но я все же продолжал:

— Конечно, в первые дни труднее будет нашей разведке, но смотрите, сколько уже прошли от Стохода...

— Километров сорок...

— А вблизи и впереди нет ни одного крупного фашистского гарнизона. Ни вышибать, ни стороной обходить некого.

Это предположение оказалось преждевременным.

15

На вторую ночь мы переходили железную дорогу Ковель—Брест. Стройные сосны по сторонам магистрали были вырублены и лежали желтыми трупами, как на отгремевшем поле боя.

— Це так фашисты предохраняют железку от диверсантов. Видать, поработали тут подрывники бати Линькова, и дяди Пети Бринского, и Федорова...— сказал Кульбака.— Холера им в бок, тем фашистам. Сколько лесу перевели.

Разведка захватила железнодорожный переезд. Были выдвинуты вправо и влево заслоны. Начался переход колонны, но со стороны Бреста вдруг подошел паровоз с двумя вагонами. Мина, поставленная заслоном, почему-то не сработала. Зато бронейщики успели всадить в паровоз несколько пуль. Шипя, как Змей Горыныч, выпуская клубы пара, он по инерции еще катился вперед.

На переезд выбежал, ругаясь страшными словами, один из старейших наших минеров Абрамов. Он полоснул очередь из автомата по тендеру катившегося паровоза и, хватаясь за голову, закричал:

— Образованные понаехали, туды-растуды их бабушку! Нет щоб понастоящему, по-партизанскому, наверняка. Говорил: либо на удочку, либо нажимного действия взрыватели ставьте, охламоны. Нет, им кислотные, вибрационные... Гоните этих с высшим образованием, товарищ командир, позору с ними не оберемся!

Я не мог удержаться от смеха. Абрамов, один из старейших минеров, еще ученик знаменитого Курса, подорвавшегося на mine в 1941 году, был сторонником старины. Он признавал только либо мины, взрывающиеся шнуром, отведенным в сторону от полотна железной дороги (на удочку), либо взрыватели, которые срабатывали от колес паровоза (нажимного действия). А в те месяцы, когда мы совершали наш рейд, отряды были богато снабжены самыми разнообразными минами.

Собственно, мина одна: это заряд в пять—восемь килограммов взрывчатки — деревянный или металлический ящик, в котором аккуратно уложены двухсотграммовые шашки тола, похожие на бурожелтые куски хозяйственного мыла. Мины упаковывали в мешок из про-

резиненной материи, так как охрана врага разыскивала их при помощи собак, натренированных на запах тола. От ищеек прятали запах либо резиновой упаковкой, либо посыпали подходы махоркой. Вся сложность дела минера во взрывателе. В начале войны использовали капсулы ручных гранат, затем пошли взрыватели нажимные — маленькие, похожие на гильзы от нагана. Каждый уважающий себя минер таскал их десятками в карманах. Затем стали применять шомпола и палочки, которые приводили в действие взрыватель от соприкосновения с осью паровоза. Использовали и графит и спичку. С начала 1943 года Старинов и другие энтузиасты подрывного дела изобрели ряд новых взрывателей: вибрирующий от содрогания почвы стальной шарик замыкал электроцепь и подымал в воздух паровоз, хитроумная пружинка действовала как ударный механизм; были мины, пропускавшие через себя несколько поездов и взрывавшиеся под заданным числом или через определенное количество часов, а то и суток,— для этого приспособлялись кислотные, магнитные и другие мины.

Пока Абрамов, сторонник старых, испытанных способов минирования, ругался и перечислял мне всех родителей и недостатки «культурных», «образованных» мин, подстреленный паровоз остановился далеко за переездом, пройди ко второй, левой со стороны Ковеля, заставе. Ее выставлял батальон Брайко. Когда разведка дошла до паровоза, он уже не дышал — пар вышел весь. Во всем эшелончике служебного типа не было ни души.

Колонна прошла уже почти вся, когда зачмыхал вдали новый эшелон. Сообразительный Брайко успел выдвинуться вперед от подбитого паровоза и заминировать подход. Теперь уже сработали сразу две мины. Эшелон оказался без охраны. Шли разные грузы, и среди них впервые мы увидели контейнеры. Долго трудились над ящиками, подозревая в них какие-то секретные грузы. Но обнаружили только станки. От перепуганного и оглушенного машиниста и тормозных кондукторов узнали, что груз идет из Днепропетровска и Донбасса. Была там и киевская мебель и масса всякой рухляди, разбираться в которой не было возможности.

Время приближалось к полуночи, а мы рвались на запад. Остался один стремительный бросок, и колонна выйдет на рассвете к Западному Бугу, то есть к границе Советского Союза. Еще летом мы побывали на границе с Румынией и Венгрией. С каким трудом и жертвами достался ковпаковцам этот дерзкий шаг! И как легко мы подходим теперь к советско-польской границе. Пройти только большое село Кукурики и несколько разбросанных хуторов. Так говорят карта и начштаба Василий Александрович Войцехович. Но именно здесь мы неожиданно получили данные разведки: в селе Кукурики — большой бандеровский гарнизон. Вот так новость! Скачем в голову колонны. Разведчики захватили «языков». Вернее, они сами напоролась на нашу разведку. Но это, конечно, высокопарная дань военной терминологии, так как «языками» оказались обыкновенные полещуки: мужик лет под пятьдесят и молодайка, кровь с молоком, годков двадцати четырех. Одетые по-праздничному, они выехали из села Кукурики после церковной службы. Православное население этих мест в ту ночь справляло «водохреща» по старому стилю. Дядько со своей снохой ехал из церкви, везя на повозке свяченный окорок, колечки колбасы и прочую снедь, вплоть до пшеничной кутьи. Вторая кутья была с орехами и медом. Разведчики чуть было не пропустили их без тщательного расспроса, но дотошный Кульбака подсел к молодайке и балагурия с ней на своем сумском диалекте, вдруг нащупал в соломе немецкий карабин. В корзине со снедью нашелся еще и обрез австрийской манлихерки. Пришлось мужичка взять за воротник. Не особенно

упираясь, он рассказал, что в Кукуриках расположен целый бандеровский курень.

— Что такое «курень», генацвале? Скажи, пожалуйста, это как понимать? — изумленно допытывался у Кульбаки Давид Бакрадзе.

— Курень — это, по-ихнему, полк, — отвечал Петро Леонтьевич Кульбака.

Бакрадзе свистнул. Тут же подошли другие комбаты, и дядько сразу понял, что дело серьезное. Он даже сообщил нам полную дислокацию банды и рассказал, что в штабе этого бандеровского куреня сейчас идет на полный ход крещенская пирушка. Он даже вызвался сам провести нас туда.

— Удачный случай. Терять его нельзя, — буркнул Мыкола.

— А не ворваться ли в село с ходу? — спросил я неосторожно начштаба.

— Та вы их, как мокрым рядном, зараз накроете! — заговорил дядько, воодушевляясь, неизвестно по какому поводу. — Вы тилько хлопцев наших, рядовых не трогайте. Я вас подведу под самый штаб ихнего куреня. Хлопцы не виноваты — мобилизованные. Всего неделю тому назад. А штаб накроете, так вы этих куркульских сынков перебейте всех до одного. И всему куреню будет крышка. А из наших хлопцев не один к вам в советскую партизанку уйдет. По своей охоте. Ей-богу, крест на мне.

Кое-кому показалась странной эта метаморфоза. И, подсев к нему плотную, наклонившись к его лицу, я постарался сделать лицо посвирепее, а взгляд пронзительным.

— А оружие откуда ты вез?

— Так оттуда же, — нимало не смутившись, сказал подводчик.

— Чья зброя?

— Так Васылева ж... сына моего. Вон ее мужа.

— А сам он где?

— Та там же, в куреню.

И, склонившись к моему уху, он шепнул:

— Перед рассветом он оттуда тикать будет, мий Васыль. Мы его за селом ждали. Он сказал: «Пускай еще куркули перепьются добре, тогда я вас догоню».

— Безоружным тикать? — с недоверием спросил Кульбака.

— Хе... у него пистоля имеется. Хотел еще у куренного немецкий автомат потянуть. Ей-богу, ей... Вот хотите верьте, а не хотите — сами повидите.

Посовещавшись недолго, мы решили с ходу ворваться в Кукурики. Роты Бакрадзе шли первыми — перегруппировываться не было смысла. Поэтому Бакрадзе, прихватив с собой дядька проводником, и двинулся вперед вместе с Иваном Ивановичем Бережным.

— Тилько не застрельте моего Васыля, — умоляюще сказала молодайка, обращаясь к великану Бакрадзе. — Он сам по доброй воле в советскую партизанку хотел идти.

— Не беспокойся, дарагая, — сказал Бакрадзе, поглядывая на крепкую хохлушку так, что она взялась румянцем, — будет твой Васыль с нами. Если только сам крепко захочет.

Налет удался на славу. Штаб бандеровского куреня рота Бакрадзе с приданными ей двумя ротами накрыла, как и предсказывал наш проводник, словно мокрым мешком.

Это было боевое крещение Первого батальона, которым должен был, по моему замыслу, командовать Платон Воронько. Сейчас мы испытывали Бакрадзе.

— Пожалуй, потянет, — сказал после боя Войцехович.

— Поглядим дальше. Начштаба есть. Лучше Бережного и не сыщешь. А комиссаром — Тоуга.

— Писать приказ? — спросил начштаба.

— Нет. Потерпи малость. Еще приглядимся.

Рассвело, когда почти весь наш обоз, втянувшись в большое село, размещался по квартирам. В штабе разбирали трофеи, а контрразведчики быстро допрашивали пленных. Роберт Кляйн удивлял бандеровцев быстрым переходом с русской на немецкую речь. Только украинская у него не получалась. Конечно, от стрельбы и взрывов гранат, без чего не обошлась ликвидация кулацкой верхушки куреня, довольно много мобилизованных мужиков и парней, которых здесь звали «парубчиками», успело «з переляку» разбежаться. Истые полешуки, знающие каждую лесную тропу, они расползлись по лесу, как мыши из загоревшейся скирды. Некоторые, побродив по лесу час-другой и пронюхав, кто и откуда прибыл да разогнал их курень, по одному, по двое стали возвращаться. Они осторожно выходили на опушку, издали помахивая шапками, надетыми на винтовки или жерди.

Часть полешуков ночью сдалась без выстрелов.

Но такое пополнение было для нас, конечно, не шибко надежным. Посоветовавшись с замполитом и комбатами, мы решили, кроме нескольких наиболее бойких ребят, никого к себе в отряд не брать. Большую часть распустили по домам, а из особо желающих организовали местный советский партизанский отряд под командой того самого Васыля, за которого просила Давида молодайка.

Бакрадзе сам подвел его к молодой жене.

— Ну вот, получай своего Васыля в целости и сохранности...

— Ой, спасыби ж вам, пане-товарищу,— начала она кланяться, пытаясь по здешнему обычаю поцеловать Давиду руку.

— Нэт, бабочка, так у нас не делают. Руку только отцу-матери целуют. Больше никому. А если уж я так тебе угодил — так в щеку или губы целуй... Если твой Васыль ничего не имеет против.

Молодка вопросительно взглянула на мужа. Тот сказал степенно, рассудительно:

— Чого ж, Марыно, раз у них такой обычай... нам же з ними теперь разом совецьку жизнь строить...

Молодица подошла жеманно к Давиду и, зардевшись, остановилась.

— Не достанешь, дарагая? Ну, для такого случая я и нагнуться могу.

Она расцеловала грузина в обе щеки и отошла к мужу.

Среди трофеев было несколько пулеметов. Не будь случайной встречи с молодой Василюхой и ее тестем, нам бы не миновать боя с куркульской верхушкой, старавшейся втянуть простой народ Полесья в свою антисоветскую авантюру.

Трофеи были приличные: кроме пулеметов и двухсот винтовок — телефонные аппараты, два склада с продовольствием и даже обмундирование. Были и карты и штабная переписка. Две пишущие машинки с украинским шрифтом и одна с латинским. И почему-то штук пять швейных машин: одна ручная, остальные с ножными станками.

— Тоже, видать, и штаб и хозчасть ладилась завести, как настоящие вояки,— шутил кто-то из партизан.

Среди бумаг, захваченных в штабе куреня, одна обратила на себя особое внимание. Это был приказ бандеровского «главкома» Клыма Савура о том, что в связи с выходом советских войск на территорию Западной Украины вся эта территория делится на четыре «военных округа», во главе которых будут стоять «генералы» и «полковники». Видимо, Кукурики и прилегающий к ним район входили в Полесский или Камень-Каширский «округ». Командовал им «полковник» Гончаренко, проводивший насильственную мобилизацию мужского населения по всей этой округе.

— Кроме куреня, который просуществовал всего несколько дней в Кукуриках, никаких других крупных единиц севернее Ковеля мы совер-

шенно не встречаем,— докладывал мне наш особист Журкин. Он пришел вместе с Робертом Кляйном и держал в руках вороха бумаг.

— А вы что, проехали в Ковель? Туда и обратно? — спросил я особиста.

Тот ошарашенно посмотрел на меня.

— Нет. По агентурным данным...

— Вот, по агентурным данным, и здесь все было пусто. А если бы не пьянка, и не праздник, и не разболтанность врага, и не случай...

— Я могу проехать в Ковель и обратно,— сказал Роберт Кляйн.

— Успеется, для вас найдется дело посерьезнее.

Журкин продолжал:

— Тут говорится об организации школы командного состава под названием «лисовы чёрты». Но численности и места дислокации этих «лесных чертей» в документах нет.

— Это интересно. Вот сюда и нацельте всю свою агентуру. Это стоящая штука. Что еще?

— Инструкция, приложенная к приказу. Подписана этим самым знаменитым воякой Гончаренко.

Я занялся изучением «инструкции». Длинная, путаная, она в чем-то походила на гитлеровскую «Майн кампф». Кроме инструкции, была не то анкета, не то автобиография самого Гончаренко, адресованная «главкому» Клыму Савуру. Капрал польской службы из осадников, Гончаренко принял католическую веру в Польше. В первые же месяцы после прихода Советской власти он организовал банду в составе пятнадцати человек. С нею и бежал в леса. В упоении своей лесной славой Гончаренко хвастал печатно своими подвигами: он собственноручно повесил трех председателей сельсоветов и под пытками в 1939 году у него умерло около десяти активистов, крестьян Западной Украины. Но настоящим взлетом деятельности Гончаренко (он же Рудой, он же Черный Крук, он же Гримайло, он же атаман Беда) были последние месяцы сорок первого года. По заданию ээсовцев он вылавливал на дорогах и расстреливал советских военнопленных, выкуривал из лесов семьи военнослужащих, жен и детей офицеров, и уничтожил сотни евреев. С начала сорок третьего года бывший капрал польской армии стал специализироваться по заданию воынского и ровенского гестапо на резне поляков. Как всякий ренегат, он особенно изощрялся в резне католиков, хотя и сам был таковым ранее из карьеристских побуждений. Этим способом фашистские заправилы надеялись отвлечь население от антигитлеровской борьбы и толкнуть его на национальную резню. Лучшего помощника, чем Гончаренко, гитлеровцам, пожалуй, трудно было найти.

С омерзением читал я бандитскую исповедь и уже хотел бросить ее, но тут Журкин обратил мое внимание на один пункт инструкции, который явно был венцом «стратегии и тактики» бандита Клыма Савура. Говоря о том, что войска Советской Армии приближаются к Западной Украине, Гончаренко, ссылаясь на личные указания «главкома», разъяснял, что с войсками наступающей Советской Армии бандеровцам в бой вступать не следует.

— Видимо, не надеются бандиты на свои силы,— сказал, усмехаясь, Журкин.— Смотрите дальше... читайте: «А затем, когда армия пройдет дальше на запад, тогда в тылу ее начать борьбу. С советскими же партизанами вести, не прекращая, самую жестокую войну».

— Дальше, дальше,— вскрикнул Кляйн с каким-то непонятным мне нетерпением.

И мы прочли: «...Отличать армию от партизан следует по внешнему виду. Армия носит погоны, а партизаны — только красные ленточки на шапках...»

— Пошли в штаб, товарищи. Этот документик, видимо, нам надо крепко обмозговать,— сказал я Журкину и Кляйну.

В штабе уже прикинули наш дальнейший маршрут.

— Пора поворачивать на юг,— бормотал под нос Войцехович, сидя над картой.— Хватит пешкой да турой ходить. Ой, пора, ой, пора...— напевал он, измеряя курвиметром расстояние во все концы.— Тогда и будет настоящий ход конем. А? Шахматный, стратегический... Р-р-раз — и под Владимир-Волынский. А? — Он вопросительно поглядел на меня.

— А это значит?..— спрашиваю я Войцеховича в упор.

Он посмотрел на меня удивленно и замолчал.

О, это многое значило. Как-никак, а мы уже отмахали на запад больше двухсот пятидесяти километров. Шли почти по прямой немного севернее железной дороги Коростень — Сарны — Ковель — Люблин. И уже уперлись в Западный Буг. В каких-нибудь тридцати километрах от нас — Польша, или, как обозначалось на картах, изданных после 1939 года, «область государственных интересов Германии».

Тут было над чем подумать.

До сих пор единственной заботой командования соединения была только военная, так сказать чисто тактическая, разработка марша. Надо было учитывать: противника — его гарнизоны, коммуникации, наличие авиации и его намерения; расположение других партизанских отрядов и групп и возможность их помощи нам или необходимость помощи им с нашей стороны; длительность дня и ночи — сколько отпущено нам ночного времени для марша и дневного для стоянки или боя; погоду — как идем, в снег или в дождь, слякоть, жару, мороз; симпатии, нейтральность или враждебность населения... Вот, пожалуй, и все. Так мы и шли от Олевска уже одиннадцать ходовых дней. Это и был, по выражению нашего доморощенного стратега, ход турой. И вот тура почти уперлась в край доски.

Что же, начинать новую партию?

Теперь в наши командирские рассуждения врывается целый ряд дополнительных, весьма неясных, скользких и деликатных соображений. За Бугом — Польша. Тут уже, крутись не крутись, пахнет большой политикой. Общая обстановка в Польше была нам известна еще год тому назад. Во время стоянки на Князь-озере в начале 1943 года к нам являлся представитель польского подполья, некто Роберт Сатановский. От него я впервые узнал о наличии широкого польского подполья под Ковелем и Замостьем. Подполье национальное, но с освободительными тенденциями и целями. Сатановский предлагал нам союз и содействие, обещал нам возможность сразу поставить под ружье не менее тысячи польских патриотов. Где-то в Пинских болотах, в Белорусском Полесье, мы встречались и с польским полковником, усатым стариком типичного «полковничьего» вида времен Пилсудского. Он бравировал, по-мальчишески хвастал, предлагал фантастические проекты разгрома «швабов». Он не вызывал у нас особого доверия, тем более, что всем его подпольным войском завораживала его моложавая полковничиха — баба умная, хитрая, но, видимо, интриганка до мозга костей. Это мало импонировало нам, и мы до поры решили с полковником не связываться.

Сатановский же, который пробыл у нас в разведке недели две, нам понравился. Мы помогли ему оружием, советами и обещанием поддержки. Но в дальнейшем этим обещанием он не воспользовался.

— Кажется, его сосватал Сабуров — любитель всякой дипломатии и заковыристых подпольных дел,— сказал перед походом на Карпаты Руднев.

Встречались мы вместе с Войцеховичем еще с одним польским отрядом, где-то под Галичем на Днестре, во время выхода из Карпат. Кроме этих вполне конкретных представлений о польских борцах сопротивления,

действовавших на территории Западной Белоруссии и Украины, у нас в отряде было немало бойцов, бежавших из концлагерей Германии. Это были советские люди, промерившие пол-Европы собственными ногами. Они пересекли в том числе и Польшу. Всю! С запада на восток! Конечно, их рассказы меня всегда интересовали. Из встреч и бесед уже давно складывалась какая-то общая картина обстановки за Бугом и Вислой. Может быть, и смутная для того, чтобы сейчас же принимать конкретные тактические решения — войти в коренную Польшу со всей своей боевой группой отрядов или нет, но вполне достаточная для того, чтобы сделать основную оценку: за Бугом обстановка для действий партизан вполне благоприятная.

Наши сведения об обстановке за Бугом и даже за Вислой во многом становились полнее, шире... А сейчас мы подошли вплотную и в нерешительности стали вблизи самой границы... Теперь и обычная наша маршевая, войсковая разведка могла за два-три дня смотаться за Буг и принести нужные сведения. Общая ненависть поляков к фашистам была бесспорна. И все же этих сведений, конечно, было еще недостаточно для того, чтобы сразу, в один день, решиться на бросок через Западный Буг.

Вторым пунктом наших, так сказать, оперативно-стратегических размышлений был весьма щекотливый вопрос, который формулировался так: лес и степи (далеко в глубине души прятали мы от самих себя и третье в этом же ряду определение — горы!). После рейда в Карпаты слово «горы» с неохотой произносилось всеми — от рядового бойца до старшего командира. Говоря эти два слова (и дипломатически умалчивая о третьем), мы отнюдь не думали только о географических понятиях, связанных с ними. Нет, это были элементы партизанской стратегии и вытекающей из нее тактики. Дело в том, что у большинства крупных партизанских соединений, особенно широко развившихся к 1943 году, была определенная тенденция держаться на севере. Они придерживались так называемой «лесной тактики». У партизанского штаба была противоположная тенденция — сдвигать всех к югу. Увещеваниями, разъяснительной работой, приказами летом 1943 года и на юге, в степи, были достигнуты некоторые успехи: Украинскому штабу партизан удалось перебросить ряд соединений в полосу южнее железной дороги Киев—Ковель. Однако дальше дело пошло туже: партизаны упорно держались севернее шоссеиной дороги Киев—Ровно. Южнее ее были только отряды учителя Одухи (под Шепетовкой) да смелый партизан Шукаев. В том же южном направлении двинулись лишь два рейдовых партизана: полковник Мельник на Проскуров—Винницу и Ковпак на Карпаты. Да еще где-то под Знаменкой, на юге, действовали отряды под руководством секретаря Кировоградского обкома Скирды, да под Корсунем и Черкассами действовал отряд Сиворона. Остальные крупные соединения находились севернее Шепетовки и Житомира, в лесных районах. Эта своеобразная и по-человечески понятная дислокация привела к таким географическим аномалиям, когда два соединения молдавских партизан находились под Городницею, от которой до Молдавии было пятьсот — шестьсот километров.

Партизаны полковника Мельника и мы, Ковпака, конечно, гордились тем, что проникли туда, куда еще никто не осмеливался ходить: мы были партизанами не только леса, но и степи. Мельник доходил почти до Жмеринки, а Ковпак — до Карпатских гор и венгерской границы. И тому и другому Гитлер и Гиммлер основательно помяли ребра — а как же иначе: война! — но разгромить наголову ни одного, ни другого фашисты не смогли. А по военным расчетам, при соотношении сил, скажем, один к десяти (в Карпатах же соотношение было даже один к шестнадцати) разгром неизбежен. Но, видимо, тут были какие-то другие соотношения, которые простой арифметикой не объяснить. Это уже

была алгебра войны, в которой патриотизм советского народа был существенным, главным коэффициентом.

Бывал на юге еще один смельчак — капитан Наумов. Ему принадлежит честь первого крупного степного похода, совершенного еще зимой 1942/43 года по степным областям Украины. Он прошел лихим кавалерийским рейдом по Полтавщине, Днепропетровщине, Одесщине, по Кировоградской, Винницкой и Житомирской областям. Он вернулся из этого лихого рейда генералом. Об этом рейде мы с Васей многое знали. Но этот случай нам казался как раз тем исключением, которое, как говорят, только подтверждает и подчеркивает правило. А неписаное партизанское правило гласило: «Крупными отрядами на юг да в степи носа не суй!»

И большинство отрядов придерживалось этого правила твердо. На все доводы и приказы был один ответ: «Куда нам на юг? Ковпак не нам чета, да и то ему в Карпатах наклали, а мы...» О рейде по степям Наумова вообще помалкивали.

Сейчас, в январе 1944 года, хотя мы и совершали стремительный рейд на запад, однако тоже держались лесов, пока вот в этих Кукуриках не уперлись с разгона в самую «область государственных интересов Германии». Но не этого ожидали от нас в Украинском штабе партизан.

— Надеемся на вас. Конечно, вы не будете рабски цепляться за лес,— говорил на прощание генерал Строкач, крепко пожимая мне руку.— Южнее Ковпака да Мельника в степь еще никто не ходил.

«Хорошо, хоть молчит про горы»,— подумал я тогда с тревожным холодком.

И вот сейчас, в Кукуриках, сидя с Войцеховичем над картой, мы уже не раз поглядывали друг на друга, словно молча спрашивали: не пора ли круто сворачивать на юг? Тем более, что именно в этот день мы впервые после выхода за Горынь включили свой радиопередатчик. Это было тоже одно из партизанских ухищрений — правда, ухищрений такого рода, за которые в армии наверняка отдали бы под суд. Но здесь, у партизан, оно сходило с рук. Пользуясь неустойчивостью и ненадежностью радиосвязи, некоторые партизанские командиры на те дни, когда им по каким-нибудь соображениям не хотелось получать указания свыше, могущие как-нибудь нарушить их собственные планы, просто не выходили на связь. Чтобы в самом начале рейда вырваться вперед (моральная подготовка к рейду и так была чуть не сорвана), и нам хотелось иметь руки развязанными.

— Не нарваться бы только на непредвиденное распоряжение. Чтоб не путали нам карты, исчезнем для начальства? Денечков на пяток, а? — спросил я как-то старшего радиста.

Тот поморщился, конечно, но скрепя сердце перестал выходить на связь.

Первые три дня он не работал по моему распоряжению, а последние пять дней потому, что мы двигались днем. На марше рации не работали, так сказать, на законном основании. Так получилось довольно серьезное нарушение дисциплины. И вот только сегодня, в Кукуриках, мы попробовали включиться.

— Ну, как в эфире? Что слышать? — спросил начштаба у радиста Борзенко.

— Семнадцать молний,— подморгнув, отвечал Борзенко.— Как прикажете? Принимать?

— Ну, теперь от Горыни на запад прошли километров двести... Порядочно укатили. Попробуем включиться, товарищ командир,— кисло пошутил начштаба.

Я утвердительно кивнул, и Борзенко, козырнув, скрылся. Мы же стали излагать свои соображения о Польше, о лесах и степи, о повороте к югу подошедшему Мыколе Солдатенко.

— Ход конякою? О, це добре. Це вы разумно удумалы... Ей-ей, разумно... А шо той радист так швидко бигае? Хиба ж его горчицею помазали? — спросил вдруг наш когда-то немногословный Солдатенко. Вообще в последние дни он стал на удивление разговорчивым. Просто не узнать было человека. Я уже несколько дней приглядывался к нему, с удивлением отмечая эти перемены.

— Радиосвязь с Киевом сегодня включаем, — ответил хмуро начштаба.

— Ага, ага... Ну и як? — оживился замполит.

— Семнадцать молний...

— Ой, будут вам, хлопцы, ще громы, а не только молнии.

Мыкола Солдатенко как в воду глядел. Были нам и громы, были и молнии.

Радиограммы были хозяйственно-административного содержания и касались непосредственно штабной переписки. Была одна — с утверждением Мыколы Солдатенко заместителем командира соединения по политической части. Но были среди семнадцати молний две, которые заставили нас искренне огорчиться. Они вызвали непритворное раскаяние в столь nepозволительной уловке. Обе были от генерала Строкача. И, может быть, именно потому, что в них не было никакого разноса и никаких угроз, они подействовали сильнее всего.

Генерал Строкач писал: «Никак не ожидал, чтобы, так энергично показав себя в Карпатах, вы проявляли недопустимую медлительность. Красная Армия уже заняла Сарны. Перед вами рубеж Горыни, которая может стать непреодолимым для партизан фронтом. Вам самим его не прорвать...» И сразу вспомнился неудачный бой за город Столин, ненужные потери, ранение Платона Воронько и Цымбала...

Во второй радиограмме сообщалось о том, что крупные соединения генералов Сабурова и Бегмы заняли на Горыни город Высоцк и Домбровицу.

«...Линия Горыни в этом месте, таким образом, прорвана партизанами, противник делает судорожные попытки заткнуть прорыв. Но вы можете в него проскочить на запад. Немедленно двигайтесь на Высоцк».

— Да, нехорошо получилось... — оправдываясь словно перед самим Строкачом, раскаивался начштаба.

— Ну, как получилось, так уже получилось. Теперь надо как-то выкручиваться. И побыстрее.

— Давайте молнию, товарищ командир, и ответ потолковее, так, чтобы шито-крыто и концы в воду, — сказал радист.

Журкин уже давно наострил уши.

Нехорошо было у меня на душе, но в ответе мы постарались держать хвост трубой. Склонившись над листочком бумаги, я выводил химическим карандашом: «На ваш номер... нахожусь западнее Высоцка... двести двадцать километров. Подошли вплотную Западному Бугу. Как понять ваше указание? Возвращаться Высоцку на восток или продолжать рейд дальше? Подписи».

Подмахивая текст радиограммы, Мыкола Солдатенко буркнул:

— Как шкودить, так самостоятельно, а как отвечать, так полный треугольник собрался. Давайте, командиры, чтобы больше нам так не выкручиваться...

Но мы и сами решили больше таких радиошуточек не устраивать. Никогда!

Старший радист схватил текст и выбежал. Через несколько минут мы, не вытерпев, пошли на радиоузел. Он находился в доме попа,

возле церкви, к колокольне которой подтянута была антенна. Борзенко уже выстукивал бойко ключом наш незамысловатый текст, а антенна, протянувшая свой электрический нерв к униатскому кресту, невидимой искрой передавала в Киев нашу повинную.

Борзенко резко оторвал пальцы от ключа. Передача была закончена. Наушники, надетые на голову радиста, видимо, молчали. Лицо его было спокойно. Вдруг глаза его насторожились, сузились, кисть руки застыла в воздухе. Схватив карандаш, он быстро стал записывать на бумаге какие-то непонятные нам цифры. Три головы склонились над аппаратом «УС-5», вслушиваясь сквозь черную оболочку оживших наушников в тонкий писк морзянки. Но вот и она замолкла. Пауза. Еще несколько секунд. Вот операторы обменялись расписками, прозвучало традиционное приветствие радиста... три девятки. И сеанс окончился.

Борзенко склонился над шифром. Только что принятые цифры шифровки оживают, становятся буквами, и вот уже на чистом листе бумаги медленно, слог за слогом, печатным текстом вырастают слова: «...спасибо. Не сомневался в вашем успехе, хотя молчание ваше основательно встревожило и насторожило нас. Желаю успеха! Сообщите, на каком участке вышли к Западному Бугу. Привет. Тимофей».

Тимофей Амвросьевич Строкач давал нам хороший урок этой радиogramмой. Но, кроме того, в радиogramме был и вопрос, который исключал всякую возможность скрыть от начальника штаба нашу вторую погрешность. Правда, радиogramма тактично давала возможность и исправить кое-что. Я сразу подчеркнул карандашом слова: «на каком участке вышли к Западному Бугу...» — и посмотрел вопросительно на начштаба и замполита.

— Надо круто сворачивать на юг, — сказал начштаба.

— Само собой. Хватит этой лесной тактики, — подтвердил и Солдатенко.

— Да. Мы выжали из лесов все. Будем стремительно спускаться на юг.

— Значит, все же ход конем? — не утерпел завзятый шахматист Вася.

— Как видишь...

— Разведка прощупывает железку. От Любомля до Ковеля, — тоном рапорта доложил начштаба. Он тут же показал мне на часы. Было два часа дня. — На два часа мы вызвали всех пятерых комбатов с комиссарами батальонов-отрядов. На короткое совещание.

— Начнем?

— Приглашай вызванных.

16

Через несколько минут комната заполнилась холодным воздухом и паром, который словно внесли с собой вошедшие в штаб люди. Впереди Давид Ильич Бакрадзе и Петро Леонтьевич Кульбака; командир Третьего батальона Петя Брайко; капитан Шумейко, сменивший выбывшего по ранению Платона Воронько; Токарь — ветеран из Кролевецкого отряда, заменивший Матюшенко; комиссары Цымбал, Пшеницын; с длинными усами и волочащейся по земле плетью Саша Усач-Ленкин — командир кавэскадрона. И, конечно, новый помпохоз Федчук — после ловкого перехода с волов на коней признанный авторитет даже у старых партизан. Мелькнула снова мысль: «А все-таки что же такое авторитет в партизанском отряде? Так тогда Мыкола мне и не ответил. Забыл?»

Я огласил радиogramму, сообщавшую об утверждении Солдатенко замполитом соединения. Пожелал ему успеха. Командиры поздравили нового комиссара.

В начале совещания решались организационно-хозяйственные, бытовые и строевые вопросы.

— В ходе первых десяти дней рейда выявилась целая уйма всяких неполадок, и хотя они исправлялись на ходу, но не обходилось и без мелких свар, кривотолков и неурядиц. Комбаты зачастую решали их между собой, но трения мешают делу, — сказал я напрямик. — Какие жалобы и претензии есть к штабу соединения? Давайте выкладываете, что у кого.

Дав выговориться комбатам, я предоставил слово начальнику штаба, который, как никто, умел воздействовать на неизбежные местнические настроения. А междуособных дел между командирами батальонов, рот было немало. Чаще всего источниками и бациллами всех этих разногласий были помпохозы и старшины. Начштаба справлялся с ролью мирового судьи блестяще, и мне оставалось сказать две-три фразы, чтобы придать его указаниям форму командирского приказа. Но...

Мы шли в рейд, то есть по нашим партизанским силам совершали глубокую операцию, основой которой был маневр. Уже прекрасно было усвоено в тот период войны и повторено на все лады крылатое суворовское правило: каждый солдат должен понимать свой маневр. А мы были накануне довольно сложного маневра. В принципе мы его решили — стремительно сворачивать на юг. Решило командование. «Поймут ли сразу этот маневр солдаты? А ведь это командиры партизанских батальонов, люди, облеченные гораздо большей самостоятельностью и властью, чем, скажем, в войсках комбат стрелкового батальона. И прежде всего понимаю ли я его сам? Проверим. Начнем с общей обстановки», — думал я, пока был объявлен перекур.

— Совещание не окончено. Товарищи комбаты и комиссары, попросу вас подойти к карте. Противник...

Тут я сделал паузу и посмотрел на склонившихся в телогрейках, крестьянских кожанках, немецких мундирах и обычных штатских пиджаках людей. Нет, тут обычная схема командирского инструктажа не годится. Что еще могу я, и что должен я им рассказать о противнике? Ведь они все это прекрасно знают и без меня. Но, впрочем, не все. И, переходя с военного на обычный дружеский разговор, я просто стал зачитывать захваченный в Кукуриках документ за подписью бандеровского «полковника» Гончаренко. Партизанские командиры слушали внимательно, изредка хмыкая, а иногда и комментируя наиболее хлесткие выражения и наглое бахвальство бандита. Журкин ерзал как на иголках. Роберт Кляйн молчал, но на его лице я увидел решительную мину.

Чтение документа было закончено.

— Вопросы?

— Все ясно, — загудело в комнате.

— Какой вывод, товарищи?

— Вывод напрашивается сам собой, — первым сказал Шумейко. Комбат-пять слыл у нас спецом по украинским националистам. — Враг коварный, опасный своим вероломством, подлостью и тем, что он собирается применять против нас всяки партизански хитрости.

— Так треба нам его перехитрить, — наивно сказал прямодушный и совсем не способный на коварство Кульбака.

Все засмеялись.

— А конкретно, Петро Леонтьевич?

— Конкретно, конкретно, — запнулся комбат-два. — То уже пускай наши хитрованы и дипломаты голову ломают. Вот ты, Шумейко, спец по бандерам, или наш Брайко.

— А чего ж? И подумаем, — весело отозвался из угла Брайко. — Если не подумаем, то ничего и не выдумаем. А подумаем — глядишь, чего-

нибудь и придумаем. Правда, контрразведчики? — обратился он к Журкину и Кляйну.

Оба поддержали кивками головы комбата-три.

Второй вопрос был о дальнейшем направлении рейда.

— У нас есть два варианта. Первый — двигаться дальше на запад, форсировать Буг и выйти в Польшу; второй — с сегодняшнего марша круто повернуть на юг, перейти железную дорогу и выйти в лесостепной район юго-западной части Волыни.

Я замолчал, ожидая реакции комбатов.

— А дальше? — озабоченно спросил Кульбака.

— А дальше — Львовщина и Днестр.

— А за Днестром шо? — допытывался Кульбака, хотя на его вопросы уже не требовалось ответа. Огромная его ладонь уже закрывала на карте кряжи лесистых Карпат.

— Ты что же Карпаты прикрыв, генацвале?! — с ухмылкой спросил друга Давид Бакрадзе.

— А щоб мои очи их никогда не бачили, тии горы! Щоб мои ноги больше на них не ступали!

Такое искреннее восклицание вырвалось у Петра Леонтьевича, что оно вызвало общий смех.

— Так что же тогда, товарищ комбат, вы за то, чтоб мы в Польшу шарахнули? — ехидненько хмыкнул вьедливый Петя Брайко.

— А шо мини Польша? Горы там йё?

— Гор впереди не видно. Лесистая равнина до самой Вислы. И за Вислой тоже, — объективным голосом справочника доложил начштаба.

— Ну, раз нема гор и стоять тая Польша на ровном месте, так я согласен.

— А за Польшей будет уже Германия. Тогда как? — опять съехидничал шустрый Петя.

— Так шо ты мэнэ Германией лякаеш? Я третий год с хвашистами воюю и жив-здоров.

Разговор принимал шуточный оборот. Я же преследовал серьезные цели. Да и для себя решал сложную тактико-психологическую задачу.

— Постойте, товарищ Кульбака. Нельзя же все сводить к одним горам. А потом, даже если мы сейчас же повернем на юг, до Карпат еще топтать и топтать. Километров триста—четыреста ровной местности. Хватает. Можно, не доходя Карпат, свернуть снега и на запад и на восток...

— Ну, хйба шо так, — немного успокоившись, смирился Петро Леонтьевич.

Я попросил начштаба огласить разведсводку, составленную по последним донесениям тех же комбатов. Выяснилась довольно интересная картина. Южнее железной дороги до самого Владимира-Вольнского, а может быть, и дальше на юг густой сетью расположились мелкие отряды бандеровцев. Был один и покрупнее — курень (полк) некоего Сосенко-Антонюка; там же можно было предполагать и дислокацию «лесных чертей».

— Рассчитывать на внезапный налет и везение, как на этом водохреще, больше нечего. Разгром кукурицкого куреня должен, конечно, бандитов встревожить. Теперь они будут осмотрительнее. На легкие победы прошу не рассчитывать! Тем более, что куренной атаман улепетнул из-под самого носа кавэскадрона нашего бравого, но не очень бдительного товарища Ленкина.

Мы не знали точно, был ли это сам Гончаренко или кто-нибудь рангом пониже. Но такой случай в Кукуриках действительно был. Утром, когда уже село было полностью очищено от банды и наши партизаны разместились по хатам, а кое-кто успел даже плотно перекусить обильной крещенской снедью, припасенной стрельцами куреня Гончаренко, в

расположении кавэскадрона из клуни или из скирды соломы вылез сотник или даже сам куренной. Он прошел по двору незамеченным, и только в воротах его окликнул часовой. Показавшийся караульному чем-то подозрительным человек все же буркнул пароль. Часовой пропустил его. У плетня стояли оседланные лошади кавэскадрона. Он вскочил на одну из них и, не обращая внимания на окрики часового, взял сразу в галоп вдоль улицы. Пока часовой догадался выстрелить, конник свернул в переулок. Пальба поднялась по всему селу. Конник скакал по улицам, иногда в нескольких шагах от болтавшихся из хаты в хату партизан. Но, видимо, он родился под счастливой звездой. Пули рыли снег вокруг коня, но ни одна не попала в цель. Усачу влетело, конечно. Но куренной, если только это был он, ускакал.

Этот случай я имел в виду, упрекнув Усача.

Совещание продолжалось.

— При коллективном обсуждении обстановка быстро проясняется. Как, Васыль? Юг или Польша? — шепнул я Войцеховичу.

— На юге — бандеровские банды.

— Следовательно?

— Следовательно, бои, — раздраженно сказал начштаба.

— Бои з цыми бандитами. А на черта воны нам здались? — опять вспылил Кульбака, хотя и не очень искренне.

— Да, ненужные потери, расход боеприпасов.

— Ось прийде Ватутин и Красная Армия, их, как блох ногтем, передушит. А нам лучше вперед, на запад! Даешь на Польшу, раз она на ровном месте. Правильно я говорю?

Нет, определенно призрак Карпат не давал Кульбаке покоя. Он опасался подходить к горам ближе чем на сотню километров.

— Погоди, дорогой кацо, погоди, — перебил Кульбаку Давид Бакрадзе. — Далеко еще до Карпат. Что там пишет о Красной Армии этот Гончаренко или Клым Савур? Прошу зачитать.

Мыкола Солдатенко взял со стола листочки тонкой папиросной бумаги, на которой была отпечатана бандитская инструкция.

— Значит так... «В бой с Червоной армией не вступать... С партизанами вести самую наглую войну...»

— Почему наглую, генацвале? Что это он сам себя ругает? Ты, товарищ Мыкола, не прибавляешь?

— Та це по галычаньскому вин пыше. Наглую — значит жестокую, упертую... Понятно? — объяснил Солдатенко.

— Читайте дальше, товарищ комиссар, — весь светясь от хитрости, попросил Брайко.

— Зараз... Цэ тут я... Ага... Вот оно... «Разбирать, где армия, а где партизаны по зовнившему виду: армия носит погоны, а партизаны — только красные стрички на шапках». Ось какой стратег Камень-Каширского уезда.

— Ну, насчет нас-то он явно промазал, — весело сказал Петя Брайко. — У нас же никто этих ленточек сроду и не носил. А обыкновенные красноармейские звездочки.

Действительно, в нашем партизанском соединении еще с легкой руки комиссара Руднева, старавшегося ввести армейскую дисциплину в отряде, никогда не носили партизанских ленточек. Тут были свои обычаи и нравы. А наиболее несдержанные и острые на язык молодые ребята гордились своим положением своеобразной партизанской гвардии среди моря местных партизан. Этих народных воинов с ленточками на шапках они в шутку звали «гребешками». «Петушок-гребешок, а ты живого фашиста видел?..»

— Так что, если по головному убору судить, мы вполне за армию сойдем,— поддержал Петю Брайко Кульбака.— А ну, почитай еще раз, как он там собирается нас узнавать, тот бандюга?

— «Армия носит погоны и звездочки, а партизаны...»

— Почекай... Значит, мы для него уже и так наполовину армия. Во как!

Кульбака замолчал. Мы вопросительно переглянулись. В штабе заглохло. А через несколько секунд раздумья глаза у всех присутствующих зажглись хитринкой. Удивительно, как это бывает в крепком, сплоченном коллективе! Почти всегда, когда жизнь ставит какую-то преграду и люди, которым надлежит взять и преодолеть барьер (если только это люди одной цели), то, что в обычной жизни обозначается прозаическим словом «сработались»,— всегда бывает этот удивительный миг, секунда, пауза, когда зажигаются блеском единой мысли глаза, начинают биться в унисон сердца...

Именно этот миг и наступил сейчас в штабе партизан, в далеком глухом полесском селе Кукурики.

— А чем мы не армия?— загремело сразу несколько голосов.

— Погоны. Погоны только наденем — и вся петрушка.

— Только надо сразу, в один день.

— Ну, где ты их наберешь столько?!

— То уже пускай хозчасть думает. Хватит им только волам хвосты крутить. Пускай и военным делом занимаются.

— Хай и тому атаману покрутит...

Я взглянул на Федчука. До сих пор, пока шло сугубо военное совещание, он сидел скромно и помалкивал. Но сейчас он погладил свою инженерскую бородку и вышел на середину.

— Прошу разъяснения. Какой требуется на погоны материал?

— Комиссар батальона Цымбал! Андрей Калинович! Ты только что прибыл из киевского госпиталя. Давай инструктаж.

— Нагляделся, мабуть, в тылу на самые разные погоны и наказырлялся...

Цымбал охотно разъяснил:

— Погоны фронтвые из защитного сукна или плащ-палатки. Канты красные, черные или голубые. Зависит от рода войск.

— Ну, голубые нам не потребуются. Это летчикам. Черных тоже немного,— вставил старший лейтенант Слупский. Он еще месяц тому назад служил в противотанковой артиллерии Первого Украинского фронта.

— Сколько погон прикажете пошить? — с достоинством спросил помпохоз.

— Две тысячи пар,— сказал начштаба.— Ну, для первого раза полторы тысячи хватит. Найдется у вас материал?

— Грузовые парашютные мешки в обозе везу. Защитного цвета брезент. Вот красного сукна на канты где достать, пока не знаю.

— Сойдет и хлопчатка на первый раз.

Смысл этого предложения мне понравился. Я думал уже над тем, чтобы сделать этот прием оперативной маскировки как можно чище и скрытнее.

— Кто выполнит вам эту работу? Ее надо провести быстро, тихо, без болтовни, товарищ Федчук. Отнесите к заданию, как к военной тайне. И всех остальных прошу учесть — пока не болтать. Только тогда будет должный эффект. Вам это должно быть хорошо понятно, товарищи комбаты и комиссары.

Веселые лица посерьезнели, смеющиеся озорные глаза сузились и обволоклись дымкой мысли. Кажется, люди начинали понимать, что

задумана не шутка, не забава и маскарад этот может принести немалую пользу.

— Прошу до выхода в марш ни одному человеку не разбалтывать наш замысел. Переодеть отряд надо на марше в лесу. И весь сразу. Теперь все будет зависеть от нашей хозяйки. Сможет ли она справиться? Надо пошить за сутки не менее полутора тысяч пар погон. Кто у вас выполнит эту работу?

Федчук не спеша думал. Комбаты и комиссары, которых уже увлекла идея, с сомнением глядели на бывшего инженера.

— Главная трудность достать материи на канты.

— Это мы найдем. У меня еще с Нового года красные лозунги в батальоне висели. На первый раз хватит,— сказал Петя Брайко.

— А кто тебе эту работу зробишь, Федчук? — спросил недоверчиво Кульбака.

— Кто? Еще от Павловского из скалатского гетто у меня в хозяйки народ есть.

Мы вспомнили, что освобожденные из фашистского плена евреи в городе Скалате на Тарнопольщине были портные, шорники и сапожники. Старики, правда, поотстали на Збруче. А те, кто покрепче, помоложе, прошли вместе с нами Карпаты и пристали к партизанской жизни.

— Многие из них рассосались по ротам. Но понемногу и ребят обшивают,— отвечал Федчук.

Снова шутки, прибаутки. Совещание закончено. Бравый народ похотывал, закуривал и, подмигивая друг другу, расходился. А штаб и хозяйка продолжали разрабатывать необычный замысел. Начштаба уже ставил задачу:

— Главное, сохранить военную тайну. Пошивочную мастерскую организовать в одном месте.

— Я думаю, в школе, где у бандеровцев был штаб,— делился сообщениями Федчук.

— Никого посторонних к школе не подпускать. Сколько у вас имеется швейных машинок?

— Хватит, товарищ начштаба. Нам же в наследство сам пан Гончаренко оставил,— сказал Федчук.

Часа через два, проезжая верхом по селу, я увидел возле школы часового. В стороне два парных конных патруля не подпускали не только мирных жителей, но и партизан в район школы. Спешившись, я зашел в помещение. Наш архитектор и художник Тутученко на обороте немецкой карты, напечатанной на шикарной глянцевой бумаге, при консультации Цымбала и Слупского намалевал несколько вариантов погон.

— Для рядового, для сержантского состава и старшин. А вот отдельно для партизанских офицеров,— доложил с улыбкой Тутученко.

На большом обеденном столе работали два кройщика, полосуя на небольшие продолговатые квадратики брезент грузовых парашютных мешков.

Федчук объяснял портным строгим голосом:

— Нужно, чтобы из села вышли партизаны, а с железной дороги чтобы подошла Красная Армия. Понятно? Народу пока не болтать. Из школы пока никуда не выходить. Приступайте к работе.

Семь или восемь ножных и две ручные швейные машины застрекотали дружно, как хорошая пулеметная рота.

Помпоз Федчук отошел в сторону и, склонившись к моему уху, конфиденциально зашептал:

— Надо бы, товарищ командир, позаботиться, чтобы в шапке у каждого бойца была иголка и нитка, как и положено бывалому солдату. Да и пара пуговиц тоже. Вот только где взять форменных, со звездочкой?

— Можно и неформенных,— еле сдерживая улыбку, ответил я пом-похозу.— Важно, лишь бы пуговицы были.

— Ну, тогда не беда, если можно и неформенные. Разрешите невзначай устроить проверку. Ну, вроде готовность к походу — шило, мыло, иголка и пуговица. Старшинам накручу хвост. А они пусть проверяют.

— Только глядите, товарищ Федчук,— военная тайна. Не перегнуть палку.

— Будьте уверены, товарищ командир.

И тут я, в который раз, вспомнил суворовское правило: каждый солдат должен понимать свой маневр. Я вышел из школы, молниеносно переоборудованной в военную пошивочную мастерскую. Часовой по-егерьски взял на караул немецким карабином. Но не выдержал моего взгляда и по-заговорщицки подморгнул мне. Солдат понимал наш маневр! Я тоже подморгнул ему и задумчиво прошел мимо окон школы, где пулеметной дробью весело стрекотали швейные машины.

Но ни мне, ни инициаторам этого дела и в голову не приходило, чем это все может кончиться. Мы и сами не подозревали, что, кроме лесных бандитов уездного камень-каширского масштаба, над этими погонами будут ломать голову и верховное командование вермахта, и Гиммлер в Берлине, и Бур-Комаровский за Вислой, и наместник фюрера Франк в Кракове, и даже сэр Уинстон Черчилль на берегах Темзы.

(Окончание следует)



СО СТРАНИЦ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ

Здесь представлены некоторые образцы той каждодневной работы наших поэтов, какую они вели в годы Великой Отечественной войны во фронтовой и армейской печати. Эти стихи, чаще всего посвященные конкретным героям, событиям и фактам боевой жизни,— лишь малая частица продукции литераторов-фронтовиков, которая до сих пор остается достоянием пожелтевших комплектов фронтовых и армейских газет да может быть, личных архивов писателей. Литературная неприязнательность этих стихов, принадлежащих своему времени и особым условиям их написания, очевидна. Здесь и сознательные заимствования интонации из знакомых читателю образцов, и автоподражания, то есть использование собственных элементов формы, и открытая дидактичность фельетона. Но нам представляется, что все же они — живой и неповторимый отголосок героических лет, своеобразный поэтический документ, и что эта публикация может стать частью той обширной работы по собиранию фронтовой поэзии и прозы, которая сейчас ведется.

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

★

Красноармейцу

Ты мой товарищ замечательный,
С одною общею судьбой,
Победы нашей окончательной
Звезда сверкает над тобой.

И где гроза воронки вырыла,
И где живые города,
Она проходит — пятикрылая
Багрово-алая звезда.

И там, где бури вьют и кружатся
Второй военною зимой,
Пути пробиты русским мужеством,
То есть твоим, товарищ мой!

Ты спас Отчизну благородную,
Ты поднял полдень золотой

Свою доблестью природною,
Своей отвагою простой!

Еще не все дороги пройдены,
На Запад взлет твоих знамен,
Но ты по всем законам Родины
Любовью вечной наделен!

Расплатою над злыми ордами,
На путь широкий и прямой
Встает победа наша гордая,
То есть твоя, товарищ мой!

23 февраля 1943 г.

*(Газета «Отважный воин»,
Волховский фронт)*

* * *

Здесь улиц разбег знаменитый,
Здесь блики что янтари.
Здесь высекли мы из гранита
Багровые вихри зари.
Здесь ветер знамен алокрылых,
Здесь гибель настигнет врага,
Здесь русская слава покрыла
Широкой Невы берега.
Здесь камень последний нам дорог,
Здесь кленов зеленая речь...

И все это проклятый враг
Пытается рушить и жечь.
Так бейте их насмерть! И станут
Могилы им наши луга.
Бей самым смертельным тараном
В крошечное сердце врага!

1941 г.

(«Ленинградская правда»)

М. СВЕТЛОВ

★

Живые легенды

Рассказы воинов бывалых!
Я с упоением слушал вас
В короткий отдых на привалах,
В спокойствия недолгий час.

И все, что в песнях наших пелось,
Встает легендой живой,
Когда находчивость, и смелость,
И выдержка выходят в бой...

Сидят товарищи меж нами
И вновь ведут, не торопясь,
Обыкновенными словами
Свой героический рассказ.

И слушаешь рассказ короткий
Горячих дней и славных дел,

Когда от нашей русской сметки
Надолго немец обалдел.

Когда, послушные приказу,
В бою не дрогнули сердца...
Бывалых воинов рассказы,
Вас можно слушать без конца!

Сигнал к атаке. Кончен отдых...
Подразделения идут...
Бойцы, бывавшие в походах,
Свой опыт нам передают!

26 августа 1942 г.

(Газета «На разгром врага»,
Северо-Западный фронт)

Весна

Кипучие реки взыграли,
В полях зачернели грачи.
На наших штыках засверкали
Весеннего солнца лучи.

Встречай неприятеля смело,
Гони его с нашей земли,
Чтоб солнце его не согрело,
Чтоб травы под ним не росли!

Стеною огня и металла
Встречай неприятеля так,

Чтоб наша весна расцветала
Всей яростью зимних атак!

За муки, за боль, за пожары
Врагу мы заплатим сполна.
И холодом смерти ударит
В лицо ему наша весна!

15 апреля 1943 г.

(«На разгром врага»)

Русской женщине

Не напрасно сложили песню
Мы про синий платочек твой —
Вот блеснула в обойме тесной
Пуля, вылитая тобой...

Осенен боевым приказом,
Батальон продолжает бой —
И врага повергает наземь
Пуля, пущенная тобой!

Сквозь свинцовые эти дали
Мы с тобою идем в поход,
И сверкнул на твоей медали
Солнца утреннего восход...

Как ты мало бываешь дома!
Сколько ты отдаешь труда!
Пролетают, тобой ведомы,
Быстроходные поезда.

Нет! Не только рукой мужскую
Вспахан наш безграничный край,
И, взлелеян твоей рукою,
Поднимается урожай...

Вот проходит состав тяжелый
И взлетает во тьме ночной —
Не жалеет для немца гола
Партизанка — товарищ мой!

По дороге, от дыма душной,
За бойцами проходишь ты.
Как не больно и как воздушно
Ты накладываешь бинты!

Мы черны от свинца и дыма,
Но боец улыбнется вдруг
Самой сильной, непримиримой,
Самой ласковой из подруг!

Мы гордимся тобой по праву!
И сегодня в кругу друзей
Возглашаем сердечно:

— Слава

Русской женщине! Слава ей!

8 марта 1943 г.

(«На разгром врага»)

Годовщина

Походами, атаками, пургой —
Прошедшее — ты оживаешь снова!
И год один сменяет год другой,
Как часовой сменяет часового.

Прямым путем, дорогою сквозной,
Еще от артиллерии гудящей,
Проходит снова память, как связной
Между прошедшим днем и настоящим.

Тогда, сугробы кровью обагрив,
Знамена поднимало наступленье,
Тогда сердца слились в один порыв,
И мы назвали их — Соединение!

Соединение — когда и я, и ты,
И тысячи товарищей на марше...
Пусть мы сегодня на три года старше,
Я узнаю знакомые черты.

Московский друг мой! Позабыть смогу ль
Над Яхромой несущуюся вьюгу,
Когда взглянули мы в лицо друг другу
В мерцании трассирующих пуль!

Мы поняли — победы дни близки,
Мы видели в прожекторном сиянии
Направленные в сторону Германии
Отточенные русские штыки.

И он придет — победы нашей час!
Приблизь его, добудь его в сражении,
Чтоб с днем победы поздравляли нас,
Как ныне поздравляют с днем рождения!

23 ноября 1944 г.

(«На разгром врага»)

Каховка

Украинский ветер шумит над полками,
Кивают листвою тополя...
Каховка, Каховка! Ты вновь перед нами —
Родная, святая земля!

Мы шли через горы, леса и долины,
Прошли через гром батарей,
Сквозь смерть мы прорвались...

Встречай, Украина,
Своих дорогих сыновей!

Припев:

Под солнцем горячим, под ночью слепою
Прошли мы большие пути.
Греми, наша ярость! Вперед, бронепоезд,
На Запад, на Запад лети!

Пожары легли над Каховкой родимой,
Кровава осенняя мгла,
И песни не слышно, и в сердце любимой
Немецкая пуля вошла.

За юность, на землю упавшую рядом,
За Родины славу и честь
Забудем, товарищи, слово «Пощада»,
Запомним, товарищи: «Мечь!»

Припев:

Под солнцем горячим, под ночью слепою
Прошли мы большие пути.
Греми, наша ярость! Вперед, бронепоезд,
На Запад, на Запад лети!

4 ноября 1943 г.

(Газета «Героический штурм»,
Северо-Западный фронт)

А. СУРКОВ

★

Гвардейцы

В такт гулким залпам батарей
Колышутся штыки
Идут полки богатырей —
Гвардейские полки.

Они прошли сквозь летний зной,
Их не страшит мороз.
Неколебим гвардейский строй
В огне военных гроз.

Снаряда свист и вой свинца
Не остановит их
Огнем испытаны сердца
В тревогах боевых.

Отчизна — смелому броня,
И ей верны стрелки.
Рождались в битвах из огня
Гвардейские полки.

У дальних рубежей Москвы,
Бесстрашны и сильны,
Они сражаются, как львы,
За честь родной страны.

Когда они идут вперед,
По ярости атак
И по ударам узнает
Их днем и ночью враг.

Вождю верны, в бою грозны,
Как сталь штыка, крепки,
Народа-воина сыны —
Гвардейские полки.

20 ноября 1941 г.

(Газета «Красноармейская правда»,
Западный фронт)

1918 — 1942

В молчании лесов, настороженно-строгом, И дрогнул, и попятился сутуло,
В снегах, взвихрѣнных бешенством пурги, И спрятал когти злобный прусский зверь.
Дивизии Вильгельма по дорогам
Печатали тяжелые шаги.

Сметая все с пути, ломая все заслоны,
Грозны, неотвратимы, как беда,
Пехотные немецкие колонны
Перерубали маршем города.

Но в эти злые дни не пали на колени
России новой гордые сыны.
За Родину позвал сражаться Ленин,
И встал рабочий в зареве войны.

Встал Петроград, Москва, Иваново и Тула,
И Ярославль, и древний город Тверь.

Прошло немало лет. И снова, непреклонны,
В неколебимом сталинском строю,
Мы гоним вспять немецкие колонны
И множим славу ратную свою.

Силен и грозен враг. Трудны дороги боя.
Но не померкнет красная звезда.
Не дрогнет сердце воина-героя,
И не отступит смелый никогда.

23 февраля 1942 г.

(«Красноармейская правда»)

Письмо

Как волны морские бегут к кораблю,
Вливалась толпа в суматоху вокзала
Короткое, тихое слово «люблю»
Ты мне, расставаясь, впервые сказала

Звонки прозвенели. Ушел эшелон
В пространство, от черного дыма густо.
И вместе с вокзалом ушло под уклон
Все близкое, теплое, обжитое.

По цвету петлиц я — армейский сапер,
Ефрейтор по званию и воин по праву.
С врагами ведем мы отчаянный спор
За мост, за дорогу, за переправу.

Где в воздухе носится рваный металл,
Кипит беспокойная наша работа.
Я долго недели разлуки считал,
Да все перепутал и сбился со счета.

Но чуть поднимает тревога в ружье
И ночью ведет по переднему краю,

Я сердцем и голосом имя твое,
Как слово заклиять, всегда повторяю.

Я вовсе не мистик. Но здесь говорят —
Любимых, по старой солдатской примете,
Не трогает пуля, обходит снаряд.
И верю я в глупые рассказы эти.

И веру свою я ни с кем не делю,
Той верой наполнено сердце живое.
Короткое, тихое слово «люблю»
Не глухнет в снаряжном пронзительном вое.

А если и мне захлебнуться в крови,
Пусть слово друзей прозвучит приговором:
— Он верен был в дружбе и верен в любви.
Ну, словом, он был настоящим сапером.

19 апреля 1942 г.

(«Красноармейская правда»)

А. ТВАРДОВСКИЙ

★

Трое

Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июля 1941 г. присвоено звание Героя Советского
Союза командиру звена младшему лейтенанту
Здоровцеву С. И., летчику младшему лейтенанту
Жукову М. И., летчику младшему лейтенанту
Харитонову П. Т.

Блистают зарницы великой войны,—
И вот они, первые трое,
Отмеченных высшей наградой страны —
Звездой Золотою Героя.

В тревожное небо, в грозовую высь
С укатанной взлетной площадки
Они на машинах своих поднялись
С врагами померяться в схватке.

Когда провожает машину твой взгляд,
Скользя по невидному следу,
Как хочется верить, что скоро назад
Вернется товарищ с победой...

Все трое с победой вернулись они,
И день это ныне — вчерашний.
И новые, новые ночи и дни
Проходят в работе бесстрашной.

И столько себя еще в схватках лихих
Покажут советские люди.
Мы многих прославим, но этих троих
Уже никогда не забудем.

Мы в них подведем нашим подвигам счет,
Победам над силой коварной,
И будет всегда называть их народ
С любовью своей благодарной.

Запомним же русские их имена,
Что дороги будут для внуков,

Здоровцев Степан — командир их звена,
Пилот Харитонов и Жуков.

Родные! Вы служите славно стране,
В боях за штурвалами сидя.
Пусть матери ваши и жены во сне
Всегда вас веселыми видят.

10 июля 1941 г.

(Газета «Красная Армия»,
Юго-Западный фронт)

О языке

Сядь, послушай слово казака Гвоздева

Каждый знать обязан,
Как затвор и штык,
Для чего привязан
У него язык.

Мы сперва напомним
Истину одну,
Что «язык мой — враг мой» —
Знали в старину.

Но тотчас добавим
К истине живой,
Что язык болтливый —
Враг не только твой.

Если ловит ухо
Жадное твое
Отголоски слуха,
Праздное вранье;

А язык работы
Наготове ждет,
Ко вранью чего-то
Сам еще приврет;

Если ты выпускаешь
Сплетню за порог,
Если ты военной
Тайны не сберег,—

Знай, болтун примерный,
Истина строга:
Твой язык — помощник
И слуга врага.

Каждый знать обязан,
Как затвор и штык,
Что не зря привязан
У него язык.

И запомнить нужно,
Что верней всего,
Крепко за зубами
Придержать его...

1941 г.

(«Красная Армия»)

Песня о полковом знамени

*Красноармеец 3-й пул. роты Н-ского полка
Степан Валенко спас полковое знамя, бросившись
за ним на машину, подожженную снарядом про-
тивника. Раненный в обе ноги, тов. Валенко на-
ходится сейчас в госпитале.*

Бой жестокий был в разгаре,
Бился полк передовой.
Вражий вдруг снаряд ударил
По машине грузовой.
Черный дым, рудое пламя,
А на том грузовике
Полковое наше знамя
Сохранялось на дрове.

Знамя — воинская слава,
Верность пули и штыка.
Знамя — сила, знамя — право,
Знамя — долг и честь полка.

Бьют снаряды попеременно,
Грузовик в огне, в дыму.
И боец Степан Валенко
Первым бросился к нему.
Завиваясь, воеет пламя,
Пули шьют над головой.
Подхватил с машины знамя
Пулеметчик молодой.

Знамя — воинская слава,
Верность пули и штыка.
Знамя — сила, знамя — право,
Знамя — долг и честь полка.

По канаве вдоль дороги
Пробирался до конца.
Ночью, раненного в ноги,
Санитар нашел бойца.
Ослабевшими руками
Он, казалось, все сильней
В трубку свернутое знамя
Прижимал к груди своей.

Знамя — воинская слава,
Верность пули и штыка.
Знамя — сила, знамя — право,
Знамя — долг и честь полка.

1941 г.

(«Красная Армия»)

Два деда

Жметя немец в шинелишке —
Дед Мороз берет под мышку.
Он непрошенных гостей
Принимает до костей.

Дед Мороз — большая сила,
Спору нет на этот счет.
С ним в союзе дед Данила
Немцу жизни не дает.

Дед Мороз фашиста мучит,
Давит, душу леденит,
Щиплет уши, пальцы кричит,
«Что — не любишь?» — говорит.

Немец с черным автоматом
От Мороза лезет в хату.
Только там покоя нет,
Там другой достигнет дед.

Немчура снимает брюки,
Спать с удобствами охоч.
Вдруг — откуда эти звуки? —
Вновь стрельба! Пропала ночь.

И фашистская персона
С перепугу на рысях
Мчит во двор в одних кальсонах
(А бывает, что в трусах!).

Для войны молниеносной
У врага костюм был сносный,

Но для зимних трудных дней
Нужно что-то потеплей.

Прежний пыл пошел на убыль,
Немец съежился, как пес.
Запасать носки и шубы
Заставляет дед Мороз.

Тут бы горя мало было,
Грабить немцу не впервой,
Но не дремлет дед Данила
На работе боевой.

Немца знает он натуру,
По пятам за ним следит.
И за шубу часто шкурой
В селах платится бандит.

По углам чужого тыла
Нынче счет ведут всерьез.
Битым немцам — дед Данила,
Обмороженным — Мороз.

И пускай трудна победа —
Нам помогут бить врага
Этих два советских деда,
Два веселых старика.

1941 г.

(«Красная Армия»)

Дорога на Запад

Танковому экипажу братьев Пухолевич.

Друзья! Не детьми, а сынами
Зовут нас в Отчизне родной.
Дорога лежит перед нами
В три тысячи верст шириной.

Ведет она всех без изъятья
На Запад, в одну сторону,
Где сестры и младшие братья,
Где матери наши в плену;

Где песен давно не поется,
Гармонь не сзывает ребят;
Где все журавли на колодцах —
И те по-иному скрипят.

Где милый родительский угол
Над Бугом иль Верхним Днепром
Разбит, разорен и поруган
Безумным и подлым врагом.

И слышим мы слухом единым
Немолчный и внятный без слов
И вашей родной Украины
И нашей Смоленщины зов.

— Спешите ночами и днями,
Минута и та дорога.
Огнем, и броней, и штыками
Гоните и бейте врага.

Чтоб вдале он бежал без оглядки
С великой и гордой земли,

Где яблони нашей посадки
Не первую весну цвели.

Чтоб злыми своими глазами
В смятенье не видел бы враг,
Как корку ее прорезает
Трава молодая в полях;

Как пашни поднимутся снова,
Как вновь заблестят лемеха,
Как пух полетит тополевым
И как отдымится ольха.

Товарищи, вот наша слава,
Она издалека видна.
Пусть гусениц следом кровавым
В полях пролегает она;

Пусть будет жестокой расплата
За горькую муку земли,
За каждого сына и брата
Из нашей могучей семьи;

За каждую душу живую,
Чье тронута счастье и честь;
За каждую ветку родную,
Не смогшую нынче расцвести.

1942 г.

(«Красная Армия»)

Героям Орла и Белгорода

В привычных сумерках суровых
Полночным залпам торжества,
Рукоплеща победе новой,
Внимала матушка-Москва.

И говор праздничный орудий
В сердцах взволнованных людей
Был отголоском грозных буден,
Был громом ваших батарей.

И каждый дом и переулок,
И каждым камнем вся Москва
Распознавала в этих гулах —
Орел и Белгород — слова.

1943 г.

(Газета «Красноармейская правда»
3-й Белорусский фронт)

Имя его — имя полка

Если б он мать или отца
Знал, этот мальчик доли суровой,
Мы бы могли славить бойца,
К ним обратив первое слово.

Мы бы могли издавека,
Не помешав скорби их честной,
Им принести имя полка,
Славу полка, что гремит повсеместно.

Все рассказать сами могли б,
Не ожидая горьких расспросов,
Как воевал, как он погиб,
Сын их, герой Александр Матросов.

Как под огнем гордый порыв
Вел храбреца по страшному следу.
Как он, друзей собой заслонив,
Смертью своей добыл победу.

Имя его — имя полка.
Как бы родные весть повстречали.
Скорбь велика, боль глубока,
Честь дорога даже в печали.

Матери нет, нету отца,—
К Родине, к армии первое слово.
Вечную память, славу бойца
Провозглашает правофланговый.

Это о подвиге светлом его
Родине, армии воинский рапорт...
Имя свое и бойца своего
Полк, наступая, уносит на Запад.

1943 г.

(«Красноармейская правда»)

Памяти павших

День победу нам несет,
Преклоним же знамя
В память тех, что за народ
Бились вместе с нами;
Тех, что свой свершили труд
Честный и тяжелый
И кого напрасно ждут
Матери и жены.
Тех, что здесь, и тех, что там
Пали, за чертою,

И по чьим ступил костям
Враг своей пятою.
Повторим над прахом их
Клятву нашей мести.
Братство павших и живых
Да пребудет в чести.

1943 г.

(«Красноармейская правда»)



Р. КАЗАКОВА

★

ОФИЦЕРСКАЯ ЖЕНА

Поделись со мною скукой,
офицерская жена...
По-армейски, очень скупо
начинается весна.
Муж уехал на маневры.
Жди.

У двери долго стой.
Прямо действует на нервы
запах лиственниц густой.
На судьбу свою посетуй,
испытание свое...
Надо ж было —
 аж к Посьету
добираться до нее!
«Не гляди, что на погоне...»
Не глядела. Знает сам.
И скомандовал:
 — По коням! —
встречный ветер двум сердцам...

Дождик каплет,
дождик каплет...
Пограничный гриб как зонт...
Здесь не Сочи и не Капри,
здесь военный гарнизон.
Для тебя здесь нет работы.
А пойти —

 куда пойти?
На резиновые боты
налипает полпути!
Ты полы отменно драишь,
добела ножом скребя,
и носки ему стираешь,
усмехаясь про себя.
По вопросам нерешенным
с грудой

«что?»

 и «отчего?»

ты идешь судачить к женам
однокашников его...
Так живешь ты?
Или в чем-то
я ошиблась невзначай?
У тебя чертою четкой
возле добрых губ
печаль...

Муж уехал на маневры.
У соседей целый день
заунывно и манерно
патефон зовет мигрень.
Проклинаешь в сотый раз ты
все —

от вышивки
до луж!

...Но —
чубатый и горластый —
вот вернулся он,
твой муж.

Сапоги его в потеках,
плащ забрызган и измят.
Ты бежишь к нему в потемках
коридором наугад.
Ты бежишь —

домашним духом, —

позабыв,
что дома гость...
Окрыленно
перед другом
разлетелись руки врозь.
Ты прости,
что в этот вечер,
в этот ваш семейный час
я в гостях у вашей встречи,
я в свидетелях у вас...

И не густо —
и не пусто.

За столом сидим втроем
и под кислую капусту
береженный травник пьем.
Все в порядке.

Все на месте.
Так бы можно до утра.
Только —

до того вы вместе,
что я чувствую —
пора.

Завтра мне в вагон —

и дальше:

люди,
встречи,
города...
Может, не простимся даже...
Загадаю, как всегда:
что ж с собой из вашей части
взять на память я должна?

Поделись со мною счастьем,
офицерская жена.

г. Хабаровск



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

В БЕЛАРУСИ

Мы вошли в Беларусь
В сентябре, в сорок третьем.
Я назад оглянусь —
Вспомню дождь на рассвете.

Дым клубится, багров,
Над Закружьем и Рудней.
Вид сожженных дворов,
Что ни шаг, бесприютней.

Пепелища во мгле,
Торфяные болота.
Палый лист на земле —
На золе позолота.

Но взгляни — одинок,
В деревушке заброшенной,
Вьется мирный дымок
У дорожной обочины.

Первый запах жилья,
Что ни миг, домовитее.
Возвратилась семья
Из лесного укрытия.

Прахом стала изба,
Печка вышла наружу,
Оголилась труба,
Отраженная в луже.

Ни угла, ни кола,
Ни забора, ни крыши.

Детвора собрала
Кучу сучьев и шишек.

У развилки дорог
Топка дышит живая.
Вьется мирный дымок,
Дым пожаров сменяя.

Дождь и ветер не в счет
И угроза бомбежки.
Мать-солдатка печет
Ребятишкам лепешки.

Пусть ненастье над ней,
В черной копоти небо —
Едкой гари сильней
Дух домашнего хлеба.

Взвод несет на плечах
Бронебойки и мины.
Греет милый очаг
Всех шагающих мимо.

Съехал виллис в кювет,
И буксуют подводы.
Мать встречает рассвет
Первым хлебом свободы.

...Сколько лет протекло
И прошло новоселий!
Этой печки тепло
Греет душу доселе.



ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ

★

ЗАБЫТАЯ АРМЕЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

Забытая армейская тетрадь,
суровой нитью сшитая на совесть!
Уже местами выцвели страницы,
как наши гимнастерки на войне.

Но черная по белому строка —
как рота на завьюженной равнине,
и проволокой ржавою — помарки,
и клякса — как воронка на снегу.

Здесь остается все без перемен.
Не тает лед в осевшей амбразуре.
Ровесники стоят в оцепененье
над маленькой фанерною звездой.

Еще по этим выжженным полям
тяжелым шагом ходит Черняховский,
и старшина Свиридов нас уводит
за Яхрому, к исходным рубежам.

Еще бомбардировщики висят
над нами, и немецкие листовки
нам щедро предлагают за измену
отменный харч и вдоволь табаку.

О старая армейская тетрадь!
Ты навсегда мне как напоминанье,
что лучше уж на mine подорваться,
чем изменить товарищам в бою.

Я становлюсь и старше и старей,
а ты все там, где я — двадцатилетний,
не в меру угловатый, с хриповатым,
еще не отстоявшимся баском.

Ты нарочито грубо говоришь,
высоких слов упрямо избегаешь —
нам в юности казалось невозможным
сказать своей любимой «я люблю».

Как тихо шелестят твои листы!
Так рощи шелестят прифронтовые,
где, словно восклицательные знаки,
за каждым взрывом дыбится земля.

Ты повесть без начала и конца.
Ты наша необстрелянная совесть,
что никогда не кланяется пулям
и в полный рост шагает по земле...

Опять кружит, кружит февральский снег.
Он падает на мягкие ушанки,
на жесткое стальное оперенье
тяжелых баллистических ракет.

Он тает на ресницах у солдат,
стоящих под знаменами повзводно,
и звезды на ушанках и знаменах
бросают ясный отсвет на меня,

на все, чем жив мой непреклонный век,
на вечный бег годов неумолимых,
на этот снег, летящий за окошком,
на старую армейскую тетрадь.



ИЗ УЗБЕКСКИХ ПОЭТОВ

МАМАРАСУЛ БАБАЕВ

★

Широкие горизонты

*В Алиджан не ходи, от нужды
язык изжухешь, умрешь с голоду.
Мехри.*

Так говорил великий мой земляк
об Алиджане, где сейчас брожу я.
И я хочу проникнуть в прежний мрак
и ощутить всем сердцем боль чужую.

Мне предстает убогость кишлака,
домов полуразрушенные стены,
пыль по колено, кучи кизяка
и зной, с ума сводящий постепенно.

Усевшись на поваленный дувал,
девчонка брата хнычущего нянчит,
и дряхлый нищий подаянье кланчит
(ему с утра никто не подавал).

Суфи уныло с башенки резной
сзывает правоверных помолиться,
и у дехкан измученные лица
покрыты малярийной желтизной.

И вот я снова нынче в Алиджане,
в кольце бескрайних хлопковых полей.
Идут и тают в солнечном тумане
зеленые шеренги тополей.

Веселые, лихие трактористы
работают не покладая рук,
и вновь, и вновь идут они на приступ,
и все преобразуется вокруг.

В Узбекском море голубеют волны
от Самарканда и до Бухары.
Людским упорством созданное лоно
цветет, не иссыхая от жары.

А в школах-ульях, с их гуденьем ровным,
шумят ребят веселые рои.
Машины по зеркальному гудрону
несутся от зари и до зари.

И каждый вечер, неизменно, в гости
приходит свет в колхозные дома,
и в них царит бесед многоголосье,
домашняя живая кутерьма.

На наш народ посмотришь — сердце радо:
ума, таланта, сил не занимать...
Ну что ж, поэт сказал в ту пору правду.
Теперь бы здесь поэту побывать,
чтоб самолично убедиться мог,
как горизонт мечты людской широк!

Перевела Вероника Тушнова.

ГАФУР ГУЛЯМ

✱

Осенний саженец

Багряный лист ложится наземь ровно,
Не выгнать воробьев из-под застрех,
Долбит на ветке хмурая ворона
Ребятами не сорванный орех.

Сороки бодро на жнивье стрекочут,
Проскачет суслик, спрячется в норе,
Петляет кролик между мокрых кочек,
Пуглив и бел, — утеха детворе.

Все спит в саду. Ни грозди винограда,
Укрыты лозы — им в земле тепло,
Спят яблони у глиняной ограды,
Вода в ручье как жидкое стекло.

Лениво солнце. Бронзовым подносом
Среди ветвей как бы висит оно.
Оно к земле обращено с вопросом:
— Взойти ли, нет?
— Я сплю. Мне все равно...

Но он не спит, старик с широким станом,
Наш добрый дед, наш Миршакар-ата.
В руках кетмень. Садовник неустанно
Хлопочет возле юного куста.

Еще не скоро саженец привьется,
Еще не скоро принесет плоды, —
Их старику отведать не придется,
Но знает он: не пропадут труды!

Садовник смертен — то закон природы,
Но у народа нескончаем век;
Не для себя — для внуков, для народа
В саду работой занят человек.

Перевел Я. Ильясов.

ЗУЛЬФИЯ

★

Другу поэту

Мой друг, ты спишь в земле. Но как мне нужен ты!
 Поговорю с тобою, посижу я.
 Давно ли ты, мой друг, мне приносил цветы?
 Теперь к тебе с цветами прихожу я.

Забыть ли дни любви, горенья и труда?
 Теперь ко мне навстречу ты не выйдешь.
 Лишь радость видел ты в моих глазах всегда.
 Теперь ты даже слез моих не видишь.

Перевел С. Липкин.

МИРТЕМИР

★

*Озеро в степи**

I

Я у стен городских
 Изумрудное озеро видел.
 Я посадок лесных
 Изумрудную прозелень видел.
 Золотые пески
 Обступили хранилище влаги,
 Молодые лески
 Хлещут ветры — степные бродяги.
 На просторном кругу
 Пляшут белые лодки под ветром.
 На пустом берегу
 С молодым мы стояли поэтом.
 — Старший брат мой и гость, —
 Он сказал мне, — здесь ветер порою
 Распалает всю злость,
 Ураганом над водами воя.
 Солнце сыплет лучи,
 Словно жару в очаг подбавляя,
 Как в гончарной печи,
 Все сильнее песок накаляя.
 Каждой каплей сверкнуть
 Хочет озеро с жадностью тайной
 И дрожит, словно ртуть,
 На ладони у степи бескрайной.
 Ураган пролетит —
 Позабыть его вовсе не трудно,
 Если рядом блестит
 Влажный бархат волны изумрудной!
 Правда, здесь в старину
 Тоже были целебные воды,

* Из «Каракалпакской тетради».

И встречали весну
 Редкой зелени чахлые всходы.
 Это место тогда
 Было схоже с солонкой огромной,
 И джейраны сюда
 Прибегали тропею укромной;
 Чтобы соль полизать,
 По ночам тут шатались шакалы.
 Чтобы соль запасать,
 Были тут караванам привалы...
 Посмотрите вокруг:
 В той же самой пустыне и в зное
 Человеческих рук
 Узнаете творенье живое?
 Ныне душу и взор
 Услаждает нам озеро братства.
 Изумрудный узор,
 Наше озеро юное, здравствуй!

II

Над озерной водой,
 Видно, думою мощной объятый,
 Наклонился седой,
 Статный старец в папахе косматой.
 Я промолвил: — Отец,
 На челе твоём, взрытом глубоко,
 Вижу счастья венец.
 Ты подобье свободы Востока.
 Ты застыл, как скала...—
 То легенда старинная, что ли,
 На душе залегла
 Или был, с ее светом и болью?
 Над озерной водой,
 Неотступною думой объятый,
 Наклонился седой,
 Статный старец в папахе косматой
 Билось сердце степей
 В обожженном ветрами палване ¹.
 Стон людей, звон цепей...
 С них и начал он повествованье.
 Блеском слов, блеском глаз
 Он светился, поэт прирожденный;
 Был и сам он, как сказ,
 До сегодняшних дней доведенный...
 — Я пять ханов видал,
 Биев ², спесью надутых, я видел,
 Сеть обманов видал,
 А народ только в путах я видел.
 Проклинаю судьбу,
 Я бродил средь барханов белесых.
 С кем сразиться рабу?
 Был в руках у меня только посох.

¹ Палван — богатырь.

² Бий — старшина племени.

И гонял я стада
 Богачей, и на дне моей торбы
 Не водился тогда
 Даже хлеб... И меня до сих пор бы
 Каждый встречный пинал,
 Если б мы не разбили оковы!
 Вот о чем вспоминал
 Я над озером братства людского...
 Мрак былого далек.
 Я не знаю, как будет в раю там,
 Но спешит наш лесок
 Стать воистину райским приютом.
 Лунной ночью, мой сын,
 Здесь не дэвы¹, не дикие звери —
 Изумрудных глубин
 Танцевать будут дивные пери.
 Будут ветры прохладой свежей сюда прилетать.
 Будут птицы со всех побережий сюда прилетать.
 Будут песни нежнее, чем прежде, сюда прилетать,
 А степной ураган будет реже сюда прилетать.
 Незнакомый наш гость,
 Покатайся, волнами влекомый.
 Будь как дома, наш гость,
 Наслаждайся, наш гость незнакомый! —
 Я ответил: — Постой,
 Я не гость — здесь мой дом и работа,
 Здесь мой дом, здесь мой той²,
 Я не прибыл сюда для почета!
 Все, что видит наш глаз, —
 Для тебя, для меня, для народа.
 Мир для нас, край для нас,
 Счастье, радость для нас и свобода.
 Все богатство для нас —
 И вода, и стада, и озера,
 Реки братства для нас
 И безмерность степного простора.
 Я не гость, не чужой,
 Я твой сын, о Восток мой свободный!
 Как и ты, всей душой
 Соучастник в борьбе благородной.

Перевел Р. Моран.

МАКСУД ШЕЙХЗАДЭ

★

Тамаре Ханум

Вы на сцене в одеянье пестром,
 Вы и песня двум подобны сестрам,
 Вы поете — и поют глаза,
 И уста, и трепетные руки.
 Сколько ярких красок в каждом звуке!
 Вы поете — это голоса

¹ Дэв — дьявол.

² Той — празднество, пир.

Родника, нагорья, океана,
 Это песня гордая Пхеньяна,
 Это Андалузии напев,
 Это смех веселый Еревана,
 Это шепот аравийских дев,
 Это Адриатики призывы,
 Это упоительно красивый
 Хорезмийский пляшущий мотив,
 Это колыбельная Китая,
 Это Индия звенит, блистая,
 В плен сердца и мысли захватив.

Слышен голос властный, звонкий, хрупкий.
 Мимо дома вашего иду.
 Нет, не разлетаются голубки,
 Нет, не соловьи свистят в саду,—

Кажется мне, будто люди разных
 Нравов, и обычаев, и рас,
 Чтоб отпраздновать чудесный праздник,
 В доме репетируют у вас!

Звезды

Друзья, нельзя не удивляться небу,
 Какую радость нам оно дарует!
 Луна подобна праздничному хлебу:
 Сегодня звезды в складчину пируют!

Какое дружное у них сиянье,
 Хотя у них не сходятся орбиты,
 Но даже сотни лет не расстоянье,
 Когда сердца для подвигов открыты.

Да, звезды наши — дельные ребята,
 Не обыватели и не стилиаги,
 Им тоже причитается зарплата,
 Работа их исполнена отваги.

На нас они работают, ей-богу:
 Дарят поэтов вдохновеньем чистым,
 Указывают кораблям дорогу,
 Во тьме ночей сверкают машинистам.

Звезда на знамени пылает нашем,
 Звезда у офицера на погонах,
 Звезда ведет солдат, ведет с бесстрашьем,
 Звезда горит, заботясь о влюбленных.

Звезда мила и мирною порою
 И в час борьбы — священной, правой, грозной.
 Звезда, звезда над сердцем у героя.
 Друзья, мы трудимся в отчизне звездной!

Перевел С. Липкин.

ШУХРАТ

★

Плакучая ива

Что же ветви, одетые легкой листвою,
Ты склонила к земле, изогнула шатром?
Что не вскинешь ты гордо зеленой главой,
К небесам устремляясь в полете прямом?

Иль боишься, что солнце тебя обожжет?
Иль стыдишься бескрайних зеркал синевы?
Иль влюбленных от взглядов чужих бережет
Полог этой склонившейся долу листвы?

Или горе согнуло тебя на века
Так, что выплакать слез до сих пор не смогла?
Видно, ноша печали твоей не легка,
Видно, ноша обиды твоей тяжела...

— Не печаль и не горе согнули меня,
Не лихой богатырь притянул до земли.
Нет титанов таких, чтобы, долу клоня,
Мои ветви веками держать бы могли.

Я из этой чудесной земли возросла,
Здесь купалась в туманах седых поутру,
Здесь я грелась дыханьем земного тепла,
Здесь листву заплетала косой на ветру.

Я из этой земли возросла, и, поверь,
Нет на свете другой — ни теплей, ни родней.
Я из этой земли возросла — и теперь
Благодарно склонилась в поклоне пред ней.

В Мирзачуле

Паровоз прогудел...
И мельчайший песок
С саксаульных ветвей, словно струйки, потек,
И пустыня оглохла:
Ей тысячи лет,
И противиться людям в ней силы уж нет.

Машинист напевает:
Вот сын подрастет,
И помощником сына к себе он возьмет.
И невестка, что вырастит сад на песках,
В знойный полдень их встретит
С арбузом в руках.

Перевел Рауф Галимов.

А. НАУМОВ

★

ПО МОТИВАМ УЗБЕКСКОГО ФОЛЬКЛОРА

О тесноте

Кто свет себе же застить смог,
Своей особой тленной,
Тот, если жмет ему сапог,
Кричит: «Тесна вселенная!»

Вода

Тому, кто трудится, беда,
Когда еда его — вода.
А тот, кто без труда живет,
И от воды
растит живот!

Слова и дела

К чему красивые слова,
Коль в деле нет порядка?
Хоть десять раз скажи «халва».
Во рту не станет сладко!

Нет, слава —
тех лишь слов удел,
Что не живут в долгу у дел.

Тем, кто на коне

Пока ты конный, не тверди,
Что с пешим не знаком.
Когда-нибудь и ты в пути
Окажешься пешком!

О чувстве меры

Чтобы кричать: «Халат в пуху!» —
Одной пушинки мало.
Ведь, рассердившись на блоху,
Не жгут все одеяло!

Ей-ей, не вся постель плоха,
Коль в ней живет одна блоха.

Кетмень

Пусть неказист кетмень на вид —
Привык он век трудиться.
Всю жизнь то к небу он взлетит,
То в землю углубится...

День не приходится на день.
Но ты
 трудись, как тот кетмень!

Наряд и заряд

Как ни укрась ружье свое,
Пускай в насечке сплошь оно,—
Зачем стрелять, пока в ружье
Заряда не положено?

Пусть белоснежная чалма
На голову возложена —
Молчать бы рту,
 пока ума
В ту голову не вложено!

Трудодень

Не будет дня
Без трудодня,
Коль без труда
Не будет дня!



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

И. ДУБИНСКИЙ

★

В СТРОЮ ЧЕРВОННЫХ КАЗАКОВ

Гражданскую войну я провел на коне и больше всего в рядах Первого Конного корпуса червонного казачества. Это была возникшая по воле партии грозная боевая сила. Котовский, Антонов-Овсеенко, Щорс, Якир, Боженко, Крапивянский, Дубовой — прославленные вожаки вооруженных сил Украины — и весь ее трудовой народ высоко ценили доблесть конных полков Примакова. Стойкие большевики вели их от победы к победе.

В суровую осень 1919 года против полчищ Деникина, рвавшихся к Туле и угрожавших Москве, рядом с героическими латышскими стрелками и кубанскими пластунами сражались червонно-казацкие полки Украины.

Вместе с боевой советской пехотой они громили белогвардейскую конницу Шкуро, Улагая, врангелевскую гвардию под Перекопом, легионы интервентов на Збруче и на Серете, петлюровских гайдамаков под Полтавой, Харьковым, Киевом и Волочиском.

После того как в ноябре 1920 года советские войска под командованием Михаила Васильевича Фрунзе, разгромив Врангеля под Перекопом, освободили Крым от власти Черного барона, с гражданской войной было покончено. Но на полях Украины, особенно на Правобережье, еще долго после этого, почти на протяжении всего 1921 года, гремели орудия, трещали пулеметы, звенели клинки. Не сдавался, все еще мечтая о реванше, главарь неогайдамачины Петлюра. Все еще грозился «главковерх великой армии анархии» — батько Махно.

Потерпев крах в трех походах против Советской Республики, Антанта разрабатывала в своих генеральных штабах планы четвертого похода.

Мне хочется рассказать о подвигах скромных советских людей, сорвавших несбыточные планы кровавых авантюристов Петлюры и Махно и их закордонных вдохновителей.

СХВАТКА С МАХНО

Летом 1921 года военным чекистам с помощью подольской батрачки Парани Мазур удалось нащупать нити петлюровского подполья. Ольгопольская учительница Ипполита Боронецкая, задержанная чекистами, сообщила, что она прибыла из-за кордона еще в ноябре 1920 года, вскоре после разгрома самостийников войсками 14-й армии Иеронима Уборевича.

Контрразведчик Петлюры Чеботарев, напутствуя за Збручем лазутчицу, говорил ей: «Эти сукины сыны вышибли нас в двери, а мы проберемся на Украину через окно».

Через посты пограничной стражи Боронецкую проводили доверенные люди панской дефензивы — начальник львовской экспозитуры пан майор Флёрек и начальник гусятинского постерунка (заставы) пан поручник Шолин. После перехода границы лазутчица направилась в Коростенские леса для встречи с «атаманом трех губерний» Мордалевичем. Затем, держа курс от одного сахарного завода к другому, среди служащих которых имелись люди пана Флёрека, Боронецкая пробралась на Белоцерковщину, куда вскоре со своей разбойничьей ватагой явился и батько Махно.

В феврале 1921 года Яворский, командир продовольственного отряда, помог петлюровке поступить в ольгопольскую школу и связал ее со своим другом — солидным советским командиром.

Еще во время осенней кампании Боронеецкой, пробравшейся во фронтовую полосу, удалось вскружить голову этому предателю. Его дивизия, оставшаяся в критический момент без руководства, дрогнула и отдала петлюровцам Деражню.

Из всех дел, порученных Боронеецкой, глава петлюровской контрразведки, прозванный желтоблаки́тниками «Малютой Скуратовым», считал наиболее важным делом встречу с Махно. Резидентка должна была выяснить, какую помощь смогут оказать анархо-кулацкие банды, когда петлюровцы из-за кордона снова вторгнутся на Украину.

Между тем дела Махно складывались плохо. Прижатые буденновцами к Днепру, махновские отряды вынуждены были уйти на Правобережье.

О захвате Белой Церкви (на это рассчитывал Чеботарев) махновцы и мечтать не могли. Там, как и в Умани, Тараще, Богуславе, располагались части Первого Конного корпуса червонного казачества.

Как только отряды Махно появились у Тального, где к ним должна была присоединиться банда Черного Ворона, по приказу командира корпуса червонного казачества Примакова 17-я дивизия во главе с Котовским из Таращи перешла в Ставищи, а 8-я кавалерийская двинулась навстречу врагу.

Тридцать первого декабря 1920 года и весь новогодний день 1921 года махновцы, уклоняясь от боя, немилосердно отбирая у крестьян лошадей, уходили от преследования.

Под Новый год ночью ко мне в хату привели рослого бандита.

— Товарищ комиссар полка, вот взяли подлюгу,— доложил мне мой коновод, доброволец из Каховки. Очерет.

Очерет поймал махновца на штабном дворе в то время, когда он пытался сесть на адъютантского коня. В карманах конокрада мы нашли удостоверение. В нем значилось: «Анархия — мать порядка. Предъявитель сего — вольный боец Великой анархической армии Тимофей Карнаух».

Пойманный, почти не запираясь, сообщил, что «великая анархическая армия» состоит из восьми полков конницы и одного полка пулеметных тачанок.

По пути в Особый отдел, где его должны были допросить поподробнее, Карнаух, запорошив конвоиру глаза самосадом, вскочил в какой-то двор и бесследно исчез.

Первого января махновцы остановились на отдых в селах Зеленый Рог и Сабодаш. Второго января наша 8-я конная дивизия, с трудом передвигаясь по гололеду, на рассвете атаковала банду и погнала ее на Пугачевку.

Упорный натиск червонных казаков вынудил Махно, имевшего перевес и в саблях и особенно в пулеметах, принять конный бой.

В поле, впереди Пугачевки, сошлись два стана — один под красными, другой под черными знаменами.

Застыли впереди строя командиры бригад. Чуть дальше за ними ожидали сигнала к атаке, в паре со своими комиссарами, командиры полков. На открытую позицию выехала со своими пушками наша артиллерия.

Давно ли отгремели бои на Перекопе? Лишь пять недель назад разгромленный нами Петлюра с жалкими остатками своего воинства удрал за кордон. Все мы считали, что с крахом третьего похода Антанты закончилась гражданская война.

И вот снова льется кровь. Сегодня мы бьем Махно. А завтра или послезавтра, кто знает, быть может, опять появится из-за рубежа Петлюра, прокладывая дорогу новым интервентам?

Вот и надо скорее добить анархо-кулацкую вольницу, не дав ей соединиться с желтоблаки́тной стихией.

Под командой начдива Демичева полки червонных казаков, сверкая клинками и оглушая противника дружным «ура», по зову голосистых труб, как на инспекторском смотре, бросаются в атаку, а махновцы с четкостью, свойственной частям регулярной армии, поворачивают, начинают маневрировать, обходить фланги.

Короток зимний январский день. Кровавые схватки продолжались до самого вечера. Хозяевами поля боя, усталого трупам бандитов и красноармейцев, становились то махновцы, то червонные казаки. В последней атаке того памятного дня у села Сабодаш Махно применил один из своих излюбленных приемов. Отступавшая под нашим натиском плотная стена «вольных бойцов» вдруг, словно рассеченная по центру надвое, образовала широкий разрыв, и перед строем 8-й дивизии выросла сплошная линия круто, на всем скаку повернувшихся махновских тачанок.

Левый фланг грозного фронта тачанок развернулся против боевого порядка нашего 6-го полка. Командир его Федоренко не растерялся. Дав команду пулеметной сотне матроса Шаршакова (под Перекопом тот огнем своих «максимов» отбил атаку английских танков) встретить махновцев, он сам во главе сабельных сотен круто повернул вспять.

Спустившись на галопе в ложину, где пушистый снег доходил до конского брюха, Федоренко повел по ней полк, нацеливая его на фланг и тыл махновских тачанок. Командовавший этим участком анархо-бандитский головорез, обнаружив вовремя опасность, дал тревожный сигнал к отступлению...

Кони с кровотокающими копытами, страдая от гололедицы, с трудом передвигались по кочковатым полям. Люди едва держались в седле.

Махно, потеряв добрую половину своих всадников, пользуясь наступившей темнотой, ушел от преследования.

Пришла ночь. Наш полк остановился в Сорокотяхах. Каганец — вправленный в сырую картошку фитиль — тихо потрескивал, освещая скудным светом растянувшихся на полу казаков. После целого дня жестоких схваток люди спали как убитые. Рядом со мной, на охапке соломы, без шапки, с высоко вздымающейся богатырской грудью, раскинув длинные ноги кавалериста, похрапывал намаевшийся за день командир полка Федоренко.

Взволнованный всем пережитым под Пугачевкой, я долго не мог уснуть. Перебирая в памяти успехи полка, которым мы радовались вместе с Федоренко, думал об испытаниях, еще больше закалявших нашу боевую дружбу. Но пришли мы к ней не сразу, не сразу я завоевал расположение боевого ветерана червонного казачества. Об этом мне и хочется рассказать.

«ЖЕЛТЫЙ КИРАСИР»

Полк освистал своего командира. Освистал и еще дерзко осыпал градом ругательств: «мазила», «сапожник», «козолуп». Это было в июле 1920 года — за полгода до зимних боев с махновцами.

Освистанного комполка Краскова, растерявшего во время операции сабельные сотни, сняли.

И вот, не желая и не ожидая того, в двадцать два года, в очень сложной рейдовой обстановке, по приказу нашего комбрига Микулина мне, комиссару, пришлось стать во главе 6-го червонно-казачьего полка.

По зову партии «Пролетарии, на коня!» каждый уезд Московской и Рязанской губерний снарядил в поход по двадцати всадников. Из них был создан 1-й Московский кавалерийский полк. В составе 13-й армии он гнал деникинцев от Орла до Таврии, а весной 1920 года вошел в дивизию червонного казачества под номером шесть. На Украине полк принял под свое знамя большое число добровольцев, но его бойцов по-прежнему называли «москвичами».

Мы уже пять дней находились в рейде, уничтожая штабы и разрушая базы в глубоком неприятельском тылу пилсудчиков. Кони и люди выбились из сил, боеприпасы иссякли. Предвиделись тяжелые бои. И я понял, что мне, малоопытному командиру, не справиться с полком.

И вот из 1-го полка, сдав его Владимиру Примакову, брату начдива, прибыл к нам после моих настойчивых просьб новый командир.

Это было в селе Маначин, недалеко от Збруча. На всю жизнь запомнился мне этот день. Командир третьей сотни Швец, с расстегнутым воротом, наклонившись над точилом, обрабатывал и так острое лезвие своего кривого клинка.

Высокого роста, красивый, подтянутый всадник в красных гусарских штанах, неожиданно появившийся в Маначине, слез с коня. Разгладив пышные золотистые усы, кавалерист взял из рук Швеца клинок. Поднес его к точилу раз, другой, третий. Сделав шаг в сторону, рассек клинком толстый шест, торчавший в плетеной ограде усадьбы.

Восхищенный Швец выпалил:

— Вот это здорово! Вы кто? Бывший точильщик?

Чуть улыбнувшись, тот ответил:

— У нас в Бахмуте что ни шахтер, то слесарь. А теперь я ваш командир — Федоренко Василий Гаврилович.

Слава о Федоренко, «желтом кирасире», бывшем унтер-офицере «лейб-гвардии кирасирского его императорского величества полка», как о дельном, боевом и очень храбром командире гремела по всей дивизии. «Кого-кого, а уж его не освищут», — думал я, любуясь его гвардейской выправкой и невозмутимым спокойствием. Он не бросался, как Красков, в бессмысленные атаки во главе взвода, оставляя без руководства весь полк. Не отпуская от себя вестовых, Федоренко облюбовывал возвышенность, откуда мог наблюдать за всем полем боя. Ординарцы то и дело летели с его приказами к сотням. Ни неудачи отдельных атак, ни разрывы снарядов, обдававших его дождем земли, ни свист пуль не омрачали его строгого, словно высеченного из мрамора, мужественного лица. Но в нужный момент, когда сотни своими наскоками расшатывали стойкость врага, «желтый кирасир», собрав полк в кулак и обнажив клинок, возглавлял атаку...

Однако старые навыки давали о себе знать. Кавалеристы, привыкшие и по серьезным вопросам и по пустякам обращаться к комиссару, и теперь обходили командира. Федоренко хмурил густые брови и даже неохотно разговаривал со мной.

Я решил созвать партийное собрание. Наш комиссар дивизии Евгений Петровский, бывший председатель Черниговского ревкома, вызвав меня, сказал:

— Мы вам дали прекрасного командира. Федоренко несколько дней назад принят в партию. Задача ваша и всех коммунистов — сделать из него хорошего партийца.

Перед собранием, оставшись с Федоренко вдвоем, я попросил его рассказать свою биографию. Разгладив пышные пшеничные усы, он саркастически улыбнулся.

— Что, комиссар, строишь мне экзамен? Ты у своей мамы в животе горошинкой сидал, когда я бонбы прятал.

— Это что ж, в двенадцать лет?

— Не в двенадцать, а в четырнадцать. Это надо понимать.

— Понимаю, Василий Гаврилович, биография у вас — дай бог каждому.

— Ты, видать, комиссар, из шустрых, а спектактеля из меня не строй. Может, твои хлопцы и меня хочут выжить? Так знай — я не Красков.

Как мог, я заверил командира в обратном. Познакомил его со своей биографией. Выслушав меня со вниманием, Василий Гаврилович начал рассказывать о себе. Мне понравилось то, что он на первый план выдвигал не себя, а своих товарищей по борьбе за Советскую власть на Бахмутщине. А я слышал, что он в 1917 году играл в Бахмуте не последнюю роль.

На партийном собрании выступали многие. В президиум мы выбрали Федоренко. Жора Сазыкин, участник штурма Зимнего дворца, худенький, черноглазый, горячо говорил о том, что коммунисты должны укреплять среди бойцов авторитет нового командира. Наблюдая за Федоренко, я видел, как постепенно оттаивает его суровое лицо. После собрания, на виду у всех, он протянул мне свою сильную руку.

— Будем работать дружно, комиссар. Постараемся, чтобы наш шестой полк, последний по номеру, стал первым по делу.

Мы, как это было принято тогда, закончили собрание пением «Интернационала», и это не было только данью традиции. Торжественные слова международного гимна пролетариев звучали, как клятва.

В штабе Василий Гаврилович, необычно оживленный, весь под впечатлением партийного собрания, сказал мне полушепотом:

— А я, товарищ комиссар, думал, что ты выжить меня хочишь.

— За что же, Василий Гаврилович?

— Как за что? За то, что пришлось отдать мне полк.

Мы зажили с «желтым кирасиром» душа в душу. Старше меня лет на пятнадцать, Федоренко относился ко мне по-братски. В походах я пересказывал ему содержание «Коммунистического манифеста», знакомил с географией, историей. Стараясь не задеть самолюбия командира, добился того, что он начал следить за своей речью. Он уже говорил «спектакль» вместо «спектактель», «они хотят», а не «они хотят», «бинокль», но не «биноктель».

Во время боев под Рогатином 5-й полк нашей бригады получил задачу овладеть Чертовой горой. Несколько конных и пеших атак против пилсудчиков, оседлавших эту высоту, не увенчались успехом.

Наш полк, правда с большими усилиями, захватил соседнюю возвышенность, фланкировавшую Чертову гору. Федоренко, наблюдая в бинокль за действиями соседа, кусал свои пшеничные усы. Это с ним случалось редко.

— Глянь, комиссар,— хриплым после атаки голосом сказал Василий Гаврилович.— Самойлов претса на рожон. Пусть только убьют мою Троянду, он мне, жучкин сын, ответит головой...

Троянда была больным местом Федоренко. Эту золотистой масти кровную кобылу из конюшен генерала Ромера захватил 6-й полк и передал Федоренко как подарок за бои под Збаражем. Но новый наш комбриг Демичев, потребовав трофейную лошадь якобы для комкора, отдал ее командиру 5-го полка Самойлову. Такая несправедливость возмутила даже очень выдержанного и дисциплинированного «желтого кирасира». Если бы не глубокое уважение к Примакову и не привязанность к «москвичам», Федоренко при его самолюбии не стал бы служить под началом своего обидчика.

— Пожалуй, Самойлову надо помочь,— сказал я.— Если мы ударим отсюда, пилсудчики не усидят на Чертовой горе.

— Нехай сам Демичев помогает своему любимчику,— сердито ответил «желтый кирасир», еще энергичнее жуя ус.— Я свое выполнил. Тебе что, комиссар, не жалко людей?

— Что шестого, что пятого полка — люди одни, советские. Мне всех жаль. Но на жалости много не навоеешь...

Федоренко слез со своего рослого темно-гнедого Грома, ни в чем не уступавшего Троянде.

Бойцы называли командирова коня по-своему. Они переделали его кличку в «Гром и молния». Была на это основательная причина. Стоило всаднику чуть податься вперед корпусом, как Гром мгновенным броском головы наносил такой удар по лбу седока, что у того из глаз сыпались искры.

Федоренко, став спиной к Чертовой горе, закурил. И все же время от времени косился назад, вслушиваясь в звуки горячего боя. Так прошла минута, другая.

Василий Гаврилович сунул ногу в стремя и спустя миг опустился в седло. Решение было принято: выручать Самойлова! Уже готовясь скакать в атаку, обнаженным клинком подавая сигнал сотням, Федоренко обернулся ко мне и выпалил:

— Ладно, двинулись! Но Троянды, комиссар, я им вовек не прощу.

После Чертовой горы «проблема Троянды» была улажена. То ли потому, что Самойлов в этот день завладел скакуном атамана черношлычников, то ли оттого, что это стало возможным благодаря атаке 6-го полка, но Троянда по распоряжению комбрига вновь перешла к своему прежнему хозяину.

Очень довольный, Федоренко, не доверяя такой деликатной миссии коноводу, сам перебрал свое английское седло с хребта Грома на спину золотошерстой кобылы.

— Знаешь, комиссар,— подтягивая потуже подпруги, сказал Василий Гаврилович,— все-таки не захотел обидеть меня Демичев. Гром будет у меня для похода, а для атак нет лучше этой Троянды.

— Зачем ему вас обижать?— ответил я.— Он рабочий человек. Только стоял не в забое, а возле наборной кассы. И Самойлов из пастухов...

— Вот в старой армии,— опустившись в седло, продолжал Федоренко,— и то меня не обижали. А было за что, по правде сказать.

Обычно малоразговорчивый, командир нынче, после удачной атаки и возвращения драгоценной Троянды, пребывал в благодушном настроении и, очевидно, не прочь был

кое-что рассказать о себе. Но тут, выдвинувшись из Рогатина, свежая колонна «улан малиновых», обрушившись на фланг дивизии и порубив отчаянно отбивавшегося командира разведчиков Сергея Глога, пошла в атаку на 6-й полк. Федоренко, так и не рассказав о своих старых прегрешениях, обнажил клинок и повел «москвичей» на улан Пилсудского.

...Засыпая на полу штабной хаты в Сорокотяхах, я думал о том, как вырос наш полк под командой «желтого кирасира» и как я сам научился у него многому.

Перед рассветом Федоренко начал меня тормошить.

— Гром чего-то ржет,— тревожно зашептал он.— Неспроста.

Действительно, с улицы доносилось протяжное ржание. Федоренко без бурки выскочил на улицу. За ним выбежал и я. Посреди двора, мелко дрожа всем телом, окруженный ординарцами, стоял Гром, а у его ног распростерся неподвижный человек, своим вооружением и всем видом смахивавший на бандита.

Казаки внесли его в хату. Очерет плеснул ему в лицо полную кружку студеной воды. Когда незнакомец мутными глазами обвел всех нас, вмг побледневший Федоренко, взяв чужака за грудки, поставил его на ноги. Я не узнавал своего командира.

— Знаешь, кто это, комиссар? — трясая от негодования, спросил Василий Гаврилович.— Старый знакомый, каптенармус кирасирского полка Карнаух. А зараз, видать, затесался до махновской шпаны. Мало того, на конокрада практикуется...

Услышав фамилию «Карнаух», я вспомнил предновогоднюю ночь. Каганец, поднесенный к лицу задержанного, осветил вороватые глаза бандита и его разинутый беззубый рот.

— Ты у меня в Питере отбил бабу, помнишь?— залепетал махновец.— А я порешил отбить твоего коня. Давно за ним охочусь. Вот не знал только, что он у тебя из бешеных. Как вдарил по кумполу, сразу паморки отшиб.

— Ясно, отшибет! — воскликнул Очерет.— На то он «Гром и молния».

— Твоя взяла, Васька...

— Какой у тебе, жучкин сын, Васька? — Федоренко занес было над бандитом свой тяжелый кулак, но, овладев собой, опустил руку.— Полагалось бы тебе всыпать... Не стоит марать рук... Особый отдел разберется...

У Карнауха на сей раз освободили карманы от самосада и под усиленной охраной увели его в штаб дивизии.

От махновца мы узнали, что его часть ночевала на хуторах рядом с Сорокотьягами. Но и мы тоже после боя у Пугачевки ни к чему, кроме сна, не были способны.

Думая о предстоящем походе, я настойчиво предлагал командиру соснуть часок-другой. Но, взволнованный неожиданной встречей, он уже не думал о сне. Достав из кобуры наган, насупив брови, он начал его разбирать, аккуратно раскладывая детали на хозяйском столе.

«ОЙ, ЖІНКО, ВЕСЕЛИСЬ, У МАХНА ГРОШІ ЗАВЕЛИСЬ»

Вернемся к событиям, которые произошли после боя с махновцами у Пугачевки.

Задолго до рассвета, забрав у крестьян свежих лошадей взамен своих, замученных изнурительным боем, бандиты умчались на восток.

Махно бросился к Днепру, сумев избежать встречи с 17-й дивизией, которой командовал Котовский. На изможденных конях, из-за смертельной усталости даже не дотронувшихся до овса, мы продолжали погоню за врагом.

Три дня шли мы по проселкам, сохранившим на себе следы множества кованых и некованых копыт. На обочинах валялись конские трупы. Попадались на дороге то рваные до невозможности сапоги, то мятый картуз, то стреляные гильзы.

В крестьянских хатах нам показали махновские деньги. На их лицевой стороне было напечатано: «Анархия — мать порядка», а на изнанке довольно веселенький стишок:

«Ой, жірко, веселись,
У Махна гроші завелись,
Хто цих грошей не братиме,
Того Махно дратиме!»

Следы банды вели к Каневу. Здесь, на одном из глухих хуторов Каневщины, состоялась встреча резидентки петлюровского контрразведчика Чеботарева с махновским контрразведчиком Воробьевым, который и свел ее с Махно.

Задержанная вскоре в Ольгополе Ипполита Боронецкая, пытаясь полным раскаянием смягчить свою участь, ничего не утаила из того, что произошло во время ее свидания с «главковерхом» анархо-кулацкой вольницы.

Батько, страдавший от раны, полученной им в бою у Пугачевки, принял шпионку, лежа в тачанке. Он не стал слушать посланницу Петлюры — сразу же обрушился на нее:

— Передай, девка, своему Петлюре, что батько Махно шуток не признает. Где ваши атаманы? Попрытались от Махна, как мышь от кота. Не видел я что-то ни их отрядов, ни их самих. А ваш Черный Ворон пусть и не попадается мне на дороге. Он хоть и ворон, а велю своему воробью, — батько указал пальцем на контрразведчика Воробьева, — выклевывать ему глаза, а потом шлепну за обман!

— С вами должен был встретиться наш атаман трех губерний Мордалевич, — говорила наконец Ипполита.

— Никаких атаманов ни трех, ни четырех губерний я не повстречал. С вашим дерьмом свяжешься, сам дерьмом завоняешь. Я уйду со своей армией.

— А нельзя ли узнать куда? — спросила Боронецкая.

Махно искоса посмотрел на нее.

— Ишь чего захотела! Иду, куда надо. А своим передай, если Петлюра по-серьезному двинет на Украину силы, Махно готов взять у большевиков Киев. Только позже, к лету или к осени.

Воробьев выпроводил контрразведчицу за хутор.

Боронецкая ждала иного приема. Ну что ж? Переговоры с Махно — это ведь далеко не все, чего от нее требовал шеф. Ей еще предстояло встретиться с крупным советским командиром и, пустив в ход все свое искусство, затянуть его в сети чеботаревских козней!

Возле Канева махновцы оставались недолго. Набросав на рыхлый лед солому, доски, они переправились на левый берег Днепра. Спустя несколько часов перешел реку и сводный отряд Котовского, сформированный по приказу Примакова для преследования бандитов.

Вскоре махновская черная рать попалась в мешок. Тщательно задуманная ловушка была подготовлена для нее недалеко от Хоролы. Путь банде преграждала насыпь железной дороги, и перемахнуть через нее можно было только у переезда, вблизи которого курсировал бронепоезд.

С двух сторон охватывала врага советская конница. 14-я буденновская дивизия, ждавшая банду на Левобережье, своими разъездами нащупала основное ядро махновцев. Приближался к полю боя и отряд Котовского.

Очувшись в безвыходном, казалось бы, положении, батько придумал коварный маневр, спасший его банду.

В штабе Махно нашлось удостоверение на имя командира взвода одного из полков 14-й дивизии. С этим документом один из бандитов на всем галопе помчался к бронепоезду. Там он предъявил свой документ и подвел командира к амбразуре. Показывая на приближавшихся к полотну железной дороги махновцев, бандит сказал: «Это наша 14-я дивизия. А там, — повел он пальцем в сторону буденновцев, — на горизонте видны разъезды махновцев. Начдив просит пропустить нас через полотно, потому как кони вымотаны и в атаке нам не устоять. А за переездом мы обождем подхода червонных казаков».

Простодушный командир бронепоезда попался на махновский трюк. И на сей раз анархо-бандиты вырвались из тщательно подготовленной для них западни.

«ЗАЛІЗНИЙ ЛИЦАРЬ»

Вскоре после похода на Махно Федоренко, вернувшись из штаба дивизии, развернул передо мной приказ начдива Демичева. Вручая мне документ, комполка с грустью сказал:

— Мне, старику, пора на покой. Я в седле с тысяча девятьсот девятого года. Покомандуйте теперь вы, молодежь. Сдам тебе, комиссар, полк со спокойной душой. И полк и моего трофейного Грома. Это зверь, а не конь. А Троянду, так и быть, преподнесу Демичеву.

Покинув ряды нашей славной дивизии, «желтый кирасир» не ушел, разумеется, на покой. Бывшего командира, посланного на Северный Кавказ, назначили директором крупнейшего совхоза «Верблюды».

К весне 1921 года бандиты на Киевщине, разгромленные червонными казаками, притихли, затаившись в лесных трущобах. Зато, питаемый Чеботаревым и Тютюнником из-за кордона, ожил бандитизм на Подолии.

Весь наш корпус передвинулся на запад. Мы стали в большом селе Гранов, на Гайсинщине. Не было дня, чтобы не происходило столкновения с бандами.

Однажды, возникнув где-то вдаль, делаясь с каждой минутой громче, на площадь села прилетели слова казачьей песни:

Попе-попереду Дорошенко,
Попе-попереду Дорошенко,
Веде свое військо, військо запорізьке,
хорошенько!

С шашкой наголо казаки сопровождали с десятков пленных. В обычном красноармейском обмундировании, а некоторые с лампасами на брюках, давно небритые, они смотрели исподлобья. Казаки, выходя из строя, набросали у штаба целую гору трофейных куцаков — обрезанных винтовок.

— Что с вами? — спросил я сотника Брынзу, указывая на его перевязанную голову.

— Трохи зацепило, — усмехнулся Брынза. — Вон тот, — указал он на высокого, с раненой рукой, прижатой к груди, тонконосого бандита. — Только я в землянку, а он в упор пальнул из обрезка. Это и есть сам атаман Максюк!

— Ну я! — ответил нагловато атаман. — Что, рубать будешь, москаль? Пленного и пораненного срубать не штука! — язвительно добавил он.

Пойманных отвели в сельскую кутузку. Максюка доставили в штаб, где легком сделал ему перевязку. Хотя клинок Брынзы глубоко рассек руку бандита, рана была неопасна. Поблагодарив за перевязку, атаман заявил:

— Доставьте меня в высший штаб, там я, может, кое-что и скажу. Я сам вояка, в строю находился не один год, знаю, ваше право только рубать, а там, повыше, могут и помидовать.

— А за что тебя миловать? — спросил Брынза.

— Товар за товар. Может, за другие головы, более стоящие, мою и оставят на плечах... — Максюк попросил папиросу. Закурив, он продолжал: — Я вам скажу вот что. Там, за Збручем, Тютюнник и пан Чеботарев считают — у Максюка триста повстанцев, а у меня их было в десять раз меньше. Всем надоела пещерная жизнь. И ваши казаки схватили нас не почему-нибудь. Братва ночью перепилась, а какой из пьяницы вояка? Схватились за зброю, а поздно!

В штаб, гремя шпорами, ввалился мой ординарец. Осенью 1920 года во время отхода из Галиции Очерет, летевший с приказанием к резервной сотне, был схвачен гайдамаками, неожиданно выскочившими из густого тальника. Казак, прикидываясь простачком, назвал себя мобилизованным. Его, как «придурковатого», послали ездовым в обоз. Спустя несколько дней Очерету удалось сбежать. Явившись в штаб нашей дивизии, он принес много ценных сведений о готовившемся наступлении самостийников.

Сейчас, узнав петлюровского сотника, Очерет обратился к нему:

— А где твой оселедец? Помню, как я был у тебя в плену, ты здорово берег свою гордость гайдамака.

— Я эту штуку, — проведя рукой по бритой голове, развязно ответил атаман, — оставил там, за Збручем, на память нашим министрам. Им все мало грошей — может, выручат за мою прическу с сотню марок. Они там получают по двадцать три тысячи марок в месяц, а меня тут грызут двадцать три тысячи вшей. Эх, пан служивый, что я вам скажу? Потерявши голову, по оселедцу не плачут...

В тот же день мы отправили Максюка в Особый отдел.

На завалинке поповского дома, в котором помещался наш штаб, смоля козьи ножки, балагурили штабные ординарцы и командиры. Разговор шел о командире корпуса, которого с минуты на минуту ждали в Гранове. Из Гайсина по полевому телефону передали, что комкор, следуя в штаб 8-й кавдивизии, заедет в наш полк.

Раньше казаки ежедневно видели Примакова, редко покидавшего линию боя. Сейчас, с окончанием военных действий, когда червонное казачество развернулось в двенадцать полков, появление командира корпуса в части было уже большим событием.

Кто-то вспомнил, как гетман в восемнадцатом году обещал за голову Примакова семьсот тысяч карбованцев.

Очерет, стараясь отвлечь внимание соседа, в кисет которого он запустил свои длинные пальцы, сказал с усмешкой:

— А целого мильёна пожалел тогда. Теперь, думаю, он и все десять мильёнов согласный был бы отдать.

Бойцы червонного казачества — и славные ветераны и молодежь, недавно ставшая под знамена корпуса, — любили и уважали своего командира.

В Черниговской гимназии четырнадцатилетний Виталий, сын сельского учителя, вступает в подпольный кружок, а затем и в большевистскую партию. Вместе с Юрием Коцюбинским, Стецким и другими революционно настроенными юношами он ведет антивоенную пропаганду среди солдат Черниговского гарнизона.

Вскоре, в 1915 году, в Киеве со скамьи подсудимых он смело бросает в лицо царским судьям: «Да, мы распространяли листовки, но не считаем себя виновными. Мы это ставим себе в честь и в заслугу перед народом».

Затем тюрьма. Встречи с закаленными революционерами. Голодовка. Одиночка. Карцеры. Ссылка в Сибирь. Работа молотобойца. Разоружение полиции в городе Абане весной 1917 года.

В бурное лето этого года он возвращается из ссылки.

На Украине молодой Примаков, частый гость в семье Коцюбинских, тянется к перу, не зная еще того, что истинным его призванием явится казачий клинок. В Киеве сбывается давняя мечта юноши — он становится журналистом. Но ненадолго. Правда, после гражданской войны Примаков напишет много статей и очерков. Выпустит книги о пережитом: «Митька Кудряш», «Записки лейтенанта Аллена», «Афганистан в огне». И все же в историю своего народа он войдет не как писатель, а как талантливый самородок-полководец.

Член городского комитета, Виталий Примаков по заданию партии идет солдатом в 13-й запасный полк, стоявший в Киеве. Эта часть посылает Примакова в Питер на Второй съезд Советов. Двадцатилетний Примаков, делегат съезда, возглавляет отряд красногвардейцев-паровозников и под Пулковом сдерживает натиск белоказачков Краснова.

В декабре 1917 года в Харькове член ВЦИКа Примаков вместе с писателем Куликом, выполняя указание партии, идет в Москалевские казармы и склоняет один из батальонов петлюровского полка на сторону большевиков.

Бывший главком Украины Антонов-Овсеенко пишет в своих воспоминаниях, что нельзя было начать боевые действия против Центральной рады, пока «в нашем распоряжении не будет своей чисто украинской боевой части».

Этой боевой частью и стал отряд червонного казачества, созданный 25 декабря 1917 года Примаковым из солдат царской армии и добровольцев — харьковских рабочих.

Спустя две недели под Полтавой червонные казаки Примакова вместе с красногвардейцами Харькова разбивают гайдамаков Центральной рады, забирают их коней и садятся на них.

Красные отряды, подойдя к Днепру, не в силах были форсировать его. И тогда Примаков впервые в истории гражданской войны совершает со своим конным отрядом рейд по тылам желтоблагитников. Пройдя по зыбкому льду Днепра, он появляется в Пуца-Водице и, поспешив на помощь красногвардейцам Куреневки и Подола, вместе с ними врывается в Киев.

С тех пор рейды становятся основным видом деятельности червонного казачества, возглавляемого Примаковым.

Бои и организационные хлопоты отнимают много времени у молодого командир-конника. Но он, зная, чего от него требует партия, находит время, чтобы прочесть все, что можно раздобыть по истории конницы. Он увлекается описанием рейдов американской кавалерии во время гражданской войны Севера против Юга.

Осенью 1918 года Примаков вместе со Щорсом и Боженко создает регулярные части Украинской Советской Армии, которые выгоняют с Украины оккупантов и гетманцев.

Весной 1919 года Примаков со своим полком совершает знаменитые рейды на Старо-Константинов — Изяславль — Острог и выводит из строя не один полк петлюровцев.

Золотыми буквами вписаны в историю гражданской войны осуществленные под руководством Примакова четырнадцать рейдов червонных казаков по тылам Деникина, пилсудчиков и гайдамаков.

— Хлопцы, стривайте! — С завалинки вскочил один из бойцов, молоденький галичанин. — Так що я вам скажу, хлопці? Подивіться на майдан! Так то ж сам Примак до нас іде!

Все повернули головы в сторону площади. Пересекая ее, в сопровождении двух адъютантов и вестовых, сдерживая разгоряченного Мальчика, нетерпеливо перебиравшего точеными ногами, приближался к поповскому дому комкор. В казачьей форме, с горделивой осанкой, Примаков, с обветренным строгим лицом, казался старше своих двадцати трех лет.

Осадив горячего скакуна у входа в штаб, комкор ловко соскочил с седла. Отдав поводья ординарцу, направился к казакам, словно по команде поднявшимся с завалинки.

— Здорово, товарищи москвичи! — приветствовал Примаков казаков. Сняв серую смушковую папаху, чистым носовым платком прошелся по коротко остриженной русой голове.

— А вы нас не забываете, товарищ командир корпуса! — выпалил Очерет, восхищенно поглядывая на два ордена Красного Знамени и знак члена ЦИКА, сверкавшие на груди комкора.

— Что вы, товарищи? Москвичей — и забыть! Я о ваших делах всегда помню.

Примаков достал из кармана брюк небольшую, из вишни вырезанную трубочку. Выкопачивая пепел, стукнул ею несколько раз о серебряный эфес своей кубанской шашки. Глядя на комкора, решили закурить и бойцы. Но прежде, чем были свернуты сигарки, со всех сторон потянулись руки с зажатыми в них кисетами.

— Попробуйте моего, товарищ комкор!

— Настоящая кремешукская, фабрики Гуарария!

— А вот матка прислала своего самосаду, натуральный рязанский горлорез!

Но опередил всех Очерет.

— Смачнее, как от любезной, нет табачку, товарищ комкор! — Он раскрыл зев кисета перед самым носом комкора.

— Самый смачный табачок, видать, чужой! — не стерпел Брынза и укоризненно посмотрел на земляка, только что опустошившего его кiset. — Ну и стрелок!

— Обрато же, товарищ командир корпуса, без курева казак никуда! — Очерет, выпитив грудь, указал на нее пальцем. — Думаете, с чего она у меня такая? Дымку погуше, да ремень тяну пуше.

— Насчет ремня, — ответил, насунив брови, Примаков, — это всем нам знакомо. Как-нибудь перетерпим голодуху. А жителям Поволжья как? Весь их паек — лебеда!

— Знаем, — сказал Брынза. — Мои хлопцы все как один проголосовали за лозунг: «Четыре казака кормят одного голодающего».

— А нам полковая медицина читала лекцию, — зарделся молодой галичанин, — так по той лекции выходит — приварок отменяется. Вместо него ученые выдумали какую-то калёрию.

— Чудак,— ответил ему Очерет,— та калория и есть наш красноармейский паек. Слышать, вы, товарищ комкор,— он повернулся к Примакову,— и свои наградные часы отдали голодающим?

— Не только я, ребята. Сдали в Помгол золотые часы и ваш комиссар дивизии Петровский и другие товарищи.

Потолковав с бойцами, Примаков позвал меня с собой. Мы пошли во двор. Примаков, забравшись на сиденье высокой тачанки, обратился ко мне:

— Вижу, вы чувствуете себя в новой роли неплохо, а артачились. Значит, партия поступает верно, выдвигая политработников в командиры? Вы только покрепче налегайте на уставы, на учебники. Учитесь сами и учите ваших людей. Но с шестым полком вам придется расстаться.

Примаков выжидающе посмотрел в мою сторону. Сообщение комкора ошеломило меня. Как, оставить полк, с людьми которого меня связывало боевое прошлое?

— Не расстраивайтесь. Все обойдется по-хорошему,— успокоил меня комкор.

— Что ж,— сказал я не очень-то бодрым голосом,— поеду в Петроград, в новую ступлю в политехникум.

— Кто вас отпустит? — Примаков улыбнулся.— Стране, правда, нужны инженеры, но ей нужны и грамотные командиры. Нам с вами служить, как медному котелку. Мы вас переведем в другой полк.

— В какой? — полюбопытствовал я.

— В какой — еще не скажу, но знаем, что не восьмой, а семнадцатой дивизии! Это ведь также в нашем корпусе.

Не зная за собой особых прегрешений, я простодушно спросил:

— Это за что же?

— Не за что, а для чего! Котовский привел в семнадцатую дивизию свою славную боевую бригаду и уже много хорошего там сделал. К Григорию Ивановичу уже идет крепкое пополнение. Из сорок первой дивизии полк Садолоюка, из-под Могилева бригада Кочубея, с Полтавщины — полк незаможников, всю башкирскую бригаду Горбатова передают нам. А кадров у Котовского не так уж много. По его просьбе мы и перебрасываем в семнадцатую дивизию наших работников. Начнем с вас. Придется прививать новичкам традиции червонного казачества.

— А сюда кого направите? — спросил я.

— Пока этот вопрос не решен.

Примаков слез с тачанки, стряхнул соломинки, приставшие к его синим, с лампами, галифе, и, прощаясь, добавил:

— Только не вздумайте опускать руки. Смотрите!

Итак, я должен был, не оставляя рядов червонного казачества, которое за два года мне стало роднее семьи, перейти под начальство Котовского. Это несколько смягчало горечь предстоящей разлуки с боевыми товарищами. С Котовским мне уже довелось встречаться и даже сражаться плечом к плечу...

С КОТОВСКИМ НА ВОЛОЧИСК

Это было в ноябре 1920 года. 14-я армия стремительно теснила пятидесятитысячное войско самостийников к Збручу — тогдашней границе двух миров.

Под Писаревкой командир корпуса Примаков приказал Федоренко, командиру 6-го полка:

— Выдели дивизион. Пусть скачет вперед, на Волочиск.

— Что, в помощь Котовскому? — спросил «желтый кирасир».

— И в помощь, конечно. Но не только... — с каким-то лукавством ответил Примаков. — Во всяком случае, пусть хлопцы постараются опередить на Збруче и гайдамаков и Котовского.

— Что-то я не пойму, товарищ комкор.

— Кто нанес первый удар вильному козацтву в восемнадцатом году? Червонные казаки! Они нанесут ему и последний удар под Волочиском! Теперь, надеюсь, понял Василий Гаврилович?

Федоренко выделил в отряд две лучшие сабельные сотни и пулеметные тачанки на самых крепких лошадях. Заметив старание комполка, Примаков спросил:

— Что, сам поедешь?

— Зачем? — Федоренко прищурил глаза. — Поведет отряд комиссар, если он этого хочет. Нехай и ему будет прахтика! Мне и тут работа, считаю, найдется!

— Конечно, — согласился комкор. — Но тебе не будет обидно? Смотри, Василий Гаврилович!

— Какая там еще обида, Виталий Маркович? Что я, что комиссар — это все шестой полк!

Примаков, не слезая с коня, объяснил в нескольких словах задачу казакам и, когда мы через поле, усеянное гайдамацкими трупами, тронулись рысью на запад, напугав бойцов:

— Не подкачайте, хлопцы, в Волочиск. Слава москвичам!

В ответ дивизион дружно запел популярную в червонном казачестве песню:

Шаблі ще у нас блищать,
І рушніці нові,
І ми ворога рубать
Хоч зараз готові.

Ликвидируя по пути отдельные группы гайдамаков, дивизион приближался к Збручу. Вдали показалась Фридриховка. На ее полях, вправо от шоссе, внушительное кавалерийское соединение с батареей пушек развертывалось фронтом на запад. Наш дивизион, не сбавляя рыси, продолжал движение. Какой-то крупный всадник, дав шпоры своему рослому коню, направился галопом наперерез нам. В этом кавалеристе нетрудно было узнать Котовского. Я перевел дивизион на шаг.

— К-куда вы следуете? — чуть заикаясь, еще издалека строго спросил Котовский. Круто осадив коня, он двинулся рядом со мной.

— На Волочиск, товарищ комбриг, — ответил я.

— К-как так на Волочиск? Это не ваша, а моя задача, — рассердился Котовский.

— Я выполняю приказ моего командира корпуса.

Котовский несколько мгновений двигался молча. Смерив меня взглядом с головы до ног, ответил спокойно:

— Вас я не виню. А Виталию вашему, видать, мало Могилева, Каменца, Деражни.

— Но и ваша бригада отбила у гайдамаков Проскуров, — ответил я.

— Что же, что отбила, а Волочиск приказано захватить мне.

— Мы вам мешать не будем, товарищ комбриг. Здесь вы старший начальник, и я готов выполнить любой ваш приказ.

— Вот как старший я вам приказываю вернуться в свой корпус. Волочиск возьмет моя бригада!

— Это идет вразрез с полученным мною приказом. Я не вернусь.

Котовский после некоторого раздумья улыбнулся.

— На вашем месте, м-молодой человек, я поступил бы точно так же. Значит, вы решили твердо идти на Волочиск? А известно вам, какие там силы? — Комбриг, многозначительно кашлянув, бросил взгляд на нашу не столь уж грозную колонну.

— Знаю, — ответил я.

— И про бронепоезд знаете?

— Вот он!

В полукилометре от нас, в глубокой железнодорожной выемке, курсировал петлюровский бронепоезд «Ян Кармелюк».

Я поднял руку, предупреждая дивизион о переходе на рысь.

— Ладно, — бросил примирительно Котовский и, обнажив клинок, подал им команду своей бригаде. Через несколько минут котовцы, свернувшись в походный порядок, двинулись уже по правой половине шоссе голова в голову с дивизионом червонного казачества.

Обе колонны одновременно втянулись в Фридриховку. Настроение поднялось и у котовцев и у червонных казаков. Бойцы этих лучших соединений украинской кавалерии с давних пор уважали друг друга.

День клонился к вечеру. Начало смеркаться. Мы приближались к западной окраине села. Навстречу нам со стороны Волочиска шел рысью разъезд черношлычников — гайдамаков, носивших шапки с длинными, свисавшими к поясу черными шлыками.

— В-возьмем их, товарищи, в шапки! — крикнул Котовский и дал шпоры коню.

За ним двинулись мы все — командиры частей и наши ординарцы. Петлюровцы, заметив нас, бросили пики и повернули назад. Они скрылись в облаках пыли. Со стороны Волочиска, в каком-нибудь километре от нас, грянул залп артиллерийской батареи. С воем высоко над нашими головами пролетели снаряды. Не нагнав черношлычников, мы повернули и остановились на окраине Фридриховки.

Котовский, возбужденный скачкой, отдал короткий приказ:

— Моей бригаде ломать тыны справа. Пройти огородами. И сразу же в атаку, Червонцам ломать тыны на своей стороне. Развернуться влево от шоссе. Добьем, товарищи, петлюровскую гадину...

Пока гайдамаки безуспешно обстреливали дорогу, кавалеристы, принявшись с ожесточением за дело, уже через несколько минут, проскочив через крестьянские дворы и едва построившись для атаки, хлынули грозным валом к Волочиску — котовцы справа, а червонцы слева от шоссе.

Ни снаряды артиллерии, ни бешеная лихорадка «кольтов» пулеметной дивизии, ни огонь петлюровских юнаков (юнkerов) не смогли остановить кавалерийского смерча, обрушившегося на защитников последнего плацдарма самостийников.

А «Ян Кармелюк», бессильный причинить вред атакующим, грозился им сердитыми вспышками паровозного дыма. Конечно, несколько смельчаков из команды «панцерника», выбравшись из вагонов с двумя-тремя пулеметами на кромку откоса, могли бы причинить дивизиону червонных казаков много бед. Но таких смельчаков у петлюровцев не оказалось.

В Волочиске вспыхнула паника. Петлюровские юнаки и офицеры с пистолетами в руках старались поддержать порядок на переправе, но обезумевшие гайдамаки, оглушенные яростным «ура» красной кавалерии, смяли их. Пешее и конное, в тачанках и экипажах отборное войско Петлюры, ломая тонкий лед Збруча, бросилось под защиту иноземных штыков.

Один из петлюровских атаманов, Михаил Палий, высокий, плечистый, русоволосый детина, кричал из-за реки, потрясая кулачищами:

— Чекайте, голодранці, ми ще з вами зустрінемося!

Семен Очерет, осадив свою лошадь у самого берега, ответил гайдамаку:

— После драки кулаками не машут! Видать, не намахался ты, добродий, шаблюкою!

Собрав дивизион, я на рысях выдвинулся на юго-западную окраину города. Издали навстречу нам, со стороны железнодорожного моста, доносился бесконечный грохот молотков. Пригнанные гайдамаками рабочие под наблюдением легионеров спешно перешивали колею с узкой на широкую. «Ян Кармелюк» вот-вот ускользнет. Мы затопились.

Пойму Збруча пересекала высокая железнодорожная насыпь. На ней-то мы и увидели вырисовывавшиеся на фоне вечернего ноябрьского неба грозные контуры петлюровского «панцерника».

Возможно, что в ожидании, пока путь будет готов, петлюровцы решили не обнаруживать себя. Отдавая приказы вполголоса, я развернул дивизион на окраине Волочиска.

— Ну, где наши охотники? — спросил я.

Первыми из строя выдвинулись «москвич» Жуков, коммунист, потомственный слесарь Цинделевской мануфактуры, и петроградец Сазыкин. За ними последовали другие. Всадники, обнажив клинки и разогнав лошадей по высохшей пойме, устремились с громкими криками «ура» на насыпь. До «Кармелюка» оставалось несколько метров. И вдруг ожили пулеметы врага. Вихрь пуль засвистел над нашими головами. Хотя и наступили сумерки, но конный строй дивизиона представлял собой довольно крупную мишень для пулеметчиков врага. Пришлось повернуть.

На выстрелы прискакал Котовский с одним из своих эскадронов,

— Что, х-хотели обштопать Котовского? — с иронией сказал Григорий Иванович и слез с коня, отдал его ординарцу. — Эх вы, горячая голова! Разве так берут бронепоезда? Молодой человек, молодой человек! — Котовский покачал головой. — Спешивайте ваших людей и спешивайтесь сами.

Я выполнил приказ старшего и более опытного товарища. Котовский, спешив и своих всадников, построил их впритык к нашим людям. Обнажив клинок, стал впереди сводного отряда. Бросил мне вполголоса:

— Становитесь рядом со мной.

Уже стемнело. Пулеметы врага замолкли.

Спешенный отряд дружно устремился вперед. Стараясь не бряцать оружием, бойцы, следуя за своими командирами, в темноте тихо взобрались на насыпь. У самой ее кромки Котовский во всю мощь своих легких бросил громовое «ура». Котовцы и червонные казаки, подхватив боевой клич, ринулись к бронепоезду. Как-то растерянно затрещали пулеметы из двух-трех башен и сразу умолкли...

Оказалось, что команда «Кармелюка» под прикрытием ночи бросила поезд и ушла за кордон. В бронированных башнях оставалось лишь несколько оголтелых гайдамаков.

И вот Петлюра лишился своего последнего крохотного плацдарма, простиравшегося под колесами «Кармелюка». Знаменосец Котовского, взлетев верхом на насыпь, воткнул красное знамя у самого моста.

— Т-теперь можно сказать, — радостно воскликнул Котовский, — полностью очищена советская земля от петлюровской сволочи!

На мосту умолк грохот молотков. Путевики, не успев перешить колею, вслед за бежавшей командой бронепоезда убрались в Подволочиск.

Какой-то боец с огромным узлом на спине соскочил с площадки бронированного вагона и направился мимо нас вниз. Котовский остановил его. Сорвал с плеч узел.

— Так это же петлюровское, — начал оправдываться боец.

— П-пусть петлюровское. Пойми, не для того Котовский сидел на царских каторгах, чтоб всякая сволочь марала его имя большевика. Еще раз увижу такое, — гневно сказал комбриг, — сдам в трибунал.

Мы спустились в низину. Там, на окраине Волочиска, Котовский сказал:

— Пороли вы, молодой человек, горячку с этой конной атакой, а видать, вы их крепко спугнули. Сдали они нам свой «панцерник» почти без сопротивления. И еще я вам скажу: хоть и сердит я на Виталия, а потребую, чтоб он вас представил к ордену Красного Знамени...

Такова была моя встреча с Котовским 21 ноября 1920-года.

В ДИВИЗИИ КОТОВСКОГО

И вот теперь мне предстояло снова встретиться с Григорием Ивановичем. Служить под его начальством было честью для многих. Но не всегда сбываются наши мечты.

В один из апрельских солнечных дней, простившись с бойцами и командирами 6-го полка, я со своим ординарцем Очеретом, покинув Гранов, тронулся в путь на Ильинцы.

Мое имущество состояло из подаренного мне Федоренко трофейного Грома, офицерского седла, шашки, парабеллума, фибрового чемодана с одной парой белья. Такое было богатство у всех полковых командиров червонного казачества. Редко кто из нас владел второй, запасной, парой сапог.

С грустью покидал я 6-й полк. Тосковал, невесело понукая пеструю кобылу, и мой спутник Очерет. На передней луке седла в дырявом мешке он вез хрюкавшего всю дорогу поросенка — щедрый дар его грановской любезной.

Ехали мы, то и дело оглядываясь по сторонам и зорко осматривая опушки придорожных лесов, таивших в себе опасность. Но все обошлось благополучно. Крепкие кони быстро доставили нас в Ильинцы.

Штаб дивизии мы нашли в двухэтажной каменной школе.

Оставив все свое имущество во дворе, я поднялся наверх, где в одном из бывших классов находился кабинет командира дивизии.

Не без волнения я постучался. Проверил пояс, оттянул гимнастерку, поправил папаху... Услышав ответное «Войдите!», потянул на себя дверь.

— Простите, мне нужен начдив,— сказал я, увидев за столом не Котовского, а бывшего офицера Соседова, которого я как-то встречал в прошлом году.

— Начдив семнадцатой кавалерийской вас слушает,— не без подчеркнутой важности ответил Соседов.— Ступайте, э, поближе.

— Где начдив Котовский? — спросил я.

— Котовского уже нет. Что вам угодно? Вас слушает начдив.

Я доложил, что прибыл в 17-ю дивизию командовать полком. У Соседова левый глаз постепенно куда-то проваливался, а затем совсем закрылся, зато над правым бровь все больше и больше лезла кверху.

Растягивая слова, перемежая их для солидности таким «э», Соседов, пронизывая меня широко открытым правым глазом, покровительственно спросил:

— Э-э-э, позвольте, э-э-э, вы это, э-э-э, бывший, э-э-э, офицер?

— Нет,— ответил я.

— Позвольте, э-э-э, быть может, унтер-офицер?

— Нет! — Правый, открытый, глаз начдива вовсе округлился.

— Позвольте, э-э-э, очевидно, вы вольнопер, пардон, э-э-э, я хотел сказать, вольноопределяющийся?

— Нет,— слегка улыбнулся я, заметив полное замешательство начдива.

— Позвольте, э-э-э, ничего, не понимаю. Тогда просто солдат? Э-э-э, ну, скажем, драгун, гусар, улан? — Соседов стал пощелкивать пальцами, пренебрежительно оттопырив нижнюю губу.

— Ни уланом, ни гусаром, ни драгуном я не был.

Соседов встал, словно ужаленный. Надорвал краешек привезенного мной пакета. Бегло прочел предписание, спросил:

— Как же так? Не офицер, не унтер-офицер и даже не солдат, э-э-э, старой армии. И суетесь командовать полком? Ладно, идите, вы свободны. Ищите себе квартиру,— распорядился отрывисто Соседов.— Я не сегодня-завтра лично поговорю с комкором. Адью!

Спускаясь по широкой лестнице, я на первой же площадке столкнулся с Котовским. На рукаве его защитной гимнастерки виднелась эмблема — в серебряной подкове золотая конская голова; на груди в красных розетках выделялись два ордена Красного Знамени. Верх красной фуражки был чуть примят. Я взял под козырек.

— Здравствуйте, здравствуйте! — Котовский протянул мне руку.— Ч-что вы тут делаете? — спросил он.

Тут же, на площадке, я рассказал Котовскому о нашей беседе с Соседовым. Взяв меня под руку, Григорий Иванович сказал:

— Я уже не начдив. Моя коренная бригада в эшелонах. Едем на Тамбовщину против Антонова. Но ничего, не вешайте нос, пойдемте со мной.

Мы стали подниматься вверх. У самой двери Котовский повернулся ко мне и спросил:

— Орден получили?

— Нет, Григорий Иванович.

— Я же Виталию о вас говорил. Явись вы с орденом, Соседов с вами иначе бы разговаривал. У него во всей дивизии ни одного краснознаменца.

Котовский энергично открыл дверь, вошел в кабинет. Следом за ним, поддерживая рукой шапку, переступил порог и я. Не успел еще Соседов, на сей раз от удивления, зажмурить левый и широко распахнуть правый глаз, как Котовский без всякого вступления обрушился на него:

— Т-ты чего дурака валяешь, С-соседов? Не принимаешь командира?

— Нет свободной вакансии, Григорий Иванович. Вот свяжусь с командиром корпуса Примаковым.

— Комкор его послал не на свободную вакансию,— продолжал Котовский,— а на девяносто седьмой полк. У нас с Примаковым была на этот счет договоренность. И не крути, Соседов! Направляй товарища в полк.— И, немного смягчив тон, взглянул подбадривающе на меня.— Не пожалеешь, Соседов.

«ЛИБО В СТРЕМЯ НОГОЙ, ЛИБО В ПЕНЬ ГОЛОВОЙ»

В селе Кальник, подковой охватывавшем сахарный завод, находился весь 97-й полк. Командовал им Кружилин. Ознакомившись с предписанием о сдаче полка, он не мог скрыть почти детской обиды, появившейся на его крупном смуглом лице.

Сунув предписание в карман гимнастерки, комполка потребовал коня. Не сказав мне ни слова, он умчался в Ильинцы.

В пустую просторную комнату одного из заводских домов, отведенную мне под жилье, явился Очерет. Злой и угрюмый, занес в прихожую седла, оружие, визжавшего в мешке поросенка. Попросил папиросу. Я не курил, но держал для жаждущих несколько пачек махорки. Затянувшись, с каким-то отчаянием в глазах Очерет посмотрел на меня.

— Отпустите меня домой. Я хочу сказать, обратно в шестой полк, товарищ комполка.

Я бы и сам, если б это было возможно, улетел вместе с ним на крыльях. Но об этом не приходилось и думать.

— Ничего из этого, Сеня, не выйдет,— ответил я ординару.

— За лошадей мне страшно,— в раздражении выпалил Очерет.— Кругом четотка, конюшен нет, фуража тоже. А что это за полк? Я уже все скрозь пронюхал— одна жменька. Эх, видать, наш Примак за что-то сердитый. Удружил он нам как следует с этой четоточной командой..

— Вот надо из этой команды сделать полк не хуже шестого.

Очерет замахал руками.

— Вы что? Смеетесь с меня? Тоже сказали! На что казаки первого полка дерут носяру: мы, мол, самые старые червонцы, а я считаю, что боевее нашего шестого полка у Примака нет. И ничего мы с вами тут не добьемся. Попомните мои слова. Вот под Волочиским не послушали меня— верхи поперлись на бронепоезд. Там обожглись и здесь обсмолитесь!

Против пессимизма Очерета я был бессилен. На все мои уверения он только безнадежно махал рукой.

Вложил на стол сало и хлеб, ординарец все еще брюзжал:

— Не люблю я этой городской роскоши!— Он бросил злобный взгляд на просторное помещение.— Что с того, что нас сунули в этот амбар? А жри все всухомятку. Вот по деревням лафа. Дашь хозяйке продукцию, она тебе и яешню поджарит и галушечек поднесет.

Глубокие душевные переживания Семена не мешали ему с аппетитом справляться с «сухомятным обедом». Уминая за обе щеки, он продолжал делиться впечатлениями:

— В нашей хозкоманде больше коней, чем в этом полку. Командирова братва— так она у него без счету: ездовые, коноводы, ординарцы, свой кашевар. Увидела та братва наш чемоданчик и поросенка, подняла, сволочь, на смех.

Я слушал сетования Очерета, улыбаясь. Но он не унимался:

— Весь ихний полк, говорю, одна жменька. Людей маловато, а насчет коней, то совсем дрянь. Как они стали смеяться над нашим чемоданчиком и поросенком, я им и сказал: «Наша хозкоманда и та посильнее будет вашего полка». А они, черти, говорят: «Если там такое богатство, то почему же вы приехали на нашу бедность? Сидели бы у себя, не рыпались».

Покончив с обедом, Очерет снова повторил свою просьбу:

— Сделайте милость, товарищ комполка, отпустите меня обратно.

Вернувшийся назавтра Кружилин подписал документы о сдаче полка. Я попросил показать мне боевую выучку части. Полк вывели за поселок на выгон. Из всего, что удалось собрать, Кружилин едва сколотил эскадрон. Ясно, что ни о каком полковом учении не могло быть и речи. Ни боец с бойцом, ни взвод со взводом, как бы они ни старались, не могли сработаться на ходу, без предварительной практики.

В подавленном состоянии мы возвращались в поселок. Вдруг Кружилин оживился. Какие-то искорки зажглись в его глубоко сидящих грустных глазах. Он кого-то вызвал из строя, что-то ему шепнул и послал вперед. Когда мы втянулись в единственную улицу поселка, на широкой ее части, напротив заводской конторы, кто-то уже расставил длинную шеренгу станков со свежей лозой.

Кружилин, отъехав в сторону, подал команду. Всадники, обнажив клинки, взяв к бою пики, один за другим стали отделяться от строя.

Кубанская молодежь — бойцы 97-го полка, наслышавшись от Очерета безусловно приукрашенных им рассказов о червонных казаках, на своих пораженных чесоткой, площадках, но как-то сразу оживившихся лошаденках решили показать и себя.

Из-за поворота улицы, со стороны сахарного завода, стоя во весь рост на подушке седла и вращая на ходу пикой, с черной повязкой на глазу, выскочил всадник. Чуть согнувшись, он гикнул, поднял в намет своего чалого дончака.

Вот этот щупленький казак, схватившись руками за переднюю луку, вылетает из седла и на полном скаку, чуть коснувшись травы, вскакивает на коня. Вот он уже отталкивается от земли по другую сторону лошади и спустя миг легко опускается на мягкую подушку казачьего седла.

— Это Митрофан Семивзоров, — сказал комполка. — Отчаянный рубака, смельчак. А наши люди зовут его «Прожектор». Потому что у него один глаз.

Семивзоров, блеснув высшим классом джигитовки, лихо отдал честь и, прогарцевав мимо нас на чалом, с задором отчеканил:

— Либо в стремя ногой, либо в пень головой.

После отличной рубки и джигитовки, показанной полком, настроение Кружилина поднялось. И я понял, что всадники этой кубанской части могут послужить хорошей основой для создания крепкой кавалерийской единицы. Надо сказать, что основная масса червонного казачества — полтавские, харьковские, черниговские хлеборобы, никитовские шахтеры, луганские металлисты, ставшие всадниками по зову партии, не знавшие дома, что такое клинок и пика, научились ими владеть уже в процессе боев с гайдамаками Петлюры и с казаками Деникина.

Я от души поблагодарил Кружилина и даже был к нему менее придирчив, когда накануне отъезда он попросил отпустить с ним всех его ординарцев и лошадей.

Мы с Очеретом, как это бывало и раньше, поселились на одной квартире.

Прошла неделя, а Семен ходил как в воду опущенный. Все у него валилось из рук. Поняв настроение ординарца, я, к великой его радости, разрешил ему вернуться в Гронов, в наш старый 6-й полк.

Не желая бросать ни меня, ни Грома на произвол судьбы, Очерет заранее уже подговорил грузноватого кубанца Ивана Земчука занять его место.

ПАРТИЙНЫЙ СЕКРЕТАРЬ — ШОРНИК

Александр Мостовой сидел на низенькой скамеечке у ворот хозяйской хаты и, нагнув светловолосую голову, чинил оголовье¹.

— Чем занимаетесь? — спросил я с изумлением, застав бойца за необычным делом.

— Как чем? — Воткнув кривое шило в ремень, Мостовой поднял на меня большие голубые глаза. — Занимаюсь партийной работой.

— То, что вы секретарь партбюро, известно всем, — ответил я. — Но шорник?

— Я не шорник, товарищ комполка. Моя основная профессия — токарь. Точил у Гартмана в Луганске паровозные оси. А это, — он указал на кучу конского снаряжения, лежавшего у его ног, — от скуки на все руки. В пехоте подковывал красноармейские чоботы. Кто обойдет в пехоте сапожника или в коннице шорника? Никто. Ну, пока клиент возле меня сидит, я его провентилирую и по текущему моменту, и по поводу международного положения, и в отношении политики партии по крестьянскому вопросу. Вот только здесь, когда иду с ребятами на сенокос, все опасуюсь, как бы кому-нибудь не скосить пятки. Плохо слушается меня коса. Но и это не страшно. Командир нашего первого эскадрона Храмов — видите, он идет сюда с ленчиком от седла? — говорит: «Не тушуйся, Александр, на сенокосе трудно только первые десять лет, а там дело пойдет...»

Подошел Храмов, бросил на землю ленчик. Сдвинул на затылок черную с красным верхом кубанку и, выставив напоказ светлый казачий чуб, сощурился злые глаза, с подчеркнутой небрежностью обратился ко мне:

¹ Уздечка.

— Что же это, по вашей милости нас, природных казаков, превращают в пешку? Мы конница, а не пластуны! Комэска и тот ходит пешком, Где это видано?

— Придется ходить пешком, пока не кончится карантин,— ответил я.— Ликвидируем чесотку, а тогда будем ездить.

— Новая метла чисто метет! — с задором выпалил командир эскадрона. Его скулы покраснели от волнения, а глубокий шрам на щеке, след сабельного удара, вмиг побелел.— Ничего, метла оботрется, и все пойдет по-старому. Видали мы всяких!..

— Храмов! — оборвал командира Мостовой. — Как секретарь, запрещаю тебе так разговаривать с комполка.

— Пусть выскажется товарищ. Может, ему полегчает на душе,— сказал я.

— И выскажусь! — дерзко продолжал Храмов.— Мне все одно терять нечего. Не сегодня-завтра нам дадут коленкой под зад. Не впервой. Жернов приехал, наставил своих, Кружилин — своих. Каждый новый командир принимает от старого гарнизонных краль, только не комэсков.

— Не думаю никого снимать,— успокоил я разгорячившегося командира и добавил: — При условии, если они помогут мне поднять полк.

— Перевидали мы уже всяких подъемщиков! Потужитесь-потужитесь, а потом, как и всех, потянет к тихой, спокойной жизни. Комполка — неплохая должность, почему не пожить? — злорадно закончил свое выступление Храмов, повернулся, надвинул на лоб кубанку и ушел.

— Видали? — бросил ему вслед Мостовой.— Горячая кубанская кровь. Режет в глаза все, что на сердце. Парень что надо, лихой рубака, людей своих бережет, а воспален до крайности.

— Карантин во что бы то ни стало надо выдержать,— сказал я секретарю полкового партбюро.— Следовало бы поскорее баню устроить лошадям, с горячей водой, с зеленым мылом, а у ветеринарного врача ни людей, ни мыла.

Секретарь принял за прерванную работу. Я присел на скамеечку рядом с ним. Мои глаза неотрывно следили за движением рук, ловко орудовавших кривым шилом и тонким сыромятным ушивальником. На коричневой коже оголовья одна за другой появлялись ровные, словно отпечатанные на машинке, строчки.

— А мы,— не прерывая работы, ответил мой собеседник,— сделаем так, как нас учит партия. Когда ты не в силах сам справиться с делом, пошуми народу. Народ вытянет. Мы все — бойцы, командиры, политработники, я и, скажем, вы с нами — засучим рукава и поделаемся баншиками. Это не страшно. Все бойцы знают, что кони — это наше слабое место. Только как быть с мылом?

— Попросим в дивизии,— сказал я.

— Дивизия дивизией,— задумался Мостовой,— а может, сделаем так? У завода в лесу лежат дрова, привезти нечем. Договоритесь с директором: мы перебросим ему топливо, а он нам — сахарку. За сахар в Киеве нам целый вагон мыла отваят.

— Дело говорите! — ответил я.

— Наши бойцы должны понять, что кто-то заботится о них. То, что Храмов сказал вам, кавалеристы кроют в глаза своим командирам. Не все, но говорят. Вы не знаете еще истории нашего полка.— Секретарь поднял на меня глаза.— У нас настоящий сбор богородицы. Сначала были одни кубанцы. Формировали их в Лаишеве, в запасной армии под Казанью. Затем от полка осталась кучка. Влили к нам первый полк из бригады Кочубея, с ним я сюда и попал. Потом прислали из сорок первой дивизии остаток полка Садолюка. Я вот слышал, у вас в восьмой дивизии люди по три года командуют, а здесь, что ни месяц, новый командир. Не успел распаковать чемодан, обратно его собирает. Как же тут будут спайка, традиции, любовь к своей части? Я учился на токаря. Поначалу, не имея опыта, то и дело переводил металл в стружку. И здесь все шло в стружку. Я не помню ни одного нашего бойца, чтоб он вернулся в свой полк после ранения или отпуска. А у вас, в червонном казачестве, слышал я, дружного, казак за тридевять земель, хоть все с себя проест, а доберется до своей части. Вот над чем вам, комполка, и мне, секретарю, надо подумать. Только смотрю я на вас, очень уж вы молоды. Все наши комэски старше вас, а кое-кто и в отцы годится. Ну, ничего. Если только приехали к нам надолго, мы, партийцы, поддержим вас,

комполка. Только скажу вам одну штуку, по-простому, по-рабочему: держите голову повыше, а нос пониже. И все пойдет на лад.

К нам приближалась большая кавалькада всадников. Впереди на рослых, сильных лошадях следовали сменивший Соседова новый начдив Дмитрий Шмидт, в серой казачьей папахе, с двумя орденами на груди, и военком дивизии Лука Гребенюк.

Призванный в царскую армию в 1915 году, Шмидт, получив за храбрость несколько крестов, был произведен в офицеры.

Во время Февральской революции молодой прапорщик вместе со своим командиром батальона подполковником Крапивянским возглавил дивизионный солдатский комитет.

В 1918 году, вернувшись на родину, в Прилуки, где он до военной службы работал кинемехаником, прапорщик Шмидт, ведя борьбу с земляками-петлюровцами, начал собирать вокруг себя революционно настроенных людей. Озлобленные гайдамаки, схватив большевика офицера на центральной улице Прилук, поставили его к стенке и расстреляли. Ночью друзья подобрали окровавленного Дмитрия и, обнаружив в нем слабые признаки жизни, увезли тайком в лес. Заботами добрых людей раненого поставили на ноги.

Там же, в лесу, начали собираться крестьяне, преследуемые оккупантами и их петлюровскими прихвостнями.

Установив связь с Юрием Коцюбинским в Полтаве, Шмидт по заданию уездного подпольного ревкома сколотил крепкий партизанский отряд. Согласно своим действиям с операциями черниговского партизана Крапивянского, его отряд вскоре уже контролировал добрую половину Полтавщины.

...Спешившись, Шмидт еще издали приветствовал нас:

— Здорово, казаки!

Пожав нам руки, он обратился к Мостовому:

— О, тут имсются первоклассные шорники! А своему начдиву плеточку свяжете? Только натуральную, из воловьих жил!

— А зачем она вам нужна? — спросил я, поглядывая на ивовый хлыст начдива.

— Сейчас она нужна и мне и вам. По приказу товарища Фрунзе восьмая дивизия стала первой, а наша уже не семнадцатая кавалерийская, а вторая червонно-казачья, и ваш полк не девяносто седьмой конный, а седьмой червонно-казачий. Какой же это, к дьяволу, казак без плетки?.. Ну как, земляк, полтавский галушник, — начдив положил мне руку на плечо, — галушками угостите? Мы с Лукой, — он показал на военкомдива, — крепко их уважаем.

— За галушки не ручаюсь, а свинина есть, — ответил я, вспомнив о грановском поросенке, на радостях оставленном Очеретом.

Я доложил о состоянии полка. Шмидт нахмурился.

— Что я вам скажу, хлопцы... У меня в девятнадцатом году в конной разведке Суджанского полка было больше сабель, чем во всем вашем девяносто седьмом. Надо что-то думать. Вот я вам приготовил сюрприз. — Начдив поманил к себе пальцем бывшего с ним низкорослого, на кривых ногах, плотного товарища. — Любите и жалуйте — Жан Карлович Силиндрик. Я в партии с пятнадцатого, а он с самого пятого года. Боевой командир эскадрона, с орденом Красного Знамени, как видите, без бороды, а вам, зеленому молодняку, он вполне может заменить Карла Маркса.

— Вы все шутите и шутите, товарищ начдив, — попыхивая трубкой, скупой улыбнулся Силиндрик. — А я, например, вот пример, приехал по серьезному делу.

— Поговорим о деле! — Шмидт повернулся ко мне. — У товарища Силиндрика имеется отряд молодцов латышей. Они прикомандированы к уездному продкомиссару. Известно, охраняем ссыпки мы, конвоируем хлебные обозы мы, а своих латышей продкомиссар использует как личный конвой. Заберите их к себе, товарищ комполка, обижаться не будете.

— И я говорю, комполка не обидится, — не выпуская изо рта трубки, сказал Силиндрик. — Обижаться будет, например, вот пример, продкомиссар, но он поступает с нами не по-партийному... прямо скажу.

— Ну, раз мы занялись пополнением,— продолжал Шмидт,— даю вам в полк лихого казака.— Он указал на прибывшего с ним мальчика лет двенадцати, в шинели, доходившей ему до пят.— Это Иван Шмидт, мой родной брат. Даю вам его на воспитание. Только помните: если он будет глух к словам, применяйте палочный выговор. И никаких штабов, никаких канцелярий! В строй, к коню и к шашке!

Ваня Шмидт исподлобья посмотрел на брата и, достав из кармана самодельный мячик, начал нервно тереть его детскими пальчиками.

Я заговорил с начдивом об обмундировании, о призах, которыми можно было бы заохотить наших джигитов, о зеленом мыле...

— Черт побери,— глубоко вздохнул Шмидт,— три года я знал одно — крошить беляков, а тут начдив кавалерии должен заниматься портянками, зеленым мылом, всякой чепухой.— Достав блокнот, начал в нем что-то писать.— Да, чепуха,— продолжал он,— а без нее врага не поколотишь! — Шмидт вручил мне записку.

Я подозвал стоявшего поодаль Митрофана Семивзорова. Отдал ему записку и велел ехать с нею в Ильинцы к начнабу. Боец, развернув бумагу, начал читать ее по складам.

— Ты что делаешь? — спросил его Шмидт.

— А случится, напорюсь на бандюг! — не смущаясь, ответил Семивзоров.— Я бумажку проглочу, а скажу все, что в ней есть, на словах. Только одно, товарищ начдив, я не разобрал. Вот тут против вашей росписи какая-то закорючка.

Начдив через плечо заглянул в записку.

— Слышал ты, казак, про лейтенанта Черноморского флота Шмидта? То был боевик, революционер. Когда я находился в подполье, пришлось менять фамилию. Я и взял себе имя лейтенанта Шмидта. Но есть и фон Шмидты. Чтоб меня с ними не путали, я добавляю к своей фамилии «тов.». Товарищ Шмидт! Понял, казак?

— Как не понять! У нас на Дону был помещик хвон Энгельгарт. Немало и мы тех хвонов перехлопали!

— Молодец казак! — похвалил Семивзорова начдив.

— Рад стараться, ваше превосход... виноват, товарищ начдив. Что-то я трохи зарпортовался,— сказал боец и направился выполнять поручение.

Недавно Семивзорову было предложено отправиться в отпуск, но казак ответил:

— Пока что мне на Дон ходу нет.

— О том, что ты был у белых, все мы знаем,— успокоил бойца комиссар полка Климов.

— Видите ли,— прищурился свой единственный глаз, объяснил нам Митрофан.— Советская власть, та мне простила. А вот мой шабер иногородний, тот, думаю, вовек мне не простит. Значит, в восемнадцатом году с Фицхалауром мы под корень вырезали его курень. Ну, а касаясь своих грехов против власти, я их заглядел вот этим! — Казак ударил по эфесу своего клинка.— Увидите, Семивзоров еще согдится.

ПАРАНЯ МАЗУР

Поздней осенью 1921 года отборный гайдамацкий отряд, несмотря на тройное численное превосходство, не устоял под ударами нашего 7-го червонно-казацкого полка. Желтоблакитная печать писала об этом:

«Повстанцы смело продвигались вперед, но, столкнувшись с полком конных марксистов, вынуждены были повернуть назад».

Петлюровский газетчик не без иронии перекрестил нас в «конных марксистов», но мы-то в самом деле считали себя учениками великой школы Маркса, которых высшие интересы партии и народа заставили взять в руки клинки и усадили в седло.

Дальше и пойдет речь о том, как наш полк усилиями партийной организации и всего боевого состава превратился в грозную для врагов силу.

Уже трижды выведенные на плац лошади полка прошли через баню. Засучив рукава, вместе с нами втирали вонючую мазь в чесоточные шеи животных все мальчишки заводского поселка. Недружелюбно косясь на меня, скинув бурку, кубанку и гимнастерку, заделался конским банщиком и ворчун Храмов.

Уже Жан Карлович Силиндрик привел своих прибалтийских орлов, и его любимая поговорка «например, вот пример» была подхвачена всеми бойцами полка.

Уже собрали всех неграмотных полка в первой сотне, а ее командир Храмов все брюзжал:

— Все несчастья на мою голову. Казак должен думать о шашке, а не о карандаше.

А казаки, пропуская мимо ушей эти реплики, дружно принялись за ликвидацию неграмотности.

В полку закипела и военная учеба. Бойцы занимались строевой подготовкой, а командиры налегали на тактику. Помня слова Примакова: «Служить нам, как медному котелку»,— надо было взяться за отшлифовку и своего командирского мастерства.

Кавалерийское дело, как говорилось в те времена, покоится на трех «китах». Первый «кит» — это индивидуальная езда, вырабатывающая из всадника и коня нечто цельное, взаимослитное. Второй «кит» — строевое дело. Когда собранные вместе десять или пятьсот всадников по малейшему знаку начальника, как единое целое, молниеносно выполняют его команду,— это и есть идеал строевой выучки. И третий «кит» — тактика, то есть искусство малой кровью добиваться больших побед.

Начнем с первого «кита». Как сельский уроженец я начал ездить на коне с детства. Помню, в десять лет меня понес наш старикан — жеребец Черномор. Возмущенный непрерывным цуканьем, он бросился вскачь и, очевидно вспомнив, как его пращур носились дикими табунами по печенежским просторам, стал летать из одного конца поля в другой. Не видя никакой пользы в поводьях, резавших мне руки, я судорожно вцепился в гриву жеребца.

У подножия позолоченной закатными лучами казацкой могилы, которая волновала наши ребячьи головы легендами о зарытых в ней кладах, Черномор, весь в мыле, внезапно остановившись, прервал свой бешеный галоп. С клоком гривы в руке я вылетел вперед и, полуживой, распростерся на колючей стерне.

Летом 1919 года в просторной клуне села Казачок, недалеко от Старого Оскола, я ознакомил кавалеристов штабного эскадрона с «Пауками и мухами» В. Либкнехта. После занятий ко мне подошел Слива — тихий и исполнительный боец, лет тридцати, в прошлом забойщик, а затем драгун и красногвардеец. Чуть смущаясь, он сказал:

— Вы только того, товарищ политком, не обижайтесь, значит, мы толковали с ребятами. Много уже мы перевидали в эскадроне политиков. До вас был Галушка, ничего хлопца, из нашего брата, рабочий. И до вас присмотрелись, значит, какого вы духа, потому, видим, из грамотных. Значит, народ мне дал как бы полномочия, чтобы я вас немного подрепертил по конному, следовательно, делу.

Не буду описывать, сколько потов выжал из меня в поле за Казачком придиричивый Слива, но после его уроков я стал крепче держаться в седле.

...В июне наша дивизия оставила район Ильинцев и передвинулась еще дальше к западу. 7-му полку отвели стоянку в селе Ивче.

Ежедневно, начиная с рассвета, природный наездник, мой ординарец Земчук на ивчинских толоках знакомил меня с тонкостями казацкой джигитовки, которые были неведомы бывшему забойщику Сливе.

Как бы рано мы ни появлялись на своем учебном плацу, там, опережая нас, уже стерегла свое буйное стадо Параня Мазур. Высокая, тонкая, полязанная ситцевым платком, босая, в выцветшей, с огромным количеством заплат кофте, она внимательно следила черными, сверкающими из-под густых бровей глазами за нашими цирковыми упражнениями. Изможденное непосильной работой, смуглое лицо тридцатилетней свинарки хранило следы былой красоты, и полковые шептуны сообщили, что одноглазый казак Семивзоров, как только мы с Земчуком покидали учебный плац, являлся туда, чтобы развлекать свинаруку, но она гнала его. Когда казаки предсказывали Семивзорову провал, он, не смущаясь, отвечал:

— Что ж, что рожа кривая, абы душа была прямая!

Земчук морщился при виде огромных черных свиней, которых пасла Параня Мазур.

— У нас на Кубани таких хряков не разводят,— удивлялся Земчук.— Это какая-то чертова порода.

— У чертей и порода чертова,— смеялась свинарка.— Это — богатство наших куркулей. Вот как оно получается,— продолжала Параня и поднесла мне «Бедноту».— Читаю я вот эту газетку, хорошо в ней все сказано, а только, видать, как батрачила я раньше, так и по гроб жизни придется батрачить.

Когда я ей сказал, что со временем на селе не будет ни кулаков, ни батраков, она ответила:

— Что ж, посмотрим!

Однажды, когда Земчук переседывал в сторонке лошадей, свинарка, подойдя ко мне, зашептала вполголоса:

— Вот вы, командир, вчера оцепляли требуховский лес. Должно быть, банду ловили. Напрасно мучите ваших людей. Атамана Шепеля там нет. Ушел на Летичевшину. Вот на селе говорят — осенью сам Петлюра зайвится сюда из-за Збруча. Сейчас мы, батраки, ходим под шлеей, а там вовсе подставляй шею под ярмо, если только придет тот проклятый Петлюра, а за ним граф Гроховский — наш ивчинский пан.

То, о чем она сообщила, должно было заинтересовать нашего особиста Ивана Бонифатиевича Крылова — потомственного ткача Трехгорной мануфактуры. И я спросил ее:

— Вы, Параня, согласились бы рассказать об этом одному нашему верному товарищу?

— А не подведет меня ваш верный товарищ под монастырь? — Свинарка насупила брови.— И так наши куркули косо смотрят на меня вот за эту «Бедноту».

— Ручаюсь!

— Ладно,— подумав, согласилась Мазур.— Только к нему я не пойду, так и знайте. Нехай сюда явится, на толоку. Смотрите, в тот день, как ему прийти, поддержите около себя ухажёра.— Параня лужаво усмехнулась и как бы сразу помолодела.— Он хоть и Прожектор, а не греет мне и не светит. Вот одного я не пойму,— уж в полный голос заговорила Мазур, указывая на приближавшегося к нам с лошадьми Земчука,— что он у вас за велика цяця, что его щодня особо учите? Какой бы из меня был пастух, если б я стала пасти особо какую-нибудь животину?

— Не я его, Параня, а он меня учит,— ответил я.

— Вот это новости! — воскликнула пораженная свинарка.— Простой казак, а учит главного командира!

— Чего не знаем мы,— ответил Земчук,— тому нас учит наш командир, а тому, чего они не знают, учим мы их — простые казаки. Так у нас вкруговую все и идег.

«САМ ЕОРГИЙ ВО БОЕ, СИДИТ НА БЕЛОМ ОН КОНЕ...»

Как же обстояло дело со вторым «китом» — строевой выучкой? По-настоящему я узнал, что такое строй, весной 1920 года под Перекопом, когда проходил службу в 13-й Отдельной кавалерийской бригаде. Наш комбриг Владимир Иосифович Микулин, человек сильной воли и благородной души, свое умение, знание, весь пыл цельной натуры отдал любимому делу — строительству красной конницы. Бойцы, редко ошибающиеся в оценке начальников, полюбили его.

Весной, в дни загишья под Перекопом, бригада выходила из Чаплинки в степь. Наш комбриг подавал команды то голосом, то на трубе, то просто шашкой, заставляя полки менять строй и боевые порядки. Мы носились по широкой Таврической степи, над просторами которой, словно невесомая кисея, плыл стекловидный голубоватый воздух.

Многие из нас впервые участвовали в подобных учениях, во время которых каждый боец ощущал, что его собственные силы вырастают вдесятеро. Подымая боевой дух массы, наш комбриг сам радовался каждому сноровистому и четкому перестроению.

Вскоре мы оценили пользу этих учений. Под командой Микулина 13-я бригада в апрельские дни 1920 года покрошила не одну сотню белогвардейских всадников.

Не чета чванливому Соседову, бывший царский офицер и дворянин Владимир Микулин привил многим из нас любовь к филигранной строевой выучке. Вот почему, когда

под Перекопом 13-я кавалерийская бригада под именем 3-й влилась в червонное казачество, Примаков, обычно выдвигавший своих командиров из низов, оставил бывшего подполковника Микулина на месте.

...В Ивче нам стало известно, что с Полтавщины идет подкрепление. В предвидении будущих полковых учений, вспомнив уроки Микулина, я начал усиленно готовить самого себя. С адъютантом полка Петром Ратовым, имея перед собой раскрытый кавалерийский устав, мы садились за стол и с помощью спичек выстраивали на столешнице эскадроны и полки. Каждая спичка обозначала развернутый строй взвода. Чередуясь, один из нас подавал команды, другой, передвигая спички, совершал заданное перестроение. Затем мы приглашали штаб-трубача, и в нашей хате с утра до вечера ревели оглушительная медь. Мы разучивали мотивы кавалерийских команд и тут же по сигналам трубы манипулировали на столе нашими спичками-взводами.

Потом поле деятельности переместилось в школу, так как в этих занятиях уже принимал участие весь командный и политический состав полка.

Сотник Силиндрик и прибывший из 6-го полка уралец Ротарев молча сносили спичечную муштру, зато Храмов, как всегда морщась и фыркая, громогласно выражал свое недовольство.

Но после того как, спутав команды, он, сбившись сам, вклинился в строй соседних сотен, чем вызвал недовольство товарищей, отношение Храмова к «спичечной забаве» стало меняться. Когда все командиры сотен, не сбиваясь, стали безошибочно выкладывать из спичек заданный строй, мы вышли за село. Занятия проводились пеше — по-к о н и о м у. После часа усиленного передвижения по кочковатому лугу у людей, особенно у тех, которые, строя фронт, вынуждены были выходить в общую линию из глубины колонны, вываливались языки. Но классики военного дела говорят: «Чем труднее в учении, тем легче на войне».

И я, и комиссар Климов, и наша «партийная совесть» Мостовой — мы радовались от души, когда вечерами все чаще и чаще около штабной хаты усачи-ворчуны, бросив спички прямо на песок, с пеной у рта доказывали каждый свою правоту.

Быть может, я очень подробно описываю то, как мне приходилось постигать все премудрости кавалерийской науки, но я не ошибусь, если скажу, что так же обстояло дело и у прочих политработников, которых военная организация большевиков выдвинула на командирскую работу.

На занятиях по езде и вольтижировке затмевал всех кубанский казак Храмов, но и он поражался искусству степного наездника уральца Ротарева. Со смуглым лицом, несколько раскосыми черными глазами и выдающимися скулами, на темно-гнедой, живой, словно налитой ртутью, Бабочке, легко играя трехметровой пикой, Ротарев казался витязем, пришедшим в наши ряды из тьмы рыцарских веков.

— Настоящий Георгий-победоносец, — восхищался уральцем Храмов.

— А ты нашу уральскую песенку про великомученика Георгия слышал?

— Нет, не приходилось, — ответил кубанец.

Ротарев, лукаво сощурился монгольские глаза, запел высоким тенором:

Сам Еоргий во бое,
сидит на белом он коне,
держит в руке копие,
тычет змию в ж . . . е!

Вскоре из Ивчи, где полк провел большую работу по изъятию дезертиров и оружия, нас перевели к северу от Хмельника, в большое и красивое село Пустовойты. Здесь Иван Земчук в разговорах со мной то и дело стал вспоминать о своем доме, детях. Все чаще и чаще доносились до моих ушей его тоскливые напевы:

По Дону гуляет, по Дону гуляет,
по Дону гуляет казак молодой...

Кубанцы скучали по дому и всю тоску изливали в заунывных словах песни:

Цыганка гадала, цыганка гадала,
цыганка гадала, за ручку брала...

Иван Земчук, очевидно, полагал, что эти мелодии лучше, чем просьбы, способны выразить его тоску по дому. Возможно, что ординарец вынашивал хитроумный план, рассчитывая из-за своих нудных песен попасть в строй, откуда уже многих отправили в отпуск.

«ФРАНЦУЗ БОЕК, А РУССКИЙ СОЛДАТ СТОЕК»

В один из жарких июньских дней с юга, со стороны Хмельницкой дороги, донесся веселый напев:

Ой на, ой на горі
та й женці жнуть...

Накануне штаб дивизии оповестил нас о предстоящем прибытии пополнения. Я вышел на крыльцо. Повернув головой на Пустовойты, по широкому чумацкому тракту в клубах густой пыли шла, не обрывая песни, кавалерийская колонна.

Вновь прибывший полк состоял всего из трех эскадронов, но люди его получили боевую закалку в борьбе с бандой Левченко, орудовавшей на Полтавщине.

Наши старые бойцы, сбежавшись со всех улиц Пустовойтов, окружили полтавчан, знакомились с ними.

Возвышаясь на целую голову над любопытными слушателями, что-то рассказывал им богатырского сложения чернобровый кавалерист.

«Малютка» Ваня Шмидт с шашкой, болтавшейся по земле, задрав голову, с широко раскрытым ртом слушал великана. До моих ушей донеслись слова:

— Как мы всей дивизией запели нашему генералу Лохвицкому «Allons, enfants de la patrie», он и сомлел. Кричит на весь плац: «Складайте до кучи оружие, а нет, сморю всю бригаду голодом».

— Кто он, этот товарищ? — спросил я командира вновь прибывшей части.

— Это наш дижонский сердцеед Макс — Максим Запорожец. Славный рубака! Протиснувшись сквозь толпу слушателей, я спросил новичка:

— Вы были под Реймсом?

— Oui, mon colonel, я лякуртинец¹, — браво ответил боец. — Был и под Реймсом, дрался под Шалонем.

— И как вам удалось выбраться домой?

— Не спрашивайте! — сверкнул глазами рассказчик. — Есть песня про запорожца, который попал за Дунай, а этот запорожец, — он ткнул себя в грудь, — угодил аж за моря-океаны и там не пропал. Вернулся до своей хаты.

— Вы, дядя, расскажите все по порядку! — попросил Ваня Шмидт.

Со всех сторон зашумели:

— Ну, раз Малютка просит — выкладывай, казак, свои приключения.

— Ну что ж? Я буду выкладывать, вы слушайте. Поначалу французы держались за нас крепко, потому как известно: француз — он боек, а наш брат стоек. Ну, а как дознались мы про то, что у вас революция, и мы сказали: шабаш. А Фош — это самый главный ихний генерал — взял да и погнал нашу бригаду в Лякуртин. Целый месяц чесали мы пешака из-под самого Реймса до нового места. В Лякуртине Лохвицкий назначил парад и дал строгий приказ — выходить без оружия. А наш председатель комитета Глоба сказал: «Non, mon general, пойдём при полном оружии». Нам сразу и урезали паек. А мы оружие все ж не сдали. Тогда наш лагерь окружили сенегальцы и зуавы. Лохвицкий предъявил ультиматум, а Глоба его не принимает. Десять раз генерал требовал сдать оружие, десять раз мы отказывались. А тут понаехали наши крестные с передачей. Это, когда наши солдаты защищали Париж, стали они получать письма и подарки от всяких мадам и мамзелей. У каждого из нас была крестная, а некоторым удавалось иметь и по две. Как подходит солдату отпуск, знает, где его ждут. Так вот подвалило к Лякуртину несколько сот этих самых французских баб. Требуют свиданию. А Лохвицкий сказал: «Пушу, только нехай ваши бунтовщики посядут

¹ Солдаты русского экспедиционного корпуса, посланные царем во Францию, в 1917 году отказались сражаться за интересы буржуазии. Распоряжением маршала Фоша русских солдат сняли с позиций и загнали за колючую проволоку знаменитого лагеря Лякуртин.

оружие». А нам Глоба напомнил солдатскую песню: «Наши жены — ружья заряжены». И через это обратно дали Лохвицкому отказ. А тогда пошла война. Били по нас из крепостных и полевых орудий, косили нас пулеметами, а жрать стало нечего. Что было в артели, все свертели. Из-за конской требухи и то пошли драки между своими. Ну, не устояли мы, хоть отбивались крепко. А когда не выдержали — Лохвицкий пострелял комитетчиков, а нас, лякуртинцев, всех в Африку, копать для буржуев руду. Там мы обратно выбрали тайный комитет. Вот пришли к нам в бараки офицеры записывать охотников до Деникина. Комитет приказал: «Записывайтесь все до одного». Мы так и сделали. Сразу же нам дали солдатский паек, оружие, одели нас и повезли морем в Одессу. А там мы всем гамузом передались красным. Вот так, товарищи, и попали мы до дому.

— А кто ж тебя научил по-французски? — спросил сотник Васильев.

— Моя крестная из Дижона. Сама она вдова, мужика ее убило под Верденом. Говорила она: «*Restez, Max, pour toujours*» — значит, оставайся, Максим, со мной навсегда. А кто же согласится поменять нашу Украину на бабу, будь она сто раз французенка и сто раз богатая? У нее в Дижоне дом, в Гренобле — виноградник, но мне милее моя мазаная хата...

Новичкам был дан трехдневный отдых — на мойку, стрижку, починку, ковку лошадей.

Спустя неделю к нам явились башкиры на злых мохнатых лошадаках. Полковой военный совет, неофициальный совещательный орган, в котором приняла участие большая группа товарищей, одобрил предложенный мною план разбивки людей.

Мы все были уверены в том, что товарищеское соревнование между людьми многих национальностей повысит боевое качество нашей части. Поэтому при формировании подразделений мы пользовались принципом землячества. Таким образом, в полку были созданы сабельные сотни — полтавчан, кубанцев, галичан, башкир, латышей. Шестая пулеметная сотня с ее разноплеменными боевыми расчетами в миниатюре представляла собой весь наш многонациональный полк.

После нашего заседания подошел ко мне Мостовой.

— А с Храмовым здорово у вас получилось! — хитровато улыбаясь, шепнул он.

— Как вас понять? — спросил я.

— Мы все считали, и он первый, что спихнете его. Кого-нибудь из новичков сунете на третью сотню.

— За что его спихивать? — удивился я.

— За что? За язык. Мало он вас крыл?

— Другой языкатый стоит десяти молчунов, — ответил за меня комиссар полка Климов. — Тот, кто не боится своего командира, не боится и врага.

— Да, — согласился с комиссаром Мостовой. — На боязни далеко не уедешь. Главное не страх, а уважение.

Через несколько дней нас перевели из Пустовойгов в Сальницы. Теперь уже никто не горевал ни о плачущей деве, ни о гадающей цыганке. Молодые голоса головных стоек, перекрывая все остальные, звонко и весело выводили песню о Дорошенко, ведущем войско запорожцев, и о неосмотрительном Сагайдачном, променявшем жену на табак и люльку.

Наступила веселая пора. Началась косовица. От зари до зари бойко звенели на полях косы. Стрекотали самоскиды и жатки-лобогрейки. Освобождались для наших учений поля.

Мы почти никогда не выходили на занятия в полном составе. По мере развертывания косовицы и обмолота от полка потребовали людей для охраны складов и сыпных пунктов. На Подолии выдалось урожайное лето.

Селяне дружно взяли за жатву. Кулаки и зажиточные пользовались услугами голодающих батраков: волна беженцев с Волги достигла и Сальниц. Семьям красноармейцев, вдовам, сиротам, беднякам помогали наши бойцы. Повеселели девчата и молодичи, повеселели и червонные казаки. На новом овсе ожили строевые кони.

Наслушавшись бодрых песен наших молодцов, дома я уже не мог выносить заунывных причитаний Земчука.

Иван Земчук, бережно положив в карман гимнастерки отпускной билет, на прощание изо всех сил потряс мою руку. Спустился со ступенек штабного крыльца и, направляясь к воротам, бойко зашел:

Ты лети, лети, мой конь,
ты лети и мчися,
у знакомого двора
стой, остановися!

На смену Ивану Земчку явился прибывший с полтавчанами Емельян Бондалет, небольшого роста плотный боец с улыбающимся лицом. Его щеголеватая гимнастерка, как и кобура нагана, была густо унизана белыми кнопками — «для форсу», как говорил сам Бондалет.

Новый ординарец пришел не с пустыми руками. Кроме своего серого коня, он привел чистокровную кобылу Марию — золотистую, в белых чулках. Вручая мне породистую красавицу, Емельян заявил:

— Це вам подарок от хлопців полтавчан,

— За что? — Я пожал плечами, удивляясь и радуясь такому подарку.

— За то, что не раскидали своих земляков по разным сотням, поставили их впереди всего полка.

Если «жменька», как говорил Очерет, в Пустовойтах выросла в настоящий полк, то лишь здесь, в Сальницах, куда нас перевели, наша кавалерийская часть превратилась в полноценную боевую единицу.

Началась напряженная пора полковых учений. Мне кажется, что во всем полку не было ни одного человека, который не любил бы этих занятий. Сердце радовалось при виде молодых, бодрых всадников, под звуки полковых труб гарцующих на неспокойных конях, при виде волнуемого ветром полкового знамени впереди строя части и лихих пулеметных тачанок с тройками бешеных сытых коней.

А развернутые линии кавалеристов — одна сотня на вороных, другая на гнедых, третья на рыжих, четвертая на серых лошадях? А лес тонких, пустотелых металлических лик, украшенных крохотными кумачовыми флюгерами?

Однажды во время перекура Храмов (у него что на уме, то и на языке), косясь на меня, выпалил:

— У Кочубея и то обходилось без этакой гонки!

— Куда там! — поддержал кубанца Ротарев, вытирая папашой мокрый лоб. — Жмут подходященько.

Нужно прямо сказать, теперь больше всего доставалось сотникам, чьи зрение и слух на полковых учениях напрягались до предела. Малейшая ошибка, особенно во время перестроения на больших аллюрах, приводила к столпотворению.

Я не успел открыть рта. Ответил Храмову Мостовой:

— Что? Гайка ослабла? Больше выжмет нашего пота комполка, меньше выжмет нашей крови противник! Мы, коммунисты, за это!

На сальнических полях под бодрые команды сотников, безошибочно расшифровывавших сигналы штаб-трубача, под глухой топот копыт и сухой шорох стерни, под нетерпеливое фырканье коней, под звон оружия и стремян 7-й полк доводил до совершенства свое строевое мастерство.

После одного из учений, забрав из моих рук разгоряченную Марию и погладив кнопки гимнастерки, Бондалет, считавший своим долгом передавать мне все, что «хлопці кажуть», зашептал, хитровато покосившись на меня:

— Хлопці кажуть, що вы, мабуть, охвицер.

— Что, обижаются на меня? — спросил я в тревоге, полагая, что не всем нравится напряженная строевая муштра.

— Не то что обижаются, товарищ комполка, а через те полковые учения. Не хотят хлопцы верить, что обыкновенный студент и так всю строевую науку произошел.

После этого сообщения Бондалета можно было считать, что и со вторым «китом» кавалерийской выучки, то есть со строевой подготовкой, делающей из полка гибкий, послушный командирской воле «инструмент», было в основном покончено.

Теперь, когда на смену повседневному бою пришла напряженная пора учебы, нас довольно часто вызывали в штаб дивизии. Там, а также на полях вокруг Хмельника начдив Шмидт, прибывший к нам после окончания ускоренного курса военной академии, отшлифовывал наше тактическое мастерство: искусство побеждать малой кровью.

Однажды в самый разгар занятий прискакал на сальницкие поля дежуривший при штабе одноглазый Семивзоров. Запыхавшись, он доложил:

— Приехали к нам сами начдив, а с ними еще чины. Ждите проверки.— Проектор стал неузнаваем. Как только дивизию переименовали в червонно-казачью, он сразу же нашел на свои синие, с напуском штаны широкие, неизвестно каким путем добытые суконные лампасы и обзавелся папачой.

Меж тем кавалькада всадников, подымая розовое облако пыли, уже приближалась на широкой рыси к учебному плацу.

Обнажив клинок, я подал знак «Строй фронт!». Раскинувшиеся на огромном пространстве взводы и сотни стали стекаться к сборному месту.

И вот в поле, влево от знамени и трубачей, построилась в две линии живая стена всадников, а за ними — изгородь боевых тачанок. По команде «направо равняйся» сотни папах, украшенных алыми верхами, повернулись в одну сторону.

На этот раз вместе с начдивом явился к нам высокий сухой старик в красных гусарских штанах и в довольно потертом офицерском френче-кителе с четырьмя огромными накладными карманами. На его ногах блестели старорежимные сапоги с лаковыми голенищами.

— Инспектор кавалерии штаба войск Украины и Крыма,— представил старика начдив.

— Цуриков! — назвал его инспектор, снимая перчатку.

Мы все знали, что бывший генерал-от-кавалерии Цуриков, командовавший в мировую войну 10-й армией, одно время возглавлял инспекцию кавалерии Красной Армии.

...Полк, носясь по полю ярким разномастным клином, без шума и суеты, четко совершал перестроения. Он то развертывал грозный вал, готовый обрушиться на врага всей тяжестью конских тел, ударом клинков и пик, то свертывал раскиданный на огромном пространстве реденький строй казачьей лавы в компактный кулак.

Слышно было лишь глухое гудение земли и шорох стерни под тысячами конских копыт. И вдруг зазвенел широкий простор, казаки с криками «ура» ринулись в атаку.

Но вот после целого ряда перестроений полку разрешили передохнуть.

Цуриков, поблагодарив полк, крепко пожал мне руку.

— Спасибо, и еще раз спасибо. Мне показалось, что я снова под Дудергофом. Да, этот полк не стыдно было бы показать самому царю. Не правда ли, господа? — спросил он своих спутников (старый генерал еще часто вместо «товарищи» говорил «господа»).

Молодой полк испытание выдержал.

Уставшие от непрерывной скачки, мы, направляясь в село, шли шагом по пыльному проселку. Из Сальниц широкой рысью, поторапливая коня, спешил к нам какой-то всадник. Еще немного, и мы узнали в нем помощника комбрига по политической части Карпезо. Он поднял руку, давая знак остановиться.

Когда полк выстроился и по команде «смирно» затих, Карпезо зачитал приказ Революционного Военного Совета Республики о награждении меня орденом Красного Знамени за разгром петлюровцев под Волочиском и захват бронепоезда «Ян Кармелюк».

Последние слова приказа утонули в громких криках «ура». Вручив мне яркую грамоту, Игнатий Иванович прикрепил к моей гимнастерке новенький, оттененный алой розеткой орден.

ТАИНА «ПСАЛМОВ ЦАРЯ ДАВИДА»

Однажды в Литин, куда перевели наш полк из Сальниц, явилась ивчинская сви-нарка Параня Мазур.

Развязав принесенный с собой узелок, она шепнула мне:

— Торгуйтесь, торгуйтесь крепче, мы тут хотя и в затишке, а вон те осоко-ри и то имеют глаза.

Я начал взбалтывать яички, спрашивать цену, а Параня продолжала шептать:

— Где ваш товарищ в очках? Иван, забыла по батьку как?

— Иван Бонифатиевич? — спросил я.

— Эге! Есть дело! Появился у нас в Ивче какой-то чужак. Выдает себя за криничника, а люди зовут на работу — за всю войну знаете как заросли колодцы, — не идет. На кладбище он шептался с какими-то чужими людьми. Побожусь, то шепелевская команда.

...Три дня пропадали Крылов с одноглазым Семивзоровым и дижонским сердцеедом Максом Запорожцем. Я уже изрядно волновался, не попали ли наши товарищи в лапы атамана Шепеля. Но этого не случилось.

— Получайте фрукта! — начал было доклад вернувшийся Крылов. — Резидент Петлюры — атаман Братовский-Ярошенко!

— Вы жестоко ошибаетесь, — ответил арестованный, молодой человек с широким угреватым лицом. — Я Ярошенко. Никакого Братовского не знаю и не знал.

— А это что? — Крылов поднес к глазам парня книжечку и из ее изодранного переплета вытащил какую-то бумажку. — Вот удостоверение на имя сотника мазепинского полка Братовского.

Климов взял растрепанную книжку, повертел ее в руках.

— «Псалмы царя Давида» — самое полезное чтение для душегубцев, — сурово усмехнулся комиссар полка.

Я указал арестованному на стул. Крылов, шепнув что-то на ухо Семивзорову, куда-то отправил его.

— Та книжка не моя, — спокойно ответил задержанный. — Я ее взял читать у одного хозяина, где чистил колодезь. Это было в Майдане Голенищевском.

— Тоже мне криничник, — зло бросил Запорожец. — А на руках ни одной мозолилки! Все говорят, ты петлюровец.

— Не берите меня на бога! — Допрашиваемый презрительно скривил губы. — Никто этого вам не мог сказать, выдумали. Моя фамилия Ярошенко, и сам я уроженец Макова, из-под Каменца.

В это время, хлопнув дверью, вернулся в штаб Семивзоров. Стукнув каблуками и взяв под козырек, доложил:

— Товарищ уполномоченный, яма готова, и у ямы выстроено отделение казаков с винтовками.

Под арестованным заскрипел стул. Его угреватое лицо было по-прежнему спокойно, но крупные капли пота выступили на нем.

— Ну? — спросил Крылов. — Говори, пока не поздно.

— Что ж? — тихо зашептал задержанный. — Таков ваш закон? Расстреливать человека без суда и следствия?

— Человека, если он заслужил, мы расстреливаем по приговору суда, бешеных собак шлепаем на месте, — ответил Климов.

— А где отравленные папиросы? Пан Флёрек щедро снабжает ими вашего брата, — спросил Крылов.

— Ну хорошо, скажу правду, — начал свое признание Ярошенко. — Я сообщал Шепелю о продвижении ваших частей. Ну, сдайте меня под суд. Но папирос отравленных у меня нет.

— Есть начало! — усмехнулся Крылов. — А ты знаешь, Братовский, или же Ярошенко, когда волк попадает в капкан, он, чтобы спасти шкуру, отгрызает свою лапу. И ты волк! Признаешься в Шепеле, а утаиваешь Петлюру.

— Клянусь, не утаиваю. В чем виновен — признаюсь чистосердечно.

Вдруг раскрылась дверь. Показались две женщины. Одна пожилая, интеллигентного вида, бедно одетая, другая белокурая молоденькая девушка в поношенном гимназическом платье. С порога еще обе вскрикнули:

— Федя! Наш бедный Федя!

— Вы кто будете? — спросил Крылов.

— Нас тут в Литине любой человек знает. Я вдова. Мой муж был акцизный чиновник Братовский. Мы никому не делали зла...

Крылов скомандовал Семивзорову:

— Ступай, отпусти людей. А вы, Запорожец, отведите Братовского на гауптвахту. И смотрите, голову сниму караульному, если убежит атаман.

Мать, вслед перекрестив сына, пуще расплакалась. Сквозь слезы спросила Крылова:

— Вы его расстреляете?

— Если будет валять дурака, обязательно хлопнем,— ответил Климов.— Нам нужно собрать хлеб, накормить рабочих, Красную Армию, голодающих, а такие, как ваш сын, продались Петлюре и срывают нашу работу. Небось слышали, каково сейчас на Волге?

Когда родня Братовского покинула штаб, я спросил Крылова:

— Что это за таинственная история с ямой?

— Сплошная мистификация! — Особист посмотрел на меня поверх очков.— Я эту петлюровскую шпану изучил. Поначалу все они хорохорятся, а как услышат о яме, так сразу хватаются за штаны.

Назавтра, вызванные нами, приехали в Литин начдив Шмидт, начальник Особого отдела дивизии и военкомдив Лука Гребенюк. Закрывшись с Братовским-Ярошенко в одной из штабных комнат, они с ним беседовали несколько часов. Вначале бандит стнекивался, а под конец сознался во всем. Отправил его на Украину с заданием пана Флёрка петлюровский «Малюта Скуратов» — Чеботарев.

— Вот тебе и самостийна Украина! — усмехнулся в лицо резиденту Лука Гребенюк.— Нет, хлопче, правильно я тебе говорил — у Петлюры может быть только самостийна земска аптека, а больше ни хрена.

Сам резидент после рассказывал мне, что его потрясло письмо, которое ему предъявил начальник Особого отдела нашей дивизии Письменный. Хотя оно было написано два месяца назад и даже печаталось в советской прессе, но там, за Збручем, широкие массы петлюровцев о нем ничего не знали.

Это было письмо атамана трех губерний Мордалевича Тютюннику от 22 июня 1921 года: «Я пришел к убеждению, что будущее украинского народа строится здесь... От руководства повстанческой группой отказываюсь и дальнейшую борьбу против Советской власти считаю безусловно вредной... Украинская интеллигенция за последнее время все больше симпатизирует советскому строительству и заодно показывает отрицательное, а временами неприкрыто враждебное отношение к действиям УНР...»

...Нашему полку предстояло изъять петлюровскую агентуру, раскрытую Братовским. Имея разъезды впереди и позади, можно было не страшиться встречи с любой бандой. Но наш попутчик, хотя и щеголял в боевой форме червонного казака, все время нервничал и оглядывался по сторонам. Дрожащим голосом Братовский сказал мне:

— Вас поймают бандиты — конечно, расстреляют, а меня посекут на куски.

Операция продолжалась с неделю. Спешившись, люди незаметно подбирались к глухим пасекам. Ночью окружали мрачные монастырские скиты. Днем с ходу внезапно налетали на отдельные хутора, отмеченные Братовским на двухверстной карте. Наш обоз вырос до двух десятков подвод, на которых, связанные по рукам и ногам, проклиная судьбу и Братовского, корчились в бессильной ярости эмиссары пана Чеботарева.

Как нам стало известно впоследствии, признание Братовского, пойманного благодаря ивчинской свинарке Паране Мазур, позволило раскрыть нити, тянувшиеся от Чеботарева к ольгопольской учительнице Ипполите Борснецкой, а от нее — к тем предателям из рядов Красной Армии, на которых строились расчеты Петлюры, замышлявшего снова с помощью Пилсудского сорвать мирный труд советских людей. Так свинарка Параня Мазур перепутала все карты головному атаману Петлюре.

РЫЦАРИ РАЗБОЙНОГО ПРОМЫСЛА

Новая экономическая политика, которая уже начала давать первые положительные плоды, ошибочно расценивалась Западом как отступление, вызванное слабостью Советской власти. Непрочный мир повис на волоске.

Газеты эмигрантов и европейская печать на протяжении всего лета 1921 года шумели: «Петлюра готовит поход на Украину», «Украина клокочет».

Рвавшийся в бой Тютюнник, как стало известно потом, потрясал перед своим шефом письмом Мордалевича.

— Что же, пан головной атаман, будем ждать, пока все наши вожаки переметнутся? Вольтить, пока большевицкая зараза не заберется к нашим казакам в лагерь? Мало Мордалевича, Братовского? Тянуть, пока провалится наш новый атаман Крюк? С кем мы тогда подыдем Украину?

Там, за кордоном, в Тернове — петлюровской «столице», Братовский слышал о каком-то таинственном атамане Крюке. Но, когда он спросил о нем Чеботарева, тот запретил ему интересоваться тем, кто такой Крюк и в какой зоне он атаманствует. Вить, на эту крупную птицу делалась серьезная ставка, если даже ответственным агентам не положено было о нем знать. «Кто бы это мог быть?» — ломал себе голову резидент пана Флэрека и Чеботарева.

Семнадцатого июня 1921 года, созданный Вторым отделом генштаба, собрался в Варшаве съезд «повстанцев». Открыл его белогвардеец, бывший лидер эсеров Борис Савинков. Он заявил, что его организация на Украине — «Союз защиты родины и свободы» — передается им, Савинковым, в подчинение партизанскому штабу Тютюнника. От петлюровской камарильи, называвшейся теперь «Правительством возвращения на Украину», выступил, заявив, что все Правобережье клокочет, атаман Киевщины Бессарабенко. С благословением, адресованным «повстанцам» всех оттенков — Булак-Булахевичу, Тютюннику и Гуляй-Гуленко, — выступил адъютант Пилсудского полковник Девойно-Сологуб.

После съезда Тютюнник развернул бешеную подготовительную работу.

Распоряжением Второго отдела польского генштаба к повстанческому штабу были прикомандированы ответственные эмиссары: к Тютюннику — майор Флэрек, начальник львовской экспозитуры, а к полковнику Палию — поручник Шолин, начальник гусятинского постерунка.

В то время, когда полки червоного казачества, охватив своими постами колоссальную территорию, помогали сбору так необходимого стране хлеба, Петлюра, выполняя требование своих хозяев, 17 октября 1921 года отдал ретивому войке Тютюннику следующую директиву:

«...Поручаю вам... вывести с территории Польши и Румынии на Украину военные отряды. Эти отряды должны стать тем ядром, вокруг которого надлежит сгруппировать инсurreкционные силы, созданные нашими агентами».

Ровно через шесть дней Тютюнник состряпал вот этот документ:

«ПРИКАЗ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ № 1 23 ОКТЯБРЯ 1921 ГОДА

§ 1. По приказу головного атамана я вступил в командование повстанческой армией Украины.

§ 2. Начальником штаба повстанческой армии назначается Юрко Отмарштейн...

§ 6 Назначаю финансово-закупочную комиссию: председатель Евгений Архипенко, члены — полковник Пересало и поручик Нестеровский...

§ 7. ...Из частей, которые находятся в районе Костополя, генерал-хорунжему Янченко приказываю сформировать Киевскую дивизию...

Из людей, которые сосредоточены в районе Копычинцев (Галиция), полковнику Палию приказываю сформировать специальный отряд...

Генерал-хорунжий Тютюнник».

Не зря торопилась желтоблаkitная клика. Под ударами красноармейцев и чекистов рушились в Прикордонье бандитские гнезда, а к осени 1921 года из рук Петлюры выбили еще один важный козырь, на котором строились расчеты самостийников: разбитое червоно-казачьим отрядом комбрига Петра Григорьева, перестало существовать войско Махно.

Но одного не знали еще там, за рубежом. Благодаря бдительности советских людей был бит и другой козырь Петлюры. Чекисты напали на след петлюровского неофита — того, кого там, за Збручем, называли условным именем «Крюк».

«ТРЕВОГУ ТРУБЯТ, СКОРЕЙ СЕДЛАЙ КОНЯ!»

Хотя наступила глубокая осень и основные полевые работы давно закончились, копычинскому помещику и его соседям кулакам вдруг понадобилось большое число батраков. Выручил панов начальник гусятинского постерунка пан поручник Шолин. Первую партию людей в количестве 225 человек он привез 17 октября из Калишского лагеря, где содержались интернированные петлюровцы. Спустя несколько дней прибыла в Копычинцы и вторая группа в 665 «рабочих».

Таким образом, в Копычинцах, вблизи границы, очутилось несколько сот рослых, крепких, прошедших сквозь огонь и воду стрельцов и вершников — отпетых голов, долго и упорно с оружием в руках боровшихся против рабочих и крестьян Украины. Добрую половину этих «батраков» составляли безработные петлюровские офицеры.

Эти батраки-гайдамаки — сами хозяева богатых хуторов, которые снились им там, за колючей проволокой в Калише, — трудились у помещика недолго. Всем им раздали винтовки, любезно доставленные поручником Шолиным из армейских цейхгаузов.

Двадцать четвертого октября явился из штаба Тютюнника друг и правая рука атамана — полковник Михаил Палий, тот самый, который год назад препирался с Очеретом через Збруч.

Шолин пригнал откуда-то несколько десятков лошадей. Вскоре «специальный» отряд, о котором писал бесславный атаман в своем приказе № 1, был готов.

Вечером 25 октября отряд перешел в пограничный лес, к востоку от села Городница. Полуголодные, плохо одетые гайдамаки, прячась от пронизывающего ветра, снега и дождя в кустарниках, подняли ропот. Многие хотели вернуться в Калишский лагерь. Когда они потребовали теплую одежду, начальник гусятинского постерунка пан Шолин ответил им:

— У кого в руках винтовка, у того на плечах будет и кунтуш. Ничего, Украина ваша богатая!

Палий, опасаясь срыва старательно подготовленной операции, поднимал дух бандитов, рисуя им яркие перспективы:

— Кто сегодня рядовые, завтра все чисто будете хорунжими, хорунжих ждут знаки сотника, а сотников — знаки полковника. Столько терпели, потерпите еще немного!

В ночь с 27 на 28 октября распоряжением Шолина был отведен в тыл пограничный пост, занимавший плотину у Козина. Бандиты Палия начали переправляться через Збруч. Снарядился с Палием и эмиссар Пилсудского — поручник Шолин.

Но там, где палиевцы надеялись найти радушный прием, их встретило презрение народа и клинки червонных казаков.

Тридцатого октября, ровно через неделю после тютюнниковского приказа, на взмыленном коне прискакал из Винницы в Литин запыленный, разгоряченный всадник. Пометка на доставленном им пакете «аллюр **», обозначавшая чрезвычайную экстренность сообщения, встревожила меня. Я не без волнения вскрыл пакет.

Командир корпуса Примаков требовал немедленного движения 7-го полка на Луку Барскую, куда уже направлялись остальные силы 2-й дивизии вместе с начдивом.

Спустя час, вызванные из окрестных сел, строились на литинской площади все наши сотни. Люди в полной боевой выкладке снарядились в длительный и серьезный поход. Неоднократно до того приходилось вызывать полк по тревоге, но ни разу еще я не видел такой собранности подразделений и такой сосредоточенности на лицах бойцов.

Семивзоров попал посыльным в штаб. Проезжая мимо меня на своем дончаке, казак, сверкнув широко раскрытым глазом, таинственно шепнул:

— Что? Мои ноздри давно чуют порох!

Жители Литина, высыпав на площадь, встревоженные, следили за сборами полка. Весть о появлении петлюровцев на советской земле вмиг облетела весь город.

Из толпы вышел старик. Сняв соломенную широкополую шляпу, поклонился полку:

— Не пускайте до нас тех запроданцев.

— Не пустим! — раздалось в строю первой сотни и, прокатившись по рядам, завершилось степным криком четвертой, башкирской, сотни: — Не пустим!

Комиссар Климов, привстав на стременах, обратился к полку с короткой речью. Когда он закончил свое выступление словами: «Посечем на куски подарок Пилсудского!» — казаки ответили дружным «ура».

Вот уже, повторенные эхом каменных зданий, зазвучали слова команды «справа по три» — и мы под бодрые звуки трубачей тронулись с площади.

Нэпман Шкляр, мой квартирохозяин, кричал с тротуара:

— Разбейте бандитов, и я вас озолочу!

Мы с Климовым красноречиво переглянулись. Когда я хотел недавно угостить комиссара чаем и попросил у моих хозяев стакан, мне в этом было отказано.

Вот уже остались позади последние домишки литинской окраины.

Мы следовали широким Екатерининским шляхом, окаймленным тенистыми липами.

Полк, сотня за сотней, в колонне по три, с пулеметами на тачанках шел с песнями. Из-под лихо заломленных папах молодые лица светились боевым задором.

Я с восхищением смотрел на нашу колонну. В Кальнике нас была лишь «жменька». Но вот страна дала своих лучших людей, лошадей, оружие, а мы, выполняя волю партии, сделали из горсточки всадников боевой, грозный для врагов кавалерийский полк.

КРОВЬЮ УМЫТЫЕ ДНИ

Высланные вперед квартирьеры встретили и развели свои сотни по улицам широко раскиданной Луки Барской.

Здесь предстоял ночлег. Но спать никому не хотелось. Всех нас тревожило появление на советской территории непрошенных гостей. Полк выставил заставы, нарядил патрули, выслал разъезды, но гомон и голоса во всех концах села не умолкали до рассвета. Многие окна ярко светились. Гремела музыка — гармонь, скрипка, бубен. Звенели песни. В селе справлялись свадьбы, пили горилку, били посуду за счастье молодых, кричали им «горько», а в это самое время в нескольких километрах от Луки Барской, в селе Згарок, гремели выстрелы, звенели сабли, лилась кровь.

Опьяненный легким успехом в борьбе с реденьким заслоном пограничников, вырезая по пути продагентов, вскрывая им животы и наполняя их зерном, запроданец Михаил Палий обагрил кровью шляхи и проселки Подолии.

Атаман вез с собой транспорт с оружием. Палиевцы раздавали его крестьянам, но они, как только банда удалялась, относили винтовки в сельсовет.

Это обстоятельство сильно разочаровало Палия и особенно Шолина. Эмиссар Пилсудского имел специальное задание — лично выяснить настроение украинского народа.

Увы, Шолин ничем не мог обрадовать Пилсудского. А дальше дела пошли совсем скверно.

Особенно понизилось настроение у диверсантов 30 октября, когда посланный из Ярмолинец в разведку сотник Масловец вернулся и привез свежие советские газеты.

«Красная Армия», орган Киевского военного округа, 29 октября 1921 года сообщала о ликвидации крупного контрреволюционного заговора. Все его участники постановлением коллегии Особого отдела КВО были приговорены к высшей мере наказания. Особенно тяжкими были преступления бывшего начдива шестидесятой, а потом брига Леонида Федоровича Крючковского.

Этот предатель предупреждал атамана Заболотного, оперировавшего на Подолии, обо всех планах советского командования; собирался передать Заболотному некоторые части своей бригады; снабжал бандитов перевязочными материалами; готовясь к побегу, убил своего комиссара.

Вместе с Крючковским были казнены и чеботаревская лазутчица Ипполита Бороенская и все их приспешники.

Где тут не упасть духом? Ведь бывший начдив Крючковский, он же атаман Крюк, по планам, выработанным там, за Збручем, должен был двинуться навстречу Палию с целой пехотной бригадой, продотрядом Яворского и с бронепоездом.

Да, в диверсионных планах Петлюры немаловажная роль отводилась Крюку-Крючковскому. Кто же он, этот проходимец, завербованный Ипполитой Бороенской, который готов был сменить высокое звание советского командира на позорную кличку петлюровского гайдамака?

В Полтаве подросток Ленька Крючковский, острый на язык и бойкий на руку, с тонким и гибким корпусом, хулиган и мелкий воришка, торговал газетами. Попав на фронт в 1915 году, Крючковский, страдаемый чрезмерным честолюбием, лез из кожи вон, домогаясь чинов. В дни революции ему пришлось расстаться с штаб-капитанскими погонами, ради которых он не раз шел на верную смерть.

Бывший офицер Крючковский, призванный в Красную Армию, и здесь, стремясь сделать карьеру, отличался своим бесстрашием. Но он был храбр лишь после солидной понюшки кокаина.

Все же ему удалось к осени 1920 года стать командиром 60-й дивизии. Вот тогда-то, во время ликвидации армии Петлюры, увлекшись Боронецкой, он, забыв о своем воинском долге, дал возможность желтоблакитникам захватить на время Деражню.

После реорганизации дивизии весной 1921 года Крючковского перевели на бригаду. После этого снижения, считая себя обойденным, честолюбивый карьерист без особых колебаний дал себя вовлечь в контрреволюционный заговор.

Нет сомнения, что официальное сообщение Особого отдела, опубликованное в момент появления на территории Украины диверсантов, потрясло и головного атамана и всех его подручных.

...Тридцатого октября в селе Згарок остановился на ночлег, прибыв из Сальниц, литинский продотряд.

Пользуясь крошечной осенней темнотой, очевидно кое-кем призванные, в Згарок ворвались всадники Палия. Продотрядцы, впопыхах седлая лошадей, а многие вовсе без седел, огородами и закоулками покидали деревню.

Как только пришли первые тревожные сведения, наш штаб-трубач, поднимая людей, уже носился по сонным улицам Луки Барской. Все нарастающие ноты сигнала требовательно зывали:

Тревогу трубят, скорей седлай коня,
оружье оправь, себя осмотри,
тихо на сборное место веди коня,
стой смирно и приказа жди!

Казак, спешившись, расположился прямо на улице. Не выпуская из рук поводьев, готовые вот-вот броситься в седло, оживленно обсуждали неудачу в Згарке.

В это время Тютюнник, покинув Львов, в сопровождении эмиссаров Пилсудского пана Флёрека и пана поручника Ковалевского, перебрался поближе к нашей границе, в район Костополя.

Между обеими группами петлюровцев — вольнской и подольской — поддерживалась живая связь через агентуру, знавшую все ходы и выходы в пограничной полосе. Во всяком случае, о том, что случилось в Згарке, Палий сразу же донес своему шефу, а тот — головному атаману. Вот донесение, отправленное Тютюнником из Балашовки, свидетельствующее, до каких размеров был раздут небольшой и совершенно случайный успех Палия:

«До пана головного атамана Симона Петлюры
Рапорт

Командира партизанско-повстанческой армии Юрка Тютюнника.

Полковник Палий разгромил красных в районе Каменец-Подольска, захватив город, затем занял Проскуров, где к нам перешел полк красных.

Генерал-хорунжий Тютюнник».

Там, за Збручем, Палий твердо верил, что поход с самого начала превратится в триумфальное шествие, что его отряд составит лишь ядро восставшего народа и будет поставлять стихийно возникающим полкам и дивизиям полковников и атаманов. Но вышло по-другому.

Враждебность селян Подолии сразу же определила оборонительный, а не наступательный характер действий Палия. Этим следовало пользоваться. Не упуская ни одной минуты, надо было кинуться по следам банды и заставить ее принять бой.

По распоряжению комбрига Багнюка мы из Луки Барской передвинулись в Комаровцы.

БОЙ В ЛЕСУ ПОД СТАРОЙ ГУТОЙ

На рассвете, появившись из ближайшего леса, расположились в Комаровцах отпущенные Палием крестьяне-возчики, жители пограничных районов. По словам возчиков, банда, устроив в Старой Гуте привал, собирала новые подводы в обоз.

Окруженный плотным кольцом слушателей, с лошадьё в поводу, Александр Мостовой, насунив брови, спросил, обращаясь к Запорожцу, из-за спины которого торчало ребристое тело ручного пулемета «лююкса»:

— Ну ты, Максим, верно, помнишь загадку про три буквы — «пе», «ка», «пе»? —

— Это то, что написано на трофейных панских вагонах?

— Эге,— ответил Мостовой.

— Это даже наш Малютка Ваня знает. По-ихнему значит: «Польская колея паньствова», а по-нашему: «Пилсудский купил Петлюру»,— бойко отрапортовал лякуртинец.

— А я вам задам, товарищи, другую задачу. Что такое четыре «пе»?

— «Пан погоняет — Польша пропадает!» — долго не думая, предложил свою загадку Бондалет.

— И это неплохо,— улыбнулся секретарь партбюро.— Но ты не угадал, Емельян.

— «Паника пристала — пиши пропало!» — выпалил Семивзоров.— Вот как в Згарке получилось. Шутишь, Палий, у нас этот номер не пройдет!

— Нет, товарищи, и Митрофан не угадал! — Мостовой обвел слушателей суровым взглядом.— Четыре «пе» — это вот что значит: Пуанкаре, Пилсудский, Петлюра, Палий. Мой батько, когда драл меня, приговаривал: «Сыпь гуще в зад, чтоб дошло и до головы». Вот надо здесь так всыпать самому маленькому «пе», чтоб и самое большое там, в Париже, почувствовало, что такое червонный казак!

Тронувшись на Старую Гуту, мы всей нашей бригадной колонной втянулись в узкую лесную щель, по которой вился довольно глухой, малоезженный проселок... Открыл движение головной полк бригады — седьмой. Так оно и должно быть — правофланговому первая чарка и первая палка.

От головной сотни вперед, на Старую Гуту, ушел разъезд во главе с Михаилом Будником.

Вытягивая полк в походную колонну, я вызвал в голову подразделение Васильева. Полтавчане давно уже рвались в бой, желая щегольнуть перед полком своей доблестью.

Храмков в казачьей бурке, глядя исподлобья, обратился ко мне:

— Все-таки фундамент полка — кубанцы. Не следовало бы это забывать, комполка.— Как обычно, свидетельствуя о волнении сотника, сильно побелел глубокий шрам на его щеке.

— Ступайте за Васильевым,— распорядился я, учтя справедливое замечание Храмкова.

Замыкала полковую колонну четвертая сотня Силиндрика. Жан Карлович, обогнав колонну, попыхивая, как обычно, трубкой, спросил:

— А почему, например, вот пример, нас поставили в самый хвост?

Мостовой, трясясь рысцей вдоль колонны, внушал бойцам:

— Помните же, хлопцы, мы — и коммунисты и беспартийные — у себя дома, а палиевцы — на чужбине. Крошите подлых наймитов без разбора!

Наши полки все больше и больше втягивались в лес. Главное, чтобы противник не ушел. Главное, заставить Палия пойти на сабельную встречу, навязать ему конный бой. Я полагал, что Будник вот-вот пришлет донесение и бригада, приняв должный боевой порядок, всей силой живого и огневого удара обрушится на врага. Вскоре из-за поворота узкой лесной дороги показался наш начальник разъезда со своими людьми. С перекошенным лицом, проскочив мимо нас таким аллюром, что не успел сдержать коня, он бросил одно слово: «Банда!»

Вдали показалась голова конного отряда. Вел его плотный, небольшой всадник. В синей черкеске с красным башлыком и в кубанке, размахивая клинком, широко разинув рот, он зычно кричал «ура». Этот боевой клич, подхваченный всем отрядом, вовсе ошеломил меня. «Если это палиевцы,— пронеслось в голове,— то почему «ура», а не гайдамацкая «слава», и почему у них не желтоблаkitный флаг, а красный штандарт?»

Времени на размышление не было. Секунда промедления могла привести к катастрофе. Приняв решение, я подал команду:

— Шашки вон, пики к бою, ура!

Рядом со мной, справа, с саблей в руке, с широко раскрытыми глазами скакал комиссар Климов. Слева и чуть позади шел бледный, но решительный Сергей Царев, мой помощник.

Сзади, оглушая нас, доносился дружный топот многих коней. Команда «шашки вон» толкнула полк вперед, как догорающий порох выталкивает снаряд из дула орудия.

Враг смело надвигался на нас. Стиснутые рамой из молчаливых берез, неслись навстречу друг другу разъяренные всадники, чтобы в грозном столкновении решить вопрос: кто — кого?

Красный штандарт, который приближался с каждой секундой, и знакомое, родное «ура» тревожили меня больше, нежели острия блестящих клинков, грозно надвигавшихся на нас.

Неужели это один из тех красноармейских отрядов, которые боролись на Подолии с местными бандитами или же содействовали продовольственным органам в сборе хлеба? Поздно будет признавать своих, когда обе массы на полном скаку врежутся друг в друга шашками. Если уцелеешь сам, то позора вовек не оберешься. Это будет похуже Згарка.

Всадник с ярким башлыком и красный штандарт незнакомого отряда находились теперь уже на расстоянии восьми бросков моей лошади. Мысль «свои или не свои?» все еще мучила меня.

Рука с револьвером невольно поднялась, метя во всадника с красным башлыком. Но что это? Наваждение или мираж? Неужели этот сытенький гайдамак — командир отряда — мой земляк, с которым мы три года назад встретились в Полтаве? Теперь вместо деникинских погон на плечах Глушака красовался башлык петлюровского сотника.

Вмиг стало легко на душе. Нервы петлюровцев за несколько мгновений до решительной схватки не выдержали: гайдамаки, скакавшие впереди, показали нам спины. Первым повернул сам сотник, а за ним значковый. Задние ряды отряда, не зная, что делается в голове, нажимали по-прежнему. Но как только обмякли нервы петлюровского сотника Глушака, его отряд, охваченный стадным чувством, опрокидывая своих, бросился наутек.

Всадники нашей головной сотни, лихие полтавчане, видя неустойку врага, нажали еще крепче. Дав полную волю озверевшим коням, на широком галопе врезались в гущу петлюровцев.

Со сверкающими клинками уже опережают меня разъяренные кубанцы Храмова. Колот, рубят, бьют наотмашь и мои земляки, там, у себя дома, знавшие лишь хлеборобское дело, и горячие сыны Кубани, с детства привыкшие к коню и клинку. Вот уже Митрофан Семивзоров, Прожектор, вырвавшись обочиной вперед, достает своей пикой петлюровца...

Шумная масса всадников — и преследующих и преследуемых, — несясь по узкой лесной дорожке, на которую то и дело катились окровавленные тела, приближалась к Старой Гуте — стоянке основных сил Паляя.

Теперь вернемся к нашей давней встрече с Глушаком — начальником палиевской конницы.

Это было в ноябре 1918 года. Возвращаясь с подпольной явки, я ожидал поезда на Полтавском вокзале. Потрясая красными шляпами лихо заломленных папах, в зал буфета шумной гурьбой ввалились гайдамаки.

Сохраняя внешнее спокойствие, я, небрежно заложив руки в карманы студенческой куртки и крепче зажав под мышкой дамские ботики, купленные мною в Полтаве по поручению, стал двигаться к выходу.

Вдруг кто-то назвал меня по имени. Я обернулся. Какой-то офицерик сидел в одиночестве за столиком буфета и помахивал мне рукой. Это был мой земляк. В 1916 году, не закончив училища, он ушел в школу прапорщиков.

Моему бывшему соученику, очевидно, хотелось похвалиться офицерскими погонами. В одном я был уверен: Глушак не мог знать о моей принадлежности к большевистскому подполью. Я охотно принял приглашение присесть к столику... Первым делом я положил перед собой, придвинув их поближе к офицеру, дамские ботики, в которых хранились полученные на явке литографские оттиски листовок. Скрепя сердце я слушал наглый рассказ белогвардейца о его «подвигах» на Дону.

Глушак, выложив все свои похождения, указал на погоны.

— Еду в Киев. Если Петлюра даст чин сотника, сорву их к чертям.

Мимо нашего столика проходил гайдамацкий старшина. Глушак, исчерпав со мной все темы, остановил петлюровца, обратившись к нему по-украински:

— Пан хорунжий! Що воно за рахуба? Шукаете кого, чи що?

Петлюровец, от которого несло самогонкой, опустился на стул рядом со мной.

— Мы считали,— довольно откровенно начал красношлычник,— что в тех чертовых Кобеляках наши, а они, сволочи, взяли и напали на немецкий эшелон. Для виду признали Центральную раду, а в самом деле в том отряде Василя Упыря — одни большевики.

Понимая, что нельзя все время хранить молчание, я спросил:

— Значит, пан хорунжий, я из-за тех большевиков не попаду к себе домой?

Петлюровец положил руку на ботики. У меня замерло сердце.

— Ничего, пан студент,— ответил гайдамак,— завтра-послезавтра наш полк разворшит до дна то большевицкое кубло.— Петлюровец посмотрел искоса на Глушака.— Вы, пан поручик, как будто из наших, а воюете за единую неделимую?

— Обстоятельства! — пожал плечами белогвардеец.— Вот еду в Киев и скорее всего останусь с вами. Все же, что ни говори, а своя рубаха ближе к телу.

Приближалось время посадки. Мы вышли на перрон. Радуюсь случаю щегольнуть своей офицерской властью, Глушак растолкал едущих и усадил меня в одну из теплушек.

Прошло три года. И вот под Старой Гутой вновь пришлось встретиться с бывшим белогвардейцем, а теперь гайдамаком.

ПОД БАНДИТСКИМ ПУЛЕМЕТОМ

Впереди, на полянке, справа от дороги, показалась одинокая хата лесника. Глушак с красным башлыком на плечах, соскочив с коня, вмиг очутился на верхушке забора. Но Храмов, распустив по ветру широкие полы бурки, рванулся вперед и ловким взмахом клинка сшиб наземь петлюровского сотника. Не слезая с седла, острием шашки кубанец поддепил красный башлык и вытер им скровавленное лезвие.

Слышно тяжелое дыхание всадников, хrapение озверевших лошадей, вопль о пощаде и яростные крики наших бойцов:

— Це вам за Згарок!

— Це за Гусятин!

А Мостовой все кричал, нанося удары шашкой:

— Мы дома, а вас сюда никто не просил!

Запорожец, нагнав палиевца, рубанул его, приговаривая:

— Ось вам галушки, а ось і сало!

Бандиты, надеясь скрыться от наших ударов под защиту своей пехоты, ударили компактной массой. Дорога вдруг пошла по глубокой выемке. Ее откосы, находившиеся уже в пределах Старой Гуты, стиснули всю массу конницы, словно клещами. Палиевцы, вскакивая ногами на седла и бросая лошадей, кинулись в огороды.

Но вот узкий проселок перешел в довольно широкую улицу. На противоположной стороне ее показалась одинокая хата под соломенной крышей. Всадники первой и второй сотен, обволакивая бегущих, вклиниваясь в их центр, ворвались в село. Намертво вцепившись в остатки конного отряда, вместе с ним круто повернули направо.

На пригорке, впереди угловой одинокой хаты, крупный всадник в шлеме-буденовке подавал своим людям какие-то знаки обнаженным клинком. Для меня стало ясно, что этот петлюровец на сером коне и есть атаман банды. Полковник Михаил Палий привстал в стременах, заметив мою темно-серую папаху с красным верхом, длинную кав-

лерийскую шинель со знаками комполка на рукавах и орденом в красной розетке. Да и сама Мария, возбужденная скачкой и звоном оружия, обращала на себя внимание.

Я чуть сжал бока лошади, и этого было достаточно, чтобы она, вытянув шею, ринулась вперед.

Но что это? Почему Палий так спокоен? У ног его коня, зарывшись в бурьян, застыли два гайдамака со станковым пулеметом. Нет, есть еще выход: впереди, справа от всадника, у подножия пригорка, склад зерна — гамазей. Я пустил в ход шпоры. Двумя сильными скачками Мария унесла бы меня за толстые стены надежного укрытия. Но... застрочил пулемет. Пули срезали лошадь как раз на прыжке. Миг — и я очутился на земле, прижатый тугим боком Марии. Мелькнула мысль: «Вот конец, отвоевался». Кобыла застонала. Подняв голову, жалобно посмотрела на меня. В тот миг, когда она, вытянув шею, ослабила нажим, я вытащил ногу, поднялся с земли. Заметив кровь на шинели, подумал, что ранен, но в горячке не чувствую боли. С замиранием сердца я ждал: вот сейчас бандитский «кольт» пронизет меня своей губительной строчкой. Но гайдамаки не стреляли, очевидно задумав взять меня живым. Я находился от них в двадцати — тридцати метрах.

Вдруг палиевцы перенесли огонь куда-то в сторону. С зажатым в руке пистолетом, пристально наблюдая за атаманом и ожидая, что вот-вот он кинется на меня со своим грузным конем, я не мог обернуться. Мне было ясно, что кто-то из наших людей, бросившись ко мне на помощь, был остановлен пулеметным огнем.

И вот из-за гамазея донеслось звонкое «ура» и неистовый крик: «Дашь атамана!» Палий скомандовал: «Вогонь!» — и я, застыв, ждал смертельного удара. Пулемет забил — только не по мне, а по Семивзорову, кинувшемуся с фланга на Палия. Казак в один миг растянулся на земле, но этого мига было для меня достаточно, чтобы тремя прыжками очутиться за гамазеем. Через минуту, перебираясь по-пластунски, приполз и Семивзоров. И здесь, не теряя своего задора, он обратился ко мне:

— Либо в стремя ногой, либо в пень головой. Вот и пригодился кривой Семивзоров! — Ощупав свои руки, ноги, он спросил: — А вас, комполка, не поранило?

Вдруг из-за хат с разных сторон рванулись к нам три всадника. Один из них был Царев, другой Бондалет с Громом, а третий — трудно было этому поверить! — Очерет.

Мне показалось, что я его вижу во сне. Но он уже вел свободного коня — одного из брошенных палиевскими всадниками. За амбаром мы могли стоять спокойно. Выехавшие из леса пулеметные тачанки открыли огонь по Палию и по его охране. Очерет, не выпуская из рук поводьев трофейного коня, сделал ревизию гайдамацкому седлу. Как только он поднял крышку кобуры, из нее посыпались петлюровские кокарды с желтым трезубом. Кокард хватило бы на целый полк.

Когда мы выглянули из-за гамазея, ни Палия, ни его пулемета на пригорке уже не было. Мы направились в ту сторону, куда ушли наши головные сотни.

Очерет мне объяснил, как он очутился в Старой Гуте. Возвращаясь из отпуска, он попал в Жмеринку, где ему предстояла пересадка. В связи с появлением банды Палия поезда на Проскуров не шли. Оперативный работник штаба корпуса, отвозивший на паровозе приказание командиру нашей бригады Багнюку, согласился взять Очерета с собой. В Комаровцах, сойдя с паровоза, казак увидел хвост нашей колонны и с боевым обозом добрался до Старой Гуты.

Между тем часть нашей колонны, не успевшая втянуться в Старую Гуту, была атакована в лесу пехотой Палия. Гайдамаки бесшумно подошли на близкую дистанцию и открыли меткий, частый огонь. О том, чтобы в конном строю атаковать в густом лесу пешие цепи, нельзя было и мыслить. Оставалось одно: пробиваться меж деревьев на простор.

Выйдя на окраину села, я простился здесь со смертельно раненым командиром кубанской сотни Храмовым. С бескровным лицом, настолько побелевшим, что не стало видно шрама — следа сабельного удара, держась за живот, он шептал:

— Прощайте, комполка... не обижайтесь... если когда-нибудь было не так, как надо... Напишите моим...

Поддерживаемый за плечи грузным Земчуком, еще в Литине вернувшимся из побывки в полк, умирающий опустил голову.

— Это, комполка, их срезало,— сказал Земчук,— когда они бросились вам на выручку.

Вот теперь мне стало ясно, в кого стреляли, оставив меня в покое, телохранители атамана. Я понял, кто, жертвуя собой, спас мне жизнь.

Вечная память тебе, отважный сын славной Кубани!

Прискакал ординарец Багнюка. Комбриг, вызвав нас к себе, построил на лужайке всю бригаду.

Багнюк во время затянувшегося митинга славил 7-й полк. Но я, несмотря на похвалы комбрига, чувствовал себя неважно — мой боевой конь остался там, у гамазея, и мою шапку, далеко отлетевшую при падении, Палий подхватил и надел на себя.

Пока мы митинговали, в Старой Гуте прощался с жизнью чудесный товарищ — большевик, комиссар 8-го полка Мазуровский. Раненный в грудь во время отступления из леса, он не удержался в седле. Его подобрала палиевцы, увели в деревню, содрали с него кожаный костюм и зверски зарубили.

После митинга было решено, оставив лошадей в лесу, атаковать Палия, но в Старой Гуте его уже не было.

У гамазея, вытянув ноги, лежала с восемью ранами Мария. Гром, нагнувшись над ней, тоскливо заржал.

На стенах гамазея, наспех прикрепленные, висели воззвания желтоблаkitников: «Уничтожайте все мосты, железнодорожные полотна... Расправы производите по ночам, распространяйте воззвание из села в село, из хаты в хату, из рук в руки. Поддерживайте связь с другими повстанцами.

...Командир Подольского партизанско-повстанческого отряда полковник Палий».

В Старой Гуте все свидетельствовало о поспешном бегстве банды.

С рассеченными головами, в шинелях, залитых кровью, трупы петлюровцев валялись на дороге, под плетнями и на побуревшей траве широкой левады, тянувшейся от леса к гамазею.

Какой-то бандит, без шапки, с копной черных волос на голове, широко раскинув длинные руки, с обломком деревянной пики, торчавшим из-под левой лопатки, лежал ничком под тыном. Прямо против гамазея, на кочковатой дороге, застыло короткое безголовое туловище в дамской беличьей шубке. Рядом, с открытыми глазами, устремленными в небо, в рыжей папахе, из-под которой торчал лихой рыжий чуб, с широко раскрытым ртом, заполненным от края до края золотыми зубами, валялась голова бандита.

— Узнаю роспись нашего Прожектора,— остановившись возле срубленной головы, сказал Мостовой.

На выходе из села, прислонившись к плетню, опустив старческую губу, дремала флегматичная пегашка. Над седлом, вдетая в стремя, торчала одна нога всадника, другая виднелась под брюхом лошади, а сам бандит, перевалившись через плетень, зарылся порубленной головой в высокий порыжевший бурьян.

А в одинокой угловой хате с мутными, полузакрытыми глазами лежал с посеченными кистями рук и посеченной головой комиссар 8-го полка Мазуровский.

«НАУЧИТ ГОРЮНА ЧУЖАЯ СТОРОНА»

Бригада, вызвав из леса коноводов, села на лошадей и бросилась вслед за петлюровцами. Банда, передвигавшаяся на обывательских подводах, ушла далеко по направлению к Южному Бугу. Чтобы набраться сил для дальнейшего преследования, мы поздно вечером 31 октября, перейдя реку Згар, остановились на ночлег в селе Голенищеве.

Весь путь Палия от Старой Гуты до Южного Буга был отмечен трупами зверски замученных работников сельсоветов, продовольственных агентов, активистов-незамужних, молодых учителей. Банда бросилась на северо-восток, где ее ждали сплошные леса и Тютюнник с его главной диверсионной группой генерала Янченко.

Поздно вечером 1 ноября в Думенках мы переправились через Южный Буг. Незадолго до нас перешли реку и гайдамаки. С высоких холмов мы наблюдали далекие,

охваченные багровым закатом забужские деревни. В одну из них — Цымбаловку — вошел отряд Палия.

Уже в абсолютной темноте наши голодные, усталые люди на замученных конях втянулись в село Терешполе. Здесь первым желанием каждого было уснуть.

Особый развед от 7-го полка отделенного командира Лелеки пошел из Терешполя на Цымбаловку. По всей вероятности, Палий, двигаясь на Волянь, должен был воспользоваться проселком, что шел на Яблоновку. Позади этой дороги прогекала гнилая речушка с болотистой поймой. Стремительный удар из Терешполя прямо на север, во фланг Палию, утопил бы весь отряд в болоте.

В нашем боевом обозе мы везли пленного палиевца. О том, что он прячется на кладбище Старой Гуты, сообщил нам хозяин хаты, в которой мы застали умиравшего Мазуровского. Накануне, когда перед самым уходом из деревни привели пленного, в штабе, несмотря на напряженность обстановки, было много смеху. На вопрос: «Как фамилия?» — петлюровец ответил: «Цвынтаренко». Сначала мы подумали, что он нас морочит. Земчук сказал, смеясь:

— Все знают, что ты Цвынтаренко, потому что схватили тебя не где-нибудь, а на цвынтаре¹. Ты скажи фамилию твоего батька, тогда и видно будет, какая фамилия у тебя. А то не узнаем, по ком свечку ставить.

— Так вы меня зарубаете? — с нескрываемым страхом спросил бандит.

— Если будешь брехать, то обязательно посечем, — заверил его Бондалет.

— Ей-бо, я Цвынтаренко. Вот только документов нет, все наши бумаги в полковом штабе. А я Цвынтаренко! Правда, поначалу я был просто Цвынтарь. Но наш командир куреня Бондаренко — это было еще в Херсонской дивизии — в девятнадцатом году всех нас переписал. Он сказал: «Я Бондаренко, и в моем курене будут сами «енко».

Рассказ пленного вызвал всеобщее оживление. Посыпались шутки, остроты. Мрачными оставались лишь вестовые-кубанцы. Кто-то из них успел сбегать в сотню, привести к штабу большую группу казаков, только что похоронивших сотника Храмова. Очерет, наклонившись к моему уху, шепнул, что кубанцы ждут удобной минуты для самосуда над пленным.

Палиевец, заметив Очерета, заерзал на скамейке, порываясь что-то сказать. Дрожавшим голосом наконец заговорил:

— Семене! Узнаешь? Скажи им, брешу я чи не брешу? Цвынтарь я чи не Цвынтарь? Ты ж мне родня. Скажи все, что знаешь про меня, Семене!

Очерет, явно озадаченный и потрясенный этой встречей, передвинул папаху со лба на затылок и, глядя исподлобья то на пленного, то на казаков, столпившихся в штабе, ответил:

— Что знаю, обязательно скажу, Кузьма. А касаемо родства, то мы с тобой такие родичи: когда у твоего деда млын горел, мой дед спину грел.

Очерет своим ответом вызвал залп смеха, к которому присоединились и мрачные кубанцы.

Команда «по коням», поданная Багнюком, прервала допрос палиевца.

В Терешполе, поручив Бондалету заняться кормежкой наших лошадей, я велел Очерету привести пленного.

Цвынтарь, в рваной шинели, без пояса, в осмоленной со всех сторон серой солдатской папахе искусственного барашка, чуть согнувшись, следуя впереди Очерета, с трудом пробрался между лежавшими вповалку посыльными, писарями штаба. Сел на скамью под стенкой. Мерцающее пламя коптилки освещало его худое обросшее лицо, еще более оттеняя желтизну, обязательный спутник тех, кто долго томился в неволе, безразлично, будь то лагерь для заключенных или лагерь для интернированных. И там и там очень мало воздуха и очень много тоски. Комиссар полка Климов спросил Очерета:

— Из каких он?

Семен, поглядывая то на палиевца, то на нас, ответил:

— Видите ли, товарищ комиссар, у него самого нет ничего. Но батько его, старый Цвынтарь, из крепеньких.

¹ Кладбище.

— Кулак? — Климов пристально посмотрел на бандита.

— Как сказать? — продолжал Очерет. — Середка наполовину. От петушков отстал, а до когутов не пристал. Батраков не держал. У него вот они, — кивнул ординарец на Цвынтаря, — сынки батрачили. Старик тот жилистый, из чабанов.

— Что выбился в люди? — спросил я.

— Правдой в люди никто у нас не выбивался. Он чабановал у Фальц-Фейна. Слышали про такого помещика? Другие чабаны ждали панской милости — наградных к пасхе и рождеству. А Цвынтарь, значит, его батько, потихоньку после окоата душил молодняк. Потом тайчо продал овчины, поставил себе хутор под Маячкою. Народ так и зовет то место: «Хутор на шкурках» или просто «Шкурки».

— А теперь скажи, Цвынтарь, или Цвынтаренко, как ты попал к Петлюре? — Климов строгими черными глазами посмотрел в упор на пленного.

Цвынтарь поднял голову. Обвел всех нас растерянным, блуждающим взглядом.

— Мне говорить или пусть он скажет? — кивнул он головой на Очерета.

— Не он же был у Петлюры, а ты. Ты и говори, — отрезал комиссар.

— Так вот, — начал Цвынтарь. — Как поудирали немцы и скинули гетмана, Петлюра объявил мобилизацию. И мой год потребовали. Встретились мы тогда с Семеном Очеретом. А он говорит: «Пока идет мобилизация, перебудем это время в днепровских плавнях под Каховкой». Я так и думал сделать, а тут заявился тот самый Бондаренко из Херсона, атаман куреня, и давай выступать на площади в Маячке. Наш народ после немцев хотел одну Советскую власть, а Бондаренко говорил: «И мы все за то же самое. Кто у нас в Киеве? Центральная рада. А что такое рада? Это совет. Значит, и мы за Советскую власть. Мы сами против помещиков, против ланов».

— Значит, ты послушался Бондаренко? — спросил Мостовой.

— Я послушался не Бондаренко, а батька. Он сказал: «Если, сукин сын, не пойдешь со зброєю защищать державу, ни шматка земли от меня не жди».

— И сейчас тебе земельки захотелось? — донесся с пола голос проснувшегося лякуртинца Запорожца.

— Нет, добродию, — приглушенно ответил петлюровец. — Я записался к Палию, чтоб как-нибудь попасть на Украину, а там объявиться Советской власти. — Он повел плечом, поднял голову, сверкнул глазами. — Что я вам скажу, люди? Если б вы знали, какая там жизнь, на чужине! Чуть растулишь рот, попадешь под палки лагерь-полицейского, лупоглазого бунчужного Чумы, или же погонят в Домбье. Туда и за чтение листовок забирали. Особенно дознавались про ту, где писалось: «Кто отдал Галицию иляхте? Петлюра! Кто прогнал с Украины Пилсудского? Большевики!» Из Домбье один путь в могилу. Если б кто сказал мне: «Кузьма, как жук, ползи на Украину!» — я бы на коленках прошел всю дорогу от Калиша до Маячки и молился бы богу за такую милость.

— Да, научит горюна чужая сторона! — задумчиво сказал Мостовой, лежавший на полу рядом с лякуртинцем.

Стремясь рассказать все, пленный продолжал:

— Сам Палий нам говорил: «Хлопцы, смелее вперед! Винница и Жмеринка уже в руках атамана Крюка. Под Киевом стоит Орлик, Полтаву забрал Левченко, а Катеринослав — атаман Брова».

— Теперь ваш Палий может давать горобцам дули, — злоратно бросил Запорожец. — Атамана Крюка шлепнули.

РАЗГРОМ ПАЛИЯ

Частый топот копыт, донесшийся с улицы, прервал допрос. В хату ввалился начальник Особого разезда. Я велел увести Цвынтаря. Качаясь от усталости, с мутными глазами, отделенный командир Лелека доложил, что на дороге Цымбаловка — Яблоновка все спокойно.

Замысел у меня был хороший — внезапной атакой опрокинуть банду в болото. Но успех зависит не только от замысла.

Отчитав Лелеку за то, что он покинул свой пост, я отослал его назад, велел непрерывно следить за дорогой и сразу же послать донесение, как только гайдамаки оставят место ночлега.

Объехав посты, я вернулся в штаб. Сел, положил руки на стол и, опустив на них голову, сразу же мертвецки уснул. Но спать пришлось недолго: минуту десять—пятнадцать. Кто-то кричал над моим ухом:

— Товарищ комполка, банда пошла!

Пока Лелека скакал в Терешполь, Палий успел тронуться в путь. Все лежавшие на полу вскочили на ноги. Вскоре по сигналу тревоги в предрассветном тумане собрался весь наш отряд.

Выскочив из Терешполя, мы понеслись вперед. Вдали, миновав пойму гнилой речушки, которая могла превратиться в могилу банды, последние повозки Палия и всадники тыльной заставы, едва различимые сквозь тяжелый синий туман, подтягивались к Яблоновке.

Значит, оставалось одно: пользуясь незначительностью разделявшей нас дистанции, скакать вперед и заставить Палия принять бой. Так, думал я, поступил бы и мой учитель — «желтый кирасир» Федоренко.

Все люди 7-го полка, начиная с сотников и кончая рядовыми казаками вплоть до Малютки Шмидта, рвались вперед.

Над полями еще курился сизый туман, обещая погожий солнечный день, когда мы, двигаясь широкой рысью по скованному морозцем шляху, увидели впереди цепи петлюровцев. Переправа по узкому мостику в деревне Яблоновке задержала поспешное движение тысячной банды.

Не теряя ни минуты, надо было смять заслон и вместе с ним, ворвавшись в деревню, врубиться в основные силы врага. Неважно, что противник пеший, лучше защищен складками местности, превосходит нас и числом и огнем. Спешиваться, чтобы обеспечить себя от лишних потерь, значило терять драгоценное время.

Над селом, освещая поле боя, поднялся сияющий бледным золотом огромный диск солнца. Для многих петлюровцев из отряда Палия это был последний восход.

Пока 8-й полк совершал обходный маневр, 7-й полк, охваченный наступательным порывом, отрезав часть банды и изрубив ее, ринулся по следам Палия. Попадались по пути то сломанные повозки, то пристреленные кони, оброненные ящики с патронами — немые, но красноречивые признаки поспешного бегства. Под Яблоновкой чаша весов вновь, и на сей раз окончательно, склонилась в нашу сторону.

Жаркая схватка разгорелась под Стетковцами. Наши силы были на исходе, но еще хуже обстояло у бандитов. Не ожидая пощады и не имея возможности оторваться от нас, петлюровцы, засев за высокими плетнями крестьянских дворов, свирепо огрызались.

Запорожец, заметив среди гайдамаков крупного всадника на сером коне, спешившись, разрядил в него винтовку, целясь в знакомую ему смушковую папаху. После второго выстрела раненный в голову Палий, подхваченный его всадниками, скрылся из виду. Телохраниателям атамана удалось переправить его в Польшу.

Еще один дружный натиск — и банда, как стекло под ударом молота, рассыпалась на мелкие куски. Этот Подольский, или Южный, отряд партизанско-повстанческой армии Петлюры, предназначенный склонить под атаманскую булаву все южное Правобережье Украины, просуществовал всего двенадцать дней, а с момента встречи с 7-м полком червонного казачества — три дня.

«ВИНОВАТОГО КРОВЬ — ВОДА»

В бору под Матрунками как раз шла заготовка леса. Бандиты из разгромленного отряда Палия, сбросив с себя папахи и полученные из цейхгаузов Пилсудского рваные мундиры, вмиг преобразились в лесорубов. Но сами же крестьяне-лесозаготовители разоблачили их.

На полянку, где комиссар полка Климов рассматривал найденные среди дел палиевского штаба пустые грамоты кавалерам «Залізного хреста», всадники первой сотни сгоняли в кучу новоявленных лесорубов.

У одной из полениц, прислонившись к ней спиной, стоял, с черными усиками на белом спокойном лице, высокий, плечистый человек лет тридцати. Его широкую грудь обтягивала егерская рубашка, заправленная в синие широкие шаровары с красным

поясом. У его ног, прямо на земле, сидел грузный верзила. Переобуываясь, он поднял серые, чрезмерно выпуклые глаза. Заметив комвзвода Будника, обратился к нему:

— Запорошите, командир, хотя бы на одну сигарку...— Поднявшись на ноги, он стал выворачивать карманы.— Вот только подошел до полного расчета, а в кишнях ни порошинки табаку.

— Эх ты, пан бунчужный,— с горькой усмешкой посмотрел на него гайдамак с черными усиками.— В Гусятине все шумел: «Мы тютюнниковцы!»— а сам без тютюна...

— Это полбеды, пан сотник,— ответил верзила,— хуже то, что мы украинцы, а без Украины. Вот и получили,— он посмотрел рассеянно на подъехавшего к нему Будника,— и ставбк, и млынбк, и вишневенький садбк...

Сотник безнадежно махнул рукой.

— Кто мелко плавает, у того спину видно.

Будник, высыпав на протянутую ладонь щепотку табаку, сердито ответил:

— Больше тебе и не понадобится.

Рука палиевца вздрогнула. Зажав в одной руке махорку, другой схватился за живот. Умоляюще взглянул на Будника.

— Дозвольте на минуту в кусты.

— Что? Медвежья хвороба напала? Иди, только враз вертайся!

Петлюоровский сотник, ежась от холода, стараясь сохранить независимый тон, попросил Будника:

— Вон там, недалеко, за другой поленицей, мой мундир. Позвольте его взять.

Взводный посмотрел сверху вниз на петлюорца. Ответил сквозь зубы:

— Не тратьте, куме, силы, спускайтесь на дно,— и, повернувшись ко мне: — Разрешите, я его посеку за нашего Запорожца.

Но бой кончился. То, что делалось в горячке схватки, нельзя было позволить сейчас, когда банда была разгромлена.

— Иди, шура, бери свой мундир,— зло бросил Будник.

Петлюорец с презрением посмотрел на взводного. Схватившись за высокий красный пояс, словно намереваясь подтянуть шаровары, он молниеносно запустил правую руку в карман, вытащил браунинг.

Мы с Будником крикнули в один голос: «Стой!»— но уже было поздно. Гайдамак, выстрелив себе в голову, повалился на штабель. Затем стал медленно клониться, но, не удержавшись на скрещенных ногах, с окровавленным лицом упал навзничь.

Цвынтарь уже обжился при полку, даже немного повеселел, когда понял, что жизнь его вне опасности. Зная о том, что ему придется дать полную исповедь в Особом отделе, долго заблуждавшийся паренек с хутора «Шкурки», оставленный нами на свободе, боялся шагу ступить от патронной двуколки, на которой он передвигался вместе с полком. Сейчас вместе с Очеретом он появился на полянке, где наши сотни устроили короткий привал. Наткнувшись среди полениц на самоубийцу, воскликнул:

— Та то же сотник Масловец, адъютант самого Паляя! Только у них самих штаны вон с тем красным кирсетом.

Очерет заметил палиевца, подтягивавшего кожаные брюки после приступа медвежьей болезни. Сверля его глазами, схватил верзилу за грудки. Чуть не хрипя, Очерет бросил в лицо бандиту:

— Кажы, сукин сын, лесоруб, штаны Мазуровского?

— Какого Мазуровского? — Палиевец попятился назад.

— Комиссара Мазуровского, того, что вы зарубили в Старой Гуте

— Я не рубав, ей-бо, не рубав. Я держал только за руку.

И вдруг раздался голос возмущенного Цвынтаря:

— Ну и врешешь, бунчужный Чума! А в Калише кто служил лагерь-полицейским? Кто лупцевал палкой нашего брата? А мне от кого попало? Тоже скажешь, только за руку держал?

Очерет сделал шаг назад. Стремительно вытащил клинок. Свистнув, блеснула сталь.

— Жил собакой, околевай псом! — крикнул Очерет.

Мостовой, взглянув с коня на срубленного, бросил:

— Виноватого кровь — вода, а невинного — беда!

К ТВЕРДЫНЯМ НАУКИ

Перед вечером на Янушпольском шляхе, у ветряков, нас нагнал комкор Примаков. В его машине находился и комиссар корпуса Минц, нынешний академик. За ним следовал отряд бронемашин, которого нам так не хватало во время наших атак под Старой Гутой и Яблоновкой.

Командир корпуса, покосившись на мою буденовку, которую я теперь носил взамен захваченной Палием шапки, поблагодарил за удачные действия полка и добавил:

— Даю час на ликвидацию остатков. Банда в Янушполе.

Оставив сотни за укрытием, мы с Царевым выдвинулись вперед, чтобы наметить план атаки. Вдруг частый бой пулемета, притаившегося в каких-нибудь ста метрах от нас, сбил коня моего помощника, потом самого Царева, скосил Грома, а затем и меня.

Я очнулся в машине командира корпуса, когда бронеполк и 7-й полк под командованием Ивантеева уже находились в местечке.

Физические страдания, вызванные тяжелыми ранами, не давали уснуть всю ночь. Но на душе моей было легко: 7-й полк свой долг выполнил до конца — безвестный гайдамак Сидорянский, присвоивший себе историческое имя Палия, «полковника Фастозского и Белоцерковского», бежал, а банда его перестала существовать.

Меня и Запорожца, как тяжело раненных, повезли в корпусной госпиталь, в Винницу.

Двигаясь к Литину, наши шоферы остановились в центре села Ивча, чтобы заправить радиатор водой. Вдруг над пулеметом, установленным на нашем грузовике, я увидел силуэт женщины. Закутанная в тяжелый шерстяной платок, склонилась над лякуртинцем Параня Мазур.

— Вот тут тебе, Максиме, продукция всякая за твое геройство. Пропиши, как там у тебя будет, в госпитале.

Машина загудела. Параня соскочила, мы тронулись дальше.

Повернув голову, я спросил:

— Что, Максим, тоже крестная?

— Товарищ комполка, — ответил Запорожец. — Мимо гороха и бабы казаку так не пройти! Горе одолеет, а баба пригреет!

— А как же Семивзоров? — недоумевал я.

— Митроха все хвалился: «У меня один глаз, а вижу больше вас». Ну, а с Параней, сами понимаете, он проглядел.

— Когда же это произошло? — поинтересовался я.

— Ясно когда. Вы же сами послали нас ловить Братовского. Я дижонскую крестную в полчаса обломал, а здесь у меня было аж трое суток...

Нас продолжало невероятно трясти. Но мы терпели, зная, что дальше пойдет исправное шоссе. В Литине, вспомнив напутствие мэго квартирохозяина, я послал Бондалета попросить у Шкляра подушек, чтобы положить их под мое раненое плечо и под локоть Запорожца. Гражданин эмпман, забыв про свое обещание, и слушать ни о чем не хотел. Но Бондалет не растерялся и именем Революции произвел реквизицию. Эти подушки, выручившие нас, мы вернули Шкляру на пасху 1922 года, когда возвращались через Литин в свой полк.

...Тютюнника постигла та же участь, что и Палия.

Семнадцатого ноября части Котовского после девятидневного преследования окружили банду в лесах у Минков — Звиздаля. После упорного боя, в котором пало больше двухсот бандитов, остальные сдались. Сам Тютюнник из-под Звиздаля, как и Палий из-под Стетковцев, позорно бежал с тридцатью всадниками.

И прочих авантюристов, как только они очутились на советской земле, постигла та же участь, что и Палия и Тютюнника. Булак-Булахович, сопровождаемый самим Савинковым, был разбит в лесах Белоруссии, а атаман Гулый — под Тирасполем.

...В госпитале, где не было и рентгена, мы с Запорожцем не соглашались на ампутацию, хотя нас и пугали, что наше упрямство закончится плохо. А Семивзорову ногу стрезали. Десять лет, с 1911 до 1921 года, донской казак провел в седле. За добросовестную службу мы неоднократно пытались поощрить его отпуском. Но Прожектор от него отказывался наотрез. Отважится ли теперь одноглазый Семивзоров, потерявший

ногу в доблестном бою, вернуться в родную станицу, куда до сих пор ему «не было ходу»?

Весной, покидая с еще подвязанной рукой Киев, куда меня перевезли из Винницы, я случайно встретился с Котовским. Он сказал:

— Вот как оно получилось — мы с вами провожали гайдамаков за Збруч и нам же пришлось встречать их из-за границы.

Тридцать километров от Винницы на машине комкора Примакова мы сделали за один час. А в Литине мы с Бондалетом пересели на тачанку Земчука.

К обеду попали в Ивчу. Здесь, у въезда в село, где улица представляла собой непроходимое болото, кони наши, которым грязь доходила до самого брюха, вовсе стали.

На счастье, хата Парани Мазур находилась неподалеку. Показавшись у калитки, она сразу поняла наше тяжелое положение. По колено в грязи бросилась в соседний двор. Вскоре из раскрытых его ворот, низко опустив круторогие головы, показалась пара быков. Их босоногий хозяин, закатав брюки, молча привязал веревочные концы, накрученные на ярмо, к дышлу нашей упряжки. Двигаясь на буксире, мы вскоре въехали на широкую площадь села. Здесь, передохнув, лошади пошли сами.

Пока сосед Парани отцеплял свой буксир, свинарка в кремовом, с яркими маками, праздничном платочке, приблизившись к тачанке, шепнула мне:

— Есть у вас лишняя рубашка? Дайте моему соседу. Считайте, что он спас вам жизнь. И долго здесь не стойте.

Бондалет, порывшись в вещевом мешке, протянул Паране пару казенного белья. Взяв его под мышку, она еще ближе придвинулась ко мне.

— Что с Максимом? — спросила она едва слышно.

— Запорожец уехал на родину, — ответил я.

— Помогай ему бог, — прошептала она и машинально перекрестилась.

В это время в пяти километрах от нас, в лесной деревушке Бруслинове, разыгрывалась кровавая драма, стоившая жизни одному из лучших боевых товарищей нашего червоного казачества. Об этом мы узнали лишь после.

Надо было поторапливаться. Зная повадки бандитов, можно было не сомневаться, что если в данный момент в Ивчу на пасхальный самогон никто не явился из ютившихся в кожуховском лесу пещерных людей, то все же их предупредят о нашем движении.

Глубокой ночью мы достигли наконец Кожухова. Кони едва плелись. Заехав в крайний двор, мы убедили хозяина в том, что ему нет смысла выходить до утра из хаты.

Земчук с Бондалетом выпрягли лошадей. Задав им корму, мы поочередно находились возле них, пока двое из нас отдыхали. Но какой это был отдых? Пьяные голоса, доносившиеся сюда, на окраину, держали нас все время в тревоге.

На рассвете двинулись дальше. Дорога пошла глухим кожуховским лесом. Это был самый опасный отрезок пути. Вся надежда была на то, что после пасхального самогона в бандитских логовах царит сон.

Но что это? Вдали, чавкая по вязкой грязи, показалась конная группа. Чаше забилось сердце. Земчук перестал размахивать кнутовищем, подставив свое плечо в качестве упора для винтовки Бондалета. Прижав раненую руку к груди, я достал пистолет. Но что значило наше оружие против десятка вооруженных до зубов людей? Ни взять в сторону, ни повернуть назад уже было невозможно.

Всадники приближались. Один из них — как видно, старшой, — с трудом подняв лошадь в галоп, размахивая почему-то рукой, полетел нам навстречу. Вскоре мы заметили красные лампасы на его синих брюках. Не это еще ни о чем не говорило: в нашу червоно-казачью форму часто рядились бандиты.

Еще немного, и мы могли убедиться, что это были свои. Стало легче на душе. Повеселел я, повеселели мои спутники. Но ненадолго.

Старшой, подскочив к тачанке, поднес руку к папаше.

— Ото добре, — начал он простуженным голосом, — а в штабі турбота.

— В чем дело? — спросил я, ничего еще не понимая.

— Як же, товарищ комполка? Начдів Шмідт спеціально нас послали вас шукати. Гадали, що і ви вже неживий,

— Что значит — и вы? — встревожился я.

— Ото таке ваше шастя,— продолжал старшой.— А товарища Святогора, командира десятого полку, бандиты учора порубали. З ним ще чотыррох козаків...

Весть о гибели нашего товарища, прошедшего славный боевой путь в рядах червонного казачества, потрясла всех нас. И это случилось в пяти километрах от Ивчи, как раз тогда, когда мы застряли в ее топкой грязи. Я еще раз тепло подумал о Паране Мазур, выручившей нас.

Пока мы беседовали со старшим разъезда, из-за поворота дороги показалась еще одна группа всадников. Возглавлял ее партийный работник 7-го полка Александр Мостовой. Приблизившись к нашей тачанке, он слез с коня. Спешились и ехавшие с ним сотники Силиндрик, Ротарев, отделенный командир Лелека и Очерет.

Поздоровавшись и достав кисет с табаком, Мостовой сразу же обратился к нам:

— Слышали про Святогора? Поехал к невесте в Калиновку. В Бруслинове слез с коня, пожалел его. Шепелевцы выскочили из-за угла и сразу отрезали тачанку с пулеметом. Ну, Святогор с казаками отбивались, как могли. А как кончились патроны, их и посекли.

— Ну и сволота! — Очерет стиснул зубы.— Били мы эту петлюровскую шатию, били, а еще, видать, кое-что осталось на расплод.

— Это уже хвостики, Семен,— ответил Мостовой,— этих бандитов немало посекли наши казачьи шашки. Но больше всего бьет теперь по бандитизму ленинская новая экономическая политика. За Святогора очень досадно.

— А вы куда же? — спросил я Мостового.

— Штурмовать твердыни науки, товарищ комполка. На учебу.

— Чудно! — воскликнул Бондалет.— Такой самостоятельный политик — и сядет за букварь?

— Эх, Емельян! — покачал головой Александр.— Какой же из меня самостоятельный политик, если молодежь начала меня забивать? Политграмота, что мне дал луганский завод Гартмана, только и годилась, чтобы бить контру, а чтобы строить социализм, нужна другая грамотешка. Слышал про «Анти-Дюринга»? Нет! Так вот, молодые политруки, какие недавно приехали в полк, знают его назубок, а я, как и ты, этого самого «Анти-Дюринга» ни в зуб ногой. А знать его, видимо, надо. Что Ленин сказал? Он сказал, что на фронте кровавом у нас борьба кончается, а на фронте бескровном начинается.

— Куда же вас посылают? — спросил я.

— В Питер, в Толмачевку. Вот наши сотники тоже едут в Питер, только не в Толмачевку, а в Высшую кавалерийскую школу. На что Ротарев крепко сидит на своей Бабочке, а и он опасается, как бы молодые краскомы не вышибли его из седла.

— А мы с Лелекой в Винницу, в Корпусную школу,— не без гордости заявил Очерет.— Будем учиться на младший комсостав.

— Теперь все ударились в учебу,— сказал Мостовой, подтягивая подпруги коня.— Слышать, будто и вас, товарищ комполка, намечают в Военную академию. Вот и наш бедняга Святогор мечтал о ней.

Будущие «штурмовщики науки», попрощавшись, направились на Винницу, а мы, сопровождаемые усиленной охраной, тронулись на Хмельник, в наш сильный большевистским боевым братством 7-й червонно-казачий полк — «полк конных марксистов».



ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

И. ОСИПОВ

★

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ БАКУ

Чистое небо

Дорога из Баку в Карадаг проложена вдоль моря — узкое полотнище асфальта, протянутое между горным хребтом и плоским берегом Каспия. Последняя остановка трамвая, идущего от Приморского бульвара к юго-западной окраине города, затерялась между нефтяными вышками, и отсюда они сопровождают вас еще долго, то приближаясь вплотную к дороге, то взбегая на холмы.

У подножия каждой вышки размеренно покачиваются слоновьи хоботы насосов. Иной до того медлителен, что и не заметишь, проезжая мимо, склонился он к скважине — зачерпнул немного нефти — или уснул с поднятым кверху хоботом.

Нужно непременно увидеть вот такой очень старый бакинский промысел, чтобы по достоинству оценить фонтаны нового нефтяного месторождения. Здесь не бьет поклоны балансир насоса. Скважины сами выталкивают тысячи тонн «живой» нефти.

Об этих молодых многообещающих районах рассказ еще впереди. А сейчас поглядим на сопки. С удивительным постоянством они повторяют друг друга своими коническими очертаниями: голые крутые склоны, груды камней да редкие запыленные кустики.

Весь Карадагский хребет состоит из грязевых вулканов. Некогда они проявляли бурную активность. Да и теперь есть еще действующие грязевые сопки.

Накануне нашего выезда в Карадаг, 15 октября, в десять часов вечера, в море за островом Нарген — он стоит на страже у входа в Бакинскую бухту, — огромное зарево охватило полнеба. Весь город освещен был этим дальним, полыхавшим несколько минут ярчайшим пламенем.

Что случилось там — загорелся ли танкер или вспыхнул пожар на нефтяной вышке разведчиков каспийских недр? Нет, такое пламя, взметнувшееся на сотни метров и осветившее издали весь Баку, не могло бы возникнуть при пожаре.

Огонь вскоре погас, оставив в полном недоумении бакинцев.

Несколько катеров тотчас поспешило к месту происшествия. Первым пришел сюда «Шквал». Невдалеке от буровой вышки — разведчики поставили ее на стальных сваях — бурлила вода, и над нею еще пылал газ.

Это место отмечено на карте под именем «Банка Макарова» — мелководье, образовавшееся после извержения подводного грязевого вулкана в 1941 году. С той поры он ни разу не пробуждался, и геологи, привлеченные в эти места появлением над водой вместе с грязью постоянного спутника нефти — газа, пробурили скважину в морском дне.

Хорошо, что люди недавно ушли отсюда: во время извержения вулкана пламя охватило вышку, и с борта «Шквала» видно было, как догорают ее дощатые мостки.

К тому времени, когда появился «Шквал», извержение шло к концу, и бортовым пожарным краном удалось быстро погасить огонь. А из подводного кратера все еще пробивался газ, бурлила помутневшая от выброшенной грязи вода.

Может быть, и сейчас клокочет прорвавшийся из недр нефтяной газ. Во всяком случае, утром следующего дня я видел пузыри, взлетающие со дна и лопающиеся на поверхности моря. Глубина здесь небольшая, и можно проследить, как отрываются от желтого грунта серебристые гирлянды и, покачиваясь, всплывают вверх. Запах бензина смешивается с йодистыми запахами водорослей.

Разведчики возвратятся наверняка к этой внезапно пробудившейся «Банке», извержение подводного вулкана заставит искать нефтяные сокровища именно в этом месте. Опасно? Ну что ж, борьба за каспийскую нефть не обходится без риска. Мы еще расскажем об этом, когда поплывем на остров Семи кораблей, в удивительный, поистине чудесный город, построенный в открытом море, за сто километров от Апшеронского полуострова...

Машина мчится по Карадагскому шоссе, и, по мере того как увеличивается расстояние, отделяющее нас от Баку, местность становится все более унылой. На серой, потрескавшейся земле — ни единой былинки. Гряда потухших вулканов возвышается справа от дороги. С противоположной стороны — такое же пустынное побережье Каспия.

Ничто, вероятно, не изменилось здесь за миллионы лет — с той эры, когда море отступило, обнажив горный хребет.

Где-то рядом отыскали нефть. Там выросли рабочие поселки. На тротуарах прижились олеандры, инжирные деревья, оберегаемые человеком от зноя и ветра. Сюда геологи не привели строителей. Здешние недра оказались лишенными подземных сокровищ, такими же «пустыми», как и раскаленные полуденным солнцем каменистые склоны Карадага.

Заметим, однако, что в своих поисках разведчики еще не пробились к таким горизонтам, какие сегодня становятся доступными буровым мастерам. Как знать, возможно, и под этой безрадостной равниной отыщется клад...

Для того чтобы увидеть находки стойчивых людей, проникших неподалеку отсюда в неизведанные глубины земли, давайте свернем с накатанного асфальта к берегу, к вышке, что стоит у самой воды.

Обратите внимание прежде всего на этот хорошо знакомый силуэт, известный каждому, кто побывал на нефтяном промысле или видел его хотя бы на фотографии. С первого взгляда и к тому же на расстоянии пяти километров не обнаружишь, что отличает эту ажурную башню от таких же сооружений в любом месте, где добывают нефть. Машина приближается к морю, и вот уже нетрудно заметить, что вышка, поднятая над берегом, словно маяк, гораздо выше, чем соседки, скромно расположившиеся чуть подалее от моря. А у них высота тоже немалая. Сорок один метр! Она обогнала их на одиннадцать метров. Вровень с ней мог бы занять место лишь двенадцатиэтажный дом. Соответственно столь внушительной высоте она укреплена прочнее. Это ее отличает заметно еще издали: железные переплеты образуют более густую сетку, чем у других вышек. С этой особо прочной площадки для бурения скважин разведчики прорвались через все преграды к земным пластам на глубину почти четырех километров.

История этого «прорыва» и значение открытия, которое свершилось на пустынном берегу Каспия, к западу от Баку, достойны того, чтобы о них рассказать подробнее.

Нефтяные залежи Азербайджана являются в подлинном смысле этого слова уникальными и по качеству нефти и по своим размерам. Академик И. М. Губкин писал: «Сколько ни искали люди нефть на земном шаре и

как ни высоко было их техническое вооружение при этих поисках, нигде не были найдены месторождения, которые оказались бы равными месторождениям Апшеронского полуострова как по мощности нефтеносных свит, или по числу последовательно залегающих один над другим нефтеносных горизонтов, или по запасам нефти на единицу поверхности».

С той поры, когда были написаны эти строки, минуло более трех десятилетий, открыто множество новых нефтяных месторождений, но слава бакинских промыслов не померкла. Однако запасы верхних горизонтов, разумеется, исчерпались, миллионы тонн замечательной нефти уже извлечены с глубин от одной до трех тысяч метров.

Нужно было спуститься ниже, заглянуть туда, где, возможно, лежат такие же, если не гораздо большие, сокровища, удлинить дорогу в глубь земных недр.

Не один мастер поднимался на вышку, чтобы испытать свои силы в сверхглубоком бурении. Были среди них и умудренные опытом, смелые, попадались и не очень расторопные, но и те и другие обладали одинаковым оружием в борьбе за большие глубины, и это техническое снаряжение оказалось еще недостаточно мощным для четырех- или пятикилометровой скважины.

Летчики одолели «звуковой барьер», превысив скорость звука с помощью особо прочных металлов и более мощных двигателей. Буровому мастеру нужно было вооружиться особо крепким, очень надежным инструментом, чтобы перешагнуть через так называемый «глубинный барьер» и вскрыть пласты, которые еще недавно были недосыгаемы.

А большие глубины все настойчивее звали разведчиков. С каждым годом геологи убеждались, что далеко запрятанные пласты хранят в себе огромные богатства. То в одном, то в другом месте разведка добывала все новые сведения о сверхглубоких горизонтах, насыщенных нефтью.

Можно было поспорить, в этом или соседнем районе выгоднее пойти вглубь, но никто не сомневался, что под многоэтажными залежами Апшерона дожидается человека еще один клад. И как же хотелось поскорее добыть его!

Вот здесь, на морском берегу, решили пройти к заветным глубинам. Буровая бригада должна была просверлить четырехкилометровую толщу горных пород. Четыре километра твердых, как кремь, и рыхлых, обваливающихся пластов, предательских водоносных горизонтов и спрессованных чудовищным давлением глин, застывшей вулканической лавы и песчаных прослоек — все это предстояло прорезать сверху донизу, чтобы дойти до цели.

По мере того как углублялась скважина, люди на вышке испытывали все большие трудности. На каждом шагу подстерегали их опасности. Прорывалась к узкому стволу вода, и нужно было спастись от аварии. Обваливались рыхлые пласты, сжимая бурильную колонку.

Скважина удлинялась, и нужно было повышать без того уже очень большую нагрузку на оборудование. С тревогой поглядывал мастер на подъемные механизмы: выдержат они невероятную тяжесть стальных труб, опущенных в землю?

Желтый поток глинистого раствора, промывая скважину, возвращался наверх таким горячим, будто его выбросило из кратера действующего вулкана. Казалось, потревоженные человеком недра упорно сопротивляются его воле.

Наступление шло с переменным успехом. Случалось, сотню-другую метров бригада проходила в считанные дни. А бывало, на долгие месяцы смолкали моторы, неподвижно стояли на деревянном помосте сотни бурильных труб. Приходили особо опытные мастера, колдовали над скважиной, в которой обвалился ствол.

Иногда эти изобретательнейшие люди ухитрялись каким-то образом подцепить, выдернуть застрявший при обвале кусок трубы, и можно было двинуться дальше. Но бывало, не выручали даже самые талантливые врачеватели скважин, и не оставалось ничего иного, как «зарезаться новым стволом». В переводе с языка нефтяной технологии это означает отступление на заранее подготовленные позиции...

Если невозможно расчистить путь, прегражденный застрявшим долотом и трубами, волей-неволей приходится отступить и заново прокладывать дорогу через те же преграды, какие были взломаны до аварии. Новый ствол скважины уклоняется в сторону от места, где произошел обвал. Завоеванные метры отданы противнику. Бригада совершает обходный маневр, продолжая штурмовать подземные укрепления.

Пять стволов прокладывали с прибрежной вышки. Страницы вахтенного журнала заполнялись горестными строчками о потерянных инструментах, трубах и катастрофических обвалах. Эти краткие, как боевое донесение, вахтенные записи день за днем запечатлели все пятилетие, отданное борьбе за большие глубины.

Да, почти пять долгих лет бурили скважину в Карадагской долине, на берегу Каспия. За это время выросли на старых и новых промыслах десятки вышек. А здесь под мерный рокот прибоя сменялись вахты, погружалась все ниже сталь, высверливая в земле метр за метром сверхглубокую скважину.

Вот уже двести метров до цели... Полтора ста... Сто двадцать... Сто... В потоке глинистого раствора давно появилась коричневая пленка. Долото, вероятно, сверлило пласты, насыщенные нефтью. Еще немного, и можно будет вписать в вахтенный журнал цифру: 4000 метров.

Все механизмы работали с предельной нагрузкой. «Держимся на волоске», — говорил мастер, видя, как возрастает тяжесть бурильной колонны. Случись теперь авария — кто знает, быть может, иссякло бы терпение людей, провозившихся пять лет с одной скважиной.

Геологи приказали: «Остановитесь. Дальше идти слишком рискованно...»

«Глубинный барьер» остался позади. Главная задача — вскрыть нижние горизонты — решена, и не так уж важно, удастся ли пройти еще пятьдесят или сто метров.

В ночь под Новый год закончилась подготовка к освоению скважины. Одели ее в сталь, опустили до забоя прочные трубы, проббили внизу отверстие, через которое должна была ударить фонтаном нефть...

На вышке стало тихо. Все моторы выключили, как это полагается в долгожданный час, когда вот-вот «заговорит» новая скважина. Погасли лампы — пожарники во все глаза следили, чтобы вблизи нефтяного фонтана не оказались провода под электрическим током...

Послышалась команда: «Открыть задвижку!» — и тотчас раздался оглушительный грохот. Шестьсот атмосфер давления земных напластований пришли в действие и вышвырнули четырехкилометровый столб глинистого раствора. Грохот и скрежет возрастали, нельзя было разобрать, что крикнул мастер, сбегая с дощатого помоста, но и без того каждый понимал: вырвался газ.

Шло время. Часы Спасской башни отсчитывали последние минуты тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Радио донесло до самых дальних уголков приветственные слова, обращенные из Кремля к советскому народу.

Люди на берегу Каспия не могли услышать новогоднее напутствие, но каждый из них в эту памятную ночь испытал отрадное чувство исполненного долга. Завершилась трудная разведка, потребовавшая предельного напряжения сил, талантов и воли искателей нефти. «Заговорила»

сверхглубокая скважина, и грохот ее фонтана, заглушая морской прибой, звучал, как стопушечный залп в честь завоеванной победы.

Стрелки часов сошлись на двенадцати, отправился в путь Новый год, а газовый фонтан бушевал с прежней силой.

Нефти не было. Вместо нее хлынула какая-то совершенно прозрачная жидкость. Кто-то зачерпнул немного в жестянку, отошел на приличное расстояние и поднес к ней зажженную спичку. Вспыхнуло и затрепетало на ветру чистое голубоватое пламя. Так горит бензин, выделенный из нефти. Казалось, под вышкой, в недрах земли, действует созданный самой природой перегонный завод. То, что происходит с нефтью в его раскаленных батареях, совершалось без участия человека под землей, в мире гигантских давлений и высоких температур.

За сутки скважина на морском берегу дала четыреста тысяч кубометров газа и шестьдесят тонн этой «белой» нефти! На берегу моря открыли богатейшее газоконденсатное месторождение под разработанными за много лет нефтеносными пластами Карадага.

Разведчики нашли поистине драгоценный клад. Одну за другой пробурили сверхглубокие скважины на большой площади, и всюду захотали газовые фонтаны.

Нелегко было совладать с ними. Газ стремился вырваться на свободу. Однажды недалеко от вышки, где стояли на вахте люди, началось извержение: газ пробился через стенки скважины. В любую секунду мог вспыхнуть пожар. С трудом удалось заглушить фонтан глинистым раствором, отрезать ему все пути на поверхность земли. Скважину довели до намеченного горизонта, сковали стальными трубами и направили газ вместе с конденсатом в резервуары.

В Карадаге бурили все новые скважины, исследовали найденный глубоко в земле клад, а в Баку уже готовились «начать новую жизнь». Да, именно так оценивали бакинцы то, что принесло им открытие разведчиков Карадага.

В десяти минутах езды от Приморского бульвара, от центра Баку, день и ночь дымили трубы нефтеперегонных заводов. Там жгли мазут, чтобы получить из нефти все, что она может дать нашей промышленности. Черный город и его сосед, Белый город, с одинаковым усердием загрязняли атмосферу. Сгорали нефтяные продукты, нужные химическому производству. Мазут — сырье для получения самых разнообразных вещей, от капрона до пластмасс, — использовался как топливо.

Подлетая к Баку, всегда можно было издали увидеть повисшее над городом грязно-серое облако. Если дул норд, черные космы тянулись в сторону моря, и бакинцы были довольны: северный ветер уносит все, что выбрасывают трубы нефтеперегонных заводов. А задует моряна, и мазутный дым обволакивает Баку.

«Новая жизнь» бакинской промышленности началась в тот день, когда сомкнули магистраль газопровода с заводскими топками и помчался сюда из Карадага глубинный газ. Над Черным городом и перегонными башнями Белого города, над улицами и бульварами засияло чистое небо.

С какой бы стороны света ни подули сейчас ветры, они не швыряют на город черный дым. На заводах исчезли вечно загрязненные мазутные «дворы». В порту уже не толпятся баржи с мазутом. Миллионы тонн ценного сырья получают химические заводы, где его используют куда разумнее, чем в топках электростанций и перегонных установок.

Задолго до того, как очистилось небо над Баку, получил газ ближайший сосед карадагских промыслов — большой цементный завод.

— Непременно побывайте там, — посоветовал мне управляющий трестом «Карадагнефть» Мирза Бабаевич Бабаев. — Мы дали газ соседу из первых скважин. Посмотрите, что у них произошло...

Я узнал, что случилось на цементном заводе, увидев маленькую, в четвертушку листа, ведомость себестоимости тонны цемента. В 1954 году она обошлась заводу без малого в сто тридцать четыре рубля.

— Это цифра,— сказал заместитель директора,— последнего мазутного года...

Переход на газ удешевил сразу же тонну цемента почти на пятнадцать рублей. В следующем году она стала дешевле еще на тринадцать рублей. А теперь каждая тонна на тридцать восемь рублей дешевле, чем в «мазутный год»! Такой удивительный результат получен не только потому, что газ — самое дешевое топливо. Весь облик завода стал иным. Невиданная чистота пришла на его территорию. Повысилась культура производства, снизился брак, отпала нужда перекачивать топливо из железнодорожных цистерн, не тратят больше пара, чтобы зимой подогревать застывший мазут. Все это вместе позволило выпускать более дешевый, доброкачественный цемент.

— Мы отнимали у транспорта для перевозки мазута ежегодно двадцать тысяч цистерн! Теперь они освобождены для других грузов. Значит, и железные дороги выиграли на переходе завода от мазута к газу...

Не знаю в точности, какой выигрыш получили железные дороги, но зато строители уже почувствовали, что за перемены произошли на заводе. Это ведь не шутка — платить меньше за каждую тонну цемента на тридцать восемь рублей.

Эти цифры запомнились мне с такой же впечатляющей силой, как и гордо поднявшаяся над берегом Каспия вышка — открывательница Карадага.

Скоро появится еще один крупный потребитель продукции карадагских промыслов — Сумгаит. Здесь сооружается вторая очередь завода синтетического каучука. Первую очередь построили, еще не зная, какое богатейшее сырье хранится для него под сопками Карадага. В цехах этого завода каучук получают из попутного газа нефтеперегонных установок. Для того чтобы попутный газ превратился в каучук, необходимо подвергнуть его сложной обработке, которая завершается получением спирта. Прозрачная жидкость, приобретая молочно-белый оттенок, течет по трубам к ленторазливочной машине и через считанные минуты становится каучуком. Волшебница химия наглядно демонстрирует свою магическую власть над веществом, заставляя молекулы газа превратиться в эластичную каучуковую ленту.

В карадагском газе содержится бутан — наилучшее сырье для синтетического каучука. Поэтому новый завод в Сумгаите возьмет газ не из Черного города, а из скважин Карадага.

Хорошо, что разведчики обладают завидным упорством и не останавливаются на полпути к цели. Пять лет возились они с прибрежной вышкой, отступая и снова пробиваясь к заветным горизонтам. Могло ведь случиться совсем не так, и огромные залежи газа были бы открыты на много лет позже. И над крышами Баку сегодня все еще клубился бы дым, и не пылали голубоватым пламенем конфорки кухонных плит в азербайджанских селах, и не тянули магистральный газопровод от уснувших вулканов Карадага через Кавказский хребет и вдоль Куры в Армению и Грузию...

— В Тбилиси уже ставят на кухнях плиты,— говорил мне Бабаев.— Не хотят и дня потерять, когда придет к ним наш газ...

От Кировабада двинулись по равнинам и горным тропам строители газопровода, и уже есть у него имя «Магистраль дружбы», потому что стальной путь для карадагского газа действительно как бы скрепляет содружество наций нашей страны. Азербайджанские разведчики открыли богатства в недрах земли не только для своей республики. Единство многонационального народа Советского Союза находит свое воплоще-

ние и в этом частном эпизоде содружества, возможного только в стране, идушей к коммунизму.

Однажды утром, войдя в кабинет Бабаева, застал я раннего посетителя. Разговор шел о бурении сверхглубоких скважин, о своеобразных, еще малоизученных свойствах конденсата, о том, как совладали с огромными силами подземных пластов.

Посетитель, немолодой уже человек, с проседью на висках, слушал, стараясь, видимо, не упустить ни одного слова. Это был посланец нефтяников Дагестана. Ему поручили досконально выяснить, как азербайджанцы взломали «глубинный барьер» и открыли газовые месторождения. Бабаев посвятил его во все тонкости новой технологии бурения и эксплуатации газовых скважин и вручил гостю только что вышедшую из печати книгу о Карадаге.

— Сначала мы, признаться, наделали уйму ошибок. И меня и других инженеров Карадага учили искать и добывать нефть. Теперь на ходу становимся, можно сказать, культурными газовиками.

Бабаев пожелал гостю на прощание такой же удачи, какая вознаградила за все испытания искателей сокровищ Карадага в новогоднюю ночь на штормовом берегу Каспия...

Побывали в Карадаге и делегации из Бухары и Шебелинки, из Уфы и Красnodара. Они поднимались на вышки, колесили по раскаленной, безводной равнине, охваченной широким наступлением на недра.

Люди, первыми проложившие путь к сверхглубоким горизонтам, помогают теперь сбереечь силы, время, средства там, где тоже не сегодня-завтра выйдут в трудный поход и, наверное, отыщут большие богатства. Неизмерима ценность вклада в развитие экономики и культуры, который вносят эти щедрые обмены достижениями, находками, великими и малыми открытиями!

Помню, с каким удивлением слушали молодые нефтяники во Дворце культуры имени Шаумяна старейшего мастера Ага Нейматуллу. Совершенно неправдоподобным казалось им все, о чем вспоминал человек, отработавший полвека на вышках Баку. Он говорил о том, как владельцы нефтяных залежей тайком, обманывая друг друга, вели разведку и жестоко наказывали каждого, кто осмелился выдать их секреты. И в Карадаге они таким же образом, по-волчьи, охотились за нефтью, вырывая друг у друга жирные куски. Комсомольцы бакинских промыслов вежливо слушали старого мастера, но видно было, что рассказ о недавнем прошлом воспринимается так, словно он говорил о борьбе за существование людей каменного века...

На горных склонах Кавказского хребта укладывают «Магистраль дружбы», а здесь, в Карадаге, продолжают поиски, геологи и буровые мастера неустанно ведут разведку. Нужно подготовить надолго запасы газа для трех республик. Это очень ответственное дело, и разведчики понимают, что первые радостные вести об открытии карадагского клада необходимо подтвердить все новыми и новыми точными сведениями о размерах находки.

Геологи и буровые бригады исследуют горизонты, где уже найден газ, и пытаются проникнуть дальше за четырехкилометровый рубеж. Запасы газа в освоенных глубинах велики, они исчисляются многими миллиардами кубометров. Геологи проследили за северными и южными крыльями этого месторождения и убедились, что не только на суше, но и под волнами Каспия простираются огромные хранилища газа и «белой нефти». Разведчики уже оторвались от берега и сверлят морское дно. Свайные островки выросли над водой, оттуда доносится в тихую погоду гул моторов.

На помощь разведчикам прибыли в Карадаг земснаряды. Решено прокладывать к прибрежным месторождениям газа сухопутную дорогу. От берега к вышке, где бурят морское дно, едешь в автомобиле. Длинная дамба соединила вышку с Карадагским шоссе. Здесь отвоевали у моря небольшой плацдарм, откуда можно двинуться вперед, добавить к изведанным новые газоносные пласты.

Сухопутных позиций для морского бурения еще не много, но работы земснаряды день и ночь намыывают новые дамбы. А вдаль маячат вышки разведчиков. Добраться к ним в штормовой час — дело нелегкое. Если и там будет найден газ, бакинцы используют опыт строительства стальных эстакад и свяжутся с дальними вышками надводной магистралью.

На суше и в море нужно основательно «прощупать» земные напластования поглубже четырех километров. Без всяких преувеличений можно сказать, что завоевание больших глубин — самая важная проблема и в жизни нефтяных районов.

В поисках новых сокровищ

Сто десять лет назад в Баку пробурили первую нефтяную скважину на сорок пять метров. Девственные пласты лежали буквально под ногами. Тысячи пудов нефти вычерпывали ведрами и бурдюками из колодцев. А когда чуть углубились в недра, то даже из сорокаметровых скважин ударили фонтаны.

Как и следовало ожидать, верхние «этажи» со временем опустели, и пришлось спуститься за нефтью глубже. Но еще долго бакинские «короли» богатели за счет месторождений, которые лежали сравнительно недалеко — в трехстах или пятистах метрах от поверхности земли.

Несмотря на безграмотную, хищническую разработку сокровищ Апшерона в прошлом, Баку долгое время никому не уступал первого места. Уже вошел в пору расцвета Грозный, прогремела Эмба, забили фонтаны Майкопа, а Баку все еще был лидером нефтяных районов нашей страны.

Мы уже напомнили выше, как оценивал богатства Апшерона академик Губкин. Ему же принадлежит и такие, тоже справедливые слова: «Своеобразная диалектика нефтеразведочного дела заключается в том, что богатство старых районов необходимо влечет за собой бедность новыми месторождениями, поскольку оно притупляет волю и ослабляет стимул к поискам, между тем как бедность районов в определенных условиях влечет за собой интенсивные поиски и нахождение крупных новых ресурсов».

Похоже было, что богатства Баку на самом деле притупили волю к настойчивым, упорным поискам. Слишком уверенно чувствовали себя бакинцы там, где недра оказались сказочно богатыми. Искать нефть куда хлопотнее, чем получать ее из хорошо изведанных, мощных горизонтов. Спокойная жизнь, как известно, не располагает к утомительным, рискованным экспериментам. Правда, ни от кого не могло укрыться, что старые пласты постепенно истощаются. С этим примирились: не вечно же бить фонтанам даже на таких богатейших площадях.

А в «бедных» районах геологи энергично вели разведку. И что же? Именно там, где было очень мало нефти, на великой русской равнине, на берегах Волги, в Татарии и Башкирии, настойчивость и воля разведчиков увенчались блестящим успехом. Восточные районы быстро пошли в гору, и Баку уступил им первое место.

Могут сказать: ну, что ж, вполне закономерный процесс. Старость неизбежно отдает пальму первенства молодости. Но выяснилось, что эта древняя истина неприменима к таким уникальным районам, как Баку. И вот тому доказательства...

Рядом с прославленными старейшими промыслами недавно пробурили сверхглубокую скважину. Хотели дойти до пяти тысяч двухсот метров. Пришлось остановиться на 4812-м метре, но и эта глубина достигнута впервые на Европейском континенте. Бригаду мастера Григория Тихоновича Булавина вооружили лучше, чем тех, кто пробивался к залежам газа в Карадаге. Появились более мощные бурильные установки и насосы. Два спаренных турбобура помогли прорваться через самые трудные преграды, а трубы повышенной прочности выдержали двухсоттонный груз буровой колонны.

Не много оставалось до намеченной глубины. Дошли бы и до нее, если бы металлурги дали больше прочных труб. Все-таки удалось пройти почти на целый километр дальше, чем в Карадаге. Потратили на это не пять лет, а полтора года. Управились бы, говорит Булавин, гораздо быстрее, за пять-шесть месяцев. Только бы получше снаряжали разведчиков больших глубин...

В поселке Зыря они проникли далеко за пределы «продуктивной толщи», которая сто двадцать лет поила нефтью нашу промышленность. Знаменитые сураханские, балахнинские и многие другие горизонты остались позади. И под старыми пластами, где поработали три поколения бакинских нефтяников, открылся «погребенный Апшерон».

Так сейчас называют залежи, найденные на больших глубинах и, вероятно, столь же богатые, как знаменитая «продуктивная толща», — в ней два с половиной километра нефтеносных пластов.

Вслед за первым фонтаном в Зыре хлынула отличная нефть из других сверхглубоких скважин. По-видимому, геологи не ошиблись, называя новые хранилища нефти «погребенным Апшероном», и Азербайджан еще потягается с молодыми, полными сил нефтяными промыслами Востока...

Можно убедиться в этом, побывав у разведчиков Прикуринской низменности. К юго-западу от Баку простирается на сотни километров равнина, где только тихая вода каналов позволяет вырастить хлопок, напоить буйволов и овец.

Совершенно отчетливо, как на рельефной карте, видны все пути жизни, которые приходят сюда с водой. На желтых сухих комьях земли внезапно появляется зеленая бахрома магистрального канала. Искусственная река течет в том направлении, какое избрал для нее человек, она устремляется куда-то вдаль, не растрчивая на ходу свои богатства. Здесь не вспахали еще землю, не положили в борозду семена. Вода убегает отсюда, оставляя вокруг в первозданном облике сотни гектаров, опустошенных зноем и ветром.

И совсем как в пустыне, возникает вдали мираж: синий лесок по краям большого продолговатого озера. Машина приближается к оазису, какое-то время он стоит перед глазами, потом мгновенно исчезает, растворяется в нагретом воздухе, и видишь вот здесь, где только что заманчиво блеснула вода, выжженную землю.

Проходит несколько минут, и вокруг дороги зеленеют убранные хлопковые поля. На прочных стеблях, еще одетых в листву, запоздало светятся белые огоньки раскрывшихся после уборки «коробочек». Будто занесло сюда из северных краев хлопья снега, и они чудесным образом уцелели, не растаяли под лучами жаркого солнца азербайджанской осени. Завтра возвратятся сборщицы хлопка и снимут с каждого стебля пухлый комочек, хранящий несколько твердых маслянистых семян.

Кончились возделанные поля, исчезли ответвления магистрального канала, и опять на десятки километров стелется однотонная, безжизненная равнина.

Так выглядит Ширванская степь, кое-где покоренная земледельцем, а в иных местах еще не получившая ни глотка воды. В давние времена

пролегал здесь караванный путь, и по этим же протоптанным верблюдами каменистым тропам двинулись охотники за нефтью. Что привлекло их? Такие же, как и в Карадаге, голые склоны грязевых вулканов. Они пересекают степь длинной холмистой грядой.

Ничем тогда не порадовала разведчиков Ширванская степь.

Первые отряды разведчиков не могли проникнуть к нефтеносным пластам. Только в недавние годы, вооружась всем, что необходимо для движения к дальним горизонтам, бакинцы открыли здесь крупные нефтяные месторождения.

В семилетке развития народного хозяйства СССР предусмотрено увеличить добычу нефти в Азербайджане к 1965 году на 33 процента и получить газа в 2,6 раза больше, чем в 1958 году. Такой подъем нефтегазовой промышленности республики стал возможным главным образом благодаря завоеванию больших глубин.

Открытия, прославившие недавно Ширванскую степь и соседние районы Прикуринской низменности, принадлежат тем, кто двинулся смело, со всей решимостью к «погребенному Апшерону». И только на этом трудном пути к сверхглубоким пластам ожидают разведчиков еще новые и новые удачи.

Небольшое селение Али-Байрамлы, окруженное хлопковыми полями, становится центром нового индустриального района Азербайджана. Отрадно видеть, как прорисовываются очертания будущего в этом давно обжитом уголке Ширванской степи. За несколько километров от селения вас встречают вышки. Их немного, они все наперечет. Одна забралась на самую вершину сопки и стоит в полном одиночестве. Вероятно, разведчики не нашли там нефти. А может быть, не подтянулись еще тылы к переднему краю, не проложили дороги, не подвели воду — ох, как она здесь всем нужна! — и приходится временно держать хорошую скважину в резерве.

Да, так, по-видимому, и случилось. В полукилометре от этой передовой вышки поднялись другие и выстраиваются в два ряда.

Это уже не разведка. Так располагаются — на равном расстоянии друг от друга, словно бойцы в шеренге, — только вышки, поставленные для разработки изведенного нефтяного месторождения. Геологи прикинули, сколько нужно пробурить скважин, чтобы одна другой не мешала, чтобы из каждой ровным потоком, подгоняемая газом, шла нефть. Известно, как размещены нефтеносные пласты, и можно приняться за эксплуатацию нового месторождения.

Здесь уже берут полной пригоршней все, что в нем хранится, — и первосортную нефть, и газ, и тот самый конденсат, с которым совладали в Карадаге. Шоссе, ведущее в Али-Байрамлы, становится все более оживленным. Еще полчаса назад мы изредка обгоняли колхозных шоферов, везущих на приемный пункт пухлые мешки с хлопком. Теперь навстречу мчатся автокраны и семитонки с прицепом, громыхают тракторные тягачи, неохотно уступая дорогу нашей «легковушке».

От центральной магистрали в разные стороны ответвляются промышленные дороги, словно каналы, по которым идет жизнь в завоеванные уголки Ширванской степи. Лежат на земле, поблескивая свежей защитной краской, черные трубы нефтепроводов, а рядом с ними орудуют канавокопатели, и длинные траншеи пересекают во всех направлениях степь, невольно заставляя сравнить ее с полем битвы, изрезанным окопами.

Ничто так не радует в этом вчера еще тихом районе, удаленном от промышленных центров республики, как стены новых домов — они сверкают свежей белизной. Еще не укрыли их от солнца виноградная лоза и ветви инжира, но кое-где потянулись вдоль новых стен молодые побеги каких-то очень выносливых растений.

В этих домах поселяются те, кто первым пришел в Ширванскую степь, чтобы добыть ускользавшие из рук богатства ее недр. Минуло время, когда в здешних краях трудились только буровые бригады и строители. Разведка подготовила территорию для промысла, в новых домах получают квартиры операторы и мастера нефтедобычи, трактористы и механики, ремонтные бригады и сотрудники промысловых контор. Рядом с ними живут и разведчики — у них еще много дела.

Открытие крупного месторождения нефти никогда не освобождает от необходимости продолжать по соседству поиски новых и новых залежей. Пусть сегодня еще не удалось «нащупать» рядом с мощными пластами такие же хранилища нефти. Пусть затрачены уже немалые средства на бурение разведочных скважин. Нужно продолжать разведку, чего бы это ни стоило. Памятуя мудрое напутствие Губкина, бакинцы расширяют фронт глубокого разведочного бурения. «Мы должны перестать смотреть на бурение безрезультатных скважин, как на потери, — писал он. — Нынешний уровень развития геологической науки таков, что только бурение может в конечном счете выяснить, есть ли в недрах нефти в промышленных количествах». И тут же напомнил, что один нефтяной фонтан с лихвой окупает расходы на «пустые» скважины. Поэтому нельзя никогда сворачивать фронт наступления на недра.

Все, что видишь сейчас и в Ширванской степи и в других районах республики, вселяет твердую веру в будущее нефтяной промышленности Азербайджана. После долгих лет, не отмеченных богатыми находками, настало время, когда новые промыслы то и дело опережают «стариков» в сводке добычи нефти. Да и старые зажили иной жизнью, когда были найдены под их оскудевшими пластами свежие запасы.

Настала вторая молодость Баку, и каждый фонтан Карадага и Прикуринской низменности, острова Песчаного и юго-западного побережья Каспия придает все больше сил старейшему нефтяному району нашей страны.

Вчера сверхглубокие скважины доставались ценой огромных затрат времени и средств, прокладывали их, как говорится, со скрипом, не вылезая из аварий. Не хватало ни опыта, ни снаряжения. Что касается снаряжения, то и сегодня не все обстоит так, как можно бы пожелать. Металлурги еще в долгу перед нефтяниками: мало дают они труб, пригодных для сверхглубокого бурения. Не хватает и крепких долот. Пора бы уже машиностроителям приготовить для буровых мастеров более выносливый инструмент.

Сверхглубокой скважине необходимо очень крепкое долото. Одно дело сменить его на глубине полутора-двух километров, и совсем иное — поднять и опустить четыре-пять тысяч метров бурильных труб, чтобы убрать инструмент, который становится негодным иной раз через каждые десять метров! Смена долота сплошь и рядом отнимает в несколько раз больше времени, чем бурение скважины. И чем глубже ствол, тем больше таких непроизводительных затрат!

Бакинцы увереннее ведут теперь проходку сверхглубоких скважин, научились оберегать их от аварий, ускорили самый процесс бурения. В этом новом деле они занимают передовые позиции и, несомненно, закрепятся на них должным образом. Баку становится школой сверхглубокого бурения. Не так уж далек тот час, когда и в Башкирии, и в Татарии, и на других богатых площадях придется спуститься к дальним горизонтам. Запасы «верхних этажей» и там неизбежно исчерпаются. Нужно готовиться к штурму сверхглубоких пластов.

В молодом нефтепромысловом управлении «Ширваннефть» я встретил гостей из Тбилиси. Не богата нефтяными залежами Грузия, здесь совсем недавно начали по-настоящему вести разведку. Однако грузин-

ские нефтяники твердо верят, что и возле Тбилиси найдут большую нефть.

Вместе с ними отправились мы к берегу Куры, где мастер Нурахмет Султанов заканчивает бурение новой скважины. Его вышка стоит в километре от Али-Байрамлы. Старый проселок, по которому спускались к речному парому крестьянские телеги, запряженные буйволами, перепахан бульдозерами и грейдерами. Рядом вырастает новое шоссе. Десятки самосвалов толпятся на берегу, где уже обозначились контуры высокой дамбы. Отсюда перебросят мост через Куру. Грохочут экскаваторы, дым встает над котловиной, где нагружаются песком автомашины.

— Пришли нефтяники,— говорит инженер из Тбилиси,— никому теперь не будет покоя.

— Есть о чем жалеть! — отозвался главный геолог «Ширваннефти» Борис Антонович Шапиро.— Я бы сказал иначе: пришли нефтяники, и все зажили по-новому. Смотрите, что здесь сделано за короткий срок. Одно слово, нефть...

Машина остановилась возле вышки, и гости воспользовались случаем посмотреть, как богатые соседи пробиваются к далеким горизонтам.

Мастер Султанов, худощавый молодой человек, видимо польщенный вниманием, оказанным ему приезжими, повел нас к устью скважины. Поднимаясь на вышку, мы увидели широкое, окаймленное сочной зеленью, полноводное русло Куры. Река умерила бег, вырвавшись из теснин Кавказского хребта в степь, но черное, обгоревшее бревно, брошенное кем-то в мутную, желтоватую воду, промчалось вдоль плоского берега еще с такой быстротой, словно увлек его на буксире невидимый глиссер. Гости залюбовались Курой.

— У нас ей негде развернуться... А здесь очень просторно.

— Зато в ущельях Грузии легче обуздать Куру, заставить как следует поработать,— сказал главный геолог «Ширваннефти» и обратился к мастеру: — Покажите соседям свою буровую.

То, что стал показывать Султанов, мало чем отличалось от обычного бурильного оснащения, и не эти механизмы, прочные трубы, стальные канаты, насосы, моторы заинтересовали приезжих. Они хотели узнать, как люди научились здесь использовать всю мощь оборудования для покорения больших глубин. Не скажет ли Нурахмет Султанов, что ему представляется самым важным в этом деле?

— Раствор,— коротко ответил мастер.

Расшифровать этот ответ можно примерно так. Самым важным в бурении очень глубоких скважин является густая, как сметана, вязкая, темно-желтая жидкость — в ней растворена глина. Этот тяжелый раствор наполняет снизу доверху скважину. Сильные насосы гонят его вниз, проталкивая через лопатки турбобура, который приводится в движение глинистым раствором, подобно тому, как воды быстрой Куры заставляют вращаться турбину гидростанции.

Раствор, которому придал столь важное значение мастер Султанов, выполняет еще одну, тоже ответственную роль: он штукатурит рыхлые стенки скважины, не дает им обваливаться. По мере того как углубляется ствол, долото высверливает отверстие в нижних газоносных пластах. Нефть и газ устремляются в это отверстие, угрожая вырваться на волю и разрушить вышку, ее механизмы. Пятьсот или шестьсот атмосфер давления — таким грозным бывает напор глубоко запрятанных пластов.

Когда завершится бурение и установят прочную арматуру над скважиной, всю эту могучую подземную энергию разумно используют для планомерной добычи нефти и газа. А сейчас ведь внизу вращается турбобур, и над ним еще трехкилометровая колонна бурильных труб! Если не обуздаешь эти пятьсот — шестьсот атмосфер давления, они в одно

мгновение отбросят тебя назад, и тогда снова прокладывая дорогу. А ведь так уже близка была желанная цель!

Есть единственное средство, чтобы совладать с напором газа в глубокой скважине: глинистый раствор. Тот же раствор, что привел в действие подземную турбину, закрепляет стенки скважины. Своим весом столб этой «сметаны» давит на забой, сдерживая напор газа. Вахта на вышке глаз не спускает с раствора. Ежечасно берут пробу из потока, который возвращается вверх, пройдя через лопатки турбобура. В скважину проникает грунтовая вода, разжижая глинистый раствор. Беда, если вахта не заметит вовремя, что ее верный союзник ослаб в борьбе за большие глубины. Не успеют бросить в скважину глину и «утяжелители», рекомендованные химиками, как забушует газовый фонтан, сокрушая все на своем пути.

Слушая Султанова — он очень толково рассказывал о работе бригады, — я поглядывал с некоторым удивлением на него. Он сказал, что самостоятельно ведет лишь вторую скважину. Звание мастера присвоили ему только в прошлом году. Долго ли стоял бурильщиком? Нет, всего полгода. Откуда же пришла к этому молодому мастеру — ему исполнилось недавно двадцать пять лет — такая уверенность в своих силах, умение бурить сложную скважину, оберегать ее от аварий, управлять техникой, сосредоточенной на вышке?

Тут кто-то из тбилисских гостей спросил, откуда он родом, из какой семьи, где учился. И мы узнали, что Нурахмет Султанов, сын колхозника из села Искарлаш, Сабирабадского района, в 1957 году окончил Азербайджанский индустриальный институт. С первого курса нефтепромыслового факультета систематически проходил практику на бакинских вышках. Сначала на посту бурового рабочего, потом на площадке, где орудует «верховой». И только по окончании высшего учебного заведения, с дипломом инженера в кармане, занял место помощника бурильщика, перед тем как получить звание мастера. Он, можно сказать, со ступеньки на ступеньку поднимался на вышку, приобретая и опыт, и навыки, и эту уверенность в своих силах, которая не часто приходит в таком возрасте.

Не берусь сказать, все ли молодые инженеры покидают Азербайджанский индустриальный институт с таким багажом, все ли имеют такой производственный опыт к моменту получения диплома. Но, как правило, из этой школы инженерных кадров выходят люди, для которых буровая вышка — хорошо знакомое место на промысле.

Среди мастеров Азербайджана все чаще встречаются дипломированные инженеры. Одни, как и Султанов, пришли на вышку из института, другие, постарше, отлучились на пять лет с промысла, чтобы получить диплом. А многие сочетали, хоть это и очень нелегко, вахту на вышке с учебой. Трудно было бы переоценить значение этого факта. Может быть, именно это превращение мастеров в инженеров помогло пройти через «глубинный барьер» и открыть за ним новые залежи нефти.

В поисках новых сокровищ разведчики, конечно, не остановятся на достигнутом. Пять километров уже пройдено. Вчера это казалось недоступным. Завтра, возможно, геологи получат образец породы, поднятый из шестикилометровой скважины.

Долго стояли мы на вышке инженера Султанова. Под нами, в трех с половиной километрах от деревянного помоста, сталь дробила толщу земной коры. Поток глинистого раствора, возвратясь оттуда, струился в узком желобе, и над ним, как над кипятком, поднимался пар.

Долото ушло уже так далеко, что не слышно было приглушенного рокота — обычно он проникает сюда, на вышку, через земные пласты. Только стрелки измерительных приборов напоминали, что сейчас приведена в действие могучая техника, созданная человеком для покорения стихийных сил природы.

Чудо на Каспии

Все дороги разведчиков недр Азербайджана ведут в море. Граница, отделившая сушу от воды, почти нигде не совпадает с контурами нефтеносных пластов. Найдя нефтяную залежь где-нибудь за десятки километров от берега, геологи обычно направляются к морю. И лишь в редком случае такой маршрут не приводит к новым открытиям.

Однажды небольшой отряд бакинцев высадился на пустынной каменистой гряде за сто километров от берега. В открытом море началась глубокая разведка. Первые две скважины подтвердили самые смелые ожидания геологов. Мощные нефтяные фонтаны ударили из недр Каспия.

Возле первых вышек затопили несколько старых, отслуживших свой срок пароходов. Привели их с «кладбища» бакинского порта и положили на подводные камни. Ржавые корпуса ветеранов Каспийского торгового флота возвышались над водой и прикрыли крохотную искусственную бухту от штормовых волн.

Строители и буровые бригады поселились в матросских кубриках и фанерных домиках, поставленных на палубе. Привезли из Баку свайные фундаменты для вышек. Возле каменистой гряды вырос самый дальний морской нефтепромысел.

Так возник остров Семи кораблей, о нем я рассказывал читателям «Нового мира» в марте 1951 года.

...Быстроходный теплоход «Академик Крылов» вышел из Баку по расписанию, в два часа дня, и перед самым закатом впереди показались неясные очертания вышек, как бы повисших в воздухе. Нельзя было издали разглядеть под ними в дымке тонкие сваи, невозможно было еще увидеть, какие перемены произошли здесь за девять лет — с того февральского утра, когда я первый раз ступил на палубу затопленного у каменистой гряды «Чванова».

Расстояние, отделявшее нас от острова Семи кораблей, уменьшалось, и постепенно все отчетливее, как на негативе, опущенном в проявитель, вырисовывался под косыми лучами солнца удивительнейший пейзаж. За одинокими, разбросанными по морю вышками протянулись длинные, разветвленные стальные мосты, по которым катились автомобили, шли люди. Вдоль этих эстакад выстроились десятки — нет, сотни вышек. Большие двухэтажные дома стояли на такой же приподнятой над водой свайной площадке. Видны были в бинокль фонари уличного освещения перед побеленными фасадами морского города и кумачовое полотнище лозунга над дверью одного дома. Еще минута, и можно было прочесть крупно выведенные слова: «Добро пожаловать!»

Мы видели эти приветливые слова, пробираясь между вышками к бухте — той самой, которую создали десять лет назад отважные разведчики Каспия.

Черный, сильно помятый борт «Ленкоранца» по-прежнему принимает первый удар волны у входа в гавань. Он сильно накренился, но еще стоит на своем посту. Рядом, прислонясь к разбитой корме соседа, держится в строю престарелый «Батуми», а за ним, на тех же местах, несут штормовую вахту «Совгрузия», «Яков Зевин», «Клара Цеткин», «Николай Зеленый»...

Я спустился по трапу на палубу «Чванова» — он поныне служит причалом для разгрузки кораблей, прибывающих с Большой земли, — и пошел по узкому мостику туда, где когда-то высадился «десант» разведчиков Каспия. Помнится, там, на выщербленной, немного выступающей из воды скале, они построили крохотный домик. Возле этого первого жилья выросла вышка. Я увидел ее издали, но, как ни старался, не мог разгля-

деть свайный домик. Его заслонило новое большое здание электростанции. Еще одна электростанция стояла на барже.

Несколько раз меня обгоняли грузовые автомобили, и каждый водитель, притормозив, поглядывал выжидательно на пешехода, приглашая в кузов. Видимо, заведен здесь хороший порядок — обязательно «подхватывать» всех попутчиков. Может, человек опоздал на вахтовую машину, а идти ему далече, эстакады растянулись над морем на десятки километров.

Мне захотелось пройти пешком от пристани до городка. Шагая по дощатому тротуару, проложенному вдоль прямого надводного шоссе, я все время видел перед собой высокую, крашенную охрой деревянную каланчу.

На круглой площадке, под самой крышей каланчи, то появлялась, то исчезала фигура человека, которому доверено оберегать городок от пожара. Оттуда он видит, наверное, не только все дома, но и дальние ответвления эстакады, где белеют цилиндры нефтяных резервуаров, и здание компрессорной станции, и гараж, и цистерны с пресной водой, и пекарню на одном из затопленных кораблей, и путника с фотоаппаратом, неторопливо идущего по свайному шоссе.

Я вошел в городок, сразу же испытал такое ощущение, будто внезапно вернулся из плавания на обжитой берег. Где же, как не там, на берегу, можно подняться по устланной ковром лестнице в комнату, обставленную так же, как это принято в хорошей гостинице. На столике — телефон. Поднимите трубку — и девушка соединит вас с Баку или Москвой. Вошла горничная. «Вы знаете, где столовая?» Показала в окно — вон за тем двухэтажным домом. Сейчас как раз время обеда...

По дороге в столовую я задержался у книжного киоска. На прилавке лежали газеты, приплывшие в трюме «Академика Крылова». Продащица собила: «Вчера получен пятый том Шолохова. Вы у меня подписались?» Перед киоском афиша: «Сегодня в кинотеатре демонстрируется фильм «Повесть о нефтяниках Каспия». Почему показывают старый фильм, вышедший на экраны пять лет назад? Заведующий клубом объяснил: «Многие не видели его. Ведь тогда здесь было человек пятьсот — шестьсот. А сейчас почти четыре тысячи...»

Вспомнились съемки этого фильма. Были уже и двухэтажные дома, и надводное шоссе, и даже маленький клуб, где собирались свободные от вахты нефтяники. Но кто бы подумал, что так быстро разрастется этот удивительный город?

На двери дома, построенного возле столовой, вывеска под стеклом: «Поселковый Совет». И рядом: «К сведению избирателей: депутат горсовета принимает от 7 до 9 вечера в библиотеке».

Просторный библиотечный зал — самое тихое место в этом городе. Двое посетителей сидят у столиков. Перед ними учебники, чертежи. Это студенты вечернего техникума. Полтора ста рабочих-нефтяников слушают после вахты лекции, готовятся стать механиками, мастерами нефтестроения. Эти двое только что сменились, пришли прямо с вышки, не успев переодеться: послезавтра сдавать зачеты.

Отчетливо слышен под крашеными досками пола плеск волны. До чего же странным кажется он в этой комнате, с ее книжными полками и студентами вечернего техникума!

За окном — морская синева. Небольшая площадка внизу, огражденная железными перильцами, повисла над водой. Чьи-то заботливые руки украсили и этот и другие, такие же деревянные, тротуары зеленью олеандров. Привезли их из Баку в кадках и поставили с подветренной стороны. Возле них всегда суетятся пернатые обитатели морского городка. Овсянки, мухоловки, дикие голуби и вездесущие воробьи совершили плавание на баржах и теплоходах по морской дороге, которую проложили

разведчики недр Каспия, и отлично чувствуют себя здесь, за сто километров от бакинских бульваров. Живется им сытно, редко кто забудет, выходя из столовой, прихватить с собой что-нибудь для своих любимцев. Нагрянет шторм, и они стучатся в окна, просят защиты. Не знаю, что заставляет их разделять с людьми все испытания штормовой вахты в открытом море...

Не изменился со дня высадки отважного «десанта» беспокойный нрав Каспия. Такие же свирепые норд-осты бушуют здесь в любое время года. Недели не проходит, чтобы не раздался тревожный сигнал с метеостанции: барометр падает... Четыре тысячи мужчин и женщин — строители и бурильщики, сварщики и мастера нефтедобычи, уборщицы общежитий и монтеры электростанции, геологи и сменные инженеры большого нефтепромысла, — подобно закаленному экипажу корабля, настигнутого штормом, готовы вступить в борьбу со стихией. Закрепляют на эстакаде, как на палубе, все, что может стать жертвой урагана. Люди на изолированных свайных островках, пополнив запас провизии и пресной воды, продолжают бурить разведочные скважины. Движение на морском шоссе не прекращается, в назначенный час сменяются вахты на вышках, в гараже, в столовой. Фонтанируют скважины. Если шторм затянется и танкеры не придут ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра за нефтью, ее пустят в запасные резервуары. Теперь здесь высятся над морем два вместительных «парка товарных резервуаров» — каждый может принять несколько тысяч тонн.

Не раз наносили чувствительный урон острову Семи кораблей яростные атаки морской стихии. Однажды опрокинуло две вышки, сорвало, искорежило большой кусок стальной магистрали. В ту ночь разразился шторм невиданной силы. Скорость ветра превысила сорок метров в секунду, волны с трехэтажный дом (тринадцать метров от основания до пенистого гребня!) обрушились на свайный город.

А за несколько лет до этого остров Семи кораблей пережил еще более тревожные дни: оторвались от северных берегов Каспия и двинулись к югу, в район Баку, огромные ледяные поля. Смертельная угроза нависла над городом каспийских нефтяников. По пути к нему лед сокрушил несколько прибрежных вышек, срезал, как ножом, и подмял под себя десятки метров стальных эстакад. То же самое произошло бы и здесь, в открытом море, если бы не удалось с помощью военных моряков, артиллеристов, летчиков раздробить ледяные поля до того, как они подошли к стальным магистралям, соединившим сотни вышек по обе стороны от каменистой гряды.

Многое роднит каспийских нефтяников с бывалыми моряками. Семнадцать дней в море на вахте, тринадцать дней отдыха на берегу, в семье. Так из месяца в месяц, вот уже который год, живет и трудится, добывая нефть, передовой отряд бакинцев, вышедших в дальнее плавание, на морские просторы. Будничным, привычным стало для них все, что заставляет восторгаться каждого, впервые увидевшего дорогу над волнами, поселок, выросший между небом и водой, цветники на тротуарах, под которыми проплывают катера.

Разведчики на суше неустанно ищут все новые и новые сокровища недр. Каспийские нефтяники тоже не довольствуются большим богатством, найденным в толще морского дна. Вокруг каменистой гряды — ее не видишь теперь за вышками — открыты замечательные нефтеносные пласты. И лежат они совсем не глубоко. Стоит просверлить скважину на семьсот — восемьсот метров — и получишь фонтан. Запасы нефти здесь очень велики. В нескольких милях от искусственной бухты найдены такие же мощные залежи. Разведчики пошли еще дальше, и убеждают, что все прежние открытия — это только первый шаг в освоении сокровищ Каспия вдали от берега.

Куда бы ни двинулись геологи — к северу или к югу, — недра Каспия оказываются насыщенными нефтью. На суше удалось нащупать «погребенный Апшерон». Здесь, в море, открывается перед разведчиками такой же, а возможно, еще более крупный «подводный Апшерон».

С волнением, которое нетрудно понять, показал мне управляющий трестом «Гюрджаннефть» Бахтиар Мамедович Мамедов геологическую карту.

— Видели вы где-нибудь такие структуры?

На карте — нефтеносные пласты, разведанные только вокруг острова Семи кораблей. И только на расстоянии нескольких миль, где глубина моря доступна сегодня строителям вышек и надводных дорог.

Да, такое сосредоточение нефтяных пластов в одном месте не часто увидишь на геологической карте.

— Каспий зовет нас сюда.

Бахтиар Мамедович прикрыл ладонью край бумажного листа, где еще не было ни одной геологической структуры. Здесь обозначили только глубину моря. Каспий позвал разведчиков туда, где стояли цифры: 25, 40, 50 метров.

Я вспомнил, с какими усилиями овладели каспийские нефтяники даже вдвое меньшими глубинами. Выйдя в открытое море, они повели за собой конструкторов, создавших подводные фундаменты для вышек. Стальные «табуретки» — свайные основания высотой до четырнадцати метров — ставили на дно, скрепляли трубчатые «ноги» с грунтом.

Искусственный островок возвышался на несколько метров над водой. Между площадкой, где сооружали вышку, и поверхностью моря оставалась дистанция, казалось, недоступная для штормовой волны. Потом, к сожалению, обнаружилось, что волны бывают гораздо выше, и пришлось увеличить просвет между вышкой и водой. Фундаменты сваривали на берегу, крановое судно везло их в море. Тяжесть этих конструкций возрастала с увеличением глубины моря, и настало время, когда никакой кран уже не мог бы приподнять и положить на свою палубу, а затем водрузить на дне фундамент весом более шестисот тонн.

Такой груз, даже если он состоит из трех отдельных блоков, не по плечу самым мощным крановым судам нефтяников Каспия. Сейчас за проектирован новый плавучий кран, его «стрела» поднимет блок весом в двести пятьдесят тонн.

Когда он выйдет в рейс из Баку к острову Семи кораблей, можно будет взяться за глубины, помеченные на карте Мамедова. Каспий зовет разведчиков туда, где каждый островок, а затем и стальная дорога, соединяющая их, должны вымахнуть на сорок и пятьдесят метров. К подводной части фундамента добавят метров десять-одиннадцать «штормовой дистанции», а над этим пятнадцатизэтажным сооружением поднимется вышка почти такого же роста! И нужно придать стометровому морскому небоскребу такую устойчивость, чтобы самый неумный шторм не повредил его.

Конструкторы морских сооружений готовят сейчас проект стального сборного фундамента для бурения скважин на сорокаметровой глубине моря. К тому времени, когда появится кран-гигант, можно будет собрать на берегу и погрузить на его палубу «высотный» островок для морской вышки. Он будет почти вдвое выше самого высокого островка из всех, какие сегодня ставят в море. И разведчики пойдут туда, куда зовет их Каспий...

Это будет лишь второй, далеко не последний, этап освоения сокровищ, запрятанных под морской волной. Нефть найдут и там, где глубина моря превышает пятьдесят метров. Выдержат ли «табуретки» при таком росте огромную нагрузку и штормовые удары? Вероятно, придется

создать совершенно новую, отличную от всех нынешних морскую площадку.

Пусть поразмыслят над этим интересным заданием конструкторы, изобретатели. Нефтяники Каспия возлагают большие надежды на все-союзный конкурс, объявленный для создания наилучших фундаментов морских вышек.

Каждый, кто работает в море и хочет выйти на большие глубины, уверен, что скоро скажет свое слово железобетон. Все его выгодные качества — прочность, долговечность, неограниченные возможности приобретать любую форму — как нельзя более пригодны в морских условиях. Трудно уберечь сталь от ржавчины — море «съедает» миллиметр за миллиметром самые прочные сваи. Срок их службы не идет ни в какое сравнение с долговечностью железобетонной опоры. Она примет на себя куда большую нагрузку. И не будет подвластна штормовой волне. Да и дешевле обойдется каждый островок для буровой вышки, каждый километр надводной дороги.

Трудную задачу поставили перед конструкторами каспийские нефтяники. Если бы лет десять назад они завели разговор о стометровых свайных островках, вероятно, никто не взялся бы всерьез за проектирование таких подводно-надводных сооружений. Сегодня уровень нашей техники позволяет приняться и за такие очень сложные проекты. Через семь лет наша страна должна получать нефти в два с лишним раза больше, чем в 1958 году. Море даст значительную часть этого небывалого прироста нефтедобычи. Каспийские нефтяники собираются в дальний рейс. Пожелаем же им, как это принято у моряков, счастливого плавания...

Я заночевал в домике, уцелевшем с тех времен, когда все жили в матросских кубриках или в таких избушках, привезенных с берега и поставленных на железной палубе затопленного корабля. Единственная комната, разделенная тонкой перегородкой, напоминала каюту. В ней две койки и столик. Стул поставить уже негде. За перегородкой — газовая плита, на стене — кухонный шкаф с посудой. Два окна предостаточно обращены в те стороны света, откуда не ожидаешь норд-оста.

На рассвете где-то рядом загудела пароходная сирена. Танкер «Генерал Ази Асланов» пришел из Баку, чтобы взять шесть тысяч тонн каспийской нефти. За окном виднелся его длинный, сейчас высоко приподнятый над водой черный корпус с короткой трубой, вынесенной подальше от трюмов, на закругленную корму. Таких больших танкеров не видел в прошлом остров Семи кораблей. Скромный нефтевоз водоизмещением в две тысячи тонн забирал одним рейсом все, что здесь добывали за сутки. Крупнейший каспийский танкер у причала напоминал о том, как много успели за эти годы и разведчики, и строители эстакады, и мастера нефтяного промысла, выросшего на морских просторах.

Если бы я, как и накануне, отказался от услуг автомобильного транспорта, сколько дней пришлось бы потратить на то, чтобы увидеть все промысловые магистрали, устремившиеся от первой скважины к новым и старым, давно построенным островкам! Общее протяжение этих магистралей — полтора-два километра. Нет, сегодня никак нельзя было пренебречь приглашением шофера. Я забрался в полуторку и совершил путешествие по маршрутам, которые пройдены нефтяниками Каспия.

Далеко позади осталась вышка Каверочкина — ее назвали именем мастера, получившего первый фонтан в открытом море. Исчезла из поля зрения и соседняя с ней буровая ученика Каверочкина, молодого мастера Курбана Абасова. Машина мчалась на запад, под колесами постукивали доски деревянного настила. Шоссе однопутное, встречные машины терпеливо ждали на «разминовке», пока освободится дорога, и водитель, ничем не стесненный, развил предельную скорость.

Иногда и он, завидев далеко впереди грузовик и прикинув, что не успеет предупредить его до следующей разминовочной площадки, вежливо сворачивал в сторону. Через минуту-другую можно было продолжить путь, и шофер, включив четвертую скорость, спешил наверстать время, потраченное на «полустанках».

В пяти или шести километрах от искусственной бухты мы остановились, пропуская встречный грузовик. День был на редкость тихий, между сваями эстакады чуть покачивались длинные мохнатые водоросли. А здесь вода бурлила, словно в кипящем котле. Радужная пленка нефти виднелась на тихой волне под эстакадой и дальше — в море. Шофер погасил недокуренную папиросу, перед тем как выйти из кабины.

— Грифон,— произнес он, и это резко прозвучавшее короткое слово сразу вызвало в памяти зловещую картину: черный дым над эстакадой, пламя, бушующее в нескольких метрах от вышек, напряженные лица людей, борющихся с огненной стихией.

Такой грифон — «выброс» нефти и газа через трещины в подводных пластах — чуть не погубил когда-то остров Семи кораблей. Вместе с нефтью выбросило из недр куски кремнистой породы, они столкнулись в воздухе, и одна искра вызвала гигантский пожар. Запылала нефть. Огненная река ринулась к эстакаде, угрожая резервуарам, вышкам, домам. К счастью, была в тот день безветренная погода, и это спасло морской нефтепромысел. Погасили огонь, сбили с поверхности моря пламя. Не забудется никогда тот тревожный день, о нем и сейчас вспоминают, как о самом тяжком испытании, выпавшем на долю каспийских нефтяников, хотя после этого не раз они смотрели в глаза смертельной опасности...

Грифоны возникают здесь потому, что нефть и газ находятся сравнительно неглубоко. Море размыло кое-где горные породы, прикрывающие их, и, когда бурят скважину, случаются рядом с вышкой такие «выбросы». Газ и нефть внезапно прорываются через трещины верхних пластов.

— Живем, как на вулкане,— сказал шофер, возвращаясь со мной к машине, и эти слова прозвучали сейчас совсем не иносказательно.

Подводное извержение началось чуть ли не год назад, и до сих пор не удалось погасить его. Есть надежда, что вскоре грифон исчезнет: не-вдалеке вступают в строй скважины, они ослабят давление газа в пластах.

Вот эти новые скважины. На широкой свайной площадке возвышается «елка». Это — сплетение труб, штурвалы крепких задвижек, манометры, которыми оснащена каждая фонтанная скважина. Нефть закована в металл. На всем протяжении долгого пути — от «елки» до резервуаров, поставленных за десять километров от этой площадки,— нигде не увидите ни капли нефти. Она покидает остров Семи кораблей, так и не показавшись ни разу на свет. Переходя из одного хранилища в другое, совершая затем плавание в Баку, она остается постоянно взаперти. Полная герметизация добычи и транспортировки нефтяных продуктов — так называется эта тщательная изоляция добытых соковок дна от внешнего мира.

Фонтан выбрасывает через трубы металлической «елки» тысячи тонн нефти. В это время далеко отсюда, на противоположном краю свайного шоссе, через такие скважины нагнетают в недра столько же морской воды. Человек научился не только добывать нефть, но и вводить по своему выбору в подземном мире тот порядок, какой ему наиболее выгоден. Нужно, например, продлить жизнь фонтанов — и тысячи тонн воды заполняют освобожденные от нефти пласты, поддерживая в них первоначальное давление.

Мне рассказал об этом двадцатилетний механик насосной станции Владимир Пашенко. Он учится на четвертом курсе вечернего техникума. Когда зашел разговор о том, что здесь усовершенствовали законтурное заводнение, используя для лучшего вытеснения нефти щелочную воду, вахтенный механик набросал на листке бумаги чертеж и в нескольких точных фразах изложил сущность этого новаторского приема. Я увидел, как движется впереди морской воды где-то в недрах земли тонкая щелочная «оторочка». Вот она дошла до нефти и «вымывает» ее из крохотных пор песчаника гораздо лучше, чем это может сделать морская вода.

— Мы посылаем щелочную воду вперед,— рассказывал студент вечернего техникума,— пусть она убирает без остатка всю нефть. А за оторочкой движется под тем же напором морская вода. Вот как это происходит...

Уверенно вычертил он схему управления энергией пластов. Вахтенный механик принимал участие в этом процессе со всей осмысленностью человека, вооруженного и опытом и знаниями. Так же, как те двое студентов в библиотеке морского городка, Пашенко готовился к зачетной сессии — на столике, возле гаечных ключей, лежал развернутый учебник математики для четвертого курса.

Не было здесь в недавнем прошлом ни этой мощной станции законтурного заводнения, ни таких вахтенных, которые тут же, в открытом море, становятся инженерами. И, может быть, это — одно из самых замечательных событий, какие произошли здесь за несколько лет.

Я не застал на вышках морского нефтепромысла молодого мастера Юсуфа Керимова. Не довелось еще раз повидаться и с инженером Леонидом Викторовичем Алянчиковым. Упоминаю об этом потому, что отсутствие двух здешних старожилов вовсе не случайный факт.

Алянчиков уехал в Индию. Когда понадобилось послать опытных буровиков, которые помогли бы нашим индийским друзьям найти нефть, выбор пал на человека, прошедшего суровую школу морской разведки. На острове Семи кораблей специалисты закалились в борьбе с трудностями, приобрели тот, можно сказать, выстраданный опыт, какой позволяет успешно поработать и в любом ином месте. Мне рассказывали, что Леонид Викторович Алянчиков хорошо помогает индийским геологам — инженерам и мастерам освоить современную буровую технику в поисках нефти.

Юсуф Керимов возглавлял здесь комсомольскую бригаду. Молодые рабочие и смелый, энергичный мастер прославились умением бурить скважины быстро, без аварий. Керимов стоял на вахте в штормовые дни, когда многие вышки еще не были связаны с пристанью морским шоссе. В Египте, на берегу Суэцкого канала, он недавно закончил бурение разведочной скважины, открывшей крупное нефтяное месторождение.

Имена людей, отличившихся на морских вышках, известны теперь в Индии и Египте. А здесь, в городке каспийских нефтяников, с гордостью говорят о том, что Алянчиков и Керимов поддержали славную репутацию бакинцев далеко за пределами нашей Родины. Должно быть, и там, на только что родившихся промыслах, знают по рассказам гостей из СССР о чуде на Каспии, о том, как советские люди создали самый удивительный на свете город в море.

Может быть, слушая Юсуфа Керимова, наши друзья на Суэцком канале еще лучше поймут, почему в Советской стране небывалыми темпами развивается промышленность и какие душевные силы поднимают сынов этой земли на трудовые подвиги...

Останутся в Египте и в Индии после их отъезда вышки на новых нефтеносных площадях и будут напоминать о том, что люди из СССР,

покорившие Каспий, внесли свой скромный вклад в борьбу народов этих стран за независимость, за светлое будущее.

Буровые бригады теперь разбросаны по такой обширной акватории (чуть было не сказал более привычное слово «территория») промысла, что мне не хватило дня, чтобы побывать хоть на главных участках этого разросшегося хозяйства.

Незадолго до того, как стемнело и вдоль всей эстакады зажглись бесчисленные огни, я увидел самый интересный и наиболее перспективный район нефтедобычи.

Тут нельзя обойтись без небольшого отступления. Надводное шоссе — это жизненная артерия морского городка. Она не только связывает вышки, общежития, пристань, резервуары. Сама свайная дорога является растущей изо дня в день производственной площадкой. Все вышки стоят на ней и составляют одно целое с дорогой.

Разведчики трудились на изолированных, отрезанных от бухты крохотных островках. И теперь множество разведочных вышек стоит вдали от эстакады. Но планомерная разработка подводных залежей нефти немислима была бы без эстакады, по которой можно ездить беспрепятственно даже в тот час, когда гудит двенадцатибалльный шторм и вся флотилия нефтяников прячется в бухте, а из Баку никого не выпускают в море.

Строить эту дорогу — дело очень трудное и не дешевое. Тысячи стальных свай нужно вогнать глубоко в морское дно, связать их накрепко прочными фермами, защищать каждую сваю от губительной ржавчины.

Нефтяники Каспия стараются использовать как можно выгоднее главную артерию морского промысла. И вот что можно увидеть сейчас на эстакаде острова Семи кораблей.

Наша полуторка свернула с дороги теперь уже не для того, чтобы пропустить встречный грузовик. Площадка, примкнувшая к свайному шоссе, была гораздо просторнее «разминовки». Здесь сгрудилось шесть или семь машин. Я вышел из кабины и оказался в знакомой обстановке сухопутного нефтепромысла. Три вышки стояли по одну сторону магистрали, еще две — напротив. Грохот бурильных станков заглушал голоса споривших о чем-то шоферов, треск автомобильных моторов, звон сгружаемых труб.

Не видно было ни клочка моря, его заслонили вышки, груды размолотой глины, дощатые «культбудки» — точно такие же, как и на сухопутных промыслах.

Вслед за нами протиснулись к вышкам еще две машины. Началась цементировка скважины, и к грохоту бурения добавился натужный рев моторов, которые привели в действие несколько нагнетательных насосов.

Это был «куст» буровых вышек, стоявших почти вплотную друг к другу. Отсюда, с одной свайной площадки, прокладывают к нефти девятнадцать скважин, и они разветвляются наподобие огромного куста, вырастающего на глубине восьмисот метров. Скважину ведут с таким расчетом, чтобы она ни в коем случае не столкнулась со своей соседкой. Долото направляют только по заранее намеченному курсу.

С одного подводного фундамента пробурено девятнадцать скважин! Нетрудно понять, какой выигрыш от этого получает морской нефтепромысел: меньше времени уходит на строительство, быстрее вступают в строй новые скважины, сокращается срок разработки всего месторождения.

Минули времена, когда здесь мало кто старался сберечь рубль. Тогда все мысли были направлены только к одной цели — отыскать на морских

просторах большую нефть, проникнуть в неизведанную толщу морского дна. Разведчиков Каспия не ограничивали в средствах. Слишком важна была цель, которую они поставили перед собой, и в предвидении больших открытий мирились временно с тем, что каждая тонна нефти, добытой в море, обходится значительно дороже, чем на суше.

Настала пора покрыть расходы на строительство морского шоссе и стальных островков. Этого можно добиться только экономным, расчетливым отношением к добыче нефти. «Кусты» для того и созданы, чтобы сократить на миллионы затраты морского нефтепромысла.

Немного осмотревшись, я заметил, что вышки «куста» поставлены как-то не совсем обычно. Они чуть-чуть накренились. Казалось, строители совершили непростительную, грубую ошибку. Как могли не заметить ее буровые мастера?

Не успел еще я спросить, в чем тут дело, как на моих глазах была выполнена несложная операция, и еще одна вышка изменила свое обычное положение. Бригада строителей приподняла две из ее четырех опор, две стальные «ноги», и опустила их на деревянные брусья. Вышка чуть наклонилась. Тяжелый, литой крюк подъемника, смонтированного на ее макушке, повис над свайной площадкой рядом с только что законченной скважиной. Можно было передвинуть сюда механизмы и прокладывать еще одну дорогу к нефти тем же оборудованием, что установили здесь для первой скважины.

Каспийские нефтяники не теряют времени на строительство девятнадцатидесяти вышек для такого же количества фонтанов. На одной кустовой площадке они создают целый участок промысла.

Рассказываю об этой не столь увлекательной и лишенной какой бы то ни было романтики, будничной технологии для того, чтобы никто не подумал: «Вот, пошли бакинцы куда-то в море, отыскивали там нефть, а во что же она станет государству?»

Да, именно такие опасения высказывали люди. И нельзя было обвинить их в излишнем скептицизме. Дороговато обходилась на первых порах дальняя каспийская нефть.

А теперь тонна нефти с острова Семи кораблей стоит не дороже, чем на многих сухопутных промыслах.

Можно ли там, где вышку ставят на пятиэтажной «табуретке», где каждая скважина досталась в борьбе с непокорной стихией, можно ли там затрачивать на тонну нефти столько же, сколько тратят в нормальных условиях «земного» промысла? Умелое использование техники, изобретательность, воодушевление людей, добывающих каспийскую нефть, и на этот раз сделали то, что казалось недостижимым.

Если вдуматься, то ведь именно ради того, чтобы страна получила много драгоценного сырья для промышленности без лишних затрат, — ради этого высаживался «десант» бакинцев на пустынной скале, прошли через все испытания буровые бригады на одиноких стальных островках, не покидали свой пост в штормовой час строители надводной дороги, пробивались к скалистой гряде на маленьких катерах моряки, опускались на дно водолазы, чтобы поднять сброшенное волнами оборудование вышки, уходили в опасное плавание разведчики, стояли на трудной вахте сварщики и мотористы, механики и бурильщики, геологи и водители машин — весь многолюдный, отважный отряд каспийских нефтяников...

— Вот наша земля.

Человек, произнесший эти слова, только что спустился по трапу с эстакады на островок. Он возвышался метра на полтора над уровнем моря. Ничего примечательного не было в этом клочке суши, окруженном водой, но Мирза Садыхов смотрел и не мог наглядеться на него.

— Это я привез ее,— сказал он, подняв горсть земли, перемешанной с раздробленными ракушками.

Садыхов говорит, что привез ее сюда. Значит, мы стоим на острове, который создали люди.

Да, земли не было на этом месте. Отлично помню — несколько раз плавал здесь на катере. Глубина была небольшая. На дне лежали консервные банки, якорь, куски ржавого железа. Между ними сновали прожорливые крупные бычки. Сюда обычно навевывались рыболовы — запастись наживкой для окуня и ерша.

Теперь здесь построено большое здание электростанции. У входа — крохотный цветничок. Воробьи дружно расправляются там с одиноким подсолнухом.

— Везли ее,— продолжал Садыхов,— на баржах, сгружали на причал. А отсюда мы самосвалами перебросили сюда.

Он прошелся по острову, который привез в своем самосвале,— шагов двадцать в одну сторону и столько же в другую. Остановился у воды, показал мне:

— Скоро начнем наращивать сушу вон где...

Он так и сказал «наращивать», будто речь шла о том, чтобы добавить к бурильной колонне, «нарастить», как выражаются бурильщики, еще одну трубу.

— Ну как? Приятно стоять на твердой земле?— спросил Садыхов, и видно было, что сам он с удовольствием шагал не по свайной дороге, под которой сталкиваются волны, а по этому созданному наперекор стихии острову.— Как ни привык жить на сваях, а все-таки приятно спуститься с эстакады на свою землю.

Впоследствии я заметил, что многие обитатели морского городка с таким же приятным чувством ступают по земле, которую привезли с собой в открытое море. Всего здесь вдоволь, все, что нужно человеку, доставили на кораблях — от пресной воды до подписных изданий и почтовых марок. Не хватало, быть может, только вот такого небольшого кусочка земли, чтобы можно было иногда сойти с деревянного настила и ощутить под ногами сухой, слегка поскрипывающий песок. Такая приплывшая земля позволит строить здания без больших затрат на свайные фундаменты. Во время шторма не будут покачиваться под потолком лампочки. Вырастут в грунте, зацветут под окнами те самые олеандры, что сейчас еще ютятся в кадках.

— Пойдемте посмотрим, где будут строить еще один земляной остров,— предложил Садыхов.

Только здесь, в море, на свайных постройках и надводных дорогах, можно услышать странное сочетание слов: «земляной остров».

Мы перешли по мостику, переброшенному с эстакады к причалам, и увидели большую лагуну — она образовалась после того, как положили на рифы несколько старых пароходов.

— Тут будет столько земли — хватит на целый городок! — сказал мой спутник.— Пригласим еще раз балет Большого театра. Вчера им было тесновато на Красной площади...

Концерт балетной труппы Большого театра, гастролировавшей в Баку, состоялся на широкой свайной пристани. Ее называют Красной площадью. Тем, кто живет здесь, она казалась очень просторной. Пришли артисты, пораженные невиданным зрелищем, взволнованные горячей встречей, собрались свободные от вахты нефтяники, и — яблоку негде было упасть.

Первый раз в своей жизни артисты Большого театра выступали на такой эстраде. Под ней плескались волны. Морская даль — не нарисованная, простиравшаяся на все четыре стороны света,— служила декоративным фоном для балерин и певцов.

Зрители стояли на свайной площадке, забрались на «стрелы» плавучих кранов, на крыши домов, под которыми тоже шумело море. Концерт шел под аккомпанемент фортепьяно. Время от времени в мелодию песен вплетались протяжные гудки пароходов.

Вечером, проходя мимо радиорубки, я узнал, что к острову Семи кораблей приближается шторм. Дверь рубки на палубе затопленного парохода была открыта настежь, и оттуда послышалось:

— Повторяю, повторяю. С нуля часов ветер северо-восточный шесть баллов, усиление к утру до восьми. Море — семь баллов. Перехожу на прием...

Ничто не предвещало резкой перемены погоды. Море было таким же спокойным, как и накануне и в течение всего безветренного дня. Огни вышек отражались в неподвижной воде.

После небольшой паузы радист вызвал диспетчера морского порта.

— Кончилась передышка, Сергей. Целую неделю жилось тебе спокойно. Готовься, идет норд-ост с усилением до восьми...

В полночь меня разбудил оглушительный скрежет. Казалось, за стеной домика сгружают на палубу железо. Шторм нагрянул без опоздания.

Утром должны были отправиться на берег человек двести — все, кому вышел срок отдохнуть дома после долгой вахты в море. Пассажирский теплоход стоял у причала. Волны с силой подбрасывали его высокий корпус, и я подумал, что сегодня он не выйдет в рейс. По расписанию теплоход должен был отойти в десять утра. Он вышел из бухты немного раньше, чтобы опередить запоздавшие восемь баллов.

Всем здесь тяжело стоять на вахте в штормовой час. Но морякам нефтяной флотилии достается больше, чем другим. Они совершают рейсы до той поры, когда уже нет никакой возможности пройти к островкам разведчиков или перебросить груз на причалы нефтепромысла.

Еще раз нужно назвать несколько цифр. В них отражены смелость, мастерство, самоотверженность людей, участвующих в походе за нефтью Каспия. Моряки-нефтяники выполнили за три месяца до срока план пятьдесят восьмого года и перевезли тысячи тонн нефти в таком районе, по таким фарватерам, где один тихий день выпадает на пять или шесть штормовых.

Я уже упомянул о том, что передовой отряд бакинцев, закрепившись на дальних морских рубежах, ни в чем не испытывает нужды. С мудрой щедростью государство печется о тех, кто добывает нефть в суровой обстановке на штормовых просторах Каспия. Эта отеческая забота ощущается на каждом шагу: и в отлично оборудованной столовой, и в уютных комнатах общежитий, и в зрительном зале клуба, и в повышенной оплате труда каспийских нефтяников. Разрастается город на сваях, выросла и нефтяная флотилия. Было в ней еще не так давно всего лишь пятнадцать суденышек, а сегодня на рейсовых линиях от Баку к морским вышкам курсируют двести шестьдесят пять теплоходов, буксировщиков, плавучих кранов, шхун, сейнеров, катеров. Пять тысяч моряков Каспийского флота влилось в ряды нефтяников!

Отчалил пассажирский теплоход, повез людей на Большую землю, на отдых.

Не отменили и очередной рейс «Академика Крылова». Пока он выбирался из бухты, можно было еще стоять на палубе. Потом пришлось спуститься в крохотную штурманскую рубку — волны доставали до верхнего мостика.

Это был обычный рейс небольшого судна в обычных условиях. Корпус «Академика Крылова» наклонялся то в одну, то в другую сторону

на 30—35 градусов: кренометр на стене штурманской рубки точно отмечал каждый удар волны. Все предметы, не закрепленные на своих местах, повторяли движения его маятника.

Стекло иллюминатора часто заливало водой, и в рубке становилось совсем темно. На мостике раздавался время от времени голос капитана: «Не ходи влево. Одерживай». Волна била в правый борт, рулевой подставлял под нее форштевень судна.

Пять с половиной часов мы шли до Баку «дорогой славы». Так называли путь от побережья Апшерона к острову Семи кораблей.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ИОГАННЕС Р. БЕХЕР

★

О ПОЭТИЧЕСКОМ

Значительное место в творчестве покойного Иоганнеса Р. Бехера занимают книги о поэтическом творчестве. Писатель создал цикл таких книг: «Защита поэзии» (1952), «Поэтическое вероисповедание» (1954), «Власть поэзии» (1955), «Поэтический принцип» (1957). Эти книги содержат разные заметки, размышления о писательском труде, о сущности поэзии, о собственном творчестве Бехера, о значении и назначении литературы, о месте художника слова в жизни и борьбе народа. Поэта, активного строителя нового общества, волновали не только профессиональные вопросы художественного творчества, но и проблемы и события общественной и политической жизни, связь поэзии с жизнью.

Бехер иногда возвращается к одной и той же особенно занимающей его мысли, развивая и дополняя ее. Одни заметки занимают несколько страниц, другие — несколько строк... Приводится довольно много цитат и выписок из трудов философов и мыслителей, художников слова и общественных деятелей,— это тоже интересно, потому что и из этого видно, что волнует поэта, что находит отклик в его душе и что он считает поучительным.

На одну вопросы Бехер отвечает, другие он только ставит и сам ищет на них ответа. И все это проникнуто горячей любовью к поэзии, желанием сделать поэзию действенной помощницей человека в борьбе за осуществление его идеалов.

С выдержками из «Защиты поэзии» «Новый мир» познакомил своих читателей в 1953 году, в двенадцатой книге. Ниже публикуются выдержки из книг «Поэтическое вероисповедание», «Власть поэзии» и «Поэтический принцип».

1

Поэтическое вероисповедание, «confessio poetica», а не наставление по искусству стихосложения, не «ars poetica»,— вот что я предлагаю как продолжение книги «Защита поэзии». Если я и надеюсь, что это поэтическое вероисповедание может кое-чему научить и что оно может дать толчок мыслям, оно — нужно снова подчеркнуть — все же не является ни учебником, ни введением в основы поэтического искусства. «Поэтическое вероисповедание», подобно книге «Защита поэзии», порождено творческой практикой, необходимостью самопознания. «Поэтическое вероисповедание» состоит из нескольких частей, и если я решился опубликовать его первую часть, то это продиктовано соображением, с которым, я убежден, согласятся и критики и читатели. Это соображение заключается в том, что все критические замечания, возражения, вопросы, которые вызовет первая книга, я смогу учесть во второй и тем самым установлю более тесную связь, своего рода сотрудничество, с лучшей частью моих читателей. Этот метод будет применен и во всех последующих книгах «Поэтического вероисповедания»; при этом последующие книги все более будут терять характер монолога, свойственного «Поэтическому вероисповеданию», и превращаться в общий разговор, пока из этого разговора друг с другом, из этого обращения друг к другу не возникнет более высокая форма самопознания

И в поэзии есть отдел «готового платья». Не только в кино, но и в лирике подвизаются поставщики духовной халтуры, которые, как и торговцы готовым платьем, зачастую весьма претенциозно и выспренне навязывают нам свои дешевые поделки, выдавая их за первосортный товар, пока наконец, наученные долголетним опытом, мы не замечаем, что между каким-нибудь Людвигом Финком и каким-нибудь Готтфридом Бенном нет никакой принципиальной разницы, оба они — поставщики хлама: только один спекулирует наивностью, другой — таинственностью и исключительностью.

В некоторых аннотационных рецензиях обнаруживается подозрительное сходство с известным видом «литературной критики», распространенным в Америке. Этот вид литературной критики ограничивается пересказом содержания, что и должно заменить чтение книги. Человек, прочитавший такого рода статью, получает возможность поговорить о книге и похвастать своей начитанностью. От таких аннотаций (несколько расширенных) не отличается все еще бытующий у нас вид литературного обзора, ограничивающегося тем, что он «представляет» (выставляет напоказ) то или иное произведение или его автора, не пытаясь определить место писателя в общем литературном процессе, без чего невозможно дать правильную оценку. Нельзя, например, просто «представить» Генриха Манна. Восхвалять его, представлять и преподносить как выставочный экспонат — значит серьезно умалять его значение. В эпической манере Г. Манна, в системе его художественных образов и в его стиле имеется немало спорного, и его политическое мировоззрение сложилось в результате различных блужданий, колебаний и не всегда безупречного поведения. Этого не нужно замалчивать, напротив — конечный результат приобретает благодаря этому все свое значение, и облик самого художника предстает перед нами в еще более ясном свете.

«Всякое стихотворство подобно разговору на чужом языке, которым владеешь лишь очень слабо. Говоришь не то, что хочешь и должен сказать, а только то немногое, на что хватает слов. Самое существенное остается невысказанным и мучит поэта до конца его дней сознанием собственной неполноценности. Счастлив тот, чей багаж чувств и мыслей столь ограничен, что он обходится своим скромным запасом слов». Так говорит поэт, которому мы могли бы дать имя «Туман», хотя его и зовут Вернер Бергенгрюн¹. Предчувствуя, что когда-нибудь будет высказана подобная туманная ересь, поэты и мыслители еще столетия и десятилетия тому назад отвергли ее — Гомер, великие греческие трагики, Данте и Гёте; Стендаль ответил бы на это: «Не хвастай своим глубокомыслием, которое в действительности не что иное, как взбаламученное мелководье, — не затуманивай, не замутняй, не затемняй истину: человек становится поэтом тогда, когда он в состоянии выразить то, что он хочет и должен сказать; в том и заключается истинно поэтическое, чтобы было сказано существенное и чтобы только то не было сказано, что как несущественное не заслуживает быть высказанным». То, что в наших чувствах и мыслях нельзя выразить словами, не заслуживает, стало быть, того, чтобы занимать наши чувства и мысли, ибо все наши чувства и мысли рождаются одновременно с их словесным выражением, и только мгла, только туман, естественно, не поддаются языковому воплощению. Все наши мысли и чувства стремятся обрести язык, хотят себя утвердить и отвечать за себя, хотят заявить о себе и вступить в общение с чувствами и мыслями всех людей, всего света. Словарный запас скромнен, багаж чувств и мыслей ограничен не у тех, кто сумел слить воедино чувства и мысли со словом, а наоборот. Богатый мир чувств и мыслей у этих «счастливых» вызвал к жизни такое изобилие слов, такое языковое богатство, что оно предоставляет им полный простор в мире глубочайших чувств и дерзновеннейших мыслей.

Чем больше углубляются политические противоречия, тем большее значение приобретает все политическое, и оно, само собой разумеется, вторгается и в область литературы. Но здесь политическое выступает не всегда открыто: политическая борьба ведется литературными средствами, и потому не так-то просто сразу распознать их враждебность. Политический противник пользуется литературными, эстетическими аргумен-

¹ Вернер Бергенгрюн (р. 1892) — прозаик и лирик, творчество которого проникнуто религиозными мотивами. Живет в Швейцарии.

тами, чтобы уничтожить политически неугодного ему автора, и при этом он, видите ли, занимается, как ему и положено, только литературной критикой! Но бывает и обратное. Можно достигнуть отрицательного впечатления и преувеличением достоинств; безграничным, чрезмерным захваливанием также можно опорочить писателя. Поэтому и в подобных случаях нужно быть начеку и относиться с недоверием ко всякого рода преувеличенным похвалам.

Такого рода мрачная ересь, какую высказал поэт «Туман», чревата еще и другими последствиями, и не последним из них является вывод, что язык якобы ставит непреодолимые границы возможностям нашего разума, и под тяжестью невысказанного, повергающего нас на колени, нам остается лишь замкнуться в одиночестве ледяного молчания.

Ницше считал, что хорошую прозу пишут, только имея в виду поэзию», ибо проза — это «непрерывная своеобразная война с поэзией». Вся ее прелесть будто состоит в том, что она «постоянно уклоняется от поэзии и противоречит ей».

Ницше и здесь ошибается, ибо хорошую прозу пишут, только имея в виду прозу, так же как хорошую поэзию пишут, только имея в виду поэзию. Проза — такое же самостоятельное эстетическое познание жизни, как и поэзия; при этом мы не намерены безоговорочно порицать тех, кто объединяет оба жанра, так как опыт учит нас, что из смеси иногда получаются произведения, наделенные своеобразной прелестью, но — иногда, а не как правило. «Смешанная форма» и «чистая форма» должны одинаково восприниматься как необходимость. Искусство в данном случае состоит в том, чтобы расширить жанр, оставаясь в то же время в его границах. Расширение (освоение новых областей) идет — это нужно неустанно подчеркивать — от содержания, причем соблюдение очерченных жанром границ тоже определяется содержанием, то есть проникновением в сущность литературы вообще и осмыслением своеобразия и самостоятельности ее жанров.

«Самые сладкие плоды пожирают только большие звери» — так называется одна песенка, которая, родившись в Италии, на «устных пластинках» победоносно шествует по всей Западной Германии. В этой песенке речь идет о «синьоре Утице», которая на зеленом лужке посвящает своего младшего отпрыска во все тайны и говорит: «Самое лучшее, что доступно нашему брату, это салат». И вот:

Утенок слушает и удивляется
И дерзко озирается вокруг,
Вдруг он видит на дереве
Прекраснейшие, сладчайшие вишни.
«Мама, нарви их для меня», —
Просит он жалобно.
«Дитя мое, — говорит мама, —
Это невозможно!
Сладчайшие плоды
Пожирают только большие звери,
Потому что деревья высоки
И эти звери велики.
Сладчайшие плоды были бы так же вкусны
Для тебя и для меня,
Но оба мы маленькие
И потому никогда не достанем их».

От таких песенок не следует отмахиваться с высокомерием, свойственным некоторым литераторам, ибо они, эти песенки, действительно выражают народные чувства, притом своими, народными, средствами. И «большие» поэты, вместо того чтобы ворочать нос от таких «глупостей», лучше бы вслушались в незатейливые строки подобных песенок и осознали свою неспособность «смотреть народу в рот» и дать народу народное. Надеюсь, меня не поймут превратно и не истолкуют мои слова в том смысле, будто только такие песенки выражают народные чувства — нет, отнюдь нет, — но также и они. И этим «также и они» пусть не гнушаются и видные писатели. Только тогда мы

преодолеем тот разрыв между так называемой народной литературой и так называемой высокой литературой, который наносит явный ущерб и той и другой.

Нельзя не удивляться, когда видишь, со скольких языков некоторые поэты умудряются делать переводы. Ведь не может быть и речи о том, чтобы один поэт знал все эти языки и давал действительно полноценные переводы. Высококачественная переводная литература — часть культуры каждого народа; впрочем, как нас учит и в этом случае Мао Цзэ-дун, нужно сначала «расширить» уровень, чтобы суметь его повысить, и потому критикуемые нами поэты-переводчики — необходимое переходное явление в процессе ознакомления с произведениями других народов. К такому переходному явлению я должен причислить и себя — я «перевел» Маяковского и Демьяна Бедного с русского языка, не зная его; но мои переводы потеряли всякую ценность, как только появились новые переводы (Гупперта и Лешнитцера), отражающие богатства языка оригинала и уже по одному этому намного превосходящие мои попытки.

Работать, только работать — помни об этом, молодой писатель, а не поддавайся искушению продвинуться вперед при помощи связей. Связи могут быть полезны, но лишь на какое-то время, и, по всей вероятности, они принесут тебе больше вреда, нежели пользы, ибо они сделают тебя зависимым самым неприятным образом, и в конце концов ты будешь только страдать от этой зависимости, — хорошо еще, если она не причинит тебе серьезного ущерба. Работай, когда тебе грустно, — это единственное средство разогнать грусть. Работай, чтобы не впасть в тоску: ничто так не избавляет от унылой пустоты, как работа. Работай, когда тебе сопутствует успех: нет иного лекарства против «головкружения», кроме работы. Работай, всеми почитаемый, прославленный мастер: только работа может спасти тебя от того, чтобы в один прекрасный день твоя слава не оказалась призрачной и ты не канул в бездну забвения... У того же, кто работает, вырастают крылья, они поднимают его выше его самого, он расправляет их, и они сияют, даже если все вокруг затянато тучами и воцарился мрак.

Одна из исторических ошибок, чреватых тяжелейшими последствиями, заключается в попытке отделить Россию от Европы и в притязаниях Германии на роль посредника между Востоком и Западом. Нет нужды останавливаться на том, каким образом Германия играла эту посредническую роль. В результате своей мании величия Германия в конце концов произвела на свет Гитлера. Было забыто, да и сейчас еще забывается, что Советский Союз перенял и развил все ценное и жизнеспособное, что было в Германии и Западной Европе. Не только Маркс и Энгельс, но и все наши великие немецкие традиции давно бы отошли в прошлое, не будь они пробуждены к новой жизни в Советском Союзе. Советский Союз действительно является центром Востока и Запада. Здесь обмениваются дружескими рукопожатиями народы Запада и Востока, и лучшее, что эти народы претворяют в жизнь, служит здесь объединению этих народов. Кто из немцев выступает против Советского Союза, тот тем самым совершает преступление против Германии и всего лучшего, что Германия когда-либо свершила или призвана свершить. Кто претендует на роль защитника сокровищ Европы и выступает против Советского Союза, тот в действительности предает эти столь священные для него культурные ценности и обрекает западные страны на гибель. Да задумается и наша немецкая литература над этим историческим фактом и не позволит навязать себе пагубную роль «посредника».

Само собою разумеется, в каждой значительной литературе существуют разнообразнейшие творческие направления, и одерживает верх то из них, которое исходит в своих суждениях не из мелких групповых интересов и не считает себя главным в литературе, а может судить широко и непредвзято и руководствуется тем, что самое важное в литературе — мирное соревнование творческих направлений и различных авторов между собой. Когда какая-нибудь группировка теряет чувство меры и критерии оценки и только потому, что тот или иной писатель принадлежит к ее узкому кругу, награждает его хвалебными эпитетами в превосходной степени, — это свидетельствует лишь о провинциальной ограниченности.

В этом была его жизнь, чудесная жизнь:
 Подобно дуновению вечернего ветерка,
 Безыменной песней пронестись в народе.

Эту чудесную жизнь, о которой я мечтал, когда писал сонет «Безыменной песней», древние китайцы воплотили в следующей легенде.

«Когда художнику Бай Лю исполнилось семьдесят лет, он собрал поклонников своего искусства и показал им свою последнюю картину, на которой был изображен луг и извилистая тропинка, поднимающаяся к храму на холме. «В этой картине весь Бай Лю»,— сказали его друзья, но он гневно, хотя и вежливо, возразил им:

За миром, им созданным,
 Бог исчезает; исчезни, художник, и ты!

И вот он, дружески помахав своей шелковой шапочкой, вступает на извивающую по лугу тропинку и идет по ней, становясь все меньше, при каждом повороте дороги оглядываясь на своих изумленных друзей; он уходит дальше и дальше, достигает вершины холма на картине, открывает врата храма, в последний раз кивает своим друзьям и исчезает навсегда.

2

Нужно постоянно цитировать следующие слова Ленина:

«Спору нет, литературное дело всего менее поддается механическому равнению, нивелированию, господству большинства над меньшинством. Спору нет, в этом деле безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию. Все это бесспорно, но все это доказывает лишь то, что литературная часть партийного дела пролетариата не может быть шаблонно отождествляема с другими частями партийного дела пролетариата».

Кто из нас не грешил против смысла этих слов! Кто не пытался шаблонно отождествлять «другие части» партийной деятельности с литературной частью партийной деятельности. Потому и необходимо усвоить эти слова так, чтобы они вошли нам в плоть и кровь.

Я прочел: «Английские поэты иногда вменяют себе в обязанность сопровождать свои стихи комментариями, объясняющими происхождение того или иного сравнения или источник мысли, к которой ранее обращались другие и которая раскрылась во всей своей правде и красоте лишь современному разуму, замороженному иллюзиями и с трудом пробирающемуся вперед. Так поступил Томас Элиот в своем стихотворении «The Waste Land».

Такой прием означает гибель поэзии. Там, где комментарий не заключен в самом поэтическом произведении, а должен быть приложен к нему для разъяснения его, там стихотворение лишается своего непосредственного воздействия. Когда поэтическое произведение не ясно само по себе, а должно быть объяснено извне, оно лишено поэтического духа и лишь прозябает до тех пор, пока комментарий не вытеснит его полностью и не займет его место.

Пред нами стоит, словно монумент, великий классический пример отношения государственного деятеля к художнику: каждый государственный деятель, каждый художник должен равняться на него. Государственному деятелю этот памятник напоминает: говори с ученым, с художником так, как разговаривал с Горьким Ленин — исполненный искреннего участия к творчеству человека, обращающегося к нему,— прислушайся к его ответу, подумай над ним и — учись! Ученому же, поэту и художнику памятник говорит: спрашивай государственного деятеля так, как Горький спрашивал Ленина, выслушай его ответ, задумайся над ним и — учись! Ведь наравне с государственным деятелем ученый и художник прежде всего учитель и провозвестник, призванный воспитывать человеческий род, они оба — часть своего народа и составляют единое целое с ним.

Есть люди, которые, что бы они ни делали или ни думали, постоянно ссылаются на других и панически боятся собственного мнения, собственной ответственности,

Особенно невыносима такая трусость в критике. Подобные критики являются лишь рупором других критиков, они нисколько не заинтересованы в том, чтобы познакомить нас с их собственным мнением и обосновать его их собственное мнение и его обоснование заключается как раз в том, чтобы спрятаться за мнением других людей. Такой метод — прятаться за мнением других людей — не дает развиваться подлинной, искренней, ответственной критике, и только тогда, когда нам удастся положить конец этой жалкой игре в прятки, мы вернем критике ее характер самостоятельного литературного жанра, творчески взаимодействующего на равных правах со всеми другими литературными жанрами.

Мы не только можем позволить себе правду, более того, нам нужна лишь одна она. Правдивое свидетельство — вот залог нашего превосходства. В противоположность нашим противникам, которые уже не могут себе позволить говорить правду и вообще могут еще существовать, только перемешивая правду и ложь, которые сростись на жизнь и на смерть с ложью, — в противоположность им нам не нужно прибегать к умалению достижений противной стороны лишь потому, что добившийся их, с нашей точки зрения, занимает политически неверную позицию. Мы пользуемся не «черным и белым» цветом, в чем нас упрекают наши противники, мы не одержимы чуждым жизни и враждебным разуму тоталитаризмом, в отличие от поджигателей войны и врагов человечества, меряющих все одной меркой — служит ли это на пользу их приготовлениям к третьей мировой войне. Нам известны противоречия в жизни, а значит, и противоречивость культурного развития. Мы знаем, что крупный художник иногда стоит на неверном политическом пути и что у многих существует разрыв между их достижениями как художников и их политическим багажом. Не всегда художнику удается привести в соответствие свое творчество с великими историческими требованиями, которые Гёте один раз назвал «требованиями дня», а в другой — «требованиями эпохи». Раскрывая эти противоречия, мы приближаемся к самой жизни и не искажаем ее шаблоном. И именно в полемике мы должны остерегаться как громких речей, так и надоевшей болтовни и шаблонов.

Ленинские труды

Ленинские труды в своей глубине и богатстве дают ответ на все волнующие нас вопросы. Но они дают ответ только тому, кто страстно ищет его и готов сам думать над вопросами, раздумывать над ними и додумывать их до конца. Труды Ленина воспитывают в его учениках самостоятельное, творческое мышление... В своей речи на вечере кремлевских курсантов, посвященном памяти Ленина, 28 января 1924 года, Сталин сказал: «Только впоследствии я понял, что эта простота и скромность Ленина, это стремление остаться незаметным или, во всяком случае, не бросаться в глаза и не подчеркивать свое высокое положение, — эта черта представляет одну из самых сильных сторон Ленина, как нового вождя новых масс, простых и обыкновенных масс глубочайших «низов» человечества». Эти простота и скромность Ленина предъявляют и к нам высокие человеческие требования. Они показывают, что Ленин понимал под подлинно человеческим поведением и достойным стилем жизни. Трезвая и деловая оценка ситуации, а также собственной работы, связанная со страстной энергией и способностью воодушевиться делом, — вот чего требует от нас Ленин, если мы хотим по праву называться его учениками. Органическое соединение всех этих свойств в человеке формирует его в личность в ленинском смысле — в цельного человека. В его гармоническом росте, в его физической и духовной красоте, в упорядоченности и искренности его человеческих отношений, в его сердечной глубине и кристально ясной силе и убедительности его мыслей, в красоте его дисциплины, в гибкости его твердости и в строгости его доброты, мужественным и простым — таким предстает перед нами образ советского человека, воплощенный в Ленине и формировавшийся им; таким «образ нового человека» рисовался в прекрасных мечтах человечества...

Правильно замечено, что между осложнением и конфликтом существует большая разница и что наши писатели часто склонны смешивать эти два понятия. В чем же состоит (в общих чертах) разница? Осложнения получаются ежедневно, если не еже-

часно. Все время возникают какие-то препятствия, трудности, ни один день не проходит без осложнений. Но конфликт, если серьезно отнестись к этому понятию, никак не является чем-то повседневным. Подлинный конфликт нельзя просто разрешить, как осложнение, устранить его или совсем не обратить на него внимания. Конфликт задевает всего человека, он должен быть разрешен. Это вопрос жизни и смерти. Какая-то одна часть в нас не хочет больше жить так, как прежде, другая часть в нас не может больше жить так, как прежде. Конфликт требует напряжения всех наших сил. Мы должны направить против него все силы нашего ума и сердца, если не хотим, чтобы он одолел нас. Предмет подлинного конфликта всегда носит общечеловеческий, исторический характер, и он глубоко потрясает частную жизнь именно потому, что как будто снимает все частное и втягивает нас в такую проблематику, в которой наше существование сначала кажется лишь объектом. Лишь постепенно, в процессе развертывания захватившего нас конфликта, мы поднимаемся над сферой частного сами и выступаем как бы в качестве своего партнера, свободного от всего личного: мы становимся субъектом конфликта как личность, в которой происходит большая, имеющая общечеловеческое значение внутренняя борьба. Таким образом, подлинный конфликт никогда не может носить частного характера — он характеризуется именно тем, что поднимает нас над частным, и лицо в процессе переживания конфликта становится личностью (или возвышается над нею).

3

История идет своим чередом.
 Что должно случиться — случается.
 Слишком длинные паузы не довлены.
 Если те, кто должен это делать, не делают,
 Тогда это делают другие — но по-другому.

«Поэзия — на службу» — что за непродуманный, поверхностный лозунг! Ибо какая же поэзия не находится на службе? Кто из всех поэтов мировой литературы не служил? Всё — служба, все на службе; вопрос только в том, кому служат, какую службу несут, — так уж сотворен мир, этот неизбежный, непреклонный, этот восхитительно свободный — насильнический мир. Служат добру и также злу, когда эта служба приносит с собой конфликты и когда служат частично добру, частично — злу. Служат добру и также злу, когда делают это неосознанно. Иногда наилучшую службу какому-нибудь делу — хорошему ли, плохому. — оказывают именно те, которые совсем не осознают этого. И когда нас кто-нибудь упрекает в том, что мы служим тому или иному делу и являемся «полезными рабами», то тот, кто делает эти упреки, тоже служит определенному делу, но только другому, и он тоже в этом случае является рабом, хотя и не слишком полезным. Разве соборы не служили? Не служил Гёте (а именно — человечеству)? Разве Грюневальд, Греко, Кранх и Рембрандт не служили? Не найти в этом человеческом мире никого, кто бы не служил так или эдак или же частично так, частично эдак. Поистине пора уж прекратить бездумную болтовню о неслужении, о беспартийности и надпартийности, о нанятых на службу искусстве и литературе и признать наконец, что понятие «чистого, беспристрастного» искусства — это безжизненная абстракция и что земля — не вакуум, в котором существуют люди и человеческие общества, не являющиеся таковыми. Однако в действительности дело совсем не в этом. Сим «теоретиком» необходимо обогать противника, унижить его и бросить упрек в партийном послушании, а самим себе приписать позицию беспристрастности, справедливости. Этот метод, несмотря на свою древность, отомрет, по-видимому, лишь тогда, когда надпартийный мир этих «справедливых», этот мир лжи и обмана канет в вечность.

Мы уже однажды говорили о людях, которые, хотя и требуют от тех, кого они критикуют, социалистического реализма, сами ни в малейшей степени не склонны следовать этому методу в своих критических работах. Мы говорили и о том, что применение метода социалистического реализма в критике требует точного, трезвого, научного анализа, который невозможен не только без глубокого знания произведения,

эпохи, созданной в эту эпоху литературы и истории литературы, но и без знания личности писателя, произведение которого рассматривается, и работ, предшествовавших этому произведению. Впрочем, это требования, которые, собственно говоря, должны предъявляться к любой добросовестной критике; но критик, применяющий в анализе метод социалистического реализма, должен, кроме того, уметь открыть завтрашний день в сегодняшнем, это значит проследить в произведении рассматриваемого им писателя все возможности, зародыши, тенденции развития, которые выводят нас за пределы сегодняшнего, за пределы лежащего перед нами произведения. Нужно указать, где—пусть хотя бы в малейших, скромных зачатках— в этой книге еще в ее нынешнем, современном виде проявляется будущее— возможное и существующее. Такой критик откроет «драму в драме», «роман в романе», «стихотворение в стихотворении», он не в слишком редких случаях сумеет установить, что в драме содержится еще и другая драма, в романе— еще и другой роман, в стихотворении— еще и другое стихотворение, а именно: уже выходящее из нынешнего состояния, более совершенное, уже приближающееся к совершенству творение искусства. Не только, как сказано у Паскаля, «l'homme dépasse infiniment l'homme»— человек бесконечно превосходит человека,— но и творение искусства бесконечно превосходит творение искусства, и подлинный знаток искусства обязан указать на эти возможности превосходить и тем самым способствовать тому, чтобы художник сам себя превзошел, чтобы он рос и сам себя перерастал.

Для того чтобы создать произведение искусства, требуется только талант, и ничего более. Но те, кто считает, что талант заключается лишь в интуиции, те глубоко заблуждаются. Талант состоит из многих элементов, и он проявляется не в последнюю очередь и потому, что талантливый человек выискивает, вбирает в себя и усваивает все то, что ему необходимо для его таланта. Когда Гёте говорил о том, что значительная часть гениальности заключается в прилежании, он тем самым сказал, что гениальность включает в себя прилежание. Талант или гениальность включает в себя также образованность и знания, а отличительный признак значительности таланта и даже гения— глубина и широта его мировоззрения. Гёте говорил о художническом разуме, подразумевая под этим разум, который так образован, что он впитал в себя все основные явления действительности и использовал их для создания произведения искусства. Таким образом, когда мы говорим о том, что дело заключается в таланте и не только прежде всего в таланте, а единственно и исключительно лишь в таланте художника, то мы вкладываем в понятие таланта более глубокий и расширенный смысл, чем это делается обычно, ибо только это углубленное и расширенное понимание таланта соответствует его сущности и включает в себя талант «всецело».

Нужно еще раз (и, по-видимому, по принципу «*repetitio mater studiorum*»— «повторение мать учения»— еще тысячи раз) подчеркнуть, что критик не акушерка, не нянька писателя. Критика— это совершенно самостоятельный литературный жанр и, так же как и писатель, обращается прежде всего и главным образом к публике. Как писатель пишет не для писателя или не для критика, так и литературный критик пишет не для литературного критика или писателя. Литературный критик прежде всего и главным образом призван помочь читателю, образовать его вкус, воспитать в нем любовь к литературе, понимание литературы. Таким образом, дело обстоит совсем не так, будто литературный критик должен прежде всего и главным образом принимать во внимание писателя,— он должен прежде всего и главным образом принимать во внимание читателя и интересы читательской массы. Иной писатель склонен жаловаться на критика, потому что тот так безжалостно обошелся с его произведением, но как же можно проявить жалость к писателю, который своим произведением безжалостно отнесся к читателям, подсунив им неудачный плод своего творчества. Само собою разумеется, писатель может, если он хочет, поучиться у критика (и наоборот), но пусть он никогда не забывает о том, что критик прежде всего и главным образом обязан иметь в виду интересы читателей, интересы же писателя— лишь постольку, поскольку он воспитанием читательской массы поднимет ее литературные запросы: так он помогает писателю, служа подлинным интересам литературы.

Поддельные чувства. Имитаторы чувств. Мы знаем поэтов, лишенных всякого чувства, но они обладают фантазией, и обладают фантазией столь богатой, что могут вообразить себе чувства и даже внушить их себе. Они знают, что чувство — это, правда, еще не все, но оно «нужно». И вот они проявляют чувство — именно потому, что оно «нужно», и «чувствуют» в соответствии со своей фантазией. И так им удается имитировать чувства, оставаясь при этом с ледяным сердцем, бесчувственными. Они представляют, сами смотрят на себя, как они выражают чувства, и сами, наверное, иногда поражаются, каким широким диапазоном чувств они обладают, и еще больше поражаются они и даже серьезно считают, будто они способны на подлинные чувства, когда убеждаются, что им удалось внушить себе чувства и даже воспроизвести, не напрягая для этого свою фантазию, плоды чувств... Раньше или позже подобный обман чувств должен лопнуть. Но такому поэту незачем приходить в отчаяние, ведь его холодность чувств и зависимость их от его фантазии — это тоже тема, притом даже необыкновенная тема, однако для ее воплощения необходимо иметь мужество. Нужно признаться перед самим собой, кто ты есть, и, если ты лишен какого бы то ни было чувства, открыть перед людьми эту тайну своей бесчувственности. Только этот отважный шаг может помешать играть чувствами, ибо со временем никакая, даже самая смелая, самая яркая фантазия не сможет больше прикрывать подобную грубость чувств. Но не требуется ли для такого отважного шага уже чувство — причем чувство подлинное, большое, — только, может быть, иное, а не обычное, общепринятое?

Само собой напрашивается множество тем и материалов, излюбленных тем, можно сказать, дешевых материалов, которые «по натуре своей» поэтичны или выдают себя за таковые. Несомненно, лунная ночь поэтична, а суета в приемной какого-нибудь чиновника менее поэтична. Но поэзия лунной ночи несет в себе опасность повторения, приводящего к тому, что некогда поэтичное все более выхолащивается и разжижается до невыносимости, в то время как суета в канцелярии чиновника может представлять собой вполне поэтическую ценность, если поэт умеет «выпустить на волю» содержащиеся и здесь поэтические элементы; подобные элементы можно найти всюду... Так что будьте осторожны с темами и материалами, несущими поэтичность, так сказать, уже на своей поверхности и словно ничего иного не требующими от нас, как только того, чтобы мы очерпнули их. Подобные темы и материалы не раз уж соблазняли поэтов и отвлекали их от проникновения в сущность вещей и разработки глубоко поэтического, находящегося также и там, где оно не prostitute себя или не является чем-то из ряда вон выходящим.

И снова я допустил ошибку. Собственно говоря, это была уже не ошибка, совершенная мною, — целая линия, которой я придерживался много лет, была основана на ошибке. Эта основополагающая ошибка состояла в том, что я без конца возвращался к своим прежним работам и подправлял их, вместо того чтобы сделать подлинное основательное исправление, написав новые работы и тем самым опровергнув старое. Правда, я и написал много новых работ и опроверг так же и таким способом старое, но я пытался опровергнуть это старое и тем, что поправлял его и пытался привести его в соответствие с моими сегодняшними взглядами. Эта попытка, думается мне, совершенно не удалась, и эта неудача свидетельствует и о другом, относящемся уже не только к литературной работе. Нельзя изменить свою жизнь, переделывая прошлое; ее можно изменить, только плодотворно идя вперед, преодолевая тем самым то ошибочное и неплототворное, что было в прошлом. Стало быть, мне нужно исправить свои стихотворные поправки и вернуть стихам их первоначальный вид. Само собою разумеется, при этом неизбежно приходится делать выборку из старого стихотворного материала, исключать устаревшее, но это исключение нельзя превращать в переписывание отдельных стихов и устранение из них всего устаревшего. Пусть останутся те стихи, которые как можно меньше содержат в себе устаревшее и характерны для прошлого, даже частично и для устаревшего. Так они отчетливо покажут нам, насколько далеко мы за это время ушли вперед и в каком направлении шло наше развитие. Сколько труда мне стоили эти переработки и переиздания, чтобы в конце концов прийти к выводу: я ошибся, не нужно было этого делать. Эту ошибку я не сам увидел, дру-

гие обратили мое внимание на нее. Хотя друзья твердили мне, когда я принимался за исправления, что это напрасная затея, а иные говорили даже о вандализме по отношению к собственным стихам, я не отступал. Я развил целую глубокомысленную теорию исправлений и ударился в такую крайность, что собрал в одно стихотворение целый сборник стихов, совершенно серьезно считая при том, что это и есть образцовый образец самокритики и работы над собой. И вот что окончательно раскрыло мне глаза на ошибку, совершаемую мною в течение многих лет. Меня пригласили участвовать в антологии, посвященной экспрессионизму; к приглашению был приложен список стихов, которые было бы желательно включить в антологию. Заново просматривая эти стихи, я обнаружил, что своими различными переработками я лишил их значительной части их специфического своеобразия, и живо представил себе их первоначальный вид. Он потряс меня, вместе с тем я установил, что очень многие из этих старых стихов содержат в себе мало оригинального — это были подражания, от которых можно смело отказаться и которых не спасти никакими искусными переработками. Но насколько более свежими, живыми, более новыми мне показались эти оригиналы по сравнению с теми устаревшими переработками, которыми я недавно так гордился. Старое превзошло новое, и то, что я считал новым, оказалось далеко позади первоначального старого, словно переработки были моими первыми эпигонскими попытками, после которых последовали оригинальные старые стихи.

Некоторые люди выступают против приукрашивания и фабрикации картонных фигур в литературе. Это похвально и даже смело — воистину, но возникает подозрение, что эти люди, выступающие против приукрашивания и фабрикации картонных фигур, хотят не реального изображения и воплощения человеческой и общественной жизни, а лишь квалифицированного приукрашивания и создания таких фигур, глядя на которые не сразу поймешь, что они картонные. Как раз во имя спасения приукрашивания и фабрикации картонных фигур эти люди выступают против того, чтобы слишком неуклюжие ремесленники не дискредитировали «принцип». «Мы желаем приукрашивания, которое было бы не слишком приукрашено. Мы желаем видеть картонные фигуры с живыми красками». Так думают некоторые люди, когда они выступают против приукрашивания и создания картонных фигур в литературе.

С самокритикой иногда получается, как с покаянием, — она становится каким-то ритуальным обрядом. Идут, самокритикуются, самобичуются — и инцидент исчерпывается. В таких случаях самокритика (как и покаяние) дает только тот результат, что она никаких результатов не дает, или же она все-таки дает один результат (ибо мы живем не в безрезультатном мире), а именно тот, что ее ритуальный характер, ее ритуальная бесхарактерность выступает еще сильнее, пока она постепенно не обретает гротескные, фарсовые черты и тем самым становится не только бесплодной, но и вредной по отношению к тому делу, которому должна была служить подлинная и искренняя самокритика.

Старое рядится под новое, чтобы его нельзя было выбить из его укрытий. (И контрреволюционное выдает себя за революционное.) Оно выставляет свой наряд напоказ: смотрите, как я ново, смотрите, как я современно! И оно бросает тень на подлинно новое, держась по отношению к нему так, будто именно оно и есть подлинно новое, и пуская в ход при этом особенно изощренные, хитроумные методы, чтобы заклеить подлинно новое как устаревшее и уничтожить его. Потому и нужно быть начеку, когда что-то новое поднимает вокруг себя слишком много шума и пытается утвердиться в качестве единственно правомерного.

Формализм отнюдь не такое простое дело, как это себе представляют некоторые борцы против формализма. В большинстве случаев против формализма борются формалистическими средствами: место формализма одного типа заступает формализм другого рода, а сам формализм как принцип продолжает жить. Шиллер однажды говорил, что формализм заключается в том, что форма поглощает содержание. Но форма — это форма содержания, и если в искусстве форма проявления оказывается проявлением сущности, то, думаем мы, речь в таком случае идет о совершенном творении искусства.

Если же содержание или форма становятся самостоятельными или содержание не соответствует форме, а форма — содержанию, отсюда возникает формалистическая манера, которая может выразиться как в самостоятельном существовании содержания, так и в самостоятельном существовании формы. Совсем не так просто избавиться от формализма в искусстве. Так, например, от него нельзя избавиться в архитектуре, пытаясь оживить совершенно безжизненные коробки гарниром из колонн, эркеров и башенок. Напротив, все эти завитушки делают коробку еще более громоздкой, а никак не придают ей грациозности. Создание архитектурного произведения ставит перед архитектором исключительные требования, и работа эта, чтобы быть удачной до самого конца, должна начинаться уже с чертежа. Лишь изредка мы видим такие произведения искусства, которые кажутся нам созданными единым порывом и изумительный облик которых неизгладим в нашей душе.

Некоторые люди выступают против приукрашивания, но под этим они подразумевают, как мы уже говорили, лишь такое приукрашивание, которое слишком сильно приукрашено и слишком легко опознается. Они хотели бы умеренного приукрашивания, тактичного, такого, что не выдавало бы его с первого взгляда. Так же обстоит и с борьбой против бесконфликтности. Наученные опытом, иные выступают против скуки, порождаемой бесконфликтностью в искусстве, и выступают против скуки потому, что она бездейственна и находит все меньше сбыта. Конфликт, таким образом, должен придать остроту и сделать для читателя блюдо более съедобным. Лишь для этого конфликт должен быть конфликтом, следовательно, это мнимый конфликт. Подлинного же конфликта опять-таки должно избегать, так как определенным людям он кажется слишком рискованным, что совершенно неверно, — напротив, подлинный конфликт наиболее убедительно свидетельствует о нашем мировоззренческом превосходстве, в то время как бесконфликтность или «эрзацконфликты» вызывают неприятное чувство и того, кто ищет подлинного художественного наслаждения, оставляют неудовлетворенным, вводят его в заблуждение, обескураживают.

Само собою разумеется, что и в поэтическом произведении ничто не должно «висеть в воздухе». Нужно постоянно, с железным терпением указывать на это, чтобы очистить поэзию от подобных пороков. В большинстве стихотворных произведений, в том числе и хороших, попадают такие темные пятна, которые не только вредят целому, но портят вкус читателя и постепенно лишают его возможности постигать сущность истинной поэзии. Критика должна конкретно заниматься и этой стороной поэзии, не забывая, что языковой огрех — одновременно и мыслительный, что особенно отчетливо выступает в стихах. Таким образом, «в воздухе» ничто не висит, если только поэт не оставляет умышленно что-нибудь «висеть в воздухе», но тогда читатель действительно должен видеть это «висящим в воздухе». Так может, например, в неподвижном ясно-синем летнем небе лежать облако, словно отдыхая, и мы видим его как лежащее отдыхающее тело. Но взгромоздившиеся облака уже не могут даже в момент покоя лежать в небе — они нависают, плывут, а грозовые тучи, если они не надвигаются грозно и не разверзаются, стоят, словно черная стена, в воздухе — тихо, еще неподвижно, — чтобы в любое мгновение обрушиться ураганом на землю.

Убедительный пример того, как форма поглощает содержание, пример формализма.

В одной пьесе верующие собрались в своем деревянном храме и заперлись там, хорошо зная, что они будут в своем святилище сожжены язычниками. Так оно и произошло. Деревянный храм был подожжен, и тут поднялся такой треск искр, такой грохот балок — в таком «реалистическом», технически безупречном выполнении, что изумленные зрители зааплодировали. Люди, погибшие при этом столь удавшемся фейерверке, были забыты, осталось лишь впечатление от иллюминации.

Противоположность этой ошибки тоже будет ошибкой, а именно, когда совсем отказываются от декораций или же декорации столь скудны, что никак не могут создать реалистическое представление. Не нужно ни задвигать их на задний план, ни выдвигать на самый передний — пусть они находятся там и будут выполнены так, чтобы они не вытеснили содержание, а выпятили его.

Чего мы желаем при чтении какой-нибудь книги? Мы хотим после чтения этой книги стать другими, чем были до чтения. Мы хотим преобразиться, обогатиться, мы хотим почувствовать, что выросли, поумнели, или, проще говоря, что книга нам что-то дала. Да, книга должна что-то дать. Книга может также дать что-то, лишая чего-то. Если она лишает нас предубеждений, она уже что-то дала нам, а именно — больше ясности, больше знаний, чем у нас было прежде. Есть книги, которые не только лишают нас чего-то, но и захватывают в такой степени, что мы чувствуем себя потрясенными и думаем — после этого мы уже не сможем больше жить или не сможем жить по-прежнему. Такие произведения переворачивают наши представления о людях, в которых мы твердо верили и которые, как мы думали, составляют неотъемлемую часть нашей жизни. Каждый писатель, каждый поэт, в котором жив дух поэзии, борется за такие воздействующие творения, и в той мере, в какой его стихи, его образы исполнены жизни, он сам подвергается этой силе воздействия, исходящей из его творчества. Жаль поэтов, чьи произведения оставляют нас неудовлетворенными. Жаль их еще и потому, что они наносят ущерб поэзии и обескураживают читателя в его попытках приобщиться к поэзии.

«Как мы сегодня работаем, так мы завтра будем жить!» — гласит лозунг, и он верен. Эту фразу можно варьировать таким образом: «Сегодняшние книги — наши завтрашние деяния», или: «Сегодняшняя школа — это наша завтрашняя судьба» и: «Преподавание родного языка, как оно ведется сегодня, повлияет на литературу, которая будет создана завтра». И потому дело писателя — обращать внимание на то, как преподается язык, консультировать власти по этому вопросу и способствовать мероприятиям, направленным на улучшение преподавания языка.

Мнение, связанное с нажимом, вряд ли способно вызвать контрмнение и дать толчок дискуссии. Если кто-нибудь, например, утверждает: кто не за этот роман, тот может быть только врагом, или же: кто не любит эти стихи, тот неисправимый законный формалист, — то есть если человек не в состоянии высказать свое мнение, не прибегая к угрозам, то ему вряд ли можно что-нибудь возразить, кроме того, что подобный способ выражения своего мнения противоречит «правилам игры» свободного обмена мнений и духовной полемики.

Вполне возможно, что в определенную эпоху поэзия как бы поглощается политикой, то есть политика преобладает над всеми науками и искусствами. Наука и искусство служат политике. Мы знаем в мировой истории такие периоды, и если мы изучим, в чем выражалось это служение искусства и науки, то убедимся, что совершенно неверно утверждать, будто при всех условиях примат политики наносил урон искусству и науке. Дело заключается в направлении политики, которой служат наука и искусство. Если речь идет о политике, имеющей своей целью развитие человеческого рода, то подчинение и служение ей лишь благотворно действуют на науку и искусство. Это подчинение есть правильная расстановка сил и ничего общего не имеет с нивелировкой. Искусство и наука лишь там подвергаются нивелировке, где их подминает под себя человеконенавистническая власть. Из правильной же расстановки сил искусство и науки выходят очищенными, укрепленными в своей собственной сущности, с возросшим самосознанием. От этого служения науки и искусства выигрывает сама политика, она настолько глубоко сближается с художественным и научным, что нужно говорить уже не о примате, а о «*primus inter pares*» — о «первом среди равных», если не о «равном среди равных». Только слабосильные художники живут в непрерывном страхе быть «поглощенными». Христианские художники средневековья не боялись, что церковь «поглотит» их. Это «поглощение» превратилось во взаимосвязь, породившую живущие в веках шедевры.

Дело обстоит не так, будто художественный метод в известной степени чужеродное тело, не имеющее ничего общего с жизнью того, кто его применяет. Исключение и сгущение, непрерывно производимые в процессе подлинного творчества, можно наблюдать и в отношении художника к жизни. Человек, не умеющий в жизни пользоваться приемом исключения и сгущения, вряд ли сумеет применить его в творчестве. Конечно,

здесь бывают и противоречия. Художник может быть в жизни расточительным, а в своем художественном творчестве экономным и расчетливым, и наоборот. Но в большинстве случаев можно быть уверенным, что где-нибудь в произведении все же обнаружится, распушен ли человек или же он дисциплинирован. Собранность в произведении искусства, выработанная в противоположность жизненному поведению художника, совсем иная, нежели та, что является результатом этого образа жизни. Я хочу сказать, что в последнем случае дисциплина в произведении искусства кажется естественной и убедительной, в то время как в первом случае она несет в себе нечто искусственное, судорожное.

В той мере, в какой *res politica* — дело политики — становится *res humana* — делом человека, она становится и *res poetica* — делом поэзии. Государство, которое очеловечивается, само принимает облик человеческого существа, коллективного существа, будет во все возрастающей степени принимать и поэтический облик, и язык искусств станет одним из средств и его выражения. Думающее государство, знающее государство, государство красоты — вот государство, к которому мы стремимся. Нашу свободу мы усматриваем в том, чтобы претворить в жизнь все, служащее на ступени царства Человека, построению человеческого государства. Все предшествующие поколения могли бы нам позавидовать, и мы счастливы тем, что это человеческое царство на земле для нас уже не нечто неопределяемое, не спекуляция и не утопия, а реально зримое, мечта, которая, ежечасно превосходя наши самые смелые грезы, осуществляется в нас и вокруг нас.

Речь шла о том, что нужно создавать все только самое лучшее. Первокласный роман, первокласный фильм, первокласный спектакль перевешивает дюжину посредственных, — к чему эта масса посредственности, если есть возможность донести до публики наилучшее? Подобная теория противоречит пониманию литературы как некоего «общества», объединяющего в себе не только самое лучшее, но и много посредственного и даже неудачного, — что ни в коем случае не означает, будто нас удовлетворяет посредственное или мы поощряем неудачное. Но и в литературе дело не обходится без издержек. За каждое гениальное достижение приходится платить большим количеством посредственного, так же как у каждого отдельного поэта первокласное соседствует с менее первокласным, а иногда и с довольно неудачным. Не учитывать этот характер литературы, это общественное явление в литературном творчестве — значит художественно ограничивать себя и тем самым, естественно, лишать себя возможности создания выдающихся произведений. Общественный характер литературы не только не отменяет рангового разграничения, но подчеркивает его, и равнение друг на друга ничего общего не имеет с уравнением всех и каждого, с отменой всех ценностей, — оно особенно выделяет ценное и признает его, в каждом его роде, для всех примером и образцом.

Если литература упускает из виду вновь образовавшиеся жанры и предоставляет их случайному развитию, она ограничивает себя и обрекает сама себя на бездейственность и бесплодность. В той мере, в какой она завоевывает все «новые области», становится все ближе к жизни, она остается живой и выполняет свою задачу века. Тот писатель, который воображает себя слишком «утонченным» и отгораживается от нового — как в тематическом, так и в жанровом плане, — тот погубит и убьет свои лучшие способности. Может статься, что попытки в том или ином новом жанре, овладение которым связано с исключительными трудностями, отпугнут того, кто быстро теряет мужество, и он отступит. Но отступление на старые позиции, которые литературно уже более или менее укреплены, означает капитуляцию перед новым и перед необходимостью постоянно обогащать, дополнять и углублять литературу, если она хочет оставаться живой.

Я прочел: «Новое общество стремится найти также и новые формы. Есть люди, которые при слове «форма» тотчас хмурят лоб и заявляют: «Суть не в форме, а в содержании». Содержание и форма органически взаимосвязаны, и развитие культуры требует, чтобы все люди, действительно заинтересованные в прогрессе, искали

вдохновения не только в библиотеках и музеях, но и в жизни. Рутинная, академизм, эпигонство, стилизация, слепое подражание старым, пусть и хорошим формам в наш век, когда общество преобразуется и приобщает к культуре все новые слои народа,— значительно опаснее, нежели самые смелые искания».

Я хотел бы этому возразить. Непреложно положение, что форма — это форма содержания, но если рассмотреть литературу в ее развитии и изменении образов, то обнаружится, что содержание не всегда в состоянии породить форму. Новое содержание может найти свое выражение как в старых формах, так и в новых. Часто бывает, что новое содержание использует старые формы, чтобы легче найти доступ к людям, чьи привычки еще коренятся в старом, а старое содержание прибегает к новым формам, чтобы замаскировать свою старость и устарелость и выдать себя за революционное. Вопрос так не стоит: или — или. Дело не в том, будто с одной стороны — рутинная, академизм, эпигонство, стилизация, слепое подражание, а с другой — смелые искания. Это спекулятивные крайности, которые в действительности встречаются лишь как исключения. Чаще же речь идет о том, что с одной стороны новое пользуется традиционными формами, обходясь при этом без рутинного академизма, эпигонства, стилизации, и с другой стороны — новое экспериментирует и стремится создать новые формы. И то и другое оправдано, и то и другое закономерно. Мы знаем выдающихся поэтов, смелейшие искания которых не касались области формального и которые формально не экспериментировали. Они показывали новое в совершенно понятной, несложной, простой, доступной форме и стали при этом настоящими глашатаями и певцами нового. Но мы знаем и таких поэтов, которые пытались заключить новое в новую форму и которым удалось при этом создать интересные и своеобразные творения. Мы хотели бы, таким образом, указать на положительную сторону как одного приема, так и другого,— не надо сталкивать их друг с другом и тем самым лишать себя и того и другого. В распоряжении нового — множество различных способов для того, чтобы возвестить об этом новом и претворить его в жизнь. Действительность также и в литературе гораздо богаче фантазий, «хитрее» абстрактных спекуляций и надуманных антагонизмов.

Есть произведения, которые на первый взгляд полны богатства, а в действительности — излишеств. В поэзии, как и в архитектуре, встречаются нагромождения, не только мешающие нам проникнуть в собственно поэтическую сущность стихотворения (если только она вообще имеется), но и производящие впечатление декоративного мусора, прикрывающего, может быть, нечто таинственно-волшебное. И когда мы убираем этот мусор, мы иногда видим, как навстречу нам зияет тривиальная пустота, иногда же под кучами мусора открывается золотоносная жила, уран. Как часто избыток сравнений, риторическая болтовня, чрезмерное количество ассоциаций заглушают поэтическую сущность и нередко приводят к тому, что вместе с мусором в ямы забвения выбрасываются и подлинные ценности.

Чаще речь идет не об ультимативном «или — или», а о «как — так и...» и о «с одной стороны — с другой стороны». Но мы все время склонны предаваться доктринерскому образу мышления и, например, если говорить о литературе, допускать существование только одного творческого направления, а именно — своего собственного. Но мы — ах, как часто мы забываем об этом! — живем не только в человеческом обществе, а и в литературном обществе, и мы не одни живем на свете — ни как люди, ни как художники.

Все зависит от пропорции — об этом уже много писалось, но очень часто забывается. Теоретически все можно изображать, в том числе и самое скверное и уродливое,— поскольку я как поэт имею возможность и силу уничтожить его. Но во многих случаях сила отказывает, и уродливое оказывается преобладающим моментом и остается нетронутым в своей основе. Чувство пропорции, знание своих возможностей в умении правильно распределять свет и тени — важные художнические качества, и тот, кто теряет это чувство пропорции и это, я сказал бы, калькуляторское умение правильно пользоваться методом распределения (являющегося составной частью художнического умения), тот будет блуждать, не имея точки опоры, в обществе и по свету и из-за своего неумения ориентироваться не создаст ничего значительного.

О мужестве художника

Нужно иметь мужество сказать то, что необходимо. И нужно иметь мужество не иметь мужества сказать то, что не необходимо. Мужество само по себе — бессмысленная абстракция, и только помешанный обладает таким мужеством. Мы мужественны постольку, поскольку то, что исторически необходимо, требует от нас мужества, и мы достаточно мужественны, чтобы отважиться на это. Но вот какого мужества у нас нет и какого мы и не хотим — это мужества заниматься совершенно бесконтрольной, анархической болтовней. Такое мужество мы предоставляем всем тем, кто достаточно безответствен для того, чтобы иметь сие печальное мужество.

Также и у нас есть «серый кардинал», и этот «серый кардинал», такой властный, назойливый и вмешивающийся во все дела, называется «Скука». Как мы можем избавиться от нее? Какими средствами мы можем устранить это своего рода «побочное правительство»? Что составляет ее силу? Мы недостаточно изобретательны, чтобы вытеснить ее, мы так бедны фантазией, что считаем: не так уж важно выступить против ее вредного влияния. Какое заблуждение! Ее зевота заражает и нас, мы сами начинаем зевать и показываем тем самым, что «серый кардинал» завладел и нами. Если уж говорить о бдительности, то нужно быть бдительными и по отношению к этому «серому кардиналу», к скуке, ибо она враждебна жизни, она — спутница тления, смерти. Ведь жизнь — это нечто интересное, забавное, высокодраматичное, это напряженное действие, богатое переменами, полное страдания и радости, это горькая боль, ликующее счастье, поражение, взлет и триумф. А скука: жизненная глушь, жизненная пустыня, серая, бесконечная дорога без надежд, монотонное повторение одного и того же, *circulus vitiosus* — порочный круг, возврат все того же, неподвижная, застойная вода жизни, ее тление... (являющееся вместе с тем частью жизни!).

Для современного искусства характерен отказ от детали. Многие художники, если не большинство их, были прямо-таки одержимы стремлением опустить деталь и открыть целое без деталей. Но это бездетальное целое оказывалось не целым, а абстракцией. Возможно, это стремление было своего рода протестом против «засилия деталей», которое, со своей стороны, старалось оторвать деталь от целого и представить деталь как таковую. Но так же, как целое не бывает без деталей, так и деталь не может существовать без целого. Каждая деталь — всегда деталь целого, как каждое целое — целое вместе со своими деталями. Правда, целое не состоит из деталей, то есть оно не сумма деталей, и нельзя создать целое, суммируя детали и нанизывая одну деталь на другую, но все же, чтобы создать целое, нужны и детали. Однако, делая детали самостоятельными и не умея подчинить их целому, художник лишается возможности воздействовать деталями. Кроме того, мне кажется, пренебрежение деталью — проблема не только художественная, но и мировоззренческая. Не обращать внимания на деталь и показывать большее в общем и целом, не давая ему тем самым воплотиться в образ, — значит противоречить не только художественной закономерности, но и гуманистическому принципу. Взаимозависимость всех элементов, глубокая человеческая связь одного с другим должны оживать и в художественном произведении, но уравниловке при этом нет места. Художник должен систематизировать, выбирать и воздавать каждому свое по чину и по заслугам, как то положено ему в данном произведении искусства.

Быть пессимистом — современно и легко, сказано где-то, и это можно только слегка изменить: модно и слишком легко. Пессимизм ни к чему не обязывает — он предвосхищает и учитывает все самое плохое. Всякий риск кажется исключенным, человек подготовлен ко всему и ко всякому, ничто не может с ним случиться. Но пессимист слишком труслив для того, чтобы быть пессимистом по отношению к самому себе или чтобы применить пессимизм к самому пессимизму. В таких случаях он поднялся бы над пессимизмом и смог бы противостоять ему. Но таких выводов он трусливо, как и положено пессимисту, избегает. Это удобно, слишком удобно — ни за что не быть ответственным и отступать на подобную мнимо нейтральную, возвышенную, парящую над всем позицию. В пессимисте скрывается мещанин, все участие которого в

мировой истории сводится к ехидничанию. Пессимизм ничего общего не имеет с подлинным человеческим отчаянием, которое может нас поднять, ибо оно свидетельствует о глубоком человеческом чувстве. Пессимизм не имеет ничего общего ни с печалью, ни со страданием,— это душевное состояние, которому предаются прежде всего те, кто слишком ленив и слишком труслив, чтобы вступить с другими людьми в человеческое общение и таким образом участвовать в событиях времени. Пессимиста нужно всюду, где только ни встретишь его, разоблачать и показывать таким, каков он в действительности: ехидный, злобный мешанин, любящий превыше всего на свете свою лень и удобства и ничто так не ненавидящий, как необходимость хорошенько поработать. В литературе пессимизм тоже не что иное, как мешанство, а в том случае, когда автор возводит его до нигилизма, он превращается в лютое мешанство. Не нужно пугаться трагически-гротескных вывертов подобных лютых литературных мешан и бояться раскрыть суть этих кривляний, часто приводящих в бешенство и являющихся не чем иным, как последними судорогами пораженного насмерть подлого мешанства.

О будущем может говорить только тот, у кого оно есть, и только у того есть будущее, кто в состоянии увидеть то, что обычно называют перспективой, а она в свою очередь является результатом мировоззрения. Отсутствие перспективы в известном смысле тоже является перспективой — негативной. Но обыкновенно о перспективе говорят лишь как о позитивной. Тот, кто придерживается мировоззрения, которому принадлежит будущее, тот может говорить о будущем, тот имеет перспективу, тот может с надеждой глядеть в будущее, даже если временами его взгляд затуманивается и заволакивается тучами. Но что такое писатель без перспективы, произведение без концепции? Распадаются даже детали, ибо и детали требуют определенного порядка, систематизации. Что же остается? Неорганичное нагромождение, хаос ассоциаций, погружение в Ничто. Человек, довольный общественной системой, не имеющей перспективы, тоже иногда может заглянуть вперед, но не дальше своего носа. А затем — неуверенность, безнадежность, мрак. Потому и пишут столько книг «ради дня», вернее — от одного дня к другому, так же как и живут. Но можно ли писать ради дня, если не пишут ради столетия, и можно ли опять-таки писать ради столетия, если день не наполнен тем, что связывает его с днями тысячелетия? Во всяком случае: перспектива это не то, что поднимается все выше и выше, дабы упереться в розово-красное мишурное небо. Бесперывный подъем бесперспективен — при этом низвергаются обратно. Перспектива требует трудного подъема с обходными маневрами, с отступлениями, с потерями и срывами, с ошибками и заблуждениями, с балансированием на краю пропасти, с переходами через ледники, с терпеливым выжидаанием в скалистых лабиринтах. Такая перспектива стоит того. Такая перспектива стоит страданий и труда, стоит, чтобы мы жертвовали собой ради нее, ибо только такая перспектива открывает новую перспективу, увидеть и овладеть которой дано уже тем, кто придет после нас.

Можно потеряться в детали так же, как можно потеряться «в общем и целом», и только тогда можно уберечь себя как в детали, так и в общем и целом, когда удастся воплотить деталь как деталь общего и целого и так изобразить общее и целое, чтобы оно содержалось и в детали. «Бог виден также и в малом», — говорят, но бог виден также и в общем и целом — следовало бы добавить, и эта взаимозависимость определяет не только художественную значимость, но и значение человеческой личности. Точность до мелочей — этим отличается крупная личность от всех тех, кто пренебрегает малым или же хотел бы переступить через малое как через мелочь (мелочность). (Это относится и к пунктуальности. Непунктуальный человек, пренебрегающий временем других людей, в то же время пренебрегает и самими людьми, ибо время создал человек, или человечество, и нужно уважать этот жизненный закон и считаться с ним, дабы вместе с временем нам не потерять вечность.) Но малое мстит за себя, возвращаясь к нам в общем и целом, — оно бросается там в глаза в качестве «пустого места», обезобразившая общее целое пятнами. И наоборот: не тот мелочен, кто обращает внимание на мелочи, а тот, кто пренебрегает ими и благодаря этой своей мелочности терпит неудачу при изображении общего и целого. Во всех шедеврах мы можем увидеть, какой прямо-таки задушевной любовью окружена деталь, выступающая как равная по

отношению даже к центральной фигуре. Зрелая человечность художника часто проявляется именно в его обращении с деталью, и часто в детали обнаруживается какая-нибудь особенная черта, присущая общему и целому и раскрывающая его более глубокий смысл. Лишь известная модная живопись своей грубо-убойной манерой письма зачеркнула деталь, но тем самым она испортила и общее и целое, лишив его собственно человеческой атмосферы. Так оно и бывает — кто не обращает внимания на малое, тот теряет и большое, причем, как мы уже заметили вначале, детализирование само по себе не соответствует сущности детали и низводит ее до безжизненной декорации.

О, научись думать сердцем
И научись чувствовать разумом.

В этих словах Теодор Фонтане выразил то, что мы должны требовать от художника, если он хочет в одинаковой мере тронуть и наш разум и наше сердце, ибо это «в одинаковой мере» есть то, что столь чудесно удавалось всем выдающимся художникам и в чем они являлись образцом цельного человека. Тот же, чей разум действует за счет чувства и чье чувство проявляется за счет разума, всегда производит впечатление человека, выбитого из колеи, человека с неуверенной походкой, перекошенного, за ним следуют неохотно — как за человеком, так и за художником, — так как мы не испытываем к нему доверия, сомневаемся, знает ли он хорошую дорогу. И если он не уверен в своей дороге, признается ли он в этом откровенно? Когда же разум и чувство едины и все время сливаются воедино, тогда пускай они хоть разделяются и временами перестают быть едиными, — в таком постоянно образующемся единстве человек всегда целен, и в нас самих это единство постоянно восстанавливается и проявляется в отношении к такому цельному человеку.

Неверно разработанный в драме образ нельзя исправить тем, чтобы отлично сыграть его, — напротив, отличная игра лишь сильнее подчеркивает неправильность замысла и особенно отчетливо показывает, сколь неудачен и хил образ. И плохое стихотворение не может быть «поднято» блестящим исполнением. Наоборот, неудавшийся поэтический плод именно при этом выступает во всей своей плачевной беспомощности. И так оно бывает не только в литературе, искусстве, но и повсюду в жизни. Иные, правда, и ошибутся, дадут себя ослепить «красивой видимостью» и потому не смогут рассмотреть сущность вещей, но и они в один прекрасный день научатся различать сущность и видимость и распознавать мизерное во всей его мизерности даже и тогда, когда оно прячется за ослепляющей оболочкой.

Есть определенные люди, которые только и знают, что требовать свободу личности и указывать на необходимость самостоятельного мышления. Но в тот момент, когда кто-нибудь настолько свободен, чтобы высказать собственное мнение, они объявляют, что не так нужно понимать требование свободы мнений и свобода личности заключается совсем не в такой свободе, чтобы иметь мнение, в корне отличающееся от мнения, которого придерживаются они, эти определенные люди. Таким образом, речь всегда идет о такой свободе, которую я имею в виду. Но подлинная свобода отличается от такой свободы тем, что она допускает не только свободу, которую я имею в виду, но и ту, которую не имеют в виду. Но подлинная свобода мнений отличается от той свободы мнений и той свободы личности, которая провозглашается столь высокопарно и в то же время пустословно, прежде всего тем, что ей присуща ответственность. Подлинно свободен тот, кто постоянно стремится привести самого себя, свою личность, свои думы и дела в соответствие с тем, что исторически необходимо, и кто старается выйти за рамки своего частного бытия и стать человеком, в котором постоянно осуществляется процесс отождествления субъекта и объекта. Это не та свобода, которую мы имеем в виду, это и не та свобода, которую имеют в виду, когда говорят о свободе, — это свобода, как она есть и какой она не может не быть. Выполнять ее закон — вот чего прежде всего требует наша человеческая сущность.

Некоторые поэты считают, что они не восприимчивы к бюрократизму и бюрократ — их «природный» враг. Но это не так. Поэт так же мало не восприимчив к бюрократизму, как и к мешанству, — иные даже совсем не незначительные поэты несут в себе

довольно изрядную долю его. Даже богема, которая с улыбкой смотрит свысока на бюрократизм и мещанство, отнюдь не есть их противоположность — она другая сторона их. Нужно задаться вопросом, не превращаем ли и мы в своих произведениях людей в «дела» и не походит ли иное из наших произведений на подшивку дел? И чем же иным является поэт, превращающий людей в «дела», как не бюрократом, и чем иным, как не мещанином, является поэт, если он не борется неотступно за преодоление устаревшего и освобождение от предрассудков и суеверий всякого рода? Бюрократизм и мещанство присущи не какой-либо определенной профессии. Мы находим их повсюду. Это человеческий порок, болезнь, не останавливающаяся ни перед какими классами, и наиболее подверженными ей оказываются как раз те, кто хвастает своим иммунитетом против нее.

Процесс творчества — это не что иное, как трудовой процесс. Мир был сотворен трудом. Он держится трудом. Его изменяет труд. То же относится и к искусству. Когда художник забывает, что он прежде всего и главным образом трудящийся, тогда он не постиг своей профессии, а то и отказался от нее, отрекся от своего призвания. Мы должны все время помнить, что мир, в том числе и мир искусства, создан трудом и, если мы хотим усовершенствовать его, в том числе и мир природы, нам ничего иного не остается, кроме как трудиться. (Христианство упустило почтить бога, творца миров, как первого трудящегося на свете, как бога труда и тем самым освятить самый труд, объявить его священным и молиться ему.)

Надо настойчиво напоминать о том, как страстно Ленин выступал против литературы, которая выдает себя за литературу для рабочих и удовлетворяется требованием создавать производственные репортажи, фабричные романы. Ленин пишет: «Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, то вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология». И в сноске: «Это не значит, конечно, что рабочие не участвуют в этой выработке. Но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Вейтлингов, участвуют, другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удастся овладеть знанием своего века и двигать вперед это знание. А чтобы рабочим чаще удавалось это, для этого необходимо как можно больше заботиться о повышении уровня сознательности рабочих вообще, для этого необходимо, чтобы рабочие не замыкались в искусственно суженные рамки «литературы для рабочих», а учились бы овладевать все больше и больше общей литературой. Вернее даже было бы сказать вместо «замыкались» — были замыкаемы, потому что рабочие-то сами читают и хотят читать все, что пишут и для интеллигенции, и только некоторые (плохие) интеллигенты думают, что «для рабочих» достаточно рассказывать о фабричных порядках и пережевывать давно известное». Но этим самым Ленин отнюдь не выступал против того, чтобы литература завоевывала «новые области», осваивала новую действительность, изображая труд и выдвигая изображение героизма трудящегося человека и рабочего движения в качестве нового требования. Такое требование заключено во всех трудах Ленина.

«История — процесс горения», — сказано у Новалиса; то же самое и жизнь каждого человека. Какой поэт не может сказать о себе, показывая на свои ожоги: «Пепел горит в моем сердце!» Но из пепла возрождаются поколения, возрождаются времена и миры, и из пепла костров взлетают песни и гимны, — как повествует сказание, как учит история и как оно есть на самом деле.

Перевела с немецкого Е. Кацева.



ПУБЛИЦИСТИКА

Я. ИОФФЕ

★

РЕШАЮЩИЙ ЭТАП

1

В конечном счете прогрессивность любого общественного строя определяется тем, в какой мере он обеспечивает повышение жизненного уровня народа. А это зависит от уровня и темпов производства и системы распределения материальных благ, которую определяет классовая структура общества.

Опираясь на превосходство социальной системы, наша страна развивает свое народное хозяйство такими темпами, которые являются совершенно немислимыми для любой капиталистической страны в любой период ее существования. Это позволяет решить основную экономическую задачу СССР в кратчайший срок, с тем чтобы достигнуть уровня производства продукции на душу населения более высокого, чем в наиболее развитых капиталистических странах.

Содержание этой задачи СССР целиком определяется нашей целью — построение коммунизма. Для того чтобы общество могло перейти к осуществлению принципа: от каждого по его способностям, каждому по его потребностям, — надо измерять движение общества вперед не только размерами производства в целом, но и уровнем производства на душу населения. Советское государство стремится обеспечить своему народу уровень жизни более высокий, чем в других странах, а для этого надо производить на душу населения больше материальных благ, чем где бы то ни было.

В главной, самой богатой капиталистической стране — Америке — сейчас сосредоточено около половины промышленного производства капиталистического мира. А так как численность населения СССР процентов на 18—20 превышает численность американского населения, то для того, чтобы превзойти США по размерам промышленного и сельскохозяйственного производства на душу населения, надо настолько же превзойти общий объем производства этой страны.

Такая колоссальная задача, конечно, не могла решаться разом; для ее решения требовалось пройти ряд этапов. Прежде всего нужно было догнать и превзойти уровень промышленного производства капиталистических стран Европы в целом. Это сделано. В настоящее время мы производим промышленной продукции больше, чем Англия и ФРГ — крупнейшие индустриальные страны Европы, вместе взятые. Больше, чем они, СССР вырабатывает электроэнергию, угля, железной руды, чугуна, стали, цемента, деловой древесины, хлопчатобумажных тканей, обуви, сахара, зерна, мяса, молока, яиц и так далее. В то же время резко сократилось расстояние, отделяющее нашу страну от США по уровню промышленного производства. Еще в 1953 году этот уровень был в три раза ниже, чем в США. В 1958 году Америка превосходит нас по объему промышленного производства меньше чем в два раза, сельскохозяйственного производства — примерно на треть.

В последние годы СССР превзошел США не только по темпам роста, но и по размерам среднегодового абсолютного прироста многих видов продукции, в том числе угля, нефти, железной руды, чугуна, стали, цемента. Для сроков решения основной экономической задачи это очень важно.

Советский Союз сейчас вступил в решающий этап выполнения своей основной экономической задачи. В 1965 году по производству промышленной продукции на душу

населения мы выйдем на первое место в Европе. Понадобится после этого примерно еще пять лет, чтобы превзойти и США по этому показателю и тем самым завершить решение основной экономической задачи СССР.

Вот эти расчеты. В 1958 году промышленное производство СССР составило 53—55 процентов к уровню США. В предстоящем семилетии оно должно вырасти на 80 процентов, то есть составит около 100 процентов к современному уровню США. Если исходить из того, что промышленность США будет в этот период расти теми же темпами, что на протяжении последних семи-восьми лет, то Советскому Союзу потребуется еще два-три года, чтобы превзойти уровень промышленного производства США в целом, с учетом его возможного роста, и около пяти лет, чтобы догнать и перегнать уровень промышленного производства США на душу населения.

Объем сельскохозяйственного производства СССР составляет в настоящее время около трех четвертей уровня США. За 1959—1965 годы он должен увеличиться на 70 процентов и составит 120—130 процентов к нынешнему уровню США. Продукция сельского хозяйства Америки увеличивается в среднем за год на один процент; нет никаких оснований ожидать, что этот темп возрастет, следовательно, совершенно реальной является задача догнать США в 1965 году, а перегнать в 1966 или 1967 году.

Таким образом, подсчеты говорят, что 1970 год — вот тот год, когда США будут вынуждены уступить первое место в мире по уровню экономического развития первой в истории человечества социалистической стране — Советскому Союзу.

2

Решение основной экономической задачи СССР отнюдь не означает, что наша страна стремится превзойти уровень душевого производства США по всем видам промышленного и сельскохозяйственного производства или производить каждого вида продукции больше, чем в любой другой стране.

Прежде всего надо сказать, что США вовсе не занимают первое место в мире по уровню производства на душу населения всех видов продукции. Уже сейчас СССР производит на душу населения больше, чем США, хромовой и марганцевой руды, асбеста, никеля, электровозов, зерновых комбайнов, шерстяных тканей, сахара, пшеницы, ржи, ячменя, льна, картофеля, сахарной свеклы, шерсти. США производят на душу населения: электроэнергию меньше, чем Канада и Норвегия; чугуна и стали меньше, чем Бельгия и Люксембург; угля меньше, чем Чехословакия, Польша, ГДР, Бельгия, ФРГ, Англия; цемента меньше, чем ФРГ и Бельгия; масла животного меньше, чем Швеция, ФРГ, Голландия, Франция, Бельгия, Дания; зерна меньше, чем Канада; нефти меньше, чем Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Ирак и так далее.

Но, отставая от других стран по уровню производства отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу населения, Америка превосходит все капиталистические страны по многообразию имеющихся у нее отраслей, по уровню производства на душу населения продукции тяжелой промышленности в целом, по душевому производству предметов потребления.

Советский Союз не имеет в виду выйти на первое место в мире по производству всех видов изделий. Мы не собираемся догонять душевое производство Кувейта по нефти, Швейцарии по часам, Португалии по вину, Люксембурга по стали, Греции по морской губке. СССР создает такую структуру промышленности и сельского хозяйства, которая целиком отвечала бы интересам народа, интересам построения коммунистического общества.

Но для этого необходимо создать такую экономику, которая превзошла бы другие страны по уровню техники, по уровню производительности общественного труда, по развитию тех отраслей тяжелой промышленности, объем и структура которых сегодня определяют технический уклад страны, ее экономический и военный потенциалы. Поэтому важнейшей частью плана на предстоящее семилетие — плана решения основной экономической задачи СССР — является всемерное развитие тяжелой промышленности, с тем чтобы прежде всего догнать передовые капиталистические страны по уровню душевого производства средств производства.

Надо сказать, что уже сейчас удельный вес производства средств производства в продукции советской промышленности выше, чем в США, Англии, ФРГ, Франции. Это свидетельствует о том, что в СССР создается более передовой по отраслевой структуре тип промышленности, обеспечивающий материально-производственные предпосылки высоких темпов роста всего народного хозяйства и тем самым и потребления.

Семилетний план продолжает линию предыдущих перспективных планов на преимущественное развитие тяжелой промышленности. В результате этого СССР догонит США прежде всего по уровню производства средств производства как в целом, так и на душу населения, а затем уже по объему производства всей промышленности.

В советские годы выработка электрической энергии в нашей стране выросла в 120 раз — с 1,94 миллиарда киловатт-часов в 1913 году до 233 миллиардов киловатт-часов в 1958 году. Выработку электроэнергии намечено увеличить за семилетие более чем в два раза, в то время как валовая продукция всей промышленности возрастет примерно на 80 процентов. Такое увеличение производства электроэнергии позволит сделать решающий шаг в осуществлении ленинского завета о проведении сплошной электрификации страны. Будут электрифицированы все города, поселки, колхозы, совхозы, РТС; протяженность электрифицированных железных дорог составит около 30 тысяч километров, что в шесть раз выше, чем в Америке. По производству электроэнергии на душу населения СССР превзойдет Францию, Англию и ФРГ.

Начиная с 1899 года, США неизменно занимали первое место в мире по добыче угля. В 1958 году СССР обогнал США и занял первое место в мире по добыче угля. В настоящее время наша страна занимает третье место в мировой добыче нефти. К концу семилетия мы перегоним Венесуэлу и займем второе место в мире, после США.

В 1965 году Советский Союз прочно займет первое место в мире по добыче железной руды. Выплавка стали — эта основа основ современной экономики — должна будет составить к этому времени 86—91 миллион тонн. Это значительно больше, чем ныне выплавляют Англия, ФРГ, Франция, Бельгия, Италия, Япония, Канада, вместе взятые. В США выплавка стали составляет сейчас около 77 миллионов тонн; это значительно ниже высшей точки для этой страны, отмеченной в 1955 году, — 106 миллионов тонн. Трудно сказать, какого уровня по выплавке стали достигнут американцы в 1965 году, но одно несомненно: по этому решающему показателю экономической мощи любой страны СССР вплотную подойдет к уровню США.

Семилетний план предусматривает особенно высокие темпы развития цветной металлургии и прежде всего выпуска алюминия. По многообразию производства цветных и редких металлов наша страна находится в более благоприятных условиях, чем США, где в связи с недостаточностью природных богатств многих руд (никелевых, хромовых, марганцевых, вольфрамовых и так далее) выплавка ряда важнейших цветных металлов либо отсутствует, либо в очень малой степени покрывает потребности страны. У нас разведанные ресурсы создали возможность производить всю гамму цветных и редких металлов, а также редких земель, играющих все большую роль в современной технике. Особенное значение имеет увеличение за семилетие в 14 раз производства алмазов. Это позволит широко применять технические алмазы в машиностроении, на геологоразведочных и горных работах.

Машиностроение — основа индустриального развития и технического прогресса. В дореволюционное время Россия была оснащена современными орудиями производства вчетверо хуже Англии, впятеро хуже Германии, вдесятеро хуже Америки. Ныне в СССР создано мощное машиностроение. Достаточно сказать, что валовая продукция машиностроения и металлообработки более чем в 200 раз превысила уровень 1913 года. Теперь по общему объему продукции этой важнейшей отрасли промышленности мы занимаем первое место в Европе и второе в мире.

Выпуск продукции машиностроения за семилетие должен возрасти примерно вдвое. Это превышает темп роста всей нашей промышленности. По производству машин СССР в 1965 году превзойдет современный уровень США. Мы будем производить тепловозов, электровозов, тракторов, комбайнов, турбин, генераторов, металлорежущих станков, разных видов металлургического и химического оборудования больше, чем сейчас производят американцы.

Бурными темпами развивается в СССР химическая промышленность, которая сегодня в значительной мере определяет технический уровень экономики. По сравнению с 1913 годом производство этой отрасли народного хозяйства возросло в 125 с лишним раз. В настоящее время Советский Союз по выпуску химической продукции занимает второе место в мире. За семилетие намечено построить заново или закончить строительством более 140 крупнейших химических предприятий и полностью реконструировать свыше 130 заводов. Особенно быстрыми темпами должно расти производство синтетических волокон, пластических материалов, синтетических смол. Значительно расширяется ассортимент химической продукции.

3

Сопоставление уровня душевого производства продукции тяжелой промышленности в СССР и в США является совершенно необходимым, ибо это дает возможность установить, в какой мере решается задача превзойти Америку по таким позициям, которые определяют экономическую мощь любой страны и ее технический уклад.

Иное дело производство предметов потребления. Американский уровень производства на душу населения тканей, обуви, продуктов питания, предметов домашнего обихода не может служить ни основой плановых заданий, ни мерилom решения основной экономической задачи СССР. Здесь надо исходить из нашего, советского понимания, каковы должны быть условия труда, быта, отдыха людей — населения страны, вступившей в полосу развернутого коммунистического наступления.

Бесспорно, что каждая семья должна иметь квартиру со всеми удобствами — с ванной, центральным отоплением, канализацией, газовой плитой и тому подобным. Но обязательно ли каждой семье иметь, скажем, полотер, стиральную машину? Не будет ли более целесообразным, с точки зрения сбережения общественных и личных средств, расширить сеть прачечных, создать при домоуправлениях пункты проката предметов домашнего обихода? Ведь ясно, что при таком методе использования этих вещей удастся обслужить значительно больше семей.

Парк легковых автомобилей составляет сейчас в США около 60 миллионов единиц. Чтобы иметь столько же машин на сто душ населения, как в США, нам надо иметь автомобильный парк в 72 миллиона единиц. В США, по данным обследований, средний пробег легкового автомобиля составляет около 13—14 тысяч километров в год, или 40 километров в день. В подавляющем большинстве — 85 процентов — это поездки на работу и обратно. Но если суточный пробег автомобиля составляет 40 километров, это значит, что машина занята в среднем около 40 минут в сутки, то есть 2—3 процента всего времени. Очевидно, обществу выгоднее создать мощный парк такси, до предела удешевить проезд на них и таким образом полностью удовлетворить потребности населения в автотранспорте.

Все это говорит о том, что нашим экономистам есть над чем поразмыслить, причем не откладывая дела в долгий ящик. А широкое обсуждение этой темы общественностью, на наш взгляд, уже назрело.

Движение к коммунизму — это не только движение к изобилию всех предметов потребления, но и повседневное воспитание коллективизма в быту, на работе; это постепенное устранение различий между трудом умственным и физическим, между городом и деревней; это переход к коммунистическому равенству.

Одной из важных и сложных проблем, которую сейчас решает советское общество, является проблема низкооплачиваемых.

В СССР имеется несколько миллионов людей, чья заработная плата ниже средней. Это люди неквалифицированного труда — подсобники, сторожа, уборщицы, санитарки и тому подобное. К ним следовало бы отнести тех, кто получает среднюю заработную плату, но имеет большую семью.

Для улучшения положения низкооплачиваемых у нас делается очень много, несравненно больше, чем в любой буржуазной стране, — они освобождены от налогов, оплачивают квартиру по минимальным ставкам, получают бесплатно путевки в санатории и дома отдыха, их дети пользуются преимущественным правом при приеме в школы-интернаты, на получение стипендий в вузах и так далее. Однако все это не

может радикально решить проблему. Основным путем повышения жизненного уровня низкооплачиваемых является механизация производственных процессов. Рабочий при машине — это уже квалифицированный рабочий. Другой путь — повышение минимума заработной платы. Такое мероприятие было осуществлено после XX съезда партии. По семилетнему плану средняя заработная плата увеличивается по стране на 26 процентов, а минимальный размер зарплаты повышается на 70—80 процентов.

Снижение цен в этих условиях привело бы к уравнительному повышению доходов всех слоев населения. Если бы цены были снижены, например, на 10 процентов, то получающий 3 тысячи рублей имел бы дополнительный доход в 300 рублей, а получающий 600 рублей — 60 рублей. Но партия и правительство считают, что эти 300 рублей следует разделить между теми, кто получает меньшую зарплату. И это правильный путь, который поддерживает весь народ.

Проводимые партией меры по повышению минимума заработной платы не имеют ничего общего с уравниловкой. Семилетний план предусматривает более глубокое внедрение принципа материальной заинтересованности всех трудящихся в росте общественного производства. Этому подчинена, в частности, проводимая сейчас большая работа по упорядочению заработной платы и по совершенствованию форм оплаты труда в колхозах.

Материальные человеческие потребности схематически могут быть сведены в следующие категории: потребность в питании, в одежде и обуви, в жилищах и предметах домашнего обихода.

При определении необходимого уровня производства продуктов питания надо исходить из того, чтобы пищевая промышленность и сельское хозяйство производили продукты в соответствии с научно обоснованными нормами питания. Последние должны учитывать как требования современной науки, так и сложившиеся национальные и исторические традиции.

По данным ООН, в настоящее время 59 процентов населения земного шара живет впроголодь. И это в условиях огромной власти человека над силами природы, которая дает возможность завалить, в буквальном смысле этого слова, население Земли продуктами питания. К. А. Тимирязев как-то заметил, что если бы численность населения земного шара возросла настолько, что не хватит земли для заселения и человеку останется жить на плотках в океанских просторах, то и тогда наша земля окажется достаточно богатой, чтобы прокормить всех. Это было сказано десятки лет назад. Ныне мировая агротехника добилась исключительных побед. И если до сих пор проблема питания человечества не решена, если и сейчас еще миллионы людей никогда не испытали чувства сытости, то в этом виноват капитализм.

Капиталистическая система существует несколько столетий, однако до настоящего времени механизация труда в сельском хозяйстве коснулась лишь США, Канады, Западной Европы. Но ведь в этих странах проживает меньше десятой части мирового крестьянства, основная же масса крестьян, проживающая в Азии и Африке, обрабатывает землю, как сотни лет назад. Отсюда ужасающая нищета, низкая производительность труда, ничтожные доходы, львиная часть которых вдобавок ко всему исчезает в карманах местной и иностранной буржуазии.

В Советском Союзе проблема питания решена в том смысле, что количество калорий, приходящееся на каждого жителя страны, совершенно достаточно для жизни. Данные бюджетных обследований показывают, что количество и качество питания советских людей резко повысилось по сравнению с довоенным временем, не говоря уже о дореволюционной поре. Однако состав пищи еще далек от научно обоснованных норм. Контрольные цифры развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы впервые в истории человечества включают задания по перестройке питания огромного массива людей в двести с лишним миллионов человек в соответствии с последними достижениями науки — задача, грандиозная по своему размаху и историческому значению!

В предстоящем семилетии необходимо резко снизить нормы потребления хлеба и картофеля в стране. И не потому, что их не хватает. В силу ряда исторических традиций и причин потребление хлеба и картофеля в СССР и в дальнейшем будет выше,

чем в США, где оно составляет 180 граммов хлеба и 120 граммов картофеля в день. Дело тут в другом.

Сокращение потребления хлеба и картофеля должно быть возмещено значительным увеличением потребления мяса. Сам по себе уровень потребления мяса не является показателем богатства страны. Меньше всего потребляется мяса в Индии (один килограмм в год на душу населения), что в значительной мере связано с религиозными верованиями индийцев, и в Японии (два килограмма), в которой очень высоко потребление рыбы. Больше всего потребляется мяса в Уругвае — 130 килограммов на душу населения и в Аргентине — 110 килограммов. В США душевое потребление мяса сейчас составляет 94 килограмма. В странах Западной Европы оно весьма колеблется: от 30 килограммов в Финляндии и 35 в Норвегии до 50 в Швеции, 67 в Англии и 80 килограммов во Франции.

В СССР в среднем на человека потребление мяса составляет 38 килограммов, а в 1965 году оно возрастет до 71 килограмма. Для того чтобы догнать США по производству мяса на душу населения, нам нужно довести его валовой выход до 20—21 миллиона тонн. Контрольными цифрами предусматривается произвести в 1965 году 16 миллионов тонн. Однако, как указывал Н. С. Хрущев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС, «не заверстывая в качестве общегосударственного задания цифру 20—21 миллион тонн мяса, чтобы не перенапрягать план, вместе с тем не следует сдерживать, а, наоборот, надо поощрять инициативу передовых людей, развернувших движение за то, чтобы в короткий срок догнать США по производству мяса и других продуктов животноводства на душу населения. Если в это движение включатся все колхозы и совхозы, а партийные организации умело возглавят его, то плановые задания могут быть значительно перевыполнены, и тем самым будет осуществлен призыв передовых людей нашего сельского хозяйства — догнать Соединенные Штаты Америки по производству животноводческой продукции на душу населения».

Что касается потребления рыбы на душу населения, то в 1965 году оно достигнет у нас 20 килограммов — это значительно выше нынешней американской нормы.

По мнению специалистов, молоко является наиболее ценным видом питания. Душевое потребление молока советскими людьми в 1965 году должно превысить 450 килограммов в год, что значительно выше, чем во Франции (298), Англии (360) и США (330).

Производство сахара в СССР в 1958 году составило 26 килограммов на душу в год. Но с точки зрения научно обоснованных норм этого недостаточно — человеку нужно сахара около 40 килограммов в год. К концу семилетки производство сахара у нас составит 41—44 килограмма — примерно столько же, сколько сейчас в США.

Потребление овощей в семилетии возрастет до уровня, предусмотренного научно обоснованной нормой питания.

Значит, по таким главным видам питания, как мясо, молоко, сахар, овощи, население СССР будет удовлетворено в соответствии с данными науки. Не будет полностью решена задача обеспечения фруктами и яйцами. В соответствии с семилетним планом производство плодов и ягод должно увеличиться в два раза, а винограда в четыре раза. Однако этого еще будет мало. Сбор яиц за семилетие увеличится в 1,6 раза и составит в 1965 году 37 миллиардов штук, что даст возможность повысить их потребление до 164 штук в год на человека. Это выше, чем в Голландии (93 штуки), Финляндии (105 штук), Норвегии (118 штук), Дании (140 штук) и т. д., но ниже научной нормы.

Резервы роста производства птичьего мяса и яиц очень велики. Сошлемся на пример Америки, где всего лишь за несколько лет было резко увеличено производство этих продуктов. Было установлено, что на корм лучше отзываются петушки, чем курочки, и больше всего вес увеличивается в первые 84 дня после рождения цыпленка. В связи с этим был создан простой прибор, позволяющий определять сразу же после рождения, какого пола цыпленок. С целью удешевления производства создали крупные птицеводческие хозяйства. Клетки для птиц оборудовали кормушками, куда засыпали корм на семь—десять дней, автопоилками, подстилками, которые не сменялись месяцами. Через 84 дня после того, как цыпленок вылупился из яйца, молодые петушки достигали веса

1,6 килограмма, их умертвляли, потрошили, зажаривали и в замороженном виде направляли на рынок для продажи.

Нужно отдать должное американским фермерам и зоотехникам, они сумели превратить птицеводство в мощную отрасль хозяйства. Но капитализм — это капитализм. Через несколько лет производство яиц и птичьего мяса превысило спрос. Миллиарды яиц были превращены в десятки тысяч тонн яичного порошка, который не мог найти сбыта. Научные институты получили заказ: выяснить, куда можно девать этот порошок, памятуя, что в тридцатых годах, во время кризиса, американские ученые разработали установку по брикетированию пшеницы для сжигания ее в топках паровозов. Тысячи фермеров разорились, проклиная час и день, когда они занялись птицеводством.

Опыт птицеводства в США мог бы принести большую пользу нашим колхозам и совхозам. Приспособив его к местным условиям, наши птицеводы имеют возможность значительно увеличить производство птичьего мяса и яиц.

В предстоящем семилетии будет обеспечен полный достаток в тканях и обуви. В настоящее время у нас производится всех видов тканей около 40 метров на человека в год. В 1965 году будет достигнут уровень 56 метров. Производство кожаной обуви увеличится до 2,3 пары на человека против 1,6 в настоящее время. Это несколько меньше американской нормы, но ведь общеизвестно низкое качество и недостаточная прочность обуви, производимой в США.

В предстоящем семилетии будет сделано многое в решении самой сложной проблемы, которая по существу еще не решена ни в одной из стран мира. Речь идет об обеспечении народа благоустроенными жилищами.

Трудность в этом деле объясняется многими причинами. Ведь жилой фонд, унаследованный нами от царизма, был не только ужасающе дряхлым, но и очень небольшим. За годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне, жилой фонд в городах значительно увеличился, но городское население СССР росло еще более стремительными темпами. Во время войны было разрушено 6 миллионов зданий, крова лишилось около 25 миллионов человек. Нужны были огромные усилия по восстановлению жилищ.

В 1957 году партия и правительство приняли решение: ликвидировать нужду в жилье в ближайшие 10—12 лет. Основная часть этой замечательной программы осуществляется в предстоящем семилетии. За это время намечено построить в городах около 15 миллионов квартир и в деревнях около 7 миллионов домов. Примерно около 90 миллионов человек получат благоустроенные квартиры. А ведь это две пятых населения СССР в 1965 году!

Конечно, полностью проблема жилища еще не будет решена. В СССР высока рождаемость, быстрыми темпами увеличивается городское население. Потребуется несколько лет, чтобы изжить нужду в жилье. Но каким контрастом является такой размах жилищного строительства в сравнении с тем, что делается в этом направлении в мире капитализма! Уже сейчас на тысячу жителей СССР строит почти вдвое больше квартир, чем Америка, хотя там жилищная нужда очень остра, к тому же миллионы домов в целях соблюдения элементарной безопасности должны быть снесены.

В контрольных цифрах на 1959—1965 годы есть специальный пункт о производстве предметов домашнего обихода. Семилетний план намечает резкое увеличение производства мебели, холодильников, швейных машин, радиоприемников, телевизоров и многих других вещей. Это значительно облегчит труд ведения домашнего хозяйства, повысит культуру советских людей.

Семилетним планом предусмотрено улучшение всех условий труда, быта, отдыха всего населения страны. Это действительно программа для всестороннего повышения уровня жизни всех советских людей.

В свое время Балзак очень тонко и точно заметил, что материальное счастье всегда покоится на цифрах. Цифры нашей семилетки — это программа создания для народа материального счастья.

Сравнивая условия жизни трудящихся стран социализма и стран капитализма, нельзя оперировать только данными о среднем уровне потребления, полученными путем

простого арифметического деления общей суммы производства или потребления на численность населения. Это может привести к грубейшим ошибкам.

Слов нет, средние нормы потребления продуктов питания в США высоки. Однако ни один завзятый апологет американского капитализма не рискнет утверждать, что все население США питается хорошо.

Обследования показали, что группа населения с высоким доходом в США потребляет меньше калорий на человека, чем те, кто имеет небольшой доход. Это и понятно: тяжелый физический труд требует для восстановления организма больше калорий. Однако состав пищи богатых и низших слоев американского населения весьма различен. Люди с меньшими доходами не могут позволить себе потреблять круглый год свежие овощи и фрукты и вынуждены довольствоваться консервами; потребление зерновых и картофеля у них выше, а молока и мяса, в особенности белого мяса, значительно ниже. Но богатые семьи не могут потреблять сто килограммов сахара на человека вместо нормы в сорок килограммов, полтонны мяса, тысячи яиц и тому подобное. А вот купить не три пары обуви на человека в год, а десять, не шестьдесят метров тканей, а сотни — это дело другое. Число легковых автомобилей превышает в США численность семей, но множество семей вовсе не имеет автомашин. Тысячи семей имеют по сотне комнат в своих дворцах, но зато миллионы ютятся в неопикуемых условиях скученности и антисанитарии. Поэтому за средними нормами потребления в капиталистических странах скрываются высокие нормы потребления у имущих и низший уровень жизни у миллионов трудящихся.

Конечно, и в СССР нет равенства в условиях жизни. Единственным источником доходов у нас является труд, а он оплачивается по количеству и качеству. Но важно то, что это различия внутри одного класса — трудящихся. Эти различия не идут ни в какое сравнение с пропастью между доходами буржуазии и заработками рабочего класса в условиях капитализма. Жалованье руководителей крупных монополий в США в сотни раз превышает среднюю заработную плату в стране¹ (причем, кроме жалования, все эти боссы имеют крупные пакеты акций и облигаций). Это уже качественное различие, это различие между двумя классами с антагонистическими, непримиримыми противоречиями. В этом принципиальное отличие средних величин потребления в СССР и в США.

4

По примерным расчетам, уровень промышленного производства в СССР в настоящее время равен уровню, достигнутому в США в 1940 году. То был рекордный год по этому показателю в истории Америки до второй мировой войны. В 1965 году мы должны достигнуть современного уровня промышленного производства США. Иначе говоря, за семь лет надо пройти тот путь, на который в США ушло восемнадцать лет; вспомним, что этот период включает вторую мировую и корейскую войны, явившиеся мощным толчком в развитии американской промышленности. В последующие после 1965 года пять лет мы должны пройти то расстояние, которое Америка пройдет начиная с 1959 и до 1970 года, то есть за двенадцать лет. Вот то время, которое нам нужно сэкономить, выиграть!

Эта идея — выиграть время в соревновании с капитализмом — пронизывает весь семилетний план развития народного хозяйства СССР. «Коренная проблема предстоящего семилетия, — указано в тезисах доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС, — это проблема ускоренного развития народного хозяйства по пути к коммунизму, проблема максимального выигрыша времени в мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом».

Это значит, что, опираясь на преимущества социализма перед капиталистической системой хозяйства, мы должны добиться максимально эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов страны. Семилетний план не только декларирует необходимость выигрыша времени. Он включает целую систему про-

¹ Жалованье каждого из руководителей фирмы «Дженерал-моторс» колеблется от 600 до 780 тысяч долларов в год, фирмы «Форд» — от 500 до 560 тысяч, фирмы «Дюпон» — 600—650 тысяч и так далее. Средняя зарплата по стране составляет около трех тысяч долларов.

думанных мероприятий, проведение которых в жизнь даст возможность Советской стране завершить экономическое соревнование с капитализмом в свою пользу.

Остановимся на некоторых сторонах этой проблемы.

Социалистическая система хозяйства обеспечивает несравненно более рациональное использование трудовых ресурсов по сравнению с капитализмом. Социализм не знает безработицы ни в ее открытой, ни в ее скрытой форме. Социализм не знает паразитического существования многочисленного класса рантье. Само распределение трудовых ресурсов между сферами материального производства и сферами обслуживания неизмеримо более рационально, чем при капитализме. Так, доля лиц, занятых в материальных сферах производства, в СССР превышает 80 процентов, а в США она меньше 65 процентов.

В нашей стране из года в год растет число занятых в промышленности, на транспорте, в строительстве. Для повышения темпов роста у нас широко используются оба фактора роста производства — увеличение численности рабочих и повышение производительности труда.

Рост числа занятых в обслуживающих отраслях в США идет прежде всего за счет увеличения количества работников в торговле. В 1913 году в торговле был занят каждый десятый из числа рабочих и служащих, в 1929 году — каждый восьмой, в 1958 году — каждый пятый! В государственном аппарате США сейчас занято более двух миллионов человек. Никогда за всю свою историю США не знали такого роста бюрократии и такой ее большой власти. Вместе с тем сокращается удельный вес занятых в просвещении и здравоохранении.

Нам нет никакой необходимости догонять в этом отношении капиталистические страны. Но в целях улучшения обслуживания покупателей будет расширена торговая сеть и увеличена численность торговых работников. Наибольшими темпами, однако, будет расти число занятых в просвещении и здравоохранении. Резко должно сократиться число работников в государственном аппарате страны.

Буржуазная печать много пишет о том, что семилетний план не будет выполнен, так как Советскому государству не удастся обеспечить потребности народного хозяйства рабочей силой в связи с началом периода так называемых впалых годов. Термин «впалые годы» связан с тем, что начиная с 1959 года в трудоспособный возраст будет вступать молодежь, родившаяся в 1941 году и позже, когда рождаемость резко сократилась. Сокращение рождаемости имело место во многих странах, участвовавших в войне, но в СССР, вынесшем на себе основные тяготы войны, это явление было более ощутимо, чем в других странах.

Надеждам буржуазии вновь и вновь не суждено осуществиться. Семилетний план намечает увеличение числа рабочих и служащих в стране на 11,5 миллиона человек, в результате чего общая численность рабочих и служащих в 1965 году составит свыше 66 миллионов человек и превысит по этому показателю США. Такое увеличение численности рабочих и служащих полностью обосновано не только расчетами того, сколько нужно для выполнения плана дополнительных рабочих рук, но и ресурсами.

Важнейшим из этих ресурсов является сельское хозяйство. В семилетнем плане предусмотрены значительно более высокие темпы роста производительности труда в колхозах и совхозах, чем темпы роста сельскохозяйственной продукции. Это даст возможность высвободить для нужд других отраслей значительное число рабочих рук.

Кроме того, надо учитывать, что промышленность все время забирает у сельского хозяйства одну производственную функцию за другой, даже те из них, которые столь недавно считались прерогативами сельскохозяйственного труда. Сколько времени, усилий, труда тратилось на содержание и корм поголовья лошадей — некогда основу тягловой силы в деревне! А ныне наша промышленность снабжает сельское хозяйство тракторами и «кормом» для них. С каждым годом возрастает производство минеральных удобрений, комбикормов, растет мясная промышленность, цельномолочная, сыроваренная, маслосебная, маслодельная. В 1958 году многие совхозы и колхозы сдавали зерно элеваторам (промышленность!) прямо из-под комбайна, минуя послеуборочную обработку зерна. А ведь известно, что последняя (конечно, в условиях ручного труда) требовала больше времени, чем посев и уборка. Таким образом, роль сельского хозяйства все более ограничивается функциями, связанными с непосредственным про-

цессом естественного воспроизводства. В этом находит одно из своих конкретных выражений индустриализация страны.

Главным источником роста производства в предстоящем семилетии, как и в предыдущие годы, является повышение производительности труда — этот решающий метод сбережения времени и труда.

По данным ЦСУ, в 1913 году в отечественной промышленности было занято 3,5 миллиона рабочих. За 1913 — 1958 годы промышленное производство возросло в 36 раз. Если бы не было роста производительности труда, то для такого увеличения производства потребовалось бы в 36 раз больше рабочих, чем в 1913 году, или 126 миллионов человек, вместо теперешних 16 миллионов. Но значение роста производительности труда этим не ограничивается. Ее повышение является основой увеличения заработной платы рабочих и доходов колхозников и снижения себестоимости продукции.

СССР далеко обогнал все капиталистические страны по темпам роста производительности труда. По уровню производительности труда он превзошел Францию и Англию, однако отставание от США нам преодолеть еще не удалось. В США исключительно благоприятные факторы высокой выработки как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Мощные пласты углей, железной и полиметаллических руд залегают неглубоко и позволяют вести добычу открытым способом. Плодородные почвы, равнинный рельеф местности, являющийся идеалом для механизаторов, обилие осадков как раз в период роста посевов — все это приводит к тому, что на единицу затрат труда в США получают больше продукции, чем в СССР и странах Западной Европы. Наконец, для повышения роста производительности труда буржуазия применяет такие методы интенсификации труда, которые, разумеется, совершенно неприемлемы для СССР — социалистической страны.

Однако, отдавая себе совершенно ясный отчет в принципиальных отличиях социалистических условий от капиталистических, наши экономисты должны, тем не менее, тщательно изучить ряд положительных явлений, имеющих место в США и в других капиталистических странах, с точки зрения возможности использования их опыта в экономике СССР. В области производительности труда следовало бы исследовать такие факторы ее роста, как максимальная специализация производства, высокий уровень его стандартизации, механизация трудоемких процессов и высокая энерговооруженность труда, совершенные технологические процессы, гибкая организация труда. В сельском хозяйстве, кроме этих факторов, особое значение приобретают проблемы породности скота, выведения высокоурожайных сортов семян, рациональный севооборот.

Советский Союз обладает такими источниками роста производительности труда, которые немислимы в условиях капитализма. К ним относится прежде всего социалистическое отношение к труду, массовое соревнование, участие в изобретательской и рационализаторской работе миллионов людей, не опасаящихся, что в результате применения тех или иных новшеств им угрожает безработица или сокращение заработной платы. Чтобы использовать до конца все эти источники роста, нужно борьбу за повышение производительности труда превратить во всенародное дело.

* * *

Французский писатель Жюль Ренар с горечью писал в своем дневнике: «Если бы строили дом счастья, самую большую комнату пришлось бы отвести под зал ожидания». В зале ожидания пребывают и по сей день многие народы мира. В Советской стране претворяются в жизнь грандиозные планы устройства человеческого счастья для народа. Для того чтобы эти планы стали явью, нужно прежде всего покончить с опасностью войны, нужен мир.

Советский Союз существует сорок один год. За это время мирные отношения нашего государства со многими странами ни разу не были нарушены. Ни разу за эти годы СССР не был инициатором ухудшения отношений или вооруженных столкновений. Сама жизнь всей силой своего авторитета подтверждает, что мирное сосуществование стран с различными социально-экономическими укладами вполне возможно.

Приступая к выполнению своего семилетнего плана, советский народ предлагает капиталистическим странам соревноваться на мирном экономическом поприще. Совет-

ские люди предлагают соревноваться за то, чтобы не было в стране безработицы, чтобы обеспечить население страны питанием в соответствии с научно обоснованными нормами, чтобы строить как можно больше жилищ и школ, театров и больниц, издавать больше книг, запускать в космос больше спутников, найти средство против рака и полиомиелита, соревноваться в области спорта и музыки, балета и живописи.

«Осуществление семилетнего плана,— говорится в тезисах доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде партии,— явится новым доказательством выполнения трудящимися Советского Союза своего интернационального долга перед трудящимися всех стран, международным коммунистическим и рабочим движением, перед всем прогрессивным человечеством.

Интересы трудящихся СССР полностью совпадают с коренными интересами трудящихся всего мира. Рабочий класс, все прогрессивное человечество видят в коммунистическом строительстве в СССР, всех социалистических странах свое собственное будущее».



И. СОБОЛЕВ

★

ГРУППА „ВЕРА“

1

Два года назад в Пскове, работая в одной из камер бывшей гестаповской тюрьмы, строители из-за дверной коробки извлекли пожелтевший от времени листок школьного учебника. Листок был сложен вчетверо; на одной стороне кровью выведены контуры красного знамени, а на другой написано:

«Сегодня 17 октября 1942 года. Больше месяца сидим в этой одиночке. Нас трое. Мы честно выполнили свой долг перед Родиной. За это нас истязают фашисты. Что бы они ни делали — мы погибнем честно, как в бою. Прощайте, товарищи! Отомстите за нас».

Подписей не было, и, когда через десятые руки этот листок попал ко мне, я долго пытался узнать историю трех советских людей, замученных в фашистском застенке. Задача осложнялась тем, что гестаповцы, убегая из Пскова, сожгли все свои архивы.

Какова была обстановка в Пскове осенью 1942 года, в октябре, которым датирована записка?

Псковский железнодорожный узел имел серьезное стратегическое значение. Через Псков враг перебрасывал свои войска, питал пополнениями и боеприпасами северный участок фронта. Понятно, что советскому командованию нужно было знать о планах и перебросках противника. Разведать это лучше всего могли люди, находящиеся в районах Пскова, Гдова, Острова, Луги.

Партизанское движение в этой местности разрасталось с каждым днем. В районах, захваченных врагом, создавались подпольные партийные центры. Немецкие фашисты стремились всеми мерами задуть это движение. Кровавые расправы с населением, сочувствующим и помогающим партизанам, стали обычным явлением. В Пскове гитлеровцы создали специальный гестаповский антипартизанский центр с радиостанциями и службами особого назначения. Все это ухудшало и без того тяжкие условия для местного населения, но в то же время подливало масла в огонь народной войны против фашистов. Следует добавить, что фронт в то время был стабильным; это значило, что вдоль передовой линии шли сплошные минные поля, проволочные заграждения, траншеи и окопы полевого типа с ходами сообщения и огневыми точками. Незаметно пройти сквозь всю эту сложную систему обороны чрезвычайно трудно. Вот почему, начиная с весны—лета 1942 года, пришлось забрасывать в тыл врага наши войсковые разведывательные группы, главным образом с помощью авиации.

Поиски авторов тюремной записки надежнее всего было начинать с архивных материалов. Много пришлось перерывать документов, пока удалсь натолкнуться на сообщение, в котором указывалось:

«...Группа, состоящая из:

1. Патковской Валерии Вильгельмовны, 1922 года рождения, уроженки города Москвы, Цветной бульвар, дом № 19, кв. 8;

2. Голубевой Валентины Михайловны, 1923 года рождения, уроженки города Волховстрой-1, Ленинградской области, прсспект Трудовик, дом № 64-а;

3. Горбуновой Анфисы Алексеевны, 1919 года рождения, уроженки деревни Верхоуслино, Салобелякского района, Кировской области, и

4. Силановой Елены Степановны, 1924 года рождения, уроженки деревни Н. Ракомо, Новгородского района, Ленинградской области,— в ночь на 8 августа 1942 года... была переброшена самолетом в тыл противника в район города Пскова. По выполнении задания от группы были получены 2 радиogramмы, из которых стало известно, что группа была обнаружена немцами и ушла в лес. Позднее стало известно, что Патковская и ее товарищи были арестованы немцами и заключены в тюрьму в городе Пскове. Какова дальнейшая судьба Патковской и других членов группы, из имеющихся материалов установить не представляется возможным...»

Гитлеровская тюрьма в Пскове... Август — сентябрь 1942 года... Дальнейшая судьба арестованных неизвестна... Все эти данные подсказывали, что разматывать клубок надо с этого конца. Но в документе говорилось о четырех девушках, а в записке из тюрьмы ясно указано: «Нас трое». Однако в руках была первая нить, имеющиеся адреса позволяли связаться с теми, кто знал пропавших без вести патриоток или хотя бы слышал о них. На свои письма я вскоре получил ответы.

2

Писали родные Анфисы Горбуновой:

«...Дочь наша, Горбунова Анфиса Алексеевна, в 1939 году окончила Салобелякскую среднюю школу и стала преподавать в пятых — седьмых классах немецкий язык. Поработала один год и уехала в город Горький к тете, где окончила курсы по подготовке учителей. Здесь и застала ее война. Она ушла добровольно на фронт разведчицей. С фронта от нее получили только два письма. Затем она пропала, и до сих пор мы ничего не знаем о ее судьбе».

А ниже приписка:

«...Я прочитала письмо Ваше к родителям Фисы, и мне захотелось сообщить Вам то, что я знаю. Фиса была девушка смелая, волевая. Она с малых лет выполняла посильные ей работы охотно. Летом, в каникулы, она работала в нашем колхозе. Хорошо знала немецкий язык, а когда началась война, она решила еще лучше изучать немецкий язык... Я уверена, что Фиса, попав в руки врагов, была стойкой и осталась верна советскому народу. Родителям и всем нам, ее землякам, очень хочется знать судьбу нашей Фисы.

Соседка Горбуновых — колхозница М. С. Безденежных».

Мать Вали Голубевой, А. И. Голубева, прислала ответ из Волхова:

«...С 1931 по 1939 год моя дочь Валя училась в начальной средней школе № 6 в городе Волхове. Окончив семилетку, она поступила в Ленинградское педучилище, но в самом начале войны, в связи со смертью отца, возвратилась обратно в Волхов.

Осенью 1941 года, когда город наш оказался в окружении, моя дочь добровольно пошла на защиту Родины. С фронта она приезжала два раза: весной и летом. Она мне рассказывала, что ей приходилось выводить многих бойцов из окружения и что решением Военного Совета ее наградили орденом Отечественной войны. До первого своего приезда она писала мне, что была в тылу у немцев. Несмотря на то, что она была тепло одета во время предыдущего зимнего задания, она обморозилась и попала в госпиталь. Валя писала мне, что после прихода в часть она вновь будет проситься в тыл врага на задание, однако, когда позже она приехала ко мне в свой первый отпуск, на все мои расспросы о том, в чем же, собственно, заключается ее служба, она ответила очень неохотно, и я перестала спрашивать ее.

В 1942 году я была эвакуирована в глубокий тыл — в Алтайский край, а когда вернулась в Волхов в 1945 году и пошла в горком партии узнать о судьбе своей пропавшей дочери, мне ответили, что в августе 1942 года она ушла на задание в тыл врага и не вернулась больше. Так я ничего и не знаю о судьбе своей единственной детки...»

Сестра Елены Силановой, В. С. Ковальчук, сообщила из Новгорода, что Лена, так же как и Анфиса с Валей, добровольно ушла на фронт. До войны она училась в школе, затем работала воспитательницей и заведовала детским садом. С лета 1942 года, несмотря на неоднократные запросы, родным так и не удалось узнать, что произошло с девушкой.

Московский адресный стол помог найти мать Валерии Патковской — А. И. Брянцеву. Анна Ильинична показала пачку писем, полученных от Валерии с фронта, и увеличенный с моментальной фотографии портрет девушки в простеньком ситцевом платице, скромно причесанной на прямой пробор, с большими, прямо смотрящими темными глазами.

Вот краткая запись того, что рассказала Анна Ильинична:

— Я проводила Валечку на фронт первого мая сорок второго года. Это был первый военный Первомай. Как обычно, здания были украшены красными флагами, но на скверах и площадях — заградительные установки противоздушной обороны. Всю ночь перед проводами мы, конечно, не спали. Вернее, я не давала ей уснуть своими уговорами, советами, наставлениями. Я очень боялась за нее и просила отказаться от поездки на фронт. Но Валя была всегда очень решительная: «Мама, я дала слово! И потом, сейчас я могу, как и тысячи других, доказать свою преданность Родине, комсомолу».

Проводить на вокзал она мне не разрешила, но я все-таки доехала с ней на трамвае до Комсомольской площади; там мы и расстались. Прощаясь, она тихо сказала: «Мамочка, я тебя очень прошу, чтобы ни одной слезы. Ладно?»

Первое время она писала часто, я получала очень взволнованные, страстные письма, в которых, как в зеркале, была видна вся ее душа — чистая и смелая. Потом треугольнички стали приходить редко, и еще тогда показалось мне что-то неладное. Позже я узнала, что это друзья моей Вали посылали мне ее письма, которые она заготовила перед отправкой в тыл к немцам. А потом... потом она пропала. Я справлялась везде, где только возможно, и всюду мне отвечали: «Пропала без вести».

Но однажды — это было уже после конца войны — мне позвонила по телефону мать одной партизанки, Ремы Евсеевой, и сообщила, что ее дочь вернулась из плена и что в тылу у гитлеровцев она видела мою Валю. Не помня себя, помчалась я к Реме. Но — увы! — эта девушка также не могла мне сообщить ничего утешительного — только то, что она видела Валечку и двух ее подруг в городе Пскове, в фашистской тюрьме. Что с ними произошло потом, Рема ничего не знала...

Встречу с Р. С. Евсеевой мне пришлось отложить: она заболела и находилась в больнице.

3

В это время мне удалось разыскать одну из однополчанок Патковской — Лилию Петровну Лебедеву. Она подтвердила, что Валерия вместе с тремя подругами (снова четыре!) была заброшена в тыл и все они замучены фашистами в псковской тюрьме. О гибели Валерии Патковской и ее подруг рассказывали Лебедеву товарищи.

Лилия Петровна говорила мне:

— В апреле сорок второго года я добровольно пошла в армию. На фронт мы уезжали первого мая. Вместе со мной в вагоне ехали и девушки из Бауманского училища. Тут-то я и познакомилась с Валерией.

На фронте мы попали в разные разведгруппы. Но я слыхала, что группа Патковской была одной из лучших по подготовке. Потом их перевели в другое место, и мы больше не встречались. Я буду очень рада, если о подвиге этих девушек напишут правду и о них узнает народ. Они заслужили это... Мы знали друг друга только в лицо, но и сейчас, когда я вспоминаю большие задумчивые глаза Валерии, у меня невольно сжимается сердце. Имя ее я чту как святое.

Лебедева познакомила меня с бывшим фронтовиком, командиром части, где служила Патковская. Он давно уже вышел в отставку, но отлично помнит девушек, фамилии которых я назвал.

— В то тяжелое время, — сказал он, — эти комсомолки проявили лучшие качества нашей молодежи — храбрость, стойкость, преданность Родине, партии. Девчата смело прыгали с парашютами в тыл врага, часто ночью, в совершенно неизведанные места.

Мой собеседник достал из стола толстую тетрадь — фронтовой дневник — и прочитал запись, относящуюся к тому времени, когда группа «Вера» (оказывается, таково было зашифрованное наименование группы Патковской) готовилась идти на задание в тыл врага.

«...Сегодня был в гостях у «дочерей». Валерия подала заявление в партию. Без колебаний дал ей рекомендацию. И подруги ее, славные девочки, замечательные комсомолки, тоже готовятся в партию».

Еще одна дневниковая запись. Это из последних разговоров с Валерией.

«...— Трудно будет! — сказал я ей.

Она ответила:

— Я знаю, что будет трудно... Но надо жить так, чтобы чувствовать, как вырастают крылья за спиной, могучие орлиные крылья. Надо жить и творить для людей, чтобы люди не вспомнили тебя лихом!..»

— Я верил в искренность этого пафоса,— продолжал рассказчик.— Такой уж она была, всегда приподнятой, но без малейшей фальши и рисовки. Отличный боец и в то же время удивительно нежная, какая-то слишком уж невоенная. Девушка чистой души, романтичная, она умела подойти к людям, поэтому и назначили ее руководителем четверки... Они умели дружить, эти девчата. Много приятелей было у них. Ведь история с письмами, которые по просьбе Валерии посылались ее матери,— эта деталь говорит о многом!..

Сообщить какие-либо подробности об аресте группы, а уж тем более о последних днях жизни юных патриотов он также не мог. Но зато дал отличный совет: поинтересоваться документами, где говорится о группе «Вера».

При помощи Анны Ильиничны я разыскал школьных подруг Валерии Патковской. Они прислали письмо, которое хочется привести здесь почти полностью:

«...Валя пришла к нам, в 186-ю школу Коминтерновского района города Москвы, в седьмой класс. Это была скромная девушка с прекрасными каштановыми волосами и обаятельными ямочками на щеках. С первых же дней Валя завоевала всеобщую симпатию и уважение. Да иначе и быть не могло, ведь она была очень чутким и отзывчивым товарищем. Все четыре года, что мы учились вместе, Валя была лучшей ученицей класса. Мало того, что она сама прекрасно занималась, она всегда помогала отстающим. Причем к ней обращались за помощью по любому предмету и она одинаково доходчиво, терпеливо разъясняла непонятное, будь то математика, немецкий язык, физика или другой предмет. Часто, придя к ней домой, можно было застать у нее кого-нибудь из наших соучеников, с кем она готовилась к очередной контрольной работе или к экзамену. Хотя мы (пишущие эти строки) занимались самостоятельно, но мы тоже с удовольствием готовились к экзаменам вместе с Валей. Так просто, так доходчиво Валя объясняла материал, что подчас приходилось удивляться, какой светлый ум у этой прекрасной девушки.

Вале еще не было пятнадцати лет, когда ее как лучшую ученицу класса и примерную пионерку приняли в комсомол. (В то время в комсомол принимали с пятнадцати лет.) Будучи в комсомоле, Валя серьезно и с большой любовью относилась к любому поручению, касалось ли это работы пионервожатой, члена редколлегии или члена комитета комсомола школы. Помним, как любили Валу ее пионеры. Она не жалела времени на свой отряд. И драмкружок у них она вела сама, и кружок рукоделия, и стенгазету выпускала с ними. Ее можно было встретить и в выходной день в окружении пионеров где-нибудь в кино или в театре. Как только Валу приняли в комсомол, ее сразу избрали членом комитета комсомола школы. С Валей советовались, Вале доверяли все самое сокровенное, и никто из нас не припомнит случая, чтобы Валя не помогла советом, не подсказала правильного решения. Больше того, бывали случаи, когда Валя ради интересов подруги жертвовала своими личными интересами.

Можно долго перечислять все то изумительное, что было в этой исключительной девушке. Мы все ее очень любили, мы прислушивались к каждому ее слову. Но это не значит, что Валя чем-то особенным выделялась из всех окружающих ее сверстников. Она была очень веселой, общительной, очень простой. У нее было много друзей. Как человек очень большой и доброй души, Валя была примером чуткого отношения к матери и брату; так как матери приходилось одной воспитывать двоих детей, Валя по мере сил помогала матери не только по хозяйству, но и зарабатывать деньги. Она вместе с мамой вышивала знамена и портреты.

Мы окончили школу перед самой войной — 17 июня 1941 года был наш выпускной

вечер, и по традиции после вечера мы все пошли на рассвете на Красную площадь. Настроение было у всех приподнятое и немного грустное. Пришло время расставаться, каждый выбирал себе дорогу в жизнь. Валю тянуло к технике. Она мечтала поступить в МАИ (Московский авиационный институт) или МВТУ (Московское высшее техническое училище) имени Баумана.

Через четыре дня грянула война. Валя тут же с пионерами школы уехала в интернат в Рязанскую область. В эти тяжелые дни Валя в интернате заменяла ребятами их матерей. Для каждого у нее находилось ласковое слово, каждому она уделяла много внимания. Когда в мае сорок второго года мы узнали, что Валя добровольно ушла в ряды Советской Армии, это известие нас несколько не удивило. Вся Валина жизнь последовательно, сознательно привела ее к этому.

Храня в своих сердцах Валин образ, мы ежегодно 25 июня, в день рождения Вали, собираемся у ее матери. И каждый раз мы не устаем вспомнить о ней. Нам никогда не хватает этого вечера, чтобы поговориться досыта. Каждый раз всплывают в памяти все новые и новые интересные эпизоды из Валиной жизни — жизни, которая может и должна служить примером для современной молодежи.

По поручению друзей:

Е. Спектор, старший инженер Московского электролампового завода.

В. Гущина, инженер Научно-исследовательского института шерстяной промышленности».

4

Наконец-то состоялась встреча с Ремой Степановной Евсеевой.

Жизнь этой молодой женщины была насыщена множеством событий. Она воевала на фронте и во вражеском тылу, прошла через гестаповские тюрьмы в Пскове, Луге, Лядах, через зондерлагерь Фэллин. После этого — Германия, политическая тюрьма в Штеттине, лагерь смертников Равенсбрук под Берлином и Бухенвальд.

Передаю рассказ Ремы Степановны:

— Я была арестована в конце августа 1942 года при выполнении задания командования партизанского отряда, в районе города Гдова. Сначала меня доставили в Лугу, а затем, после первых, ничего не давших немцам допросов перевезли в Псков. Это было уже в сентябре. В псковской тюрьме содержались сотни и сотни советских людей: бойцы Красной Армии, партизаны, коммунисты и комсомольцы, люди, подозреваемые в связях с партизанами. Моих показаний о том, что никакого отношения к партизанам я не имею, фашисты опровергнуть не смогли и меня поместили в так называемую «рабочую» камеру. Находясь в этой камере поручали обслуживать других заключенных. Кто готовил пищу, кто стирал белье, мыл полы; в мои обязанности входило мыть посуду на кухне. От женщин, сидевших со мной, я и узнала, что в левом одиночном корпусе томятся советские девушки-комсомолки.

Об этих девушках ходило много слухов, говорили, что их страшно пытаются, но, несмотря на все пытки, они держатся очень стойко. У нас в камере рассказывали, что выдала их какая-то женщина. Предательницу будто бы видели здесь, в тюрьме, когда ее приводили на очную ставку с арестованными комсомолками.

Случилось так, что я стала ходить в одиночный корпус: вместе с другой женщиной мне поручили разносить обед. Тут я и познакомилась с девушками, сидевшими в камере № 1. Это были: Валя Патковская, небольшого роста, круглолицая, с каштановыми волосами, с темными красивыми глазами, умными и добрыми; Анфиса Горбунова, тоже невысокая, стройная голубоглазая блондинка, постарше; третья, видимо самая младшая, лет восемнадцати, Валентина Голубева, темноволосая и темноглазая. Она жалась к своим старшим подругам, а те, я заметила, очень оберегали ее. В жизни я не встречала более сильных духом людей. Их совершенно невероятная воля, упорство действовали на гестаповцев уничтожающе, а нас, заключенных, ободряли, укрепляли наши силы. Очень они мне запомнились, именно такими сильными, непобежденными. Правда, бывали и спады в их настроении. Помню, однажды Валерия с Анфисой тихо и напевали песни, а Валя Голубева плакала и вспоминала мать. Иногда удавалось перекинуться парой слов. Из этих мимолетных разговоров можно было восстановить картину того, что с ними случилось.

В тыл врага их забросили вчетвером. Была с ними еще одна. Звали ее Леной Силановой. Когда девушки приземлились и стали лесом продвигаться в сторону Пскова, они наткнулись на засаду у деревни Заречье. Девушки решили не принимать бой — это было бы равносильно гибели. Они петляли по лесу и болоту, и, когда уже казалось, что удалось оторваться от преследователей, каратели спустили собак. Пришлось отстреливаться. По выстрелам их вновь обнаружили. Завязалась перестрелка. Лена вместе с Валей Патковской прикрывала отход группы. В это время Лену и ранило, сперва в обе ноги, потом в живот. Анфиса и Валерия несли подругу на руках, но вскоре стало ясно, что Силанова не выживет — уж очень много крови она теряла. Остановиться, чтобы перевязать раненую, девушки не могли: преследователи шли буквально по пятам. Лена была в полном сознании, понимала, что умирает, но терпеливо выносила мучительную боль. Так до последней секунды ни разу она не вскрикнула, не пожаловалась. Когда же в конце концов девчата сумели вновь оторваться от карателей и можно было опустить Лену на землю, чтобы сделать ей перевязку, — она умерла.

Девушки приняли решение, может быть не совсем правильное для такой маленькой группы: не уходить, не отступать, а самим перейти в наступление. Рассказывали они обо всем этом очень скупно. Говорили только, что за Лену отомстили. Карателям, потерявшим след и понесшим потери, пришлось прекратить преследование.

В восьмой камере сидела замученная до полусмерти комсомолка Елена Некрасова. По просьбе Патковской Рема Степановна проникла и в эту камеру, чтобы связаться с Некрасовой.

Лена Некрасова тоже знала трагедию девушек из камеры № 1. Она восхищалась их поведением и очень негодовала на ту самую женщину, которая оказалась малодушной и выдала фашистам и группу Патковской и ее, Некрасову. Женщина эта после очной ставки, следуя наущениям гестаповцев, послала Лене записку, в которой писала, что так как все теперь известно немцам, то бесполезно отпираться, лучше «подчиниться своей судьбе и сдаться». Лена с гневом отвергла это позорное предложение.

История самой Лены Некрасовой такова. Выполняя очередное задание (это было в районе Луги), она попала в лапы врага, но гестаповцы не имели данных о том, кто такая Некрасова. Ее подозревали в связях с партизанами. Однажды, не выдержав наглой лжи одного из провокаторов, Лена бросила в лицо палачам: «Никогда я не была в партизанском отряде. В сорок первом я была в Москве. Я боец Красной Армии! И больше не скажу ни слова!» После этого она действительно не сказала ни слова — ни в Луге, ни позже, когда ее перевели в Псков. Там Лену бросили в одиночку № 8; в том же корпусе, в том же коридоре, в камере № 1, томилась Валерия вместе с подругами. Так довелось Лене «повстречаться» со своей однокашницей Валерией Патковской.

В одном из писем с фронта, которые мне довелось прочесть, Валерия писала своей матери: «Я не знала, что эта Лена Некрасова такая хорошая дивчина. Она из нашего института, но живет в Грозном. За последнее время мы очень сдружились с ней. Здесь у меня друзья, и хорошие друзья. Но есть и из хороших лучшие — это Фиса и Лена Некрасова. Мы все время втроем и на передовую подем все вместе».

Однако обстоятельства сложились иначе. Судьба свела их только позднее — в фашистском застенке.

После гибели девушек из группы «Вера» Лену Некрасову еще некоторое время держали в одиночке, а затем вновь перевезли в Лугу; там ее и убили фашисты. Лена как бы приняла от подруг эстафету стойкости и героизма и с честью пронесла ее до последних минут своей короткой жизни.

5

Следуя совету, я обратился к архивным материалам, где говорилось о действиях группы «Вера». Вот одна из первых радиogramм:

«Я Вера. Приземлились благополучно. В районе Заречья наткнулись на карателей. В бою погибла Лена Силанова. От преследования ушли. Мешки с продовольствием пришлось оставить в лесу. Жду дальнейших указаний».

Командование не замедлило ответом: приказано направляться в район Пскова, найти известного девушкам надежного человека, который даст им временное пристанище. Одновременно подтверждалась основная задача: добиться в городе легального положения и постоянно информировать о расположении воинских частей противника, обо всех его перебросках, строительстве фортификационных сооружений и многом другом.

Видно, находчивость и смелость помогли девушкам. Во всяком случае, группа действовала очень энергично.

«Я Вера. В квадрате 0480 «Г», у железнодорожного моста, в роще, вдоль правого берега реки Черехи — крупный склад горючего противника».

Из сводок тех дней о действиях нашей авиации в тылу врага явствует, что сигнал был принят. База горючего на берегу Черехи перестала существовать.

В августе девушки несколько раз проникали в Псков.

«Я Вера. Население получает единственный паек — 60 грамм галет. И всё! Жиров, мяса, круп нет. В городе голод и спекуляция. В деревнях вводятся старые порядки: появляются кулаки и помещики. Террор и бесправие достигли предела».

Страшные это были дни на Псковщине. По свидетельству очевидцев, гитлеровцы расстреляли на базарной площади против Кремля десять заложников и под страхом смерти запретили их хоронить. На обочинах всех дорог, всдухих к Пскову, стояли вереницы виселиц. Вешали любого, кто вызывал подозрение, кто медлил с выполнением приказа, кто просто не понравился почему-либо фашистскому «оберу».

Движение народных мстителей развивалось не по дням, а по часам. Горели склады и казармы, партизаны пускали под откос воинские эшелоны. В ответ на террор разгоралась «рельсовая война», а для нее нужна разведка, необходимы точные сведения о группировках противника.

«Я Вера. Наблюдали из укрытия жел. дорогу Псков — Дно в районе Карамышево Здесь, Карамышево—Вешки, большое скопление воинских эшелонов, идущих на Ленинград. Восгочнее Вешек партизанами взорван мост. Образовалась пробка. Для ликвидации последствий диверсии противнику потребуется не менее двух суток».

С Большой земли радировали: «Группе Вера. Следуйте с радиостанцией Карамышево для координации действий наших бомбардировщиков. Желаем успеха. Благодарим за ценные сведения».

Через чащобы и сплошные болота пробрались Патковская, Горбунова и Голубева в район Карамышева. В эфир полетела очередная шифровка:

«Я Вера. После налетов нашей авиации возникли очаги пожаров. Самый крупный — состав с горючим западнее Карамышево. Ориентируйтесь по нему. От этого очага в трех километрах на восток бомбите два эшелона с техникой и боеприпасами».

Программа разведки строго выполнялась. Из Карамышева группа перешла под Кресты, а оттуда в район Черехи. Эти населенные пункты расположены вблизи Пскова на стыках крупных дорог. В те дни «Вера» сообщала:

«Квадрат 0884 «Д» в Крестах — аэродром боевых самолетов. Наблюдали посадку 18 бомбардировщиков, 6 истребителей. Квадрат 0884 «Г» в Крестах — склад авиабомб. От него двести метров на восток — база горючего. Склады размещены по обеим сторонам дороги, идущей на север от деревни Луни».

В других донесениях сообщалось о прохождении транспорта по шоссе Псков—Луга. Наблюдая часами за этой дорогой, девушки умудрились составить почти точный график движения вражеского транспорта.

Командование настойчиво требовало от разведчиц максимальной осторожности, им категорически запрещалось самим предпринимать какие-либо рискованные меры. Только наблюдать. Только сообщать... Это требование девушки выполняли своевременно и точно.

«...В Пскове, по Крестовскому шоссе, в 500 метрах от переезда ж/д Псков — Ленинград, в здании бывшего военкомата — основная база провианта противника...»

В связи с этим сигналом наши подрывники получают приказ: уничтожить!

«...В Пскове, на улице Калинина, недалеко от церкви, в первой средней школе — военно-распределительный пункт противника. Сюда все время прибывают свежие части из Германии для отправки на фронт. Сейчас здесь около 1 000 солдат и офицеров».

Сообщение передается партизанам. Задание — сорвать отправку на фронт гитлеровских подкреплений!..

Гитлеровский комендант известил население: «Объявляется, что город Псков, а также Псковский, Гдовский и Островский районы подлежат заградительным мерам. Всякое самовольное переселение в эти районы для постоянного проживания — запрещается. Кто вопреки этому запрещению перейдет границу вышеуказанных районов, будет задержан и помещен в лагерь для принудительных работ, если только данный случай не повлечет более сурового наказания».

Патковскую заинтересовало объявление. Чем вызвано это запрещение? Что происходит в запретной зоне? Спустя несколько дней «Вера» в очередной информации передавала:

«Находимся Струкове (севернее Пскова). Наблюдали: по линии Гдов—Псков—Остров противник возводит оборонительную линию. Окопы полевого типа, пулеметные гнезда, бункера, крытые тройным накатом, огневые точки разного вида, площадки для полевых орудий с укрытием их с воздуха. Поворот линии — на восток. На работах используются военнопленные. Их содержат в концлагерях, расположенных в районе Сосново—Гнилице».

Интересна еще одна радиограмма — от 18 августа 1942 года.

«Я Вера. Сегодня была в Пскове. Форма солдат без изменений. Слышали разговор солдат: жалуются на плохое питание, недовольны войной. На территории льнокомбината — строительство авиаремонтного завода. При работе на полную мощность немцы хотят использовать на нем пять тысяч рабочих. Строительные работы выполняют наши и польские военнопленные. Состояние их ужасное. Всего пленных здесь — полторы тысячи. Рекомендую бросить листовки».

Трудно установить, сумела ли группа Валерии Патковской сама распространить листовки среди военнопленных. Известно другое. В начале сентября с этой стройки сбежала большая группа пленных. У немцев это вызвало изрядный переполох. В ту пору девушки из группы «Вера» уже были заключены в псковскую тюрьму.

Об этом факте товарищ С., один из бывших заключенных псковской тюрьмы, рассказывал:

«В тюрьму дошло с воли известие о крупном побеге наших военнопленных с льнокомбината. Этот слух докатился и до левого одиночного корпуса, где томились девчата. Немцы, напуганные побегом, усилили охрану в тюрьме. А одиночники всю ночь пели песни, окна были раскрыты, и слышны были и мужские и женские голоса. Песню то и дело подхватывали в разных уголках тюремного двора. В ту ночь гестаповцы не посмели вывезти из тюрьмы никого из приговоренных к расстрелу».

Еще одна радиограмма. В ней Валерия сообщила об аресте хозяина квартиры, где девушки нашли временный приют.

Местные жители передали мне страшную историю.

В конце августа, а может быть, в начале сентября 1942 года, то есть как раз в те дни, о которых сейчас идет речь, в псковскую тюрьму доставили какого-то старика. Был он в белых домотканых штанах, синей выцветшей рубашке и старом сером пиджаке, росточка среднего, сухонький. Выглядел он мирным деревенским старичком, да и был, конечно, таким. Охранники, однако, утверждали, что это «опасный преступник», укравший русских парашютистов.

Старика посадили в одиночную камеру, подвергли пыткам. Сколько ни старались гестаповцы, заключенный упорно молчал, даже, как говорили свидетели, имени своего не назвал. Тогда палачи привязали свою жертву к ввинченному в пол камеры железному стулу, лицом к окну. Тот, кто сидел в камере напротив, мог более или менее отчетливо видеть все, что происходило в одиночке № 7. Где-то вверху — очевидно, на крыше соседнего корпуса — был установлен мощный прожектор, его луч гитлеровцы направили на лицо старика. Так и сидел он трое суток неподвижно, в одной позе.

Позже тюремный переводчик рассказал подробности изощренной пытки. Оказывается, еще к концу первых суток старик ослеп. Но не промолвил ни слова. К исходу второго дня он умер. Со стороны казалось, что старик продолжает сидеть на стуле, к которому его прикрутили, смотрит, не моргая, и по-прежнему молчит. Часовой доложил начальству о подозрительном состоянии заключенного. Тогда только комендант

тюрьмы Якоб Креммер решил отвязать его. И тут изверги поняли, что третьи сутки пытаются мертвеца.

Так никто и не узнал, как зовут героя. Судя по всему, это был тот самый человек, который дважды спас девушек из группы «Вера»,— сперва укрыв от преследования, затем не назвав их имен.

После утери пригородной квартиры Патковская и ее подруги перебазировались в Псков. Из бесед с псковичами удалось в общих чертах разузнать, что произошло потом.

Девушки встали на учет на биржу труда. Через какое-то время жительницы города Пскова Щедрова (Патковская), Изотова (Горбунова) и Мазина (Голубева) получили путевки на работу. Анфиса с Валею Голубевой попали на шпагатную фабрику, Валерия — переводчицей в немецкую комендатуру, не то регистратуру.

Перейдя в Псков, группа вынуждена была оставить рацию в лесу. Все же на Большую землю время от времени поступали радиодонесения. Нетрудно представить себе, с каким риском это было сопряжено: ведь с каждым днем разведчицам становилось все сложнее выбирать удобное для этого время, отправляться за город, тем более, что ходить по улицам разрешалось лишь днем, до «комендантского часа». Не мудрено, что группа «Вера» искала другую базу. Псковский житель Балков работал тогда агрономом в имении, расположенном в большом лесном массиве, неподалеку от города. Разведчицы заходили к Балкову, брали продукты, хлеб. Девушки просили помочь устроиться на службу в поместье, но, когда Балков организовал им встречу с управляющим, на свидание не явились. Не пришли они и на свою работу — все три были задержаны в комендатуре. Их вызвали в связи с очередной регистрацией советских граждан; на паспортах, которыми они пользовались, якобы не оказалось какой-то отметки.

6

Девушки содержались сперва в абверкоманде № 304. В Пскове было несколько таких засекреченных военных организаций.

В архивном документе читаем об этой команде: «Абверкоманда № 304 была гестаповским центром, где жандармы занимались проверкой у подозрительных лиц их документов, проверкой пойманных или перешедших к ним на службу людей. Помещался этот центр в доме на углу Крестьянской улицы и улицы Адольфа Гитлера. В этом заведении были оборудованы камеры для заключенных подследственных, были также и комнаты для тех, кому немцы уже доверяли».

Привожу рассказ Е. Х., бывшей разведчицы, действовавшей в той же местности.

— По доносу провокатора фашисты арестовали меня и в первых числах сентября, без улик, подтверждающих мою антигитлеровскую деятельность, под конвоем доставили в Псков, в абверкоманду № 304. Шли безрезультатные допросы. Но вот наконец ко мне в камеру посадили девушку по имени Валерия Щедрова. Эта Валерия Щедрова очень осторожно стала расспрашивать меня, а когда через некоторое время убедилась в моей преданности Родине, предупредила, чтобы я была настороже, чтобы не болтала лишнего и что она, Щедрова, получила от начальника абверкоманды майора Клямрота задание проверить меня. Мы подружились с ней. Она не сказала мне, что ее фамилия другая (об этом я узнала позже). Валерия также сказала, что наши разговоры в камере подслушиваются, а затем по тому, что мы обе показываем на допросах, гитлеровцы судят о нашей лояльности. Видимо, они стали верить в эту «лояльность», и положение наше в абверкоманде с каждым днем становилось легче. Мы уже начинали выходить из камеры без конвоя, нам разрешали посещать церковную службу, и мы стали готовиться к побегу.

Но неожиданно все рухнуло.

В абверкоманду привели некую Галину С., которая, как выяснилось потом, хорошо знала Валерию. При первых же допросах гитлеровцы настолько запугали Галину, что им удалось добиться от нее признания. Она-то и назвала гестаповцам настоящую фамилию Валерии, показала, что Патковская является руководителем группы. Валерия держалась стойко и ни в чем не признавалась. Им устроили очную ставку. Галина С. бросилась на шею Патковской и в присутствии сле-

дователя капитана Вейнера призналась ей, что это она, Галина, выдала подругу, выдала, как она утверждала, нечаянно. Валерия и тут продолжала отказываться, заявляя, что не знает никакой Галины С., что все это наглая провокация. Она грозилась жаловаться начальнику абверкоманды, возмущалась, плакала, но ничего уже теперь не действовало. Патковскую, а вместе с ней и двух ее подруг на следующий день перевели в тюрьму.

— После очной ставки,— продолжала Е. Х.,— мы провели с Валерией еще одну ночь в камере. Тогда-то она мне и призналась, что скрыла свою настоящую фамилию, что в действительности она Патковская, москвичка, студентка Московского высшего технического училища, что в Москве у нее остались мать и брат, по которым она страшно скучает. Валя очень плакала. Но это продолжалось недолго, она вдруг вся собралась, как-то замкнулась в себе, а потом — видимо, приняв какое-то решение — успокоилась. Лицо ее стало строгим, глаза холодными и немного чужими.

В ту ночь Валя сказала мне, что о провале группы одна из ее подруг успела предупредить своих (это была Анфиса Горбунова — радистка группы «Вера».— И. С.).

Утром Валерию увели, но я еще раз встретила ее во дворе абверкоманды, когда девушку вели с допроса. Лицо было в кровоподтеках, платье изодрано. Но она держалась прямо и гордо. Взглянув на меня, беззвучно, одними губами, шепнула: «Все кончено».

7

Каким образом Анфисе Горбуновой удалось связаться с Большой землей и передать советскому командованию об аресте группы, установить так и не удалось. Но известно, что, получив этот сигнал, командование предприняло решительные шаги для спасения группы «Вера». Их искали наши разведчики, партизаны, имевшие связи в городе. Но найти местонахождение девушек не смогли — гитлеровские палачи тщательно их запрятали.

Командиры партизанских соединений товарищи Екимов и Пяткин рассказали мне:

— Мы и до этого случая устраивали побеги заключенных. Но два места были для нас недоступны — тюрьма на Некрасовской улице и зондерлагерь в Крестах. Позже, в сорок третьем — сорок четвертом годах, удалось поставить своих людей и в эти «учреждения», но тогда, в сентябре—октябре сорок второго года, связаться с тюрьмой было исключительно сложно. Все же мы узнали, что разведчиц содержат в абверкоманде на Крестьянской улице, но узнали об этом слишком поздно — их вскоре перевели в другое место.

Из других источников выяснилось, что трех боевых подруг заключили в камеру № 1 гестаповской тюрьмы на Некрасовской улице. Следствие по делу началось заново. Девушек допрашивали в помещении полевой жандармерии, в доме № 2 по Комиссаровскому переулку.

Историю пребывания разведчиц в псковской тюрьме пришлось восстанавливать лишь по воспоминаниям. Но и живых свидетелей осталось мало. Вернее, многие люди видели девушек-героинь, еще больше слышали о них, но лишь трое из разысканных мной бывших заключенных гестаповской тюрьмы непосредственно общались с разведчицами. Это Рема Степановна Евсева, живущая сейчас в Москве (о ее свидетельстве уже рассказано выше), Анна Михайловна Иванова из города Сталино и бежавший в свое время из псковской тюрьмы бывший партизан Сергей Федорович Косминский. Он проживает ныне в Харькове.

Эти товарищи хорошо помнят трех разведчиц, и каждый из них очень помог дописать трагическую летопись последнего месяца жизни В. Патковской, А. Горбуновой, В. Голубевой.

Из письма А. М. Ивановой:

«В сентябре 42 года в тюрьму были доставлены три девушки. Я затрудняюсь назвать их настоящие фамилии, так как они прибыли в тюрьму под вымышленными, конспиративными, и сейчас у меня перепутались их вымышленные фамилии с настоящими. Точно помню только, что среди них была молоденькая девушка, единственная дочь у родителей, комсомолка Валя Голубева. Они, вернее эта Валя Голубева, и рассказывали мне о своих злоключениях.»

Когда девушек арестовали, у гитлеровцев не было ничего, уличающего их в подрывной деятельности против немцев. Следствие было быстро закончено. Но в это время неожиданно появилась какая-то женщина, знавшая до Пскова всех трех этих комсомолок, она и выдала их. Начались страшные пытки. Девушек подвешивали, растягивали, жгли раскаленными прутьями, били самым зверским образом, но они держались очень твердо и повторяли то, что сообщили немцам при первом следствии. Голубева рассказала, как она сама присутствовала на допросе, когда у ее подруги вырезали на спине звезду. От вида крови, от того, что подруга ее страшно побледнела, Валя не выдержала, заплакала и стала умолять пощадить подругу. А та, которую пытали, закричала на нее: «Кого ты просишь? С кем ты разговариваешь? Не оскорбляй меня. Смотри лучше и запоминай на всю жизнь это!» И она стала ругать палачей по-немецки.

И действительно, ее подруги (они были старше Вали) держались в тюрьме очень гордо и решительно. Своим поведением они демонстрировали полное презрение ко всему, что творили с ними гитлеровцы. Следствие длилось недолго. Их увезли ночью из тюрьмы. Выходя из камеры, они сказали: «Прощайте, друзья! За нас отомстят!» Их вывели за ворота, и было слышно, как от тюрьмы отъехала машина. Расстреляли их в районе деревни Пески.

Сергей Федорович Косминский сумел войти в доверие к тюремному гитлеровскому начальству (это впоследствии помогло ему совершить побег) и выполнял работу слесаря. Под предлогом ремонта канализационных труб он заходил в камеры, бывал и у девушек-разведчиц. Косминскому удавалось даже приносить им учебники и книги. Дело в том, что в одну из камер была заперта библиотека, конфискованная при аресте кого-то из псковских коммунистов. Вот эти-то «арестованные» книги и утаскивал Косминский.

Он рассказал:

— Сидевшие в камере № 1 девушки держались очень хорошо. Я своими глазами видел, как им было тяжело и как, несмотря на все муки, они оставались честными и сильными духом. Записки они писали своей подруге в камеру № 8 (там находилась Елена Некрасова.— И. С.). А песни их приходилось слышать не только мне, но и многим заключенным псковской тюрьмы. В последнюю ночь — по крайней мере после той ночи я больше их не видел — они пели особенно звонко. Пели о Москве, «Катюшу» и даже «Интернационал». Вся тюрьма, наверное, в ту ночь подпевала одиночницам, и песню было слышно за высокими тюремными стенами. Сильные девушки были, настоящие героини!

Вот свидетельство жительницы Пскова товарища Штурмиц, жившей напротив гитлеровской тюрьмы. Однажды осенней ночью 1942 года она была разбужена пением:

«Я встала с постели и, припав к запотевшему окну, молча стояла и слушала, не веря своим ушам. Это было что-то необыкновенное. На улицах виселицы и смерть, люди боятся громко разговаривать на родном языке, а тут политическая тюрьма поет. И что поет?! «Интернационал»! Тогда же я поняла, что в ту ночь совершается что-то очень серьезное, большое, важное. И действительно, я видела, как под утро трех девушек вывели из ворот тюрьмы, полураздетых, избитых и совсем молоденьких».

* * *

Вот, собственно, и все, что удалось узнать о тех, кто написал записку, найденную в Пскове. Вот и все, что известно ныне о подвигах группы «Вера».

Когда перечитываешь вновь скупые строки этих документов и размышляешь о трагической судьбе трех комсомолок, на память приходят слова, сказанные Валерией Патковской: «Надо жить так, чтобы чувствовать, как вырастают крылья за спиной, могучие орлиные крылья. Надо жить и творить для людей, чтобы люди не вспомнили тебя лихом!».

Москва — Псков,



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. МЕНЬШУТИН, А. СИНЯВСКИЙ

★

„ДЕНЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ“

Стало традицией отмечать день поэзии. «Шагнув через лирические томики», поэты проверяют свои стихи в непосредственном общении с читательской аудиторией и вместе с тем издают специальные сборники, которые так и называются: «День поэзии», «День поэта». Эти книги обладают особым профилем, принадлежат к особому жанру. Они интересны, пожалуй, не столько выявлением индивидуального лица того или иного поэта (по двум-трем не всегда лучшим образцам трудно составить представление о работе каждого из них), сколько возможностью хотя бы бегло взглянуть на состояние поэзии в целом. Конечно, общая картина окажется весьма неполной, в ней будут существенные пробелы. И все же наглядное сопоставление произведений многих поэтов, выступающих на страницах одного сборника, позволяет в какой-то мере проследить направление поэтического движения, отметить некоторые его тенденции, коснуться как сильных, так и слабых сторон. Материал для такого разговора дает и «День русской поэзии», выпущенный издательством «Советская Россия» в конце минувшего года.

От других изданий аналогичного типа сборник выгодно отличается шириной состава участников. Это именно книга русских поэтов, проживающих не только в Москве, но и во многих других городах, краях и областях обширной Российской Федерации. Отсюда новые, привлекающие внимание имена, новые поэтические голоса, принадлежащие по преимуществу представителям молодого поколения. Сам характер сборника определил и широту его «пейзажа», обилие географических названий, которые обычно не служат экзотической деталью, а органически появляются в связи с основной темой, что подчеркивается и частым вынесением их в заголовки («У Охот-

ского моря» Р. Казаковой, «Ангарск» А. Приставкина и другие).

Справедливо возражают против культивирования какой-то особой «областной» литературы. Но вполне правомерно стремление передать красоту родного края, запечатлеть его ни с чем не сравнимые краски и запахи:

...это Север, родной твой Север,
Что на целой земле — один...

(В. Чулков)

Но за дорогими сердцу поэта очертаниями родного края обычно проступает другая даль, открываются более широкие горизонты. Стихотворение И. Астафьевой «Родная земля», написанное, может быть, несколько наивно, но с подкупающей искренностью, заканчивается строками:

И пусть ты нежно, благодарно знаешь
давно свои любимые края,
ты снова удивленно повторяешь:
— Как хороша ты,

Родина моя!

Стихи о лесах Сибири и алтайских степях, о «деревеньке из семи дворов» на Псковщине и о новом городе на Ангаре не суживают границы сборника, а, наоборот, раздвигают их, подчеркивая и выделяя патриотическую тему, которая закономерно выдвигается на первый план, становится ведущей. В «Дне русской поэзии» она решается прежде всего на материале, непосредственно взятом из современности. Но и к прошлому поэты обращаются главным образом для того, чтобы полнее осознать, «откуда ж пошла эта слава» (Н. Асеев). Даже в повествовании о возвращении Афанасия Никитина на родину (В. Федоров, «Возвращение») чувствуется внутренняя соотнесенность с сегодняшним днем, хотя она (и это соответствует замыслу поэта) выступает

в «подтексте», только угадывается. Там же, где речь идет о событиях не столь отдаленных, возможность прямого выхода в современность становится гораздо шире и естественнее.

И остались нам
Неразделимы
Сталь клинка, сверкавшего до нас,
И страницы, пахнущие дымом,
Книги, атакующей сейчас.

Это сказано об авторе «Чапаева» (Л. Решетников. «Фурманов»). Так же «неразделимо» изображается прошлое и настоящее в ряде других произведений, посвященных предреволюционным годам, Октябрю, мирному созданию первых пятилеток.

Ряд хороших стихотворений написан на материале Великой Отечественной войны: «Вы видели, как умирали саперы?» В. Дементьева, «В Саратове...» А. Межирова, «Хозяйка» О. Шевченко, «Упаду — и никто не заметит на свете...» Е. Винокурова и другие.

Одно время стихи о войне почти совсем исчезли — не без содействия критики, которая порой узко, однобоко трактовала задачи современного искусства. «Но войны оставляют, отступая, воспоминаний минные поля», — по верному определению участницы сборника Л. Татьяничевой, и этот опыт, испытания, пережитые нашим народом, не скоро забудутся, да и не должны забываться. А новым «военным» стихам, опубликованным в «Дне русской поэзии», свойственны — в лучших образцах — внутренний драматизм, очень отчетливая индивидуальная, личная интонация, которая заставляет запомнить их, прислушаться.

Вы видели, как умирали саперы?
Вы слышали, как умирали саперы?
Мгновенно —
как писаря росчерк.
И смерти не было проще.

(В. Дементьев)

Вот какая она,
эта станция Журавлиха,
здесь всегда тишина,
здесь тихо,
тихо,
тихо.

Гольно вдруг пронесется
ветер холодный и строгий,
может, с чьей-то могилы,
а может быть, с чьей-то дороги...

(О. Шевченко)

Названные стихи — и в этом их своеобразии — шире по содержанию батальной

темы в собственном смысле слова. События войны здесь часто служат не предметом непосредственного изображения, а отправной точкой в движении поэтической мысли. Это стихи-раздумья о подвиге самопожертвования, о смерти и бессмертии, о верности и т. д.

Но главное внимание участников сборника привлекают, естественно, свершения сегодняшнего дня. Поэты стремятся идти по горячим следам событий, говорить о таких характерных явлениях нашей современности, как освоение целины и завоевание космоса, строительство новых городов и плотин, укрепление колхозов, борьба за дело мира. Такова жизненная основа, стоящая за многими стихами «Дня русской поэзии». Это еще не предопределяет автоматически их качества, их действительности. Но нельзя не почувствовать и не отметить принципиальную верность взятого «прицела», плодотворность основного направления этих исканий.

...Изменили жизнь в краях иркутских,
Вздыбив недра матушки-земли.

(М. Скуратов)

...Нету лучшего сроду,
чем под небом большим
дым советских заводов —
нашей Родины дым.

(Я. Смелянов)

Вот характерные, преобладающие интонации, преобладающее настроение. Они соответствуют стремлению воссоздать образ современника, рассказать о его мыслях и чаяниях. Поэт может давать развернутое изображение внешней обстановки, производственного «интерьера» или обходиться без этого, но его ждет удача тогда, когда авторский идеал раскрывается через целостный, ярко очерченный человеческий характер. В стихотворении «Потомкам» С. Сорин пишет:

Скажут: было светло — не верьте,
Скажут: было тепло — не верьте,
Скажут: было легко — не верьте:
Будь все это, не было б смерти,

Но товарищи умирали
И в ту ночь, когда Зимний брали,
И под Гатчиною в окопе,
И в атаке на Перекопе,
И, побив рекорд, — в стратостате,
И, роман дописав, — в кровати,
И под финкой кулацкой в поле,
На Хасане и Халхин-голе,
Под Смоленском и на рейхстаге,
И за миг до победы в Праге,

Было горько порою — верьте,
 Было холодно, трудно — верьте,
 Но и в самое главное верьте:
 Мы добыли стране бессмертье!

Эти упоминания о разных моментах в жизни страны не воспринимаются как простое перечисление, потому что привлечены не внешне, а служат опорными точками для раскрытия авторского «я», в котором воплощены мужественные черты современника, завоевавшего право обращаться к потомкам от лица своего поколения. Стихотворение построено по монологическому принципу, как бы на одном дыхании. Отсюда эта напряженная, подчеркнутая антитезами («не верьте» — «верьте»), нарастающая сила интонации, развитие которой придает особую значительность, чрезвычайно усиливает звучание обобщающей концовки: «Мы добыли стране бессмертье!»

Такие поэтические удачи, связанные с умением художественно конкретизировать основную идею произведения, радуют в «Дне русской поэзии». Но, перелистывая страницы сборника, последовательно прочитывая стихотворение за стихотворением, убеждаешься, что богатейшее содержание нашей сегодняшней современности здесь получает зачастую поверхностное, описательное освещение.

Вся твоя программа трудовая —
 Коммунизма ясные черты!..—

говорит Ф. Белкин в стихотворении, посвященном Коммунистической партии. Но черты коммунизма, величественная программа и руководящая роль нашей партии не претворены в этом произведении в образы, в живые картины современности, а лишь намечены, названы, бегло перечислены. Подобное явление наблюдается и во многих других случаях. Современная актуальная тематика играет в сборнике ведущую роль, но стихам, ее воплотившим, часто не хватает глубины, художественной силы.

Наряду с этим в отдельных произведениях, принадлежащих разным авторам, обращает на себя внимание и вызывает беспокойство тенденция к упрощенному истолкованию патриотической темы, национальных традиций, национального характера. Тема России в творчестве поэтов Российской Федерации закономерно выдвигается вперед, и в сборнике «День русской поэзии», занимающая центральное место, она получает самое разнообразное звучание — интимно-лириче-

ское, гражданское, историческое и т. д. Но иногда здесь слышатся диссонирующие ноты, как в стихотворении А. Вознесенского:

Мы противники тусклого.
 Мы прославлены в мире —
 Самоваром ли тульским
 Или ТУ-104.

Можно ли ради внешнего, чисто формального эффекта приравнять столь разные «величины» и освещать наше прошлое и нашу современность (а тем самым и нашу эстетику) блеском тульского самовара? Но даже не эти неудачные строчки сами по себе внушают опасение, а нарочитая повторность такого рода «украшений» (например, народ стоит и слушает речи не просто, а «подбоченясь», и т. д.). Стихотворение это принадлежит безусловно талантливому автору, но нельзя не отметить и его существенные промахи¹.

Истинные писатели-патриоты всегда борлись против вульгаризации национальной традиции, против искусственного и неумелого подлаживания «под простой народ», против выдуманного нерусскими стилями «рюсс», который выставляет русского человека в смешном и нелепом виде. В стилизованной песне С. Васильева раздаются такие удалые куплеты:

Наши деды на веку
 знали лапти да соху,
 но сумели — подковали
 заграничную блоху.
 Нас под ветром не согнуть
 и с дороги не свернуть.
 Раньше мы врагов бивали,
 а теперь уж как-нибудь!
 Для ракеты недалек
 самый дальний уголок.
 У советских патриотов
 крепко варит котелок.

Эти строки говорят о том, что острота слуха и вкус изменили С. Васильеву. Но дело не в разнице вкусов. Всякого рода «тульские самовары» и «котелки», возведенные в эстетический канон, лишь снижают высокую патриотическую идею.

В стремлении решать важные, центральные проблемы современности поэты сталкиваются, таким образом, с немалыми трудностями, которые не всегда оказываются преодоленными. Но и разработка тематики более узкого, «личного» значения (семья,

¹ Стихотворение «На открытии Куйбышевской ГЭС» почти в том же виде, что и в сборнике, было впервые опубликовано в нашем журнале (Ред.).

Дороги, смех шахтеров и ткачих
И тысячи — пусть маленьких — открытий.
Что сделаны тобою для других!

Мечта о «трудном счастье» несовместима с такими представлениями о счастье, как «мягко спать и вкусно есть», «жажда власти» и т. п. Эти идеалы враждебны друг другу, находятся в конфликте, в непримиримой борьбе. А в стихотворении Ошанина они мирно уживаются рядом. И хотя поэт отдает предпочтение трудному «виду» счастья, которым, как он заверяет, только и можно быть по-настоящему счастливым, в этот выбор не веришь: так ли уж необходимы поэту эти «трудности», если ему «нужно все». «Девичьи запястья», упомянутые в этом наборе «разных видов счастья», эстетически снимают весь дальнейший разговор о трудном счастье, ставят под удар всю тему.

Дело здесь, разумеется, не в бытовой подоплеке стихотворного текста, не в том, что больше любит поэт Ошанин — «ласковый уют» или трудные творческие командировки, полные «больших событий». Дело в единстве поэтического мироощущения, в последовательной жизненно-эстетической концепции, которая необходима в любом художественном произведении, тем более в таком, как это стихотворение — раздумье нашего современника о смысле жизни, о счастье.

Тема «трудного счастья» не нова в советской поэзии. Все мы помним стихи Маяковского:

Мне
и рубля
не накопили строчки,
краснодеревщики
не слали мебель на дом.
И кроме
свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
мне ничего не надо.

Почему же нас не коробит это упоминание о «свежевымытой сорочке»? Ведь это тоже, в некотором смысле, домашняя сторона жизни поэта. Но Маяковский не возводит ее в степень «счастья», и в отношении мешанского «ласкового уюта» у него звучит не жеманная прекраснородушная реплика: «мне нужно все», а резкое, непримиримое отрицание: «мне ничего не надо», — и в этом вся разница.

В поисках позитивных решений не обязательно обращаться к опыту прошлого. В самом сборнике «День русской поэзии» нема-

ло хороших строк, в которых поэты разных поколений, «всю душу вложив в неделимую страсть» (С. Наровчатов), раскрывают нам целостный образ современника, знающего, что такое трудное счастье,

Что значит хлеб,
Что значит соль,
Что значит гнев,
Что значит боль!

(А. Пряников)

Но наше внимание к стихам Л. Ошанина из цикла «Раздумья» вызвано тем обстоятельством, что в некоторых произведениях, вошедших в сборник, чувствуется такое же облегченное решение «трудной темы», известное снижение нравственных критериев в изображении внутреннего мира человека, его помыслов, надежд, мечтаний. Эта опасность заставляет насторожиться. В этой связи приведем одно стихотворение, принадлежащее А. Маркову, в котором дает себя знать та же тенденция — разрыв между декларируемой высокой идеей и мельчащим, заниженным ее воплощением.

Хоть она и молодится,
Но реже, реже с каждым днем
К ней поворачивают лица
И ждет «вздохатель» за углом...

Теперь на дочь ее все чаще
Бросают взгляды, проходя.
Как ей когда-то, легкий плащик
Несут, спасая от дождя...

...Ну, отчего ж ты приуныла,
Вздохнула, стоя у окна?
На свете все как прежде было,
Лишь красота обновлена.

Вечное обновление жизни и красоты воспето поэтами всех времен и народов. Но вряд ли стареющая кокетка, которую начинает затмевать ее «юная смена», — подходящий материал для философского умозаключения, сделанного с такой невозмутимой серьезностью в финале стихотворения: «Лишь красота обновлена». Вряд ли достоин поэтизации весь этот «вечный» уклад с вздохателями за углом и поклонниками, подносящими «легкий плащик». Тут напрашиваются сатирические интонации, а не элегические.

Необходимость широких связей с жизнью не раз декларируется участниками «Дня русской поэзии». Стихотворение А. Рогачева «У костра» заканчивается строфой, в которой надуманным, «головным» стихам противопоставляется поэзия, черпающая вдох-

новение из самой действительности. Ту же, по сути дела, мысль утверждает и Г. Граубин, когда в стихотворении «Сводка Госплана» пишет:

Как самые лучшие
Главы романа,
Читается скромная сводка
Госплана.
В ней каждая цифра
И каждое слово
Встать в первую строчку
Поэмы готово.

Но, верная в своей основе, эта декларация таит опасность несколько упрощенного понимания задач творчества. Характерно, что попытка автора стихотворения показать живых исполнителей планов реализуется слабо, маловыразительно:

Они у шитов,
У турбин Днепрогаса,
На стройке,
На сплаве,
На плавке железа,
В цехах,
На площадках
Подъемного крана —
Везде, где рождаются
Цифры Госплана.

Так возникает одна из реальных бед нашей поэзии — инерция описания, перечислительность. Важная тема скорее названа, чем решена. Интересный жизненный материал берется слишком прямо, «в лоб», и поэтому не претворяется в художественную ткань произведения.

Поэты много пишут о целинных землях, но, к сожалению, порой забывают, что эта тема, как и другие поэтические темы, тоже своего рода целина, которая требует не поверхностной, а глубокой вспашки. Обозначить определенную круг жизненных явлений, достойных «встать в первую строчку поэмы», — чрезвычайно существенный этап в поэтической работе. Но это только ее начало. Ибо в поэзии, как и в искусстве вообще, важно не просто хорошее знание жизни, а ее художественное познание и освоение. Мотивом напряженных творческих исканий окрашены крупнейшие произведения русской классической и советской поэзии. Но и более скромные, повседневные поэтические удачи всегда связаны с оригинальным освещением темы, с умением передать свой особый взгляд на вещи.

Когда-то в далеком детстве, рассказывал поэт, он срезал в вечеряющем саду молодой «беспомощный» пружик; и вот воспоминание об этом не дает покоя. Таково, гру-

бо говоря, содержание стихотворения В. Солюхина «Теперь-то уж плакать нечего...». Но это лишь внешняя сюжетная канва.

...А сад то вечерней сыростью,
То легким теплом дышал.
Не знал я, что может вырасти
Из этого малыша.
Взял я отцовы ножницы,
К земле я его пригнул
И по зеленой ножнице
Лезвием саданул.
Стали листочки дряблыми,
Умерли — не помочь,
А мне, мне приснилась яблоня
В ту же, пожалуй, ночь.
Ветви печально свесила,
Снега — и то белей!
Пчелы летают весело,
Только не к ней, не к ней!
Что я с тех пор ни делаю
Каждый год по весне,
Яблоня белая, белая
Ходит ко мне во сне!

Мы понимаем, что речь, собственно, идет не о срезанной ветке, а о чем-то гораздо большем, значительном: о силе творчества, о красоте созидания — в природе и в жизни человека. И это достигается всем образным строем, для которого характерна метафоричность, постоянное взаимодействие двух планов, прямого и переносного.

Нечто сходное можно проследить и в стихах В. Карпеко «Моя ответственность», где изображение определенной жизненной ситуации становится поводом для обобщающей, не лишенной некоторой символичности концовки:

Мне нельзя заблудиться:
За мною другие идут.

Но вот перед нами стихотворение Р. Казаковой «У Охотского моря». Оно выдержано в лаконичных, скупых тонах, и если поэтесса все же прибегает к художественным тропам («волна обуглила руки, из душ коснутся не могла!»), то в целом избранная ею манера исключает такиевольности, как приход яблони и т. п. Повествование предельно конкретно, порой даже нарочито прозаично («Там ржавый спирт из банок пили... там гастролеров не любили»). И тем не менее Казакова далека от эмпирического бытописательства. Строго обдуманный отбор внешне неярких деталей ведется так, чтобы показать мужественный облик людей Севера, о которых автор говорит со скрытым волнением, с гордостью за свою причастность к их судьбе:

Там жил артельный верный люд.
Охотничал, рыбачил, строил
И не считал себя героем
За свой привычный подвиг — труд!

Я знаю это побережье.
Мне выпала такая честь!

Стихотворению Р. Казаковой также присущ особый подтекст, благодаря чему тема перерастает свое локальное, «дальневосточное» значение, становится шире, многограннее. Но задача обобщения решается здесь иными средствами, без какой-либо иносказательности, подчеркнутой метафоричности и т. д.

Эти разные поэтические возможности во многом определяют и споры, сопутствующие развитию нашей поэзии. Сходясь в основном и главном, поэты зачастую вступают в борьбу, в резкую полемику при отстаивании своей индивидуальной манеры, при выборе поэтических традиций, из которых одни подразумевают особую ясность, строгую реалистичность рисунка, а другие, наоборот, допускают условную форму, экспрессивность, романтическую «свободу». Спор о простоте и сложности в поэзии не является надуманным. Но порой его пытаются решить несколько односторонне. Так, например, выступая в качестве критика на страницах сборника «День поэзии», изданного в 1956 году, А. Коваленков справедливо писал о вреде лженоваторства и формализма, уводящих в сторону от больших художественных задач. Но в ходе аргументации этой верной мысли, говоря о пристрастии иных поэтов к своей особой, исключительной манере письма, А. Коваленков высказывает и явно ошибочные положения: «Поэт, ратующий за определенный круг приемов, подчеркивающий свою обособленность и исключительность, обязательно где-то соприкоснется с бальмонтовским определением — «поэзия как волшебство». В том-то все и дело, что не обязательно! Нельзя забывать о разнице между штукарством, искусственной манерностью и плодотворным поиском, самобытностью. Отсутствие такого разграничения дает себя знать и в прошлогодней статье В. Солоухина «Поэзия и время». Солоухин сочувственно говорит о следовании «напевному плавному русскому стиху». Спорить с этим не приходится. Но поиски новых возможностей в области ритма, как и вообще всякую необычность, усложненность художественной формы, он также готов целиком отнести на счет формалистов. В ре-

зультате такого рода оценок и выводов возможности нашей поэзии невольно оказываются суженными, а своеобразие целого ряда ее интересных явлений с трудом поддается объяснению. Вспомним хотя бы В. Луговского, его книгу «Середина века», в которой сложные ассоциативные сопоставления, применение белого, безрифменного стиха, требующего дополнительных интонационных и других усилий, помогают раскрыть единый смысл разнообразных исторических событий, передать напряженное авторское раздумье и т. д. Все дело именно в этой внутренней необходимости, художественной целесообразности. Если же поиски ведутся ради поисков, то они, конечно, становятся мало плодотворными, затемняют идею произведения, приводят к той туманности, неоправданной сложности, которая не приносит читателю никакого эстетического наслаждения, а только раздражает его.

Небезынтересно отметить, что у ряда поэтов, выступающих в «Дне русской поэзии», борьба с нарочитой усложненностью становится как бы самостоятельной темой или, по крайней мере, характерным сопутствующим мотивом. Показательно в этом отношении стихотворение Д. Смирнова «Станция Маяковского».

А можно ль поэтом назвать
Громаду из стали и радуг?
Где героиня-мать,
Та, что рожала б громады?
Чтобы летели стрелой
Поезда в рукавах у сына...
Чтобы его ребро
Крепило земную спину...

Так через все стихотворение тянется ряд уподоблений, который, однако, не утверждается, а отрицается:

Сатурн — может, шляпа его,
Оставленная миру на память?!
Нет, не звезды в расчет принимать,
Поэта
меряя
силу:
Есть на земле героиня-мать —
Родина,
Россия.

По тому же принципу построено и стихотворение Г. Флорова «Великан». В первой его части подвиг рядового труженика изображен укрупненно, почти гиперболически («Шагал, ни гор не замечая, ни рек таежных, ни дорог»). Но это призвано лишь контрастно подчеркнуть действительный, обычный облик тех, кто совершает великие

героические дела. Отсюда и ироническое упоминание о газетной заметке, в которой

...было все похоже,
 Но все как будто сквозь туман:
 Что он морям готовит ложе,
 Что он в работе великан.

Впрочем, избранный метод «от противного» порою мстит за себя, что особенно ощутимо у Д. Смирнова, где запоминается именно развернутая система уподоблений, а не краткая декларативная концовка. И это косвенно свидетельствует, что, вообще говоря, поэтам нет надобности сдавать в реквизит «звезды» и прочие условности. Смелая гипербола, аллегория в умелых руках могут быть очень ярким выразительным средством. Но если их применение не соответствует основному заданию, то результат оказывается отрицательным, происходит лишь замутнение идеи, когда, по словам Флорова, «все как будто сквозь туман».

На пути каждого поэта встают проблемы, очень сложные по своему эстетическому содержанию и требующие, кроме известных навыков, каждый раз нового художественного открытия. И тут порою терпят поражение не только начинающие поэты, но и опытные мастера, которых было бы нецелесообразно упрекать в «технической отсталости». Почти наверняка в этом смысле стихотворение Н. Тихонова «В ботаническом саду в Перадении». Оно, по нашему мнению, не удалось поэту, но эта неудача не столько волнует как факт творческой биографии Тихонова, который обычно с успехом возмещает свои потери, сколько имеет, так сказать, более общий, теоретический интерес. Причины, предопределившие слабость этой вещи, коренятся, как нам кажется, в самом ее замысле, внутренняя противоречивость которого не позволила Тихонову развернуть избранную тему, несмотря на красочный материал, образное богатство.

Анчар, увиденный им в ботаническом саду на Цейлоне, поэт связывает с известным стихотворением Пушкина, что служит ему поводом к тому, чтобы перекинуть мостик между двумя странами, дружественными вопреки разделяющим их расстояниям:

Как и здесь, он в поэзии нашей
 Зеленеет в бессмертных стихах.

Есть б знал он — угрюмый — про это,
 Он гордился б до старости лет,
 Что прекраснейшим русским поэтом
 Он на севере снежном воспет.

Но в стихах Пушкина анчар несет гибель всему живому, предстает как символ смерти. Апеллируя к Пушкину, Тихонов вынужден до некоторой степени опираться на пушкинскую трактовку этого образа, продолжая в то же время видеть в анчаре нечто прямо противоположное, поскольку он стремится с его помощью подчеркнуть близость России и Цейлона. В результате образ двоятся: анчар наполовину обрисован ужасным, наполовину — прекрасным. Он стоит, «окруженный всею пестрою братьей лесной», и вместе с тем «по коре его темной, железной луч скользнул и пугливо погас»; он истекает ядом и вместе с тем радостно зеленеет (вспомним «зелень мертвую ветвей» у Пушкина). Возникает заметная путаница: анчар, по словам поэта, «не так уже страшен, но внушает живущему страх», и читатель вправе спросить — страшен все-таки или не страшен анчар?

Спору нет, вполне возможно, что реальный, цейлонский анчар «не так уже страшен» и даже приятен для глаза, но тогда стоит ли возводить его непосредственно к стихам Пушкина, не полемизируя с ними, а проводя близкую аналогию? А если уж исходить из пушкинского «варианта», памятного каждому и достаточно недвусмысленного, можно ли без насилия над образом превращать древо смерти в символ дружбы?

В спорах о простоте и сложности часто называют имя Семена Кирсанова. Своими лучшими вещами Кирсанов доказал правомочность манеры, тяготеющей к символическому, к романтическому взлету фантазии. Но в его работе немало срывов, издержек. Двойственное впечатление оставляет и сонетный цикл «Весть о мире». Вряд ли можно утверждать, что сонетная форма вообще непригодна для разработки современной темы. Все дело в том, чтобы преодолеть ее внешнюю каноничность, добиться необходимой свободы, естественности. В венке сонетов Кирсанова это достигается далеко не всегда:

А смерть уже дежурит в стороне.
 Но меж лепных и карнавалных зданий
 мир полон новых радужных созданий,
 недавно зародившихся на дне.
 Мир полон новых радостных сознаний
 с прозрачными крылами на спине,
 свиданий утренних и досвиданий,
 встреч и разлук ночных наедине.

Здесь, как и в ряде других мест, требование определенной рифмовки явно связы-

вает поэта, приводит порой к искусственным, да еще дублирующим друг друга выражениям («новых радужных созданий... новых радостных сознаний»), которые позволяют заполнить ритмическую сетку, но мало способствуют развитию темы. А между тем замысел, несомненно, интересен. Отнеся действие своего цикла к моменту окончания войны, Кирсанов стремится выразить тревогу за судьбы народов, предупредить о возможности новой опасности, развеять ненужные иллюзии.

Весь мир очнулся в розовой одежде.
Но — грохотом чревата тишина,

В краткой заметке «От автора» Кирсанов оговаривает известную незавершенность «Вести о мире». Действительно, в настоящем виде стихи воспринимаются скорее как подступ к большой теме.

Но бывает и так, что, следя за извилистым движением поэтической мысли, мы неожиданно убеждаемся в ее крайней ограниченности и совершенной необязательности сложного камуфляжа, которым она окружена. Нечто подобное происходит при чтении стихотворения «О, земля моя!..», которым представлен в «Дне русской поэзии» Л. Мартынов:

О, земля моя!
С одной стороны,
Спят поля моей родной стороны,
А присмотришься с другой стороны—
Только дремлют, беспокойства полны.

Лишь несмелые
Умы смущены
Оборотной стороной тишины,
И приятнее им свойство луны—
Быть доступной лишь с одной стороны.

Но ведь скоро
И устройство луны
Мы рассмотрим и с другой стороны:
Видеть жизнь с ее любой стороны
Не зазорно ни с какой стороны!

Завороженный какой-то странной каруселью, читатель мучительно ломает голову над загадкой, заставляющей вспомнить слова шутилой песенки: «Левая, правая где сторона?..» А между тем ребус решается просто. И эта назойливая тавтологичность выражений («С одной стороны, спят поля моей родной стороны») по-своему закономерна, так как она соответствует топтанию мысли на одном месте. Не приходится сомневаться в даровании Леонида Мартынова. Но его подстерегает опасность мнимой зна-

чительности, когда глубина разработки темы подменяется ее внешней запутанностью.

Давно прошло время развернутых деклараций в защиту «слова как такового». По отношению к современной поэтической практике трудно говорить о сколько-нибудь прямом их отражении. И все же отголоски неверных представлений иногда дают себя знать, приводят к словесным «примесям», отсеять которые было бы полезно. Взять, например, А. Вознесенского, активно выступающего в последнее время в периодической печати. В его стихах заметно стремление к образной динамике, к стиловому своеобразию. Но поэт порой не может избежать соблазна внешней игры словом.

В одном вагоне—четыре гармонии.
Четыре черта в одном вагоне!
Четыре чуба, четыре пряжки,
Четыре,
Четыре,
Четыре лляски!
Эх, чечеточка, сударыня-барыня!
Одна девчоночка —
Четыре парня...

Тема, конечно, улавливается. Но она потеснена ритмическим и словесным «перебором», который становится до некоторой степени самодовлеющим. И дело не столько в данном случае, сколько в потенциальной возможности дальнейшего уклонения в сторону внешнего эффекта.

Неприятное впечатление своей надуманностью, крикливым фразерством производит стихотворение И. Кучина «Филологи на целине», которое открывается таким «изысканным» сравнением:

Котелок на треноге —
как юс большой,
а палатка —
как малый юс...

Но, может быть, этим палеографическим уподоблением автор стремился передать специфику своего восприятия целинной жизни, некий профессиональный колорит в мироощущении студента-филолога? Ничего подобного: все стихотворение строится на пренебрежительных замечаниях, отпускаемых в адрес науки и даже грамматки, что весьма странно слышать из уст филолога.

Это вам не дебаты на литкружке,
не в архивном возня барахле...

Возникает законный вопрос: зачем же вы, дорогой товарищ, тащите это, с позволения сказать, «барахло» в свои стихи и украшае-

те их юсами большими и малыми? И почему вы при таких взглядах на свою профессию именуете себя филологом? Эти стихи и по содержанию и по форме — образчик литературной претенциозности, одушевляемой в основном лишь погоней за красивым словом.

Иногда думают, что ясность в поэзии и напряженные поиски формы исключают друг друга. Наглядным опровержением этого мнения может служить отрывок из поэмы Б. Ручьева «Любава» — одной из лучших вещей «Дня русской поэзии». Написана «Любава» под заметным воздействием складного народного языка, фольклорных источников. В ней чувствуется искусное владение словом, которое обеспечивает добротность, прочность стиху и вместе с тем придает ему естественность, непосредственность, живость.

Но иногда простота оборачивается упрощением, отсутствием значительного содержания. А. Пришелец пишет:

Вот опять весна,
И, как год назад,
Над московским Кремлем
Журавли летят.
А над ними взвилась
В голубом эфире
Серебристая птичка
ТУ-104.

Это неожиданное превращение воздушно-го гиганта в «серебристую птичку» не просто стилистическая оплошность. Она показатель общего облегченного подхода к теме, которая развивается не столько по внутренней логике, сколько в силу какой-то внешней инерции, ведущей за собой эти порхающие стихи с необязательными перечислениями, с поверхностными афористическими сентенциями («Все меняется, улучшается»).

Чаще всего упрощенный подход к стиху ведет к потере всякой образности, к ритмической аморфности, к бедности рифмы и т. д. Художественное произведение мало-помалу превращается в голую констатацию каких-то фактов и мыслей. Это произведение может быть дорого нам человеческим или гражданским содержанием, которое стоит за ним, оно способно даже волновать читателя, но уже помимо своей причастности или, вернее, непричастности к искусству — простым названием каких-то близких нашему сердцу явлений и понятий.

До омертвого часа не выйду из строя,
Ео имя грядущей коммуны тружусь.

И первой люблюсь луной и второю,
Победами русских ученых горжусь.

(И. Рождественский)

Когда К. Мурзиди говорит о деятельности нашей партии —

Всегда — за новое борьба,
Пусть крепко старое держалось...

это очень правильное замечание невольно переносишь из стихотворения в публицистическую статью, где бы оно звучало уместнее. И дело здесь не в проникновении мысли и языка публицистики в современную поэзию, что вполне правомерно, а в подмене конкретного образа декларацией, в утрате специфически художественного способа мышления и воплощения.

Отсутствие мастерства, не восполнимое никакими другими достоинствами, губительно сказывается и на содержании произведения, превращая интересные замыслы в скучную схему, актуальную проблематику в набор прописных истин, яркий жизненный материал в бледную условность. Вот, например, стихотворение «Урок труда» А. Лебедева:

Вхожу я в школу друга моего.
Учитель он. Послушайте, гудят станки.
Идет работа в классе у него,
Металл строгают на станках ученики.

Гул льется в классе, словно здесь завод,
Кричит он: «У станков не баловаты!»
Хоть он и молод, строгостью берет:
«Пришли учиться — не в футбол играть».

Он объясняет, что тверда фреза,
Покорен ей в труде металл...
За окнами Москвы синеют небеса
И сивер, что в сентябре цветистым стал.

И солнце в окна льет свои лучи,
Оно струится на поля страны,
Где стройки по просторам горячи
И люди на полях в труде дружны.

Луч солнца в класс врывается струей
И золотит и лица и станки.
Учитель шутит с детворой,
Пятерки ставит в дневники...

Здесь много того, что называется обычно «недостатками формы»: невыразительные, первые попавшиеся рифмы: «моего» — «у него», «страны» — «дружны» и т. д.; скудный запас слов и образов, которые без надобности повторяются, утяжеляя и растягивая стихотворение («И солнце в окна льет свои лучи», «Луч солнца в класс врывается струей» и т. д.); корявые инверсии, продиктованные лишь необходимостью зарифмо-

вать строчку («И сквер, что в сентябре цедистым стал»); вялый, местами спотыкающийся ритм. В результате и содержание «Урока труда» выглядит очень убогим. Здесь отсутствуют живые человеческие лица, а есть лишь условные обозначения «учителя» и «учеников», поставленные на фоне столь же условного индустриального пейзажа. Все это скорее похоже на отметку в ученическом дневнике, которой символически заканчивается стихотворение, чем на картину реальной жизни.

Низкий уровень мастерства сказывается не только в том, что стихотворное произведение бывает лишено образности, четкой ритмической организации и т. д. Зачастую этот уровень дает себя знать в различных родах диссонансов формы и содержания, в несоответствии образного или интонационного рисунка тому предмету, о котором идет речь. В поисках «подходящего» слова решающее значение имеет тонокость слуха, наличие развитого эстетического вкуса, благодаря которому устанавливается необходимая гармония. В противном случае нарушение единства мстит за себя непредвиденными, порою полународийными эффектами, нелепостями и несуразностями, в которых автор как бы теряет управление над собственным текстом. В поэме И. Баукова, например, повествование о прифронтовой Москве неожиданно перебивается сентиментальной нотой, манерной интонацией, разрушающей целостное впечатление:

Старуха плачет, надрывался,
Грозя мужчинам кулаком...
И нежный мальчик с рюкзаком
Стоит, кого-то дожидаясь.

Этот «нежный мальчик», окруженный «изящной» кольцевой рифмой, выпадает из контекста поэмы и вызывает неуместную улыбку.

В целом нельзя не признать, что по своему качеству сборник ниже уровня современной поэзии. Отчасти это объясняется отсутствием здесь ряда крупных поэтов. Некоторые же первоклассные мастера представлены в сборнике далеко не лучшими своими вещами. Так, шуточные стихи М. Исаковского носят, в общем, альбомный характер и, конечно, дают очень слабое понятие о даровании этого поэта. Недоумение вызывает стихотворение А. Жарова «Со штормом я не спорю...», пустое по содержанию, сбивающееся на самопародию. Невольно создается впечатление, что ряд ав-

торов счел возможным выступить в сборнике со стихами второго сорта, предпочитая печатать более интересные вещи в периодике. В этом вина и составителей «Дня русской поэзии», не проявивших должной требовательности при отборе материала. Понятное стремление к широте состава участников часто приводит к снижению качества. Стоило ли, в самом деле, ради погони за лишним именем привлекать в сборник такого автора, который фигурирует здесь лишь единственным четверостишием, исполненным мнимой многозначительности:

Я горжусь и буду гордиться
Тем, что в нытики не гожусь:
Ненавижу скучные лица
И «красивую» штуку — грусть.

(Е. Головкин)

Так ли бедна наша современная поэзия, чтобы довольствоваться подобными «афоризмами»?

В сборнике весьма ощутимо отсутствие у многих его участников своей, ярко выраженной поэтической индивидуальности. Это подчас связано с механическим усвоением словесных образов и ритмических ходов, уже найденных ранее другими. Учеба у классиков, необходимая в процессе совершенствования поэтического мастерства, повышения стиховой культуры, иногда понимается у нас слишком уж примитивно. И не только у классиков. Порой яркая манера того или иного поэта современной эпохи оказывается тем оригиналом, по образцу которого создаются десятки и более копий, лишенных признаков собственной интонации. Речь идет не о традиции и даже не о литературном влиянии, которое испытывают иногда и зрелые мастера, а тем более поэтическая молодежь, развивающаяся подчас в русле той или иной «школы». Всем известно, например, какое сильное воздействие оказало на советскую поэзию творчество Н. Тихонова. В частности, ряд вещей С. Гудзенко, М. Максимова и других отмечен явным тяготением к формам тихоновской баллады. Однако это влияние не заглушало творческой самобытности поэтов.

Но вот в «Дне русской поэзии» мы встречаем стихотворение П. Реутского «Закон тайги». И по своему сюжету и по выполнению оно звучит очень неплохо, если бы не было буквальным воспроизведением чужой манеры.

Трое тринадцать суток в пути —
Горный маршрут далек.
Двое сказали:

— Надо дойти.

Третий на землю лег,
.....

Люди неделю не пьют воды,
Кончен запас галет...
Людям, открывшим залежь руды,
Было по двадцать лет.

И острота ситуации, и подчеркнуто сдержанное изложение (скупой язык цифр, профессиональная лексика и т. д.) — все здесь принадлежит Тихонову.

А вот из «Стихов о советском паспорте» В. Маяковского:

В «Дружбу народов», степной колхоз,
Гость-иностранец приехал,
Какого-то треста влиятельный босс,
Делец своего успеха.

Приехал и смотрит,
как смотрят во сне
Непонимающим взором.

(А. Лесин)

Но порой возникают и более неожиданные совпадения:

Облака уплывали,
Нежнее кораллов.
У причалов
Под ночь бронзовели суда.
И в приливе
Остывший песок покрывала,
Кольхаясь, горя и темнея,
Вода.

(В. Коржинов)

Расположите эти стихи не столбиком, а «как полагается», и вы услышите баюкающую мелодию И. Северянина:

А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажма.

Подражательных стихов, лишенных собственной интонации, немало в сборнике «День русской поэзии».

Задача преодоления низкого художественного уровня продолжает оставаться одной из насущных. И хотя она решается прежде всего в самой практике, но и ясность общих теоретических взглядов также имеет немаловажное значение. В упоминавшейся ста-

тье В. Солоухина читаем: «Чарльз Дарвин в одной из своих работ обронил фразу: «О слоге я не заботился». Вот ключ к решению вопроса о формализме. Когда необходимо рассказать человечеству вещи огромной важности, время ли усложнять себе жизнь изобретением словесных трюков». В своем стремлении утвердить примат содержания над формой автор, конечно, прав. Но зачем же с помощью ни в чем не повинного Дарвина внушать читателю мысль, что «забота о слоге» является чем-то внешним, необязательным, более того — лишним. Подобные полемические крайности неизбежно запутывают и вопрос о новаторстве. На этот вопрос дается правильный негативный ответ (борьба с формализмом), но положительных решений, по сути дела, не предлагается. Тем самым повторяется — лишь наизнанку — одна распространенная ошибка. Как только возникает необходимость в примерах поэтического новаторства, разговор подчас вертится вокруг имен Н. Асеева, С. Кирсанова, из относительно более молодых — М. Луконина. Спору нет, в их работе много интересного. Но в целом проблему новаторства следует рассматривать гораздо шире и с не меньшим, а порой с большим основанием связывать с творчеством таких, например, поэтов, как С. Есенин или М. Исаковский. Ибо подлинная ясность, простота также требуют смелых поисков, открытий, напряженного труда, самого внимательного отношения к слогу. Смотреть на дело иначе — значит платить дань неверным взглядам, ведущим, в частности, к тому, что стирается грань между простотой и упрощенностью, невольно появляется какая-то снисходительность к стихам слабым, описательным, лишенным яркого своеобразия.

В «Дне русской поэзии» широко представлены стихи, принадлежащие людям разных поколений, различной жизненной судьбы, присланные с разных концов нашей Родины и вместе с тем единые — в своем большинстве — по заключенной в них воле, идейной направленности. Но что касается многообразия стилей, яркого индивидуального лица, художественного совершенства — всего этого в сборнике недостает, и в этом направлении предстоит много работы, в особенности молодым поэтам — тем, кто определит завтрашний день русской поэзии.



И. РАДВОЛИНА

★

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

(О некоторых книгах югославских писателей)

К нам в Советский Союз приходят романы, повести, рассказы, стихи югославских писателей. Их немало. Приходят статьи о литературе, югославской и нашей, советской, статьи просто о жизни. В Югославии выходит около двадцати специальных литературных изданий; почти каждая газета отводит литературе отдельные странички, отдельные приложения. Несколькими книгами из этого потока — именно те книги, на которых больше всего останавливала свое восторженное внимание югославская критика, — вызвали желание поговорить с югославскими товарищами. Поговорить серьезно. Без хлестких слов, полемического пыла, без попытки опровергнуть все невежественные вымыслы о советском искусстве, которыми заполнены странички югославской литературной печати.

Стоит ли отвечать, скажем, писателю Добрице Чосичу, который в газете «Борба» в силу своей гипертрофированной чувствительности к различным веяниям с обычной для него эмоциональностью патетически взывает против якобы развернувшейся у нас в стране широкой кампании за... «уничтожение югославской революции»?.. Он и сам прекрасно знает, что эта «кампания» не что иное, как плод его богатой фантазии. Стоит ли вступать в спор с человеком, который называет себя коммунистом, рьяно потрясает знаменами гуманизма, интернационализма, социализма и при этом с не менее рьяным пренебрежением истинного «европейца» усиленно высказывает свое «сверхъевропейское» презрение к шестисотмиллионному Китаю с его древней культурой, с его замечательным сегодняшним днем? Стоит ли спорить с писателем, который рисует социалистический Китай не ина-

че, как страной «восточных мандаринов», и к тому же пугает бреднями о якобы кровавой расправе с деятелями китайской культуры?

Стоит ли спорить с другим литератором, с поэтом Ристо Тошевичем, который в газете «Политика» в цикле статей пытается доказать, будто художники нашей страны, изображающие в своих произведениях борьбу советского народа за коммунистическое общество, делают это под административным давлением сверху? Ему, очевидно, непонятно, что наша действительность может вдохновлять и радовать писателя. И разве не естественнее будет просто посмеяться, когда поэт, совершенно серьезно призывающий в своих стихах «вернуться к малому», вернуться к

...потягиванию в кровати,
к плесканию в теплой ванне,
к металлическому стуку шагов по тверди
асфальта,
к ленивому шепоту в тишине
послеполуденных кафе,
к разглядыванию витрин, сунув руки
в пустые карманы,
...к лаю городских псов и бесцельному
кваканью лягушек,
к маленькой станции, мимо которой редко
проходят поезда...

когда именно этот поэт с той же страстью в своих статьях клянется... марксизмом, выносит приговоры от имени марксизма?

Но попробуем судить о месте югославской литературы в жизни ее народа не по высказываниям писателей, а по их книгам, по их делам. Займемся только книгами, и только теми, которым присуждены премии, которые в течение последних лет находятся в центре внимания югославской печати, ко-

торые касаются действительно важных моментов борьбы народов Югославии. Посмотрим, куда зовут, куда ведут, что внушают эти книги.

И начать хочется с лирического отступления. Оно, возможно, нарушит литературно-критический строй статьи. Но вместе с тем оно, как мне кажется, приблизит к читателю время, обстановку, героев, о которых пойдет здесь речь.

* * *

...Я приехала в Белград вскоре после народной победы, когда только что выбравшиеся из лесу, спустившиеся с гор, вышедшие из подполья партизаны в обнимку с ликующими жителями недавно освобожденной столицы отплясывали на площадях и улицах веселое мелкошагое сербское коло, воинственно-грозное — черногорское, мужественное — македонское.

В те дни я познакомилась с одной семьей — с матерью, сыном и дочерью. У сына и дочери на груди сияли выпуклые серебряные медали участников народно-освободительной войны с самого ее начала, с 1941 года. Они воевали в горах Боснии и в долинах Воеводины, они прошли чистилище Сутьеки и в одиночку пробирались в занятые врагом города, чтобы выполнить задания, выпадавшие на долю самых отважных. Оба были рослые и красивые, оба были юношески взыскательны и нетерпимы, всё считали крайне важным, во всем искали глубокий смысл и склонны были сразу зажечься или любовью, или ненавистью.

Наше знакомство качалось с того, что они спросили меня, холодно поблескивая чуть недоверчивыми глазами: «Рускиня?» Потом переспросили: «Права рускиня?» — «Настоящая русская?» Услышав несколько сербских слов, они сочли меня дочерью белоэмигранта. Эмигрантов здесь считали «ненастоящими русскими» и отнюдь не жаловали их.

Убедившись, что я настоящая «рускиня», Мария и Милан — так звали брата и сестру — с потеплевшими глазами начали меня расспрашивать. Я должна, я обязана была знать и о том, как управляют предприятием, и о новых средствах лечения туберкулеза, и о том, как распределяются доходы колхоза, завода, и о том, что пишет сейчас академик Тарле. Наши советские журналы они, оказывается, прочитывали от корки до корки. К советскому опыту у них было отношение по-хорошему потребительское. Узнали что-нибудь новое — надо

попробовать. В каждой нашей фразе, напечатанной и высказанной даже мимоходом, они искали какую-то особую значимость.

Еще до войны в гимназических и студенческих кружках они изучали историю нашей партии, читали «Чапаева», «Как закалялась сталь». Имя нашего Павла Корчагина Милан взял себе как партизанскую кличку и со всей присущей ему черногорской решительностью старался быть достойным этого имени. Теперь он был одним из руководителей молодежной стройки.

Мария работала и училась на педагогическом факультете. Как ветерану освободительной борьбы, этой молодой женщине было доверено руководство крупным учреждением. К тому же ее избрали депутатом городского управления. Но Марии очень хотелось закончить образование, прерванное войной. Она прочла когда-то «Педагогическую поэму», которую привез тайком из Москвы ее покойный жених, коммунист. С тех пор она мечтала о коммунистическом воспитании людей.

Позднее я встречалась и с друзьями этой семьи. Их было много. Всех их тоже — кого из сельской школы, кого из Белградского или Загребского университета, кого с виноградных плантаций Сербии, Далмации, кого из заброшенных медвежьих углов гористой Боснии — подняла и двинула в нелегкий путь война. С жадностью они набрасывались теперь на знания, взволнованно вспоминали каждый эпизод народно-освободительной войны. Они были чисты и строги в отношениях друг к другу.

Но, пожалуй, еще больше, чем эти юноши и девушки, мне запомнилась мать Марии и Милана — высокая, худощавая, вся в черном, с гладко зачесанными волосами, с круто выгнутыми, точно углем проведенными бровями. Казалось, она пережила так много, что печаль, наполнявшая темную глубину ее глаз, вот-вот прольется. Она редко улыбалась и строго смотрела прямо в глаза. Наше знакомство с ней тоже отличалось от обычных в те дни. Первую советскую женщину, увиденную ею, она встретила не так, как многие тогда встречали, — восторженными возгласами о преданности новому строю, о своей любви к Советскому Союзу. Нет. Она не рассказала мне и того, что я узнала несколько дней спустя от общих знакомых: ее старший сын погиб еще в первые часы восстания (оно вспыхнуло в день нападения на Советский Союз), а младший, единственный оставшийся с ней

после того, как она благословила Милана и Марию на уход в партизаны,— младший, пятнадцатилетний Дражко помогал ей скрывать у себя сначала одного, а потом второго советского военнопленного, бежавших из немецких лагерей. Дражко погиб, переправляя пленных к партизанам. Все это мне рассказали другие. А она встретила меня словами чуть раздраженного упрека. «Вы, русские, странные люди,— сказала она с горечью.— Три месяца жил у меня после победы ваш майор Николай. Как сын был в доме. А уехал — даже открытки не прислал. Капитан Костя жил. Тоже так. И ты, наверно,— она посмотрела с укором и махнула рукой,— только полюбишь тебя, как дочку, убежишь и не вспомнишь...» Когда я принялась оправдывать не знакомых мне Николая и Костю, она, увидев мое огорчение, вдруг подошла, обняла меня и, горько улыбнувшись, сказала: «Защищай, защищай своих... Мои,— она кивнула на Милана и Марию,— тоже друг друга всегда защищают...»

Встречались, конечно, в эти дни и люди иного склада. Трудно было, например, поверить деловитому, всегда любезно улыбающемуся полковнику, тоже участнику народно-освободительной войны с самого ее начала, хотя он очень часто и с каким-то особенным придыханием повторял слова «социализм», «социалистический», «мы коммунисты». Сын бедняка крестьянина, он еще в королевской армии с трудом выслужился до средних офицерских чинов, и это, должно быть, навсегда наложило угодливую улыбку на его лицо. Сразу же после освобождения он поспешил жениться на дочке богатого домовладельца, оставив ожидавшую его много лет любимую женщину с ребенком. Жена полковника, кстати, тоже поторопилась вступить в партию и с такой же важной серьезностью, как и он, любила поговорить о социализме. У этой семьи все было обеспечено на случай любого исхода: останется народ у власти — и он и жена в партии, вернется королевское прошлое — отец жены, человек богатый, не даст пропасть зятю.

Борьба против общего национального врага объединила разных людей: и истинного коммуниста, мечтавшего о новом, справедливом строе, и сельского священника, поднявшегося с крестьянами против иноземца-супостата, и пресыщенного юнца из богатой семьи, который в погоне за острыми ощущениями с одинаковым увлечением

метался от утонченнейших вымыслов французских модернистов к игре в подпольщика-коммуниста. Здесь встречались и сынки кулаков и лавочников, которые также не желали мириться с гнетом оккупантов. Поэтому-то по-разному, очень по-разному, представляли себе все эти люди социализм, в который так уверовал народ и о котором все они говорили одинаково усердно.

Однако тон задавали такие, как Мария и Милан, их друзья, их мать. Это они сумели увлечь народ и внушить ему веру в социализм. Это из-за них полковнику и его жене приходилось скрывать свои истинные желания, а недовольному уменьшением земельных наделов кулацкому сынку говорить об общенародных интересах, о братстве между народами. Это они, наконец, как герои и как читатели подсказывали литературе первых послевоенных лет жизнеутверждающую веру в человека и в его назначение.

Читая все эти годы книги югославских писателей, большая часть которых прошла вместе с народом его героический боевой путь, читая книги, посвященные народно-освободительной войне и первым годам мира, я, естественно, искала в них правду о той великой борьбе, которой могут гордиться народы Югославии.

В первых послевоенных книгах, написанных по горячим следам событий, герои, подобные людям, о которых я говорила выше, стояли в центре внимания, хотя в художественном отношении они часто казались только силуэтами. Они еще не были «вписаны» в среду, в быт, во всю многокрасочность жизни. И тем не менее в них с несомненностью проступали характеры участников только что отгремевшей битвы. Их можно было узнать и в героических, печальных и смешных «Рассказах-партизанах» Бранко Чопича, и в воспоминаниях-дневниках Владимира Назора и Родолюба Чолаквича, и в лирическом повествовании Чедо Миндеровича «Облако над Тарой», и в стихах Душана Костица, Радована Зогиновича, Танасия Младеновича, Скендера Куленовича. Верилось, что художественное осмысление прошедших событий, кристаллизация главного, вдумчивое объяснение причин свершившегося, постижение и раскрытие внутренних законов жизни героев еще последуют.

В конце сороковых — начале пятидесятых годов вышли в свет первые романы: «Прорыв» Бранко Чопича, «Свадьба» Ми-

хайла Лалича, «Солнце далеко» Добрицы Чосича и многие другие. В некоторых из них, как в калейдоскопе, продолжали еще мелькать очертания множества людей, нагромождались события, схватки с врагом, бои, переходы, снова бои. Писатели точно захлебывались в этой стихии поднявшегося народа, в обилии живописнейших лиц, их отважнейших поступков и деяний, заслуживающих внимания и преклонения. Понятна была их гордость, гордость людей, познавших борьбу, собственными глазами увидевших, как их братья и сестры — боснийские пастухи и сербские, словенские, хорватские мастеровые и селяки, начитавшиеся книг гимназисты и студенты, фанатически отрешенные от всего повседневного, — как все они меняются в процессе борьбы, взаимно стесывают острые углы классовых различий, осознают свое общее историческое назначение, безгранично верят в правоту своей борьбы, в себя и в будущее своей страны.

Читая эти книги, все больше хотелось узнать, что в первую очередь двигало людьми, когда они шли на подвиг. Было ли это чувство традиционной национальной гордости человека, не пожелавшего мириться с чужеземным нашествием, чувство гражданина страны, предки которого несколько сот лет подряд боролись против ненавистного ига турок и австрийцев? Или ими двигало еще и чувство социального протеста, ненависть против фашизма, желание уничтожить его и перестроить мир по-новому? А может быть, возникали еще иные, порой высокие, порой низменные мотивы? Ведь речь шла об очень разных людях, разных характерах, решался вопрос жизни и смерти.

Над этим многообразием истоков, часто противоречивых, начал задумываться уже Бранко Чопич в своем романе «Прорыв», в своих рассказах «Случай из жизни Николетины Бурсача». На страницах последней его книги возник чудесный образ партизанского пулеметчика и командира Николетины Бурсача. Это неуклюжий крестьянский парнище, вызывающий удивление и любовь, преклонение и улыбку, это боснийский крестьянин, которому чуть бедняка подсказало, «в каком идти, в каком сражаться стане». Он еще неотесан, не всегда правильно действует и думает. Он еще не совсем уверен в необходимости «братства народов», но сколько в нем трогательного желания понять истину, достичь

совершенства, сколько в нем самоотверженности — в этом подлинно народном образе.

Все яснее и ошутимее стали проступать черты ведущего героя борьбы и в «Благодатной пыли» Калеба, в его рассказах и повестях.

О бесстрашии человека, для которого будущее коммунистическое общество становится дорожкой собственной жизни, рассказывает книга Михаила Лалича «Свадьба».

Но одновременно в эти же годы (конец сороковых — начало пятидесятых) в литературе начинается некоторый пересмотр недавнего прошлого народа.

На коренную переоценку героев еще не потускневших событий, героев, которые в памяти народа остались как вершители его судеб, тот или иной писатель решается, конечно, не случайно. Однако речь здесь пойдет не об этом...

Первые шаги к пересмотру были сделаны Добрицей Чосичем в его первой же прославившейся книге «Солнце далеко». Однако, прочитав роман Чосича, еще трудно было догадаться и понять, в какую сторону пойдет, какой степени достигнет, каких святынь коснется этот пересмотр. Еще не разглядеть было, какие явления сегодняшнего дня страны подсказывали писателям желание по-новому, по-иному поразмыслить над подвигом народа и даже усомниться в том, нужен ли был этот подвиг. Да и самый пересмотр едва только намечался.

Писатель Чосич, судя по книге, несомненно любил всех своих героев, любил борьбу, ради которой каждый из них жертвовал жизнью. Любил он живописного в своей гордой отваге заместителя командира партизан Гвоздена — крестьянина, рачительного хозяина, поднявшего односельчан, чтобы защитить от иноземцев свои дворы, свои край, свои земляков. Любил он комиссара Павле — человека, решительного в суждениях и действиях, немного рассудочного, несколько раздражительного, но твердо ощущающего необходимость общей, всенародной борьбы: борьбы не только за свой дом, свой край, а за цели более высокие, настолько высокие, что во имя их отряд решается на расстрел любимого всеми Гвоздена, на решительную борьбу со стихийным, крестьянским, местническим началом. Писатель любит и понимает, наконец, и командира Учо. Этот мятувшийся интеллигент, сельский учитель, всем своим существом еще тянется к тихой, теплой жизни, напитанной ароматом

дозревающих зимой в жарко натопленной горнице яблок, с ночным, пугающим снежный покой скрипом калитки, с детскими тетрадами, в которых дотемна надо проставлять отметки. Правда, теперь Учо если и не увлечен борьбой, то, во всяком случае, ясно ощущает ее необходимость, но ощущает трагически, и от этого смелость его становится безрассудной, она то и дело граничит с паникой. Предложенные Павле решительные действия, которые должны спасти отряд, вызывают в нем сомнения, угрызения совести и вновь метания. Эти метания приводят к бессмысленной гибели части отряда, последовавшей за Учо в трудные дни. Он и сам гибнет столь же бессмысленно. И писателю это больно, хотя он видит, что гибель эта еще раз доказывает правоту комиссара.

Да, писатель искренне любит каждого из них. И когда он на протяжении почти всей книги твердо настаивает на оправданности действий Павле, в нем говорит комиссар Добрица Чосич, в качестве которого писатель участвовал в партизанской войне. Однако книга заканчивается тем, что отряд идет судить победителя-комиссара за расстрел Гвоздена — по сути дела, за решительную расправу с крестьянской стихией, за то, что, собственно, и обеспечило победу партизан,— идет судить в конце концов за проявление первых признаков пролетарской диктатуры, единственной власти, которая могла и в дальнейшем обеспечить истинную победу народа. Причем сам автор, который прекрасно понимает, ценой каких жертв достигаются великие цели, очевидно усомнившись в том, что достигнуто, к самому концу книги вдруг отстраняет в себе самого комиссара Чосича, обращившись таким нейтральным зрителем, проникается одинаково печальной жалостью ко всем и предоставляет читателю решать, кто прав, а кто виноват.

Что заставило писателя Чосича расстаться в эту минуту с комиссаром Чосичем? Что заставило его сейчас сожалеть о жертвах, принесенных народом, о жертвах, которые он ранее считал закономерными и необходимыми? Что заставило Добрицу Чосича в его второй книге — «Корни», уводящей читателей в конец прошлого века, к крестьянским восстаниям в Сербии, пойти еще дальше? Что заставило его искать корни этого восстания не в явлениях социального порядка, не в обнищании батраков, не в безмерном обогащении ми-

роедов, ростовщиков, а в борьбе тщеславия, властолюбия, упрямства дорвавшихся до богатства, до почестей кулацких выскочек-вожаков, представляющих в парламенте и пользующихся плодами победы народа?

Однако вернемся к роману «Солнце далеко». В этом романе главным все же была глубокая взволнованность героев судьбой страны. Она видна была во всем. Она трогала. Каждый из героев романа, каков бы он ни был, готов был ежесекундно отдать свою жизнь за победу народа. Каждый из них был движим — один более осознанно, другой менее — коммунистической идеей, верой в осуществимость этой идеи, верой в доброе начало человека. И поэтому поздние сомнения писателя Чосича не заслонили в романе опыт, мысли и чувства комиссара Чосича. Они, эти сомнения, вообще могли бы остаться и незамеченными, если бы... если бы образовавшуюся брешь не начали углублять и расширять потоки новых книг других писателей — книг, в которых уже забрасывались грязью светлые образы людей, могущих стать дорогими не только сербскому, хорватскому, словенскому, македонскому, черногорскому народам, но и всему человечеству.

В двух последних книгах известного черногорского писателя Михайла Лалича, писателя одаренного, этот «пересмотр ценностей» становится все более очевидным и глубоко огорчительным для каждого, кому не безразлична народно-освободительная борьба Югославии.

Герою романа М. Лалича «Разрыв» стал участник восстания в Черногории, который в трудный для партизанского движения момент, в момент отступления, не то из раздражения против самого себя, не то в отместку своим более удачливым соратникам сдал оружие врагу, сдался со всем своим подразделением в плен и, ожидая расстрела, бредет теперь из одного лагеря в другой.

Книга Лалича, по сути дела, воспринимается как монолог, хотя в первой и последней частях рассказ ведется от имени автора и только во второй, средней, говорит сам Нико Доселич, бывший коммунист, бывший партизанский командир. Все три части написаны в одном стиле, проникнуты единым настроением безысходности, объединены одинаковым отношением к людям как автора, так и героя. Безвольно, инертно, не думая о народе, не пытаясь бежать,

бредет Доселич по дорогам Черногории, Сербии, Греции. Он потерял, а может быть, и никогда не имел веры в себя, в людей, считает свою жизнь бессмысленной, раздраженно, с мрачной безнадежностью размышляет обо всем виденном, размышляет о том, что друзей нет, что все лучшие погибли, что отомстить за муки народа уже некому, что не для чего жить и не для чего бороться, что понятие «продолжить дело» человек только выдумал для самоутешения, чтобы прикрыть бессмысленность своей жизни. И этим монотонным излиянием о бурном потоке судьбы, который уносит бессильное существо — человека, обломавшихся ветках надежды, о бессмысленности жизни и борьбы автор посвящает триста пятьдесят две страницы своего романа.

Во всем — в трагизме отступления, в своих личных неудачах, в своей непростительной (как бы автор ни пытался оправдать ее) слабости — Доселич вместе с автором винит тех из партии, кто отстаивал идейную чистоту ее рядов... Он обвиняет людей типа Чосичевского комиссара Павле, обвиняет с пристрастием. Он уже словно выступает свидетелем обвинения на том суде, о котором лишь упомянул Чосич. Людей типа Павле автор и герой с раздражением и ненавистью называют «чистунцами» — чистюлями, чистоплюями.

В том, что Доселич сдался немцам, автор готов винить и партийное собрание, которое его когда-то за что-то отчитало, и партизан, которые не всегда считались с его болезненным самолюбием, и поэта Марковича, который не угодил автору тем, что он был, очевидно, человеком твердых убеждений и вел подпольный кружок по истории ВКП(б), то есть, как говорят автор и Доселич, «...был въедливым чистюлей с пневмотораксом...»

Доселич гордо восклицает на страницах книги: «Когда я мог выбирать, я был коммунистом. И сейчас, когда я не могу,— я продолжаю им оставаться».

Но был ли он коммунистом? Ведь далеко не все, что человек думает и говорит о себе, соответствует обычно объективной действительности. И не каждый, скажем, недовольный существующим капиталистическим строем уже является сторонником коммунистического преобразования мира, и не каждый сторонник этого преобразования желает и способен посвятить все свои

силы, все свои чувства делу этого преобразования.

И можно ли считать коммунистом человека, который, пусть даже вынужденно сдавшись фашистам, не желает вырваться из плена, человека, который мечтает не о продолжении борьбы, а о смерти, выражает ненависть не к фашистам, а к тем, кто активен, кто сопротивляется, кто, по мнению писателя и героя, уже самим своим существованием виноват в несчастиях Доселича, то есть к тем, кто эту борьбу продолжает. «Я не побегу, я устал!» — восклицает Доселич. «Доселич знал, что и пытаться не станет. Даже если бы и надежда была, он не пытался бы бежать...» — говорит о нем автор. «Смерть спокойна, — утверждает герой романа Лалича, — или во всяком случае она лишена возможности мучить человека. Жестока лишь сама по себе жизнь. Она лукава в своих выдумках и всегда разнолика. Иногда она внушает людям неосуществимые мысли о чем-то лучшем, но точно так же каждую весну парней и девушек ослепляют гормоны, возбуждающие любовные желания. Время от времени жизнь поднимает людей, увлекая их сказкой о царстве свободы, и заманивает их в области, как им кажется, еще не исследованные. Но жизнь делает это только для того, чтоб как можно больше людей собрать вместе. А потом она натравливает на них псиную свору страха и гонит обратно. И так всегда: от Спартака до спартаковцев¹ и дальше. Старый Сизиф толкает камень в гору...» Вот как рассуждает человек, которого писатель считает коммунистом. «Царство свободы» — и это, по мнению Доселича, «сказка», приманка, «неосуществимая мысль», высказанная лишь для того, чтобы завлечь и потом, запугав, погнать человечество, погнать историю вспять. Социальное переустройство мира — это только сизифов труд.

«Я хотел, чтоб детей не одолевала короста, чтоб никому не приходилось стыдиться испорченных зубов, чтоб нарядные бабенки не вызвали зависть и надменные мошенники не заставляли людей унижаться...» Вот, собственно говоря, все, что ставил себе целью Доселич. Много ли это? Достаточно

¹ Спартаковцы — члены «Союза Спартака», революционной организации, объединявшей германских левых социал-демократов во главе с К. Либкнехтом и Р. Люксембург.

ли этих слюняво-жалостных, расплывчатых пожеланий для того, чтобы считать себя коммунистом?

«Народ, как природа...— утверждает дальше этот «коммунист»,— глупо, должно быть, надеяться хоть когда-нибудь совладать с этим хаосом. Мы, желающие с ним совладать,— мы являем собой пену». Пожалуй, это единственные слова Доселича, не вызывающие желания поспорить с ним. Несомненно, Доселич и подобные ему были и есть только пена. Пена, вскипевшая на волне большого народного движения. Кстати сказать, автор не потрудился даже объяснить читателю, как жил до войны этот молодой крестьянин. Как он попал в Белградский университет, в революционное движение? Как этот образованный интеллигент, рассуждающий о Жиде и Хаксли, не знает такой элементарной вещи, что и природой человек все-таки овладевает?

А народ он попросту презирает. Люди противны ему. Товарищи по несчастью вызывают лишь чувство брезгливости. Те, кто замышляет побег, кто живет, возмущается, пытается сопротивляться врагу, любой человек, проявляющий хоть долю активности, раздражает его, становится даже ненавистен. «У меня нет сил думать о других...— восклицает этот «коммунист»,— мне и не помнится то время, когда у меня была сила думать о других...». «Какое отвратительное животное скрывает внутри себя человек...» Таково представление о людях у этого потерявшего веру во все и вся человека, которого автор неизвестно на каком основании решает называть коммунистом.

Доселич — черногорец. И трудно представить себе, чтобы в годы партизанской войны настоящий коммунист черногорец, сын народа, который поднялся на восстание именно в те дни, когда фашистская Германия обрушила силы всей Европы на Советский Союз, сын народа, который вовсе не в шутку привык по-братски думать: «Нас и русских—двести миллионов»,— трудно представить себе, чтобы этот коммунист в те тяжкие и славные дни истинного братства мог помыслить нечто подобное: «...Точно мы все зло мира закапываем,— размышляет Доселич.— Мы бы хотели это сделать, но мы малы, и никто нас не признает. Даже союзники — они бы посмеялись, потому что они великие. Они бы посмеялись: бедные, мол, греки, какие-то там сербы, даже черногорцы, горсточка несчастных. Пусть их

там. Ничего мы не можем для них сделать...»

Нет, черногорские коммунисты тех времен прекрасно знали, что в лице Советского Союза они встретят не пренебрежительно посмеивающуюся над ними «великую силу». Сам Лалич, наверное, не думал так в конце 1944 и в начале 1945 года, когда народные войска, вступавшие в Белград, читали на каждом сохранившемся доме, казалось, навеки впитавшиеся в штукатурку, в бетон, в камень и с трудом позднее выскобленные надписи: «Мин больше нет. Петров. 20/X.44», «Мин больше нет. Смирнов. 20/X.44», «Мин больше нет. Селиванов. 20/X.44». И нередко, наверное, приходилось писателю Михайлу Лаличу если не останавливаться, то хотя бы проходить мимо украшенной свежими цветами могилы со скорбной фанерной звездочкой.— могилы, расположенной тут же на углу улицы, на площади, в садике, могилы, в которой покоился тот самый Петров, или Смирнов, или Селиванов. Автор, очевидно, и здесь внушил своему герою собственные настроения самых последних лет, вызванные в немалой мере враждебной нам газетной шумихой. Даже само словесное оформление этой мысли взято из арсенала дурно пахивающих политических памфлетов, статей, документов.

А мысль «Мы — малы» («мы», то есть сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы и т. д.) в последние годы удивительно часто стала встречаться в высказываниях югославских писателей. Я себе не представляю, чтобы трехмиллионный народ Норвегии (югославов восемнадцать миллионов), четырехмиллионный — Дании, семи-миллионный — Швеции, чтобы любой народ, который верит в полноценность своего труда, своего творчества, вдруг счел себя «малым». Нет, дело здесь, очевидно, не в количестве населения.

Малая?

Нет, сердце —
вся ей мера,

Родине моей
в любви и песне...

Разве мы по мерке
в рост не вышли?

Наша родина
как раз под стать нам
скроена по славе
и отваге...

Так в послевоенные годы с возмущением отвечал проезжему английскому журналисту, решившемуся пренебрежительно го-

ворить о Югославии как о «малой стране», крупнейший поэт коммунист Радован Зогович. «Малая страна?» — говорил он надменному англичанину, —

Спроси фашиста-зверя:
Где же добирался он до края?
Мерю пространства не измерить
Гор и гордость края,
Где герой,
Живя и умирая,
Охраняет волю,
Право, счастье...

Так писал поэт (чей голос, кстати сказать, уже десятилетие не звучит со страниц югославской печати, и отнюдь не по его вине), тоже черногорец, тоже партизан, вдохновленный в дни победы всенародным подъемом...

«Вернемся к малому...» — начал почему-то призывать другой югославский поэт, упомянутый нами в начале статьи, Ристо Тошевич в начале пятидесятых годов... «Мы — малы...» — настойчиво уверяют свой народ многие из современных поэтов, прозаиков, критиков Югославии, упуская из виду, что чувство собственной полноценности народа, его истинная уверенность в своей творческой силе зависят и от них — писателей.

Да, герою романа «Разрыв» народ его тоже кажется «малым».

Нечто вроде чувства стадности заставило все-таки Доселича бежать из лагеря. Он приходит к греческим партизанам, участвует в двух-трех нападениях на фашистов, ранен, кончает жизнь самоубийством. И конец этот вполне закономерен. Таких людей, как Доселич, таких склонных к анархизму, наделенных гипертрофированным самолюбием мешан, пеной поднявшихся на гребне грозного потока народных восстаний, всегда было не так уж мало. И понятно, что писатель мог обратить на них внимание. Вопрос лишь в том, какой замысел при этом владел Лаличем, что он хотел сказать читателю. Хотел ли он сказать, что настоящие люди все погибли, а те, кто продолжал борьбу, равно как и те, кто, подавшись чувству упрямо-самолюбивой обиды, сдался врагу, — все одинаково скрывают в себе «отвратительного зверя», все одинаково ничтожны (хотя и называют себя коммунистами)? Почему бы тогда не простить «слабость человеческую» — предательство? Этот назойливо навязываемый романом вывод весьма трудно объясним в устах писателя Лалича, автора жизнеутверждающей, невзирая на трагичность изображаемых событий, книги

«Свадьба». Ведь герои «Свадьбы», написанной по горячему следу войны, — те же участники восстания в Черногории, но на них еще не сказались наслоения последних лет. Эти люди запомнились своей целеустремленностью, своим чувством братской связи с защитниками своей страны, с защитниками Москвы и Сталинграда. Ведь тот же Михайло Лалич нашел и яркие образы и точные слова, чтобы оттенить во всей красе народных богатырей, чьей силы не могли понять и кого боялись — даже в момент пыток, в момент расстрела их — фашиствующим подонки.

Что же заставило теперь Лалича, писателя талантливого, искренне взволнованного, видевшего некогда в своих героях, в своем народе и светлое и темное, и великое и малое, и достойное любви и достойное ненависти, — что заставило его сейчас воспевать одиночество и человеконенавистничество?

Хотел ли этого автор или не хотел, но то, о чем он писал в своем романе «Разрыв», прозвучало, как торопливая исповедь чопичевского Учо, который в истерических метаниях от отваги к испугу и от испуга к отваге попал в окружение, растерялся, сдался, скажем, в плен, выжил и спустя многие годы дождался подходящего момента, чтобы в целях самозащиты и самоутверждения взвалить свои грехи на комиссара Павле и — как уже говорилось — выступить лже-свидетелем обвинения на суде против него. Конечно, и биографии, и характеры, и язык этих героев различны; но, видимо, социальная родственность образов отнесает здесь в сторону биографические, географические и художественные различия.

Я не буду столь же подробно останавливаться на последней книге Михайла Лалича «Лелейская гора». Герои ее — все те же неудачники-повстанцы, бродящие по горам и лесам Черногории, все те же озлобленные на весь род людской одиночки. Они боятся друг друга, прячутся в пещерах, выжидают чего-то, теряют человеческий облик и тоже почему-то считают себя... коммунистами. Они вновь и вновь обвиняют в своих бедах, в своих грехах тех, кто в свое время, не щадя их мелкого эгоизма, отстаивал общее и только общее дело страны. Они тоже торопятся оправдать себя и выступить обвинителями на суде, о существовании которого заговорил в своей первой книге Добрица Чосич, — суде над людьми типа комис-

сара Павле. Они не замечают рядом с собой народа, не думают о нем, не видят его мучений. Не видят они и врага. Человек, от имени которого в этой книге ведется рассказ, то и дело восклицает: «Надоели мы друг другу, огрубели мы и стали бесчувственными, как дерево, как камень...» Он уверен в том, что «...одиночество — это естественное положение вещей...» Он монотонно твердит: «...Жизнь больше всего наполнена одиночеством...» Его тянет к людям лишь тогда, когда потребности гонят его за едой, за одеждой, за женщиной. Несмотря на то, что селение рядом, он предпочитает разговаривать на протяжении многих глав не то с воображаемым дьяволом вне себя, не то с дьяволом в себе самом.

Этот человек боится леса и бежит в лес. Он крадет одежду у крестьянина, чтобы покончить со «склонностью к самопожертвованию и самоотрицанию, называемым честностью...» Он заявляет своему собеседнику — все тому же дьяволу, то есть, очевидно, себе: «Я решил красть, грабить, отнимать все, что мне надо...» Украв, он утешает себя: «Ничего, сейчас все воры. Наступило воровское время. Вернее, оно всегда было таким — иногда более, иногда менее. Кто хочет жить, должен так поступать. А ежели он еще намерен бороться, то сначала следует освоить ремесло...» Ремеслом борца этот человек считает, очевидно, умение отнимать, воровать, грабить. И этого человека автор опять-таки решается выдать за коммуниста.

Эпиграфом к третьей, заключительной части романа «Разрыв» писатель взял слова Достоевского: «Где найдешь благородных людей, воистину благородны: людей?.. Можно ли на людей надеяться?» Одним из эпиграфов к роману «Лелейская гора» Лалич выбрал слова из поэмы черногорского поэта П. Негоша:

Лежали мужские тела остывшие,
А в них умерла свобода,
Как лучи умирают на вершине горы,
Когда солнце тонет в пучине...

Быть может, по-иному сложились бы судьбы книг Лалича, если бы писатель избрал себе поэтическим камертоном не строки из классической поэмы Негоша, а, скажем, стихотворение современного поэта черногорца Душана Костица. Чувства, пронизывающие это стихотворение, очевидно, подсказаны той же действительностью. И хотя оно, быть может, не достигает него-

шевских поэтических вершин, оно помогло бы повысить взорваться самому Лаличу.

Напечатано было стихотворение два года назад в черногорском журнале «Стваранье». «Верить!» — призывает в нем поэт.

Верить — и тогда, когда ненависть
брызжет из рта,
И когда тебя захлестывают мутные воды.
Верить, когда мрак на тебя напоздаст
И когда грозовая туча тебя придавливает.
Верить — когда печаль, точно наростами,
Горькой гримасой искажает лицо.
...И когда тебя поднимают вверх,
И когда тебя ставят на колени.
Верить — когда ты одинок и печален,
Когда ты бываешь слабой хвостинкой,
а не могучим дубом.
Верить в слово, в объятия, в приветствие
друга.

Верить и когда страх охватывает,
И когда буря бешено стучится в окно.
Верить, все-таки верить...

Быть может, Милан, Мария, чосичевский комиссар Павле, будь они поэтами, сказали бы более определенно — во что верить, что делать для того, чтобы их мечта осуществилась, но им, очевидно, слово не предоставлено, как оно не предоставлено Радвану Зоговичу и чудесному македонскому поэту Венко Марковскому. Но главное все-таки Душан Костиц сказал: человек чело- веку должен быть другом, и в это следует верить, в этом следует убеждать людей, если даже в окружающей писателя повседневности любовь к человеку становится редкостью.

Таким образом, источник сомнения, забивший в те дни, когда Добрица Чосич писал свое «Солнце далеко», свернув на податливую почву пересмотра всего и вся, разлился в романах Лалича «Разрыв» и «Лелейская гора» мутным потоком безверия. Однако герои романов Лалича время от времени, хотя бы мысленно, обращались все-таки к своим бывшим соратникам, продолжающим где-то борьбу, погибавшим в этой борьбе, они пытались оправдаться перед ними, успокоить свою нечистую совесть.

В книге молодого сербского писателя Младена Олячи «Молитва за моих братьев» этот поток захлестнул и поглотил даже те остатки устоев и веры, которые хоть отчасти сохранялись в романах М. Лалича.

Я читала эту книгу и не верила себе, про- сматривала вновь, и мне то и дело хотелось обратиться к моим бывшим собеседникам, к моим друзьям, к десяткам людей, которые, еще не сняв пропотевшие, заплатанные, вы-

горевшие на солнце партизанские одежды, еще не сдав оружия, еще не принявшись за мирный труд, рассказывали и рассказывали о чудесах отваги и самоотверженности народных героев — Николы Ковачевича и Раде Кончара, Иво Лолы Рибара и еще тысяч таких, как они. Я мысленно заставляла всех этих людей читать рядом со мной страницу за страницей и всматривалась в выражение их лиц. Даже самое краткое изложение сюжета этой книги объяснит мою озадаченность.

Младен Оляча, тоже бывший партизан, ведет свой рассказ от имени человека, которого только что похоронили. Он уже в земле. Череп его прострелен. Над свежей могилой произносятся речи о том, каким верным коммунистом был этот человек еще до войны, как героически с первого же дня борьбы сражался он с фашистами, каким примером партийности он служил, как отдавал все силы народу, как жертвовал собой ради людей...

Так говорят над могилой другие.

Но вот автор предоставляет слово самому герою, защищенному теперь со всех сторон землей. Он может рассказать истинную правду о себе. Какова же эта правда?

Читая вступление, думаешь: вот наконец речь снова зашла о людях, подобных чосичевскому комиссару Павле. Наконец-то подлинному герою борьбы снова дано будет утвердить свою историческую правоту.

Но нет, не о такой правде решился поведать читателю Младен Оляча. Оказывается, человек, над могилой которого еще продолжают звучать столь торжественные речи, человек, которого называют истинным коммунистом, борцом за дело народа, сам признается в том, что никаких убеждений у него не было, что вовсе не во имя великих идеалов присоединился он к движению, что он мелко тщеславен и боязлив (а вдруг подумают, а вдруг скажут!!), что он морально нечистооплотен, что он никого не любил и ничто ему не дорого, что он все делал напоказ и только напоказ, мелко, лживо, подло, что он больше участвовал в расправах с оклеветанными товарищами по партии, чем в борьбе с фашистами, что он то и дело стрелял в своих, и тогда, когда знал, что они невинны, стрелял опять-таки напоказ, опять-таки из угодничества. Мы видим, что этот мелкий, беспринципный карьерист опустошен до предела, что он боится возмездия, что годы, проведенные в борьбе за освобождение родины, он считает бесполез-

ной, бессмысленной утратой. Эту утрату он сначала надеялся, а после народной победы и старался с лихвой возместить хорошо оплаченным бездельем и развратом. И погиб-то он не от пули врага, а, запутавшись в бабьих дрязгах, был пристрелен брошенной им женой.

Этот образ не показался мне новым. Такие уже бывали в литературе — и в России в годы реакции, после поражения революции 1905 года, и за рубежом после первой и второй мировых войн. Мы уже слышали подобные стенания: «...У меня отняты лучшие годы. Я растратил их в идиотизме войны» (это освободительную войну своего народа против фашизма герой Олячи считает «идиотизмом!»). «Я выбросил часть себя в прорву, и это ничем нельзя возместить. Ни Бояной, ни Мариной, ни Эмилией, ни Ипполитой. Ничем!» Похожие люди уже ныли: «Остается только возможность вот таким, искалеченным, тянуть свою ляжку под небесами или сунуть голову в петлю...» Они уже жаловались: «Меня покидает чувство одиночества, нет у меня опоры, а она мне ныне больше всего нужна... Я человек без молодости, не перекипел еще. Позади вместо самых лучших лет жизни зияет пропасть войны. Отсюда и сожаление о времени, которое не вернешь. Отсюда спазматические попытки вернуть потерянное...»

Этот мешанин попрекает общество теми жертвами, которые он якобы принес. Этот мешанин всегда не прочь похвалиться, будто именно он «вынес на своих плечах груз революции и войны», и тут же сам наивно признается, что сделал это вовсе не без расчета: «...Послевоенную жизнь я представлял себе иначе. Когда придет свобода, мы, старые воины, не станем тогда ничего делать, и все будет нам дозволено... Другие будут трудиться за нас. А мы — собирать плоды...» Этот мелкий ростовщик словно «отдал в рст» три-четыре года своей молодости и теперь желает всю жизнь прожить повольготней на проценты с них. И хуже всего то, что автор старается убедить читателя, будто таковы коммунисты вообще, что никаких идеалов не было, нет и не будет.

Заканчивая свою повесть, Оляча снова возвращается к первой сцене — снова звучат кощунственно торжественные надгробные речи, прославляющие этого псевдокоммуниста.

Несомненно, опыт, и только опыт, только окружающая жизнь подсказали молодому писателю Оляче, как и Михайлу Лаличу, подобные образы, подобные характеры. Но нельзя из-за мелких лудишек, быть может и во множестве, словно пена, всплывших на поверхность жизни, ослепнуть, перестать видеть настоящих людей, видеть народ, потерять веру в его силы.

Однако только слепотой здесь ничего не объяснишь. И вообще трудно что-нибудь объяснить, не задумываясь над общественными явлениями, вызывающими, скажем, у десятков поэтов Сербии, Словении, Македонии, Хорватии, Черногории, Боснии стоны об одиночестве и беспросветности, стоны о потере надежд, о мраке, окружающем человека, о взаимопожирании людей-зверей.

Ведь не объяснишь слепотой то, что в романе Оскара Давичо «Бетон и светляки» именно представитель тех старых подпольщиков-коммунистов, людей чистой и героической биографии, которые не желают примириться с обывательской потребительско-мещанской действительностью, изображен писателем до глупости, до смешного прямолинейно-схематичным фанатиком, безжалостным садистом, убежденным человеконенавистником, таким героем на час, «гостем» в современности (не случайно такой партийной кличкой наделил его автор) — гостем, который, к неудовольствию хозяев, склонен засидеться дольше желаемого часа и еще с излишней для воспитанного человека страстностью говорить о том, что только его одного волнует, — об идеях.

Хозяин в романе не он, хотя именно он обеспечил победу в войне. Хозяин не он, и писатель не скрывает этого. У Давичо правыми оказываются те, кому чужд пафос недавней борьбы, кому, как все устаревшее, смешны даже разговоры о ее высоких целях. Автор видит, что народу не до пестрых пятен абстрактной живописи, вписанной в утонченные полутона модного европейского жилища. Но все его сочувствие на стороне героини романа Римы, специалистки по внутреннему убранству квартир, которая преисполнена заботы о сегодняшних удовольствиях для избранных, торпливой заботы не дай бог не отстать от последнего сверхъевропейского крика «модерности». Человека же, склонного продолжать борьбу за прежние идеалы, за которые он боролся и в партизанском лесу,

Давичо не прочь выставить смешным, ничемным, раздражающе фанатичным.

Нет, не слепотой можно объяснить это желание принизить, загрязнить, показать отжившими и таким образом отодвинуть в сторону героев недавних времен — героев, подобных чосичевскому Павле.

Не объяснишь слепотой и то, что даже Бранко Чопич — создатель правдивых партизанских образов — в своем последнем романе «Невзорвавшийся порох» тоже в какой-то мере не избежал этого поветрия. Правда, истинная народность его таланта заставила его заняться более глубокими поисками социальных, исторических, психологических корней тех явлений, свидетелями которых, очевидно, приходится быть югославским писателям и которые они не могут не попытаться объяснить.

Чопич поставил перед собой цель — показать сложность всенародной борьбы, особую сложность этой борьбы в Боснии. Он тоже рисует массу крестьян, и это понятно: страна-то крестьянская. Селяки эти стремились лишь сначала защищать от иноземца — даже не от фашиста, а именно от иноземца — свои разбросанные в горах и лесах селения. Чопич нарисовал и их вожака, выходца из этих мест, офицера королевской армии, который понимал, любил своих земляков, ощущал каждое их стремление как свое собственное, но, так же как они, не способен был понять идейный характер общенародной борьбы.

Пожалуй, с меньшим проникновением во внутренний мир героя нарисовал Чопич нового командира отряда, который прислан был из партизанского центра для приобщения повстанческой части к общенародной борьбе. Это, по словам писателя, студент, участвовавший в испанской войне, романтик, с плакатной упрощенностью рисующий себе борьбу своего народа. Реального представления о народе он не имеет. Он не может найти общего языка с заскорузлыми, пропахшими овчиной, хитроватыми, цепляющимися за свои предрассудки, по-своему мечтающими и о социальной справедливости горцами. Он хочет сразу же видеть в них сознательных борцов за дело революции.

Конечно, бывали и такие руководители. Удивление снова вызывает то, что в этой книге Чопича, не в пример предыдущим его книгам, все мысли о социализме, о классовом освобождении народа, о защите трудящихся и их дела, об опыте мирового коммунистического движения, в том числе и о

советском опыте, о сохранении пролетарской идейности в борьбе за социализм, о стихийности крестьянина и о пролетарской диктатуре — все эти, несомненно, правильные мысли отданы в безраздельное владение только одному герою: комиссару отряда, по авторской характеристике, жестокому карьеристу, безудержному догматику, убийце, который рвется к власти любой ценой. Ради этой власти он коварно пользуется святыми понятиями во вред своему народу. Пользуется так, что компрометирует самую идею коммунизма, самое понятие диктатуры пролетариата и даже представление об Октябрьской социалистической революции. Этот человек (кстати, он тоже недоучившийся студент) говорит высокие слова о необходимости пролетарской сознательности и тут же создает таинственные «десятки», которые должны не столько бороться против фашистов, сколько насаждать террор среди испуганных крестьян, еще не разобравшихся в том, кто друг, а кто враг, насаждать страх и слепое подчинение среди партизан, сотнями истреблять тех, кто не видит необходимости в подобных жестокостях.

Этого комиссара переводят куда-то в другое место, потому что в конце концов жестокость его действий в Боснии вызвала тяжелый конфликт между партизанским соединением и населением края. Однако человек, которого Чопич привел на смену комиссару, человек, которому Чопич, полный сочувствия, предоставил дальше определять и выражать общественно-политическое лицо восстания, — этот человек пытается лишь сгладить противоречия между крестьянско-местнической тенденцией движения и романтически-революционно настроенной интеллигенцией. Но ни новый комиссар, ни сам автор ни единым словом не вступают за искаженные, оскверненные представления о пролетарской диктатуре, о пролетарской революции, о характере революции в России.

С большим мастерством, со знанием людей сделал Чопич видимым, осязаемым, понятным бунтарски-крестьянское начало движения, его стихийный характер. Пожалуй, с меньшей достоверностью, но все-таки тоже зримо Чопич показал героизм, самоотверженность, но вместе с тем и оторванность от народа нового командира, «интеллектуальца», то есть интеллигента, как принято было называть гимназистов и студентов, широко участвовавших в народном движении. Чопич справед-

ливо ополчился на ту часть так называемой интеллигенции, которая, прикрываясь в карьеристских целях социалистической фразеологией, доводила в своем умышленном догматизме любое здоровое начинание до абсурда и тем самым действовала, по сути дела, против социализма, вызвала в народе недоверие к нему. Однако в своем художественном анализе движущих сил восстания и Чопич на сей раз почему-то не заметил тех истинных героев-революционеров, которые задавали тон восстанию и которые населяли его собственный роман «Разрыв», его рассказы «Майор Баук», «Мамаша Миля», «Случаи из жизни Nicolette Бурсача» и многие книги его коллег.

Трудно объяснить, почему в упомянутых книгах в таком неприглядном свете представлены все те, кто боролся за идейную чистоту движения, кто видел себя в одном ряду с воинами Сталинграда и Парижа, Праги и Варшавы. В одних книгах этих людей совсем не стало, в других их высмеяли, превратили в глуповатых злобных маньяков, в третьих их отдали под суд до селичам.

Нам, конечно, трудно представить себе, чтобы жизнь подсказала писателю хоть какое-то основание для исторического оправдания людей типа Клима Самгина и осуждения таких, как Павел Власов. Нам трудно даже вообразить себе, что таким людям, как, скажем, фадеевский Мечик, может быть дано право выступать общественным обвинителем против Левинсона. Нам многое трудно представить себе и трудно понять...

...Мне вспоминается жаркий воскресный августовский полдень в предместье Белграда. Из раскрытых настежь дверей и окон маленькой придорожной харчевни доносится запах палено-жареного мяса — чевапчицей и ражничей. Так по-сербски называются люля-кебаб и шашлык. Корень первого слова следует искать в тюркских наречиях, а второго — в старом славянском «рожне»: мясо здесь жарят на рожнах. Мы сидим за столиками прямо в лесу, под огромным дубом, с Миланом, Марией, с их другом, тоже партизаном. Глаза Марии, огромные, черные, расширились и остановились где-то далеко, на невидимой мне горной полянке. Девушка рассказывает о том, как партизанский госпиталь, где она была «болничаркой», — госпиталь, в котором раненные были еще больны сыпным тифом, — надо было вывести из-под носа на-

ступающего врага. У людей не было сил двигаться. Они уже много дней питались корой деревьев, дикими ягодами, распаренной кожей чудом сохранившихся ботинок. А выбираться надо было. Живые скелеты, подымавшиеся с травы, верили в то, что они поправятся и будут еще продолжать борьбу. Это было время одного из больших фашистских наступлений — кажется, пятого. В официальной исторнографии народной борьбы Югославии принято вести исчисление не по наступлениям народной армии, а по отбитым наступлениям врага.

Отход госпиталя должен был прикрывать отряд в семь человек. Их нетерпеливо ждали, печалились заранее над их судьбой и все-таки ждали. Отряд подошел, и тут Мария увидела, что во главе этой группы бойцов стоит усталый, худой, заросший... Милан. Она не видела брата уже год. Она его очень любила. Старший погиб. Младший тоже погиб, она знала об этом. Она думала, что и Милана уже нет, и страшилась минуты встречи с матерью. И вот он перед ней, отошавший, костлявый, но живой! У себя в кармане она сберегла кусок сахара, грязный, черный. Счастливая, она протянула было это сокровище брату. Но тут Мария увидела обтянутые сухой темной кожей шеи его отвернувшихся товарищей. Она отдернула руку, взяла ножик, разостлала на пне тряпочку, расколола сахар и протянула по крохотному кусочку всей семерке. Они были ей так же дороги, как брат. А что такое брат, мужчина, единственный мужчина в черногорской семье, может судить лишь тот, кто видел, как в доме старого члена партии, сражавшегося в Испании, кряхтя, но поспешно встает со стула сторбленная девяностолетняя старуха, когда открывает дверь и входит в комнату мужчина — ее пятилетний правнук.

Мы сидели однажды в столь же душный вечер с одним писателем-партизаном. И я слушала его искренне взволнованный рассказ о том, как пришлось расстрелять перед строем целой дивизии, на глазах у всего населения, одного отчаянно смелого и любимого всеми мальчишку-разведчика. Его действительно все любили — за находчивость,

за веселье, за отвагу. Но ночью он из озорства, а может быть, и из-за голода совершил набег на сливовый сад крестьянина. Он и курицу прихватил для своего давно не евшего отряда. А коммунисты партизаны должны были оставаться в глазах народа «чистыми, как слеза». Так и сказал писатель — «чистыми, как слеза». Коммунисты партизаны должны были оставаться олицетворением честности, справедливости и чистоты. Я видела, как нелегко было писателю вспоминать смерть этого парнишки. Он был, должно быть, очень красив в своей отваге. Но что поделаешь — стрелять надо было, иначе народ перестал бы верить партизанам и перестал бы помогать им. И это стоило бы жизни многим. Такова логика борьбы. Именно он, писатель, печально, горько, но твердо веря в необходимость подобных мер, объяснял мне это. Он не склонен был тогда к каким-либо сомнениям. Нет, тогда он не осыпал бы похвалами книгу Младена Олячи, как сделал это позднее.

Быть может, издалека неволью сгущаются краски. Возможно, газеты, журналы, восхваляющие именно эти книги, в какой-то мере отвлекли внимание от других явлений, более здоровых. Но в моих ушах еще продолжают звучать искренние и правдивые голоса Милана, Марии, их матери, их друзей. Перед моими глазами еще стоит пляшущий от победного счастья Белград, дети-пионеры, которые восторженно слушают рассказы молодых партизан и вместе с ними торопятся убрать развалины в своей столице, начать строить, начать по-новому жить. Как сильна была их вера в себя, в своих братьев, в свое назначение — определять и создавать будущее родины!

Я не знаю, живы ли эти дорогие моей памяти люди, но, если они живы, им нелегко, должно быть, читать, им нелегко молчать, видя поток книг, стремительно захлестывающий черным неверием их отважную молодость — молодость, которой они заслуженно гордились. Им нелегко, должно быть, видеть, как предают забвению славу народа. А ведь рассказы о ней могли бы воспитывать людей, способных своими деяниями доказать, что вовсе не количеством граждан определяется величие народа.



Б. ПОДОЛЬСКИЙ

★

ЩЕДРОСТЬ ГЕНИЯ

(Заметки о языке И. П. Павлова)

Щедро, исключительно щедро, одарила природа этого счастливица: неукротимая исследовательская страсть, безудержный темперамент первооткрывателя, научное бесстрашие и к тому же золотые руки экспериментатора. С молодых лет уверенно начал гениальный рязанец восхождение к горным вершинам науки, и мог ли он знать, что однажды на Международном конгрессе физиологов услышит из уст эдинбургского профессора: «Вы являетесь старейшиной физиологов мира». Необычайный, неслыханный до того титул сразу же привился. И какая самобытность, какая печать своеобразия во всем: и в складе научного мышления, и в каком-то веселом озорстве неутомимого борца за истину, и даже в повадках и манере речи — той чистой, вкусной, пересыпанной своеобразными оборотами, солеными словечками русской речи, которая является как бы продолжением талантливости, избыточной одаренности натуры.

Есть у нас немало таких ученых: их научная проза нет-нет да и оживится разговорными оборотами, озарится блеском метафоры, метким сравнением; с точным, уверенным понятием, строгим термином соседствует очень конкретный, налитый соками жизни образ. Таков, к примеру, Василий Осипович Ключевский, историк-художник, под пером которого оживала и Боярская дума и народная Русь; таков среди деятелей точных наук и ширококонтантливый Алексей Николаевич Крылов, знаток и любитель русской речи, как рекомендует его академик-филолог А. С. Орлов, А Климент Аргадьевич Тимирязев, а Владимир Афанасьевич Обручев, а Александр Васильевич Цингер! А «поэт камня» Александр Евгеньевич Ферсман!

Вот таков же и Иван Петрович Павлов. Классические труды ученого и особенно стенограммы знаменитых павловских «сред», прочитанные филологом или просто ценителем языка, — это не только кладезь материалистического знания, глубоких научных прозрений, а и источник особого эстетического наслаждения, вызываемого как своеобразной лексикой, в которой забытое, подчас диковинное, занятное словечко встречается с дерзким неологизмом, так и самородной, живописной, образной, порой колючей, насмешливой фразой. Конечно, и эта лексика и образная фраза лишь вкрапляются словесными островками в научный текст с его терминами, строго очерченными понятиями, усложненностью синтаксических связей и т. д. Но элементы живого, разговорного языка и художественной речи разрушают тот холодный, «академический» стиль, о котором украинский академик Л. А. Булаховский как-то метко сказал, что для многих ученых это «результат постоянных книжных влияний, но для других за ним, несомненно, кроется своеобразная эмоция — «профессиональная гордость», чувство отгороженности от «низменного» и «вульгарного».

Этот надутый «ученый слог» был очень характерен для известной группы буржуазных ученых, кичившихся наукой и стремившихся отгородиться от «массы», и сохранился до Великой Октябрьской социалистической революции. Но и в ту пору передовые русские ученые пытались ожить, особенно удачно в полемике, научную речь. В общем же, замечает Л. А. Булаховский, до самой революции, а у некоторых ученых и до наших дней, дошел «ученый слог» с неизжитыми признаками профессиональной замкнутости и сухости, иногда

более или менее преодолеваемых, а подчас даже сугубо подчеркиваемых.

Ивану Петровичу Павлову с первых его шагов на научном поприще была как нельзя более чужда эта тяжеловесная, уродливая стилистика, терминологические выкрутасы, намеренно затрудненный язык. Его мировоззрение формировалось под влиянием передовых идей Чернышевского, Добролюбова, Писарева. «В 14—15 лет,— сказал Павлов на одной из клинических «сред»,— я прочел Чернышевского и был поражен реальностью и силой мыслей, и я в три дня переделался». А другой раз ученый вспоминал: «У меня сейчас как живая перед глазами стоит сцена, как несколько нас семинаристов и гимназистов в грязную холодную осень по часу стоим перед запертой дверью общественной библиотеки, чтобы захватить первым книжку «Русского слова» со статьею Писарева».

Зачитываясь Писаревым, молодой Павлов, несомненно, воспринимал не только его страстную проповедь естествознания, материалистические идеи, но и его великолепный в своей неподдельной живости, умной простоте, полемическом задоре стиль. Уже в период высшего расцвета своего творческого гения Павлов назвал Писарева «...нашим тогдашним литературным вдохновителем». А читая вышедший совсем недавно, в конце 1957 года (через двадцать с лишним лет после смерти ученого!), третий том «Павловских клинических сред», убеждаешься, что на склоне лет великий ученый снова очень тепло вспомнил Писарева и — что особенно примечательно — не забыл подчеркнуть высокие достоинства его литературного стиля. «Это был критик,— сказал Павлов,— в высшей степени талантливый, обладающий чрезвычайно пленительным слогом...»

Можно ли, таким образом, сомневаться, что у русских мыслителей второй половины XIX столетия надо искать не только идейные истоки учения Павлова, но и истоки литературные, стилистические. Из произведений революционных демократов он вынес глубокое презрение к чопорному лжеакадемическому стилю, создающему средоточие между наукой и народом, и, когда получил кафедру, наносил увесистые удары этому стилю, расшатывая его своей простой, чистой, образной русской речью.

Если говорить пока только о павловском словаре, то в нем на фоне общеупотребительной научной и литературной лексики

встречаются две — как будто противоположные — особенности, которые невольно бросаются в глаза. С одной стороны — пристрастие к таким окрашенным добротной архаичностью, нарочитой старомодностью словечкам и словосочетаниям, как спешествовать, быть биту, быть осмеяну, предречь, судьбище, одолжен, а с другой — обилие слов разговорных, просторечных, вроде отхлынивать, канительный, заручка, окаянный, срам и т. п. Конечно, все подобные слова — будь то устарелые или разговорные — обличали прежде всего вкус к родному языку, хорошее знание его неисчерпаемого словарного запаса, умение ворошить его. Но и то и другое — и щедро рассыпанные разговорные обороты и словечки, и как будто озорная архаика. лексические древности «времен очаковских и покоренья Крыма» — било в одну цель: подорвать застарелый, ненародный «ученый слог».

Читайте и перечитывайте Павлова — вы найдете множество ярчайших доказательств тому. Вот, скажем, о своей давнишней соратнице Марии Капитоновне Петровой Павлов как-то обмолвился: «Она была прежде терапевтом, потом сманилась на условные рефлексы и теперь много лет предана им целиком» (подчеркнуто здесь и в дальнейших выдержках мною.— Б. П.). Сказано и впрямь по-павловски: «сманилась на условные рефлексы». Не часто услышишь это словечко «сманилась», да еще в таком необычном сочетании. О профессоре Стокгольмского, а затем Гельсингфорского университета Р. Тигерштедте Павлов, посвятив его памяти статью, написал: «...как исследователю и как спешнику физиологического знания и физиологической работы». Спешник, соучастник, соратник — это в речевом обиходе Павлова очень ходкие слова.

Великий ученый терпеть не мог приглаженной, выхоленной речи, обкатанных фраз, примелькавшихся языковых оборотов, точно так же как не терпел омертвевших научных канонов, в чем и была его сила. Ему ничего не стоит выразиться: «истинный дуботолк», или: «Сколько я раз вляпывался», или: «Что за чепуха! Скажите на милость, как это можно? Это профессор Берлинского университета и не какой-нибудь изживший свою жизнь человек, а молодой человек, полный силы, и

такие отпаливать вещи» Это язвительное словечко «отпаливать» употреблено по адресу профессора Кёлера, выступившего с путаной и неумной критикой павловской теории условных рефлексов. Этот профессор, к слову сказать, читал психологию на богословском факультете Берлинского университета, и Павлов походя заметил: «Там, конечно, не встанешь на нашу точку зрения!» Так и видишь за этим замечанием саркастическую улыбку гениального естествоиспытателя, его презрение к лжеученым идеалистически-поповского толка.

О Кёлере Павлов вспомнил другой раз: «В этом вредном, я бы сказал паскудном стремлении уйти от истины психологи типа Иеркса или Кёлера пользуются такими пустыми представлениями, как, например: обезьяна отошла, «подумала на свободе» по-человечески и «решила это дело». Конечно, это дребедень, ребяческий выход, недостойный выход». В ушаковском толковом словаре к слову «паскудный» стоит помета: просторечное, вульгарное. Что ж, Павлов и оговорился: «я бы сказал...» А сказал, между прочим, сжато и энергично. Так говорят ершистые, неуступчивые ученые, а воинствующий материалист Павлов был именно таков

Женевский психолог Клапаред как-то прислал ему свою книгу «Генезис гипотезы». На одной из очередных «сред» Иван Петрович прочел своим сотрудникам выдержки из этой напичканной идеалистическими домыслами книги, сопровождая их острыми, как ланцет экспериментатора, замечаниями: «Ничего не объяснил, ничего не доказал и заваливает такую фразу», «Нет, несомненно это особенная порода людей, это особенная область, где мысль настоящая не имеет хода, а постоянно закапывается черт знает во что...» и т. д. Какая гневная лексика! «Заваливает такую фразу», «закапывается черт знает во что» — так сказать мог, кажется, только Павлов, ополчившийся против словесных эквилибристов, специализирующихся на идеалистическом тумане. Характерно для Павлова, что к едкой просторечной лексике он особенно охотно прибегал, когда мишенью служили зарубежные реакционные психологи, не считавшиеся с бесспорными, экспериментально доказанными положениями передовой физиологической науки. «Только надо удивляться,— бросил однажды в этой связи Павлов,— как можно такой яркий факт господам-психологам,

гештальтистам и другим как-то хаять, как-то обесценивать».

Жало иронии, злые сарказмы ученого, обращенные против психологов-«душистов», как он их презрительно обзывал, не притупились, не потеряли силы и поныне: реакционные теории мозга, в том числе гештальтистская психология, построенная на субъективно-идеалистической основе, по-прежнему или даже в большей мере задают тон в современной науке капиталистических стран.

Глубокая порочность идейных позиций «душистов» связывала их по рукам и ногам, не позволяя правильно истолковывать факты, с которыми они сталкивались. В книге того же Кёлера описан опыт, живо заинтересовавший Павлова. В большую клетку с решетчатой стенкой поместили собаку; вдали, за открытой дверцей клетки, положили кусок мяса; заметив его, собака поворачивалась, выходила в дверь и забирала мясо. Но если такой же кусок мяса лежал совсем близко к решетке, то собака тщетно толкалась возле нее, стараясь достать мясо, а дверью не пользовалась. В чем тут дело? Кёлер не сумел ответить на этот вопрос. А Павлов нашел объяснение: запах близлежащего мяса сильно раздражает соответствующий мозговой центр собаки, и это возбуждение подавляет остальные отделы полушарий, «следы двери и обходного пути остаются заторможенными». Если бы опыт подтвердился, заметил Павлов, то он «воспроизводил бы механизм нашей задумчивости, сильного сосредоточения мысли на чем-нибудь, когда мы не видим и не слышим, что происходит перед нами, или,— что то же,— воспроизводил бы механизм так называемого ослепления под влиянием страсти».

Как характерно для Павлова-материалиста, гениального физиолога, строго объективно изучавшего основы высшей нервной деятельности животных и человека, это сочетание слов: механизм задумчивости, механизм ослепления страстью. Ученый очень любил сталкивать совершенно разнородные, казалось бы, понятия, слова разной стилистической окраски, например: «...страхнуть сонное горможение». Но, пожалуй, особенно выразительно: «Нужно было побить раздражительному процессу, и ему пособили тем, что постановку опыта перенесли на более поздние часы». Павлов нисколько не колеблется поставить

рядом просторечное «пособить» и физиологический термин «раздражительный процесс».

Вообще к словечку «пособить» и производным от него ученый, видимо, питал особое пристрастие. Один из докладов, прочитанный в Обществе психиатров в 1919 году, он озаглавил «Психиатрия как пособие физиологии больших полушарий». Кто, кроме Павлова, мог избрать такой необычный, рвущий с научной языковой традицией заголовок! Психиатрия — и вдруг пособие... Но чему тут, собственно, удивляться, если ученому так ненавистен был сухой и постный педантизм идолопоклонников «ученого слога», и, вероятно, в пику им он употреблял, как самые обыкновенные, выражения: «пособляющие условия», «пособическое представление». Или же на одной из «сред» он обратился к ее участникам: «Будьте добры, господа, подсобите мне. Мне очень хочется прочитать подробную биографию Гегеля, и я все не могу ее достать». (Зачем, кстати сказать, понадобилось ученому жизнеописание знаменитого философа-идеалиста, который «не любил действительности и был счастлив, лишь предаваясь своим отвлеченным размышлениям, думая о едином абсолюте и т. п.») Но такое счастье, по словам Павлова, надо скорее «считать несчастьем для человека, это жуть, это может привести к мысли, что окружающее подлог». По-видимому интересуясь подобными сложными случаями, Павлов и просил «подсобить» ему раздобыть подробное жизнеописание оторванного от действительности, погруженного в свои абстракции идеалиста.)

Не только чисто народное словечко «пособить» вступало в устах и под пером Павлова в самые неожиданные сочетания. Вот такое же дерзкое соседство слов: «Он помер не в роти ком». «Он» — это бедный Бек, славный старый пес, у которого был вызван экспериментальный невроз и который принес столько жертв на алтарь теории условных рефлексов.

Или такие непринужденные сочетания слов: «...симптом сам по себе ни шута не значит...», «...вот двигательная область так и расхлябла». Как бесконечно далеко это от скучного, безжизненного «ученого слога»!

А вот языковая архаика, забытые книжные словеса, с которых ученый как бы стряхнул пыль времен: «Все это подробно

и бесспорно показано в предлагающей монографии автора...» или «Физиологическое учение о типах нервной системы, темпераментах то ж». Так, между прочим, назвал Павлов сделанное им сообщение на торжественном заседании Русского хирургического общества, посвященном памяти Н. И. Пирогова. Впрочем, вот и другой заголовок: «Проба физиологического понимания симптомологии истерии». Конечно, любой другой ученый написал бы не «проба», а «опыт»: так звучало бы традиционнее, солиднее. Но у Павлова свой научный словарь великого ученого, наделенного редким чутьем языка. Ему претили навязшие в зубах, привычные выражения, готовенькие, слинявшие, гладенькие обороты. Он говорил и писал легко и свободно, вносил в свою речь ту живинку, свежесть и непосредственность словаря, которые не даны пусть и настоящим, но порой туговатым на ухо, лишенным языкового чутья ученым. А у Павлова в избытке были любые речевые краски — от чуть грубоватого словечка до блесков образа.

Превосходно зная множество оттенков языка, его живописных возможностей, ученый то снова и снова скажет на старый лад: «Эти искусственные раздражители натурально назвать условными раздражителями...», то непременно вернет разговорное или просторечное словечко: «...это чисто ганом его заслуга», «...книга приобрела бы, так сказать, заплатанный вид». Он, не задумываясь, бросает в аудиторию: «...уколот чучелку в сердце», «это — собака претомненно й силы...», «годов 30 назад я был фармакологом...», «...мне всегда доставляло большое удовольствие повторять старые и старые факты, но еще раз подтверждающиеся», «...вместо того, чтобы уметь», «никто из них не уважил вниманием самку» и т. д.

Нужно чувствовать острую выразительность, неумирающую свежесть полновесных, крылатых, а то и грубоватых просторечных или же отдающих книжной стариной, давней чеканки словечек, чтобы полной пригоршней черпать их из неиссякаемых богатств языка, а при случае создавать и неологизмы: свое ручно, свое глазно, самообдelyвание, многогодовой, несообразица, условники (то есть физиологи, изучающие условные рефлексы), сангвинизм, флегматизм, безэмоциональ-

ность и т. д. Конечно, все подобные слова — это стоит снова подчеркнуть — выделяются лишь на фоне безупречной литературной речи ученого, очень ясной и простой. А. Югов в свое время остро, но и точно сказал, что когда знакомишься с чьей-либо популяризацией научных открытий Павлова, а затем обращаешься к его статье или речи, то популяризатором кажется Павлов. Он решительно отбрасывал «ненужный балласт профессорской учености» (если использовать ленинское выражение), ломал тесные рамки условного книжного языка, с любовью обращался к живым родникам народной речи.

В лекциях и беседах ученого — настоящая россыпь разговорных, народных словечек, смело вторгающихся в его бесценную научную прозу. Естественно, что такие словечки всего чаще встречаются в выступлениях Павлова на «средах», в которых его самобытная устная речь сверкала во всем блеске. «Страх — ведь это что? Это — самый заваливающий из инстинктов подкорки...» — бросил он на одной из клинических «сред». «Из снов мы помним самую маленькую крохотку...» — заметил он другой раз. «Это бедовая вещь. Это ведь вроде какого-то инстинкта», — отозвался он о страсти коллекционерства. «С этого плохота вашей жизни началась», — сказал он одной из пациенток клиники. «Ведь меланхолики все толкуют в дрянную сторону», — напомнил он. В речи ученого то и дело мелькает: капутится, осерчал, страшенну, батенька, до чертиков, промеж себя, допек, чураться, пустяковина, невмоготу, сбредил, коленце, неладный, скучливый, страшливо, простецкий, зложелатель, чепушный, вралистика и т. д. Павлов очень ценил энергию и броскость всех таких словечек, охотно перенимал их у народа, пользовался и так называемым интеллигентским просторечием.

Недаром ученый так любил и хорошо знал Крылова. Любопытно, что первой книжкой, полученной им в юные годы в подарок от крестного, были «Басни» Крылова. Но еще, пожалуй, любопытнее, что, по свидетельству жены ученого С. В. Павловой, на его письменном столе всегда лежало собрание этих басен, и иногда, прерывая свои научные занятия, он читал одну из них, замечая: «Послушай, как кратко, ясно, но притом сильно выражается этот старик!»

Своеобразие устной речи ученого особенно бросается в глаза, когда сопоставляешь ее с выступлениями многих других участников «сред», — речь их уж очень приглажена, прилизана, ни один вихор не выбьется, а у Павлова эти словесные вихры торчат там и сям, речь живая, полная движения, хлесткая в хорошем смысле. Но и в своей письменной речи ученый не был скован стеснительными рамками, именно в ней встретились не только такие словечки, как нудить («собака просыпается только тогда, когда ее начинают нудить низшие функции...»), сманилась, заплатанный, окаянная, заручка, но и впикивает и даже отхлынивает («...вы совершенно отчетливо видите, как разбегается волна задерживания по нервной системе и как она отхлынивает назад», — сказано в докладе «Основные правила работы больших полушарий», прочитанном в 1911 году в Обществе русских врачей).

В письменной, да и, конечно, в устной речи Павлова встречаются и характерные фразеологические обороты, например: взял в толк, ни капельки («...этот инфекционный процесс ни капельки не дал себя знать...»), держал речь-доклад, загонять в угол или увернуться в угол, рогатое положение («Таким образом получается рогатое положение для нервной системы»), забирал интерес или забирал силу, в лоск положил («Слабого человека они (тяжелые жизненные удары.— Б. П.) бы в лоск положили, а она (пациентка клиники.— Б. П.) заболела только неврастенией и теперь поправляется»), идет в руку, не с ветра взял и т. д. Уже из этих немногочисленных примеров видно, что ученый широко пользовался фразеологическими богатствами русской речи, черпал их из разных источников.

Нередко отступал Павлов от строгих норм научной речи в своем синтаксисе, вносил в него разговорные оттенки. «Есть всего-навсего четыре-пять, ну шесть условий, при которых непременно у всякой собаки...» и т. д., — читаем, например, в одном из докладов. Или: «Было время, когда человеческое знание накапливалось очень медленно. Тогда частенько у людей была манера ставить границы силе человеческого ума. Говорили: «вот это ты, ум, узнаешь, ну а дальше, господин ум, не поймешь». Почему-то даже находили какую-то отраду в том, что человек всего не

узнает. Я считаю наоборот, мне гораздо приятней сознавать, что я все могу узнать».

Какая страстная отповедь скептикам и маловеерам, какой полемический удар учено-материалиста по агностицизму! Языковым оружием послужил ему, помимо прочего, гибкий, подвижной синтаксис, и как умело вкраплена в этот чудесный отрывок прямая речь, адресованная «господину уму», который тем самым как бы олицетворяется (мы еще не раз столкнемся с подобным речевым оборотом у Павлова).

Кстати сказать, ополчаясь со всей убежденностью материалиста против скептиков с их отрицанием познаваемости объективного мира, Павлов прекрасно понимал, что одно дело — непознаваемое агностиков, а другое — не познанное еще наукой. И здесь у него нашелся оригинальный образ. Заканчивая одну из своих лекций о работе больших полушарий головного мозга, Павлов сказал: «В общем же этот новый отдел физиологии поистине пленителен, удовлетворяя двум, всегда рядом идущим, тенденциям человеческого ума: стремлению к захватыванию все новых и новых истин и протесту против претензий как бы законченного где-нибудь знания. Здесь гора неизвестного явно надолго останется безмерно больше кусочков отторгнутого, познанного».

Сквозь научно трезвый, строго взвешенный текст у Павлова нередко пробивается то, что принято называть эмоциональным синтаксисом. Павлов описывает, например, собаку «слабого типа»: ходит она с поджатым хвостом, на согнутых ногах, при встречах даже со знакомыми людьми то стремительно бросается в сторону, то пятится назад и приседает к полу. «Не было бы преувеличенным отнести таких животных к типу меланхоликов,— замечает ученый.— Как не считать их жизнь омраченной, если они постоянно и без надобности тормозят главное проявление жизни — движение!» Эмоция фразы идет от глубокого материалистического понимания закономерностей нервных процессов.

В литературной и лекционной манере Павлова особый интерес представляет его тяга к образной наглядности, художественности речи, ее живописности. Сейчас уже никто, кажется, не спорит против того, что понятие и образ, научное и художественное мышление не отгорожены наглухо одно от другого. Образ помогает ученому рас-

крывать общее через отдельное, служит орудием познания, вносит в научный текст живую конкретность. На примере речи Павлова это достаточно отчетливо видно.

Даже в построении терминологии сказалась художническая жилка ученого (хотя он и начисто отрицал ее в себе, причисляя себя к крайнему мыслительному типу). В большом ходу у него термин «сшибка»: Это образное наименование получила у него трудная встреча раздражительного и тормозного процессов, или же условных рефлексов. Или же Павлов любил, как бы вскрывая черепную крышку, представлять полушария головного мозга в виде экрана, а процессы возбуждения и торможения в форме светлых и темных пятен, которые, то увеличиваясь, то уменьшаясь, перемещаются с места на место. Это дало ученому основание говорить о мозаике коры полушарий головного мозга. «Мозаика коры» стало образным термином, занимающим значительное место в павловском учении. Или же другой излюбленный составной термин великого естествоиспытателя: «дежурные или сторожевые пункты» в той же коре. Они обнаруживаются, приводил Павлов пример, у мельника во время глубокого сна: если мельница прекращает работу, он просыпается; то же у матери, которую не будят никакие громкие звуки, а малейшее движение ребенка заставляет подняться с постели.

Для ориентировочного рефлекса у ученого был и образный синоним: «рефлекс «что такое?». Человеческую речь Павлов называл «сигналом сигналов», сон с помощью сновторных — «фармацевтическим сном» Угасание рефлекса, за определенное торможение, мышечная радость, следовые условные рефлексы — все это образные составные термины павловской физиологии. Или рефлексорные механизмы он уподоблял двум видам телефонного сообщения: «Я мог бы со своей лабораторией из квартиры соединиться специальным проводом и сразу звонить туда, когда мне нужно. Но и теперь, когда я соединяюсь с лабораторией через центральную станцию, это совершенно такое же телефонное сообщение. Разница только в том, что один раз существует готовый проводниковый путь, а в другой — требуется предварительное замыкание; один раз механизм сообщения готов вполне, в другой раз механизм каждый раз несколько дополняется до полной готовности. То же и

в нашем случае: один раз рефлекс готов, в другой раз он должен быть предварительно несколько подготовлен». Вот это наглядное сравнение и родило два образных термина: «проводниковый рефлекторный механизм» — для безусловных рефлексов и «замыкательный» — для условных. Часто Павлов выражался короче: «нервное замыкание».

Таких сравнений, уподоблений, образных примеров, разных экскурсов у него очень много. То он сравнит пищеварительный тракт с химическим заводом, то о действии брома скажет: «...бром, как топором, отрубил это невротическое состояние», то, анализируя слюнную реакцию, делает экскурс в далекую Индию: «В Индии воров открывают таким манером: заставляют есть рис. У вора, который хочет, чтобы слюна текла, слюна не течет и рис остается во рту сухим, а у того, кто остается спокойным, рис увлажняется».

На одной из «сред» Павлов возвратился к вопросу о действии брома в смеси с кофеином на упорные неврозы собак и раскрыл при этом одну из особенностей своего научного мышления: «Я люблю такие вещи большой глубины со сложными химическими процессами представлять для себя упрощенно, в виде самых грубых схем. Мне невольно представляется история с трамваем, который сошел с рельс, и как его ставят на место. То вперед подтолкнут, то назад и в конце концов добиваются результата. Так же происходит в наших опытах».

Бром, кофеин, неврозы и... сошедший с рельсов вагон трамвая. Но таких сравнений Павлову не занимать статью. «Едва ли между психологами-ассоциационистами,— заметил ученый,— были такие, которые представляли себе мир субъективных, бесконечно связывающихся между собой явлений, как мешок с яблоками, огурцами и картофелем, лежащими в нем, без воздействия друг на друга». Или: «...этих людей (пациентов клиники.— Б. П.) нужно держать некоторое время в «пуху», как больных цыплят держат».

Умение схватывать сходство, улавливать связи между далекими, казалось бы, предметами, познавать подобное — это, как подметил еще Аристотель (и повторил вслед за ним Меринг, говоря о литературных образах у Маркса), черта смелого, гениального ума. Кажется, образы сами плыли в руки нашего великого ученого, он

любил одни предметы освещать блеском других, и вот что особенно любопытно: творец материалистического учения о мозге, не оставивший камня на камне от идеалистических измышлений «душистов», ни к одному образному средству так охотно и часто не прибегал, как к одушевлению, олицетворению физиологических процессов. Заходила ли, к примеру, речь об алкогольном опьянении, давалась ли характеристика истерии, у Павлова готова метафора-олицетворение: «буйство подкорки» или «бунт подкорки». Читатель, знакомый с основами павловской физиологии, припомнит, что кора больших полушарий головного мозга регулирует подкорку, в которой сосредоточены важнейшие «безусловные рефлексы, или инстинкты», она способна тормозить, подавлять подкорку, держать ее в узде. «Способность коры тормозить подкорку, — утверждал Павлов, — очень сильна; если мы заняты какой-либо работой, то забываем есть и т. п.». Так вот при алкогольном опьянении в первую очередь поражается, по Павлову, тормозной процесс, и тогда подкорка освобождается из-под контроля коры, и «человек, немного подвыпивший, опасности не боится, ему море по колено, безрассудно идет он бог знает на какие приключения». Вот это и есть «бунт подкорки»: изумительный образ! Этот же словесный образ Павлов применял и к истерии, характеризующейся перевесом подкорковых реакций: повышенной эмоциональностью, слезами и смехом, судорогами и т. п. Контроль коры крайне ослабляется — происходит «буйство подкорки».

Впрочем, есть у Павлова и другой содержательный образ: «зарядить кору из подкорки». «Главный импульс для деятельности коры,— говорил ученый на одной из «сред»,— идет из подкорки. Если исключить эти эмоции, то кора лишается главного источника силы».

Ученый так искусно вырывал тайны у природы, так смело, привольно и окрыленно мыслил, что под его пером, казалось, оживали самые глубинные физиологические процессы, и нас уже не удивляет, когда он ставит вопрос: «...в чем состоит ум желез?», или когда говорит о «медовом месяце желудочной фистулы», или когда называет кору «недотрогой», или когда дарит нам такие строки: «Если большие полушария постоянно, как это всякому ясно, вмешиваются в самые мелкие детали наших движений и одно пускают в ход, а другое

задерживают, как, например, при игре на рояле, то вы можете себе представить, до чего дробна величина торможения, если одно и то же движение и сила его напряжения допускается, а другое, рядом, самое мельчайшее уже устраняется, уже задерживается».

У желез оказывается ум, желудочная фистула пережила свой медовый месяц, мозговая кора получила кличку недотроги, большие полушария вмешиваются в движения пальцев пианиста — что же это, как не поэзия науки, художественные образы ученого, смелые олицетворения физиолога? Только гениальное проникновение в сокровенные физиологические процессы, в тайная тайных организма животных и человека позволило творцу учения об условных рефлексах так, казалось бы, запросто, как с короткими знакомыми, почти фамильярно, почти панибратски обращаться с корой и подкоркой, с раздражением и торможением, со слюнной железой — «плеевой железкой», как он любил ее называть.

Живой Павлов встает перед нами в его образных и тем легче запоминающихся формулировках, например: «сон есть разлитое торможение», «...скука есть нечто аналогичное, близкое ко сну, сон с открытыми глазами», «есть такие силчаи нервной системы, которых никакой черт не одолеет, которые все преодолевают...»

Кстати, Павлов однажды поделился с участниками «сред» таким оптимистическим, жизнеутверждающим выводом: «...одно из сильнейших впечатлений для меня от всей 35-летней работы над условными рефлексами — это огромные, безграничные возможности нервной системы». И тут же с большой живостью интонации и образностью продолжал: «Интересно, что нервная система, благодаря своей деликатности и сложности, является верховным органом всего организма. Удивительным образом, казалось бы, раз она самая деликатная, самая сложная, ей бы и ломаться прежде всего, однако в некоторых случаях выходит наоборот: тело сдает, а она проявляет высшие способности. Значит: «я была главой, командиром, таковым до конца останусь,— все остальные сдали, а я остаюсь».

Нервная система олицетворена, в ее уста вкладывается горделивое заявление. Олицетворениями буквально насыщены произведения Павлова. Он ввел понятие динамического стереотипа в деятельности коры, который под влиянием новых условий жиз-

ни может ломаться, переделываться, заменяться, и ученый пишет о «соперничестве стереотипов». Кажется, нет ни одного нервного процесса, который не одушевлялся бы Павловым. Обращаясь к студентам, он говорил об их самозванном «экзаменационном поте» и тут же вскрыл, конечно, его физиологическую природу. Он писал и об «нстязании тормозного процесса», и о слабых и неуравновешенных типах как «поставщиках неврозов», и о «законном браке психологии с физиологией».

Даже горькие микстуры и те оказывались «ветеранами среди массы других лекарственных веществ». Даже жир и тот приобретал черты живого и действующего существа: «Если я из опытов увидел, что жир есть угнетатель желудочного сока, то он плохой сосед и белкам и крахмалу, так как властно поворачивает дело в свою пользу, поэтому-то при слабом желудке его совсем устраняют...» Вот он каков — жир: угнетатель, властный сосед...

Все подобные олицетворения звучат вызовом ходульности, гелертерскому изложению иных сухарей от науки. Нет, Павлов всего меньше сухарь и гелертер. Но он никогда не поступает достоинством науки и не ради дешевого эффекта прибегает к словесным образам. Когда читаешь Павлова и в увлекательном научном тексте наталкиваешься на образ, ни разу не складывается впечатление, что он является чем-то инородным и привлечен лишь для украшения. Совсем напротив! Образ у Павлова выступает в своей подлинной природе, как добавочное орудие исследователя, как некий прожектор, бросающий снопы света на изучаемое явление. «Нервное замыкание», «буйство подкорки», «мозгайка коры» и т. д. — эти словесные образы реализуют, сгущают мысль ученого, делают более зримой добытую им научную истину. Впрочем, в образной павловской фразе чувствуется подчас и иное: лукавая смешинка ученого, налет юмора — при всей серьезности темы; вот, к примеру: «...наши собаки находятся в неестественном положении, — они все обречены на монашество».

Говоря об изобразительной меткости языка Павлова, следовало бы добавить, что он добивался ее и в своих общественно-политических выступлениях. Вспомним хотя бы из знаменитого «Письма к молодежи»: «Как ни совершенно крыло птицы, оно никогда не смогло бы поднять ее ввысь, не

опираясь на воздух. Факты — это воздух ученого. Без них вы никогда не сможете взлететь». Или же крылатая павловская метонимия из письма к донецким горнякам, которым он писал, что, любя всю жизнь и умственный и, пожалуй, даже больше физический труд, чувствовал особенное удовлетворение, когда вносил в последний «какую-нибудь хорошую догадку, т. е. соединял голову с руками». Вот так меткий образ, порой афористичность речи оплодотворяли литературный стиль гениального советского физиолога, сообщали его языку энергию и ясность.

Но надо и то сказать: существует не только Павлов, которого можно прочесть под углом зрения филологии, — есть и Павлов, сам как-то причастный к той же филологии, Павлов — вдумчивый читатель художественной литературы. У него встречаются прелюбопытные физиологические характеристики и Гамлета и персонажа рассказа Куприна «Река жизни». Коснувшись роли обоняния в чувственном влечении, он ссылается на «Страницу любви» Золя. А вот как прочел Павлов одну из страниц «Анны Карениной»: «Мне помнится следующее место. Когда Анна Каренина пережила очень возбужденное состояние перед своим самоубийством, шла к вокзалу с тем, чтобы броситься под вагон, то Толстой пишет, что она поражалась тем, до чего ярко она видела все эти вывески, мимо которых проходила и на которые раньше не обращала внимания, то есть до какой степени был у нее повышен ориентировочный рефлекс... Великий художник эту сторону заметил и обрисовал, надеясь, что этот художественный материал когда-нибудь станет психологическим материалом, который можно будет понять с точки зрения психологического процесса».

Павлов имел в виду главу XXVIII седьмой части романа, где описано, как Анна перед самоубийством ехала к Облонским (а не на вокзал пока) и, сидя в коляске, мысленно перебирала события последних дней и при этом читала вывески: «Контора и склад. Зубной врач. Да, я скажу Долли все. Она не любит Вронского. Будет стыдно, больно, но я все скажу ей. Она любит меня, и я последую ее совету. Я не покорюсь ему; я не позволю ему воспитывать

себя. Филиппов, калачи. Говорят, что они возьят тесто в Петербург. Вода московская так хороша. А Мытищенские колодцы и блины» и т. д.

Ученый физиологически истолковал это явление, привел и другой пример, взятый уже не из литературы, а из жизни: «Дело шло об интеллигентном уголовном преступнике, который вроде героя романа Достоевского «Преступление и наказание» совершил тонко рассчитанное и обдуманное во всех деталях убийство. Его не поймали. Однако он не все предусмотрел и на каком-то пункте прорвался. Когда прокурор или следователь предъявили ему этот прозванный им пункт, он пришел в чрезвычайное возбуждение. В эту трагическую для него минуту он испытал такой сильный приступ аппетита, что попросил, чтобы ему дали есть, иначе он не мог говорить».

Очень сильное раздражение не сосредоточивается, по Павлову, на одном месте, а «захватывает почти все остальные пункты всего полушария», или, иными словами, происходит «иррадиация чрезвычайного возбуждения»; у Анны Карениной она задела ориентировочный рефлекс, а у преступника — пищевой. Вот что значит прочесть художественное произведение глазами физиолога: многие ли читатели задумались над тончайшим наблюдением Толстого?

...Слово Павлова — это щедрость гения, которого хватило не только на великий научный подвиг, но — походя, между прочим — и на смелый поединок с «ученым слогом», с сухой, мертвенной книжностью. И что такое его «странное просторечие» (Пушкин), демократизм литературной формы, как не выражение глубокой народности революционера в науке? А его как будто щегольство речевой архаикой разве не говорит на самом деле об органической связи с предшествующей национальной культурой, его меткие образные выражения — о безмерной талантливости народа, великим сыном которого был ученый-патриот? Слава и гордость советской науки, академик Иван Павлов совершил свой подвиг гениального новатора естествознания, вдохновляясь образом родины, возвышенной идеей служения человечеству.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Б. Галанов. На переднем крае.— **А. Злобин.** Годы великой битвы.— **С. Залыгин.** Книги одной области.— **А. Лебедев.** «Лес Богов» Балиса Сруоги.— **А. Коган.** Две повести о воинском подвиге.— **Н. Денисов.** Очерки о героях.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Инженер **И. Беспровзванный.** Ленинская электрификация.— **Е. Бородин.** Путь к коммунизму.— Кандидат филологических наук **Л. Ерихонов.** Они сражались за революцию.— **И. Латышев.** Издательство и автор.— **А. Таланов.** Нет, они не близнецы!

Литература и искусство

На переднем крае

Самую свою известную книгу Борис Полевой назвал «Повесть о настоящем человеке». Но книги, которые он написал до нее, включая многочисленные фронтовые очерки, и те, которые написал потом,— все они посвящены настоящим советским людям. В этом смысле можно говорить о Полевом как о писателе, постоянном в своих пристрастиях, у которого есть своя тема и свой герой, есть настойчивое стремление создавать в своих произведениях такие образы, которые молодые читатели, да и не одни только молодые, могут принять «на вооружение», как сразу единодушно приняли Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке».

В последние годы у нас много и горячо спорили о том, как изображать положительного героя современности. К сожалению, участники споров мало обращались к живой практике советской литературы и не очень утруждали себя анализом новых произведений. Поэтому их суждения нередко носили отвлеченный, схоластический характер. Между тем творческий опыт того же Бориса Полевого дает основания, и в сильных и в слабых его проявлениях, поговорить о том, как же действительно решается эта проблема в книгах, как освещает ее

писатель, сделавший героями всех своих произведений современников и, наконец, какие новые черты добавил Полевой к тому коллективному портрету человека наших дней, который создавался и создается усилиями многих советских литераторов.

Полевой умеет показать своего героя в схватке, в борьбе, когда до предела напряглись все его духовные и физические силы. Не случайно в книгах Полевого всегда привлекает изображение воинского и трудового подвига. Но только ли это? Какими те глубокие внутренние побудительные причины, которые заставляют солдата или рабочего в трудных обстоятельствах жизни поступать именно так, а не иначе? Один американский журналист, читатель «Повести о настоящем человеке», например, признавался, что мог бы понять, зачем Мересьев прошел через такие тяжкие испытания и предпринял такие нечеловеческие тренировки, добываясь возвращения в авиацию, если бы им руководило стремление к богатству и славе. Но в том-то и дело, что ни Мересьев, ни молодой кузнец Евгений Сизов из повести «Горячий цех», ни комсомолка Муся Волкова из романа «Золото» не ищут для себя личных выгод. Ими руководят совсем другие чувства. Нравственная сторона их поступков заклю-

чается в стремлении служить людям, быть до конца полезными Родине. Эти черты и составляют самую суть характера героев Полевого. Но именно эти черты как раз и поразили американского журналиста, привыкшего оценивать поступки человека по «рецептам» современной буржуазной литературы, которая охотнее всего раскапывает в тайниках человеческой души либо прямую корысть, либо слепой биологический инстинкт самосохранения, а иногда и то и другое вместе.

Конечно, обстоятельства подвига Мересьева необыкновенны. Далеко не каждому дано совершить такое. Но чувства, которые воодушевляли Мересьева, знакомы каждому советскому человеку и не раз помогали одерживать победы в большом и в малом. Дух советского патриотизма, ощущение слитности своей судьбы с судьбой народа, а не одни только трудовые и воинские подвиги сами по себе сделали героев Полевого в глазах широкого круга читателей — у нас и за рубежом — живым воплощением советских людей, с ударением на слове «советских».

Характерно, что для самого Полевого как художника всегда очень важно раскрыть, объяснить внутренние побудительные причины героизма советского человека, так сказать, «докопаться» до самых корней. Вероятно, поэтому он находит нужным подробно, порою даже излишне подробно, пересказывать биографии своих героев, не только главных, но и второстепенных, объяснять, как они росли и формировались в те близкие или далекие годы, которые остались где-то за пределами повествования.

Такие отступления в прошлое раскрывают перед нами биографию целого поколения, в одних случаях воскрешая неповторимые приметы первых пятилеток, героического времени, которое может взять в перedelку анархического парня Женьку Сизова и помочь ему стать ударником, рационализатором, знатным бригадиром «горячего цеха», в других случаях — вызывая в памяти время спасения челюскинцев и перелетов советских летчиков через Северный полюс. Ведь под влиянием этих событий, поразивших воображение юного Алексея Мересьева, и начинал формироваться, складываться непреклонный мересьевский характер.

В романе Полевого «Глубокий тыл» мы тоже остро ощущаем непосредственную

связь времени, живую преемственность событий. Этому способствует в какой-то мере и самый жанр романа, который можно было бы назвать романом «семейным». Во всяком случае, биографии его героев, так же как и «биография времени», обращения к годам минувшим, тут естественны; они уже не выглядят сухими справками, вкрапленными в литературный текст. А этим не раз грешили предыдущие книги Полевого.

Разные люди, представители разных поколений рабочей династии Калининых, связанные друг с другом не только родством, но и фамильными традициями, фамильными чертами, которые в большинстве случаев воспринимаются как черты типические, советские, — это и есть как бы сама живая биография времени. И когда в минуты испытаний, решающих для героев романа, проявляются все лучшие качества настоящих советских людей, умеющих самоотверженно трудиться, смело сражаться, а если в бою не оказывается другого выхода, то и мужественно умирать, — мы воочию видим, что эти качества родились не сразу, не вдруг. Они воспитаны советским строем, накоплены целой жизнью и часто жизнью не одного, а нескольких поколений семьи Калининых.

Отношение к своему делу — к труду или к воинскому долгу — является тем главным мериллом, по которому в романе оцениваются человек, его духовные качества. Этим определяется и внутреннее содержание новов, широкой, многоплановой книги Полевого. Если до сих пор внимание писателя по преимуществу сосредоточивалось на немногих человеческих судьбах, а действие, как в «Повести о настоящем человеке», развертывалось целеустремленно и стремительно, то в романе «Глубокий тыл» события растекаются по разным руслам. Сколько раз на трудных дорогах войны мы встречаем представителей большой семьи Калининых, такой большой, что нам, читателям, не сразу даже удается разобраться, в каком же родстве друг с другом состоят Калининны, Мюллеры, Шаповаловы, Куровы — ткачи и танкисты, летчики и медики, разведчики и механики, партийные и комсомольские работники. Через них, через судьбы одной рабочей семьи, перед нами раскрываются различные стороны народной жизни в годы войны, воедино связываются фронт и тыл. Долгое время Полевого попеременно считали то писателем почти исключительно военной темы, то темы труда.

Здесь обе эти дорогие для писателя темы соединились. И в этом смысле можно, вероятно, сказать, что в новом романе Полевого вместе выступают герои «Горячего цеха» и герои «Повести о настоящем человеке».

Но «Глубокий тыл» — это, конечно, название полемическое, так только говорится — «глубокий тыл», а в действительности самый настоящий фронт. И дело совсем даже не в том, что полуразрушенный и полусожженный город Верхневолжск, очищенный советскими войсками от гитлеровцев, на протяжении всего действия романа продолжает оставаться в непосредственной близости от линии боев и что немецкие бомбардировщики долетают до текстильной фабрики за двадцать минут. Всем содержанием своего романа Полевой утверждает мысль, что глубокий тыл был прямым продолжением переднего края, что здесь, как и на фронте, ковалась победа. Преодолевая голод, холод, усталость, забывая о неустроенности детей, о собственных лишениях, люди по суткам не уходили с фабрики, засыпая тут же у станков. Все это было! И читатели будут благодарны писателю за то, что он им напомнил, как в ткацких цехах, где порою бывало даже холоднее, чем на улице, работали женщины, положив под ватник горячий кирпич, чтобы согреть стынущие пальцы; как юная ткачиха Галка Мюллер во время весеннего половодья, угрожавшего фабрике, бросилась на насыпь и своим телом закрыла промоину; как на огромной высоте, над рекой Тьмой, трудилась девушка-верхолаз, снизу казавшаяся паучком на колеблемой ветром паутине, и как мастер Арсений Куров после очередного налета фашистской авиации производил «горячий ремонт» сталеплавильной печи, рискуя сгореть в ней заживо. А разве не отзывается в нашем сердце патристический порыв Анны Калининой, когда, оставив в пути детей и бабушку, она пешком, одна, пробирается в город, на родную фабрику, едва только до нее доходит весть, что немцы выбиты из Верхневолжска. Такие подвиги под стать воинским. Они не меньше волнуют и трогают.

Мы выбрали здесь наудачу только некоторые эпизоды из нового романа Полевого. И характерно, что в большинстве эпизодов героинями оказались женщины. Случайность это или простое совпадение? Не то и не другое, конечно.

В семье Калининых вместе с мужчинами война призвала к длительному подвигу женщин, потребовала от них терпения, выдержки, стойкости. Не на час, не на день, а на годы. Вот почему в романе Полевого женские образы заняли такое большое место и даже оказались центральными. Это не героини минутного порыва, готовые мгновенно вспыхнуть и столь же мгновенно погаснуть. Это героини на всю жизнь — и веселая, неугомонная Галка, и ее сестра Женья, и Анна.

Не знаю, вспоминались ли Полевому знаменитые некрасовские строки о русских женщинах. Но, рисуя сильные, широкие характеры своих героинь, он, вероятно, искренне хотел, чтобы мы почувствовали эту «стать», эту душевную щедрость женщин «Глубокого тыла», их красоту во всем: в поступках, в самозабвенном увлечении каким-нибудь делом, во внешнем облике, наконец. Поэтому не раз на протяжении романа он будет напоминать о тяжелых русских косах Анны, о четких полукружиях ее темных бровей, о синих глазах и длинных, загнутых кверху ресницах Жени, о прекрасных пышных волосах Галины и т. д. Есть в этом известная нарочитость и сильный налет книжности. Но в общем, читая роман, мы не очень-то задерживаемся на ординарном описании внешности героев, потому что внутренний, душевный мир Жени и Галки, Анны Калининой и другой Калининой, знатной ткачихи Ксении Степановны, писатель раскрывает интересно, в его сложности и противоречивости, причем в самом главном и самом существенном. В своем советском миропонимании, героини романа остаются цельными, бескомпромиссными, а кое в чем даже аскетически строгими. Недаром же Варвара Алексеевна, старшая представительница семьи Калининых, кому-то даже напоминает своей внешностью боярыню Морозову.

Можно, например, усомниться, правильно ли поступает Анна, которая расстается с фабрикой, уходит на другую работу, когда начинает понимать, что ее чувства к механику Лужникову создают ложность, фальшь в отношениях с ним, с его женой, становятся поводом для неоправданных слухов и болтовни. Но такое решение — в натуре Анны, прямой, резкой, не привыкшей выбирать для себя легкие пути. Это совпадает с ее убеждением, что человек, который поднят, возвышен доверием коллектива (ведь Анна секретарь парткома

ткацкой фабрики), должен следить за тем, чтобы не только пылинки, даже «тень от пылинки» на него не легла.

С Анной Калининой — не с этим ее поступком, а со всем ее образом — связана одна из наиболее важных линий романа. Коммунисты ткацкой фабрики избирают Анну своим секретарем. А должность партийного работника секретарь райкома Северьянов называет самой интересной на свете. Самой интересной, но и самой сложной! Кто же, как не партийный работник, должен уметь разбираться в людях, во всех тонкостях человеческих отношений, что так хорошо удавалось в «Повести о настоящем человеке» комиссару Воробьеву и что в конце концов научилась делать Анна.

И Полевой показывает, как постепенно, шаг за шагом, страдая и злясь — от неумения, неопытности, — преодолевая резкость и угловатость своего характера, а заодно и ненужную поспешность в делах, Анна осваивает свои новые, нелегкие обязанности, все больше проникаясь мыслью, что успех или неуспех ее работы во многом будет зависеть от того, как хорошо она узнает своих коммунистов — всех вместе и каждого в отдельности, сумеет ли так слиться с фабричным коллективом, чтобы постоянно чувствовать его большое сердце, понимать, чем люди живут. Но разве не этим и определяется ее сила как воспитателя рабочей массы, как организатора многих больших и малых начинаний?

Но вот по соседству с Анной, в фабричном комитете комсомола, трудится ее молоденькая племянница Юнона Шаповалова, спокойная, правильная, рассудительная. Все у нее в порядке — учет, цифры, бумаги. А главного в отношениях с комсомольцами ей все-таки не хватает — не хватает сердца, расположения к своим же товарищам и, скажем даже, не пугаясь этого слова, доброты — короче говоря, всего того, что на партийной работе так щедро отдает людям Анна. «Статуя», — метко говорит про красавицу Юнону общительная и порывистая Галка. Против таких «статуй», против холодного, чиновничьего, равнодушного отношения к делу, к людям, оскорбляющего живые чувства, благородные порывы и мечты, против начетничества, способного заморозить любое полезное начинание, энергично воюет в своем романе Полевой. «Человеком для людей» называл когда-то П. Павленко партийного работника. Таким

человеком в романе показана Анна Калинина. Про Юнону, перефразируя слова Павленко, можно сказать: «человек для себя». Это и есть ключ к ее образу. И надо отметить, что, с точки зрения художественной, характер Юноны, тоже по-своему довольно «цельный», хорошо, вплоть до деталей и с большой долей сарказма, прослеживается писателем. Юнона верна себе в каждой реплике, в отношении к родителям и даже в отношении к памяти героически погибшего на фронте брата-танкиста, о котором девушка вспоминает, когда его имя может ей пригодиться как козырь в комсомольской карьере или по обязанности комсомольского секретаря, организующего на своей фабрике движение бригад имени Марата Шаповалова.

Как же могло случиться, что среди младших представителей рабочей династии Калининных вместе с Женей, Маратом, Галиной росла холодная и бездушная эгоистка Юнона? Писатель отвечает на это так: дело в неверном воспитании Юноны. Ксения Степановна — искусная прядильщица, труженица из тружениц, а дочку свою пожалела, не приучила к полезному труду и, как потом сама с горечью признавалась комсомольцам: «Не передала ей эстафету». Таким образом, характер Юноны, так же как и другие характеры, измерен в романе Полевого отношением к труду. Юнона с детства не знала и не любила его. Этим-то и объясняются многие — но не все, конечно, — ее беды, ее отчужденность от живого, настоящего дела.

Среди перекрещивающихся между собой многих сюжетных линий романа нужно назвать по крайней мере еще одну — историю Жени Мюллер и Курта Рупперта. Нет необходимости подробно пересказывать, как зарождалась дружба и, быть может, любовь советской девушки-разведчицы и немца ефрейтора Рупперта. Эта необыкновенная история доставляла Жене немало страданий. В самый разгар войны, когда люди, столько натерпевшиеся от гитлеровского нашествия, в каждом немце-военном видели виновника своих бед, было естественно, что даже родные не хотели верить Жене, что человек, с которым она встретила по ту сторону фронта, — антифашист. Ее оскорбляли подозрениями, друзья отдалялись от нее. Но Женя отважно защищала Рупперта и сумела доказать свою правоту.

Пожалуй, роман Полевого впервые в нашей литературе об Отечественной войне так

смело рисует образ немца-интернационалиста, представителя тех сил, которые, находясь в рядах немецко-фашистской армии, не только не верили в нацизм, но и ненавидели его. Эта линия получает свое дальнейшее развитие и поддержку в истории отношений Арсения Курова с военнопленным-немцем рабочим Гуго Эббертом. На войне погибли жена и дети Курова. Он был одним из тех, кто жестоко ненавидел всех немцев, не делая между ними никаких различий. Долгое время он не мог простить Жене дружбу с Руппертом. Но даже Куров, работая на заводе бок с Эббертом и другими военнопленными, должен был наконец понять, что немецкая армия не едина, что не все ее солдаты сплошь гитлеровцы. «Здесь, среди токарных, фрезерных, карусельных, долбежных и иных станков, среди грохота и визга железа, непримиримый лозунг «Смерть немецким оккупантам!» как-то сам собой сменялся прежним, с детства дорогим каждому советскому рабочему: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Мы коснулись только некоторых проблем и некоторых, далеко не всех, образов романа «Глубокий тыл». Но думается, что и они достаточно отчетливо передают атмосферу романа, помогают оценить значение затронутых писателем вопросов. Всеми своими книгами Полевой зарекомендовал себя в глазах читателей как чуткий к современности художник, и это новое его произведение, хотя и относится к событиям минувшей войны, полно живым дыханием сегодняшних дней. Ведь патриотический труд людей текстильной фабрики, их новаторские подвиги и живая преемственность революционных традиций, красота новых, социалистических отношений, которую утверждают всем стилем своей жизни Анна Калинина, ее друзья и товарищи,— все это приметы нашей современности. И Юнона Шаповалова и трусливый слияк Георгий Узоров, муж Анны, который сошелся с другой женщиной, а от Анны и детей хотел откупиться деньгами и подарками,— это, к сожалению, тоже пока еще встречается и сегодня.

Для самого Бориса Полевого роман «Глубокий тыл» является важной вехой в творчестве — и по широте привлечения жизненного материала, и по масштабности кругозора, и по стремлению к углубленности психологических характеристик. Ему всегда удавалось и удается описать «людей прямого действия», смелые поступки своих

героев. А теперь перед нами шире распахнулся их душевный мир, и насколько же богаче они стали!

Жаль, что роман Полевого написан неровно и, как думается, кое-где торопливой рукой, что автор не всегда внимателен к слову. Тут есть сильные и очень выразительные страницы, по которым невольно хочется вывернуть многие другие. Такими представляются, например, сцены перехода Жени и Курта через фронт, смерти Жени Мюллер и в особенности сцена грустного свидания солдата Филиппа Шаповалова с женой и дочкой. Эта маленькая глава читается как законченная новелла, у которой есть завязка и развязка, есть свои точно очерченные характеры — Юноны и самого Филиппа, деятельного рабочего человека, давящего тоскующего по труду, одного из тех, кого Полевой однажды описал в рассказе фронтовых лет «Сапер Николай Харитонов». Но рядом с этими главами соседствуют другие — растянутые, неэкономные. Порою создается впечатление, что Полевой растолковывает растолкованное, прибавляя к тому, что и так вытекает из самой сущности художественных образов романа, уже не обязательный комментарий. За дидактизм, за эту неэкономность в обращении с художественным словом и, добавим, в обращении с жизненным материалом, который не всегда достаточно строго и требовательно отбирался, не раз упрекаешь автора, читая роман. При более жестком самоограничении, вероятно, история шефства ткачих над госпиталем могла бы занять в романе меньше места. И история организации коллективных и индивидуальных огородов, будь она рассказана покороче, только выиграла бы. И тот и другой эпизоды почти не прибавляют новых красок к образам героев книги, но зато заметно отяжеляют повествование. При таком подходе к материалу существенное и менее существенное как бы уравниваются в правах. А это неизбежно смещает пропорции, нарушает перспективу...

Напоследок еще раз вернемся к образам положительных героев Полевого. Мы уже говорили, что все его книги посвящены настоящим советским людям. В этом смысле роман «Глубокий тыл» не является исключением. Но ведь и герои многих произведений последних лет тоже настоящие люди. Свое, присущее именно Полевому как художнику, состоит, пожалуй, в

том, что его герои почти всегда поставлены в обстоятельства необычные, когда ярко проявляется их целеустремленность, их воля к победе. И всегда — в труде ли, в бою — они застрельщики, первые, идущие по самому переднему краю жизни. Это и придает

им ту жизнеутверждающую силу, которую всегда чувствуешь, читая книги Полевого. Такими нам запоминаются и герои «Глубокого тыла».

Б. ГАЛАНОВ.

★

Годы великой битвы

Говорят, что писать о войне с каждым годом становится все труднее. Это так и в то же время не так.

Действительно, у нашей литературы накоплен огромный опыт, созданы замечательные книги о Великой Отечественной войне, которые навсегда останутся в истории литературы, и поэтому каждую новую книгу читатель не может воспринимать без учета этого опыта, не может не сравнивать ее с другими, уже признанными им произведениями. И тем не менее чуть ли не каждый год появляются новые произведения о войне: объявляются новые имена, раскрываются новые героические страницы истории военных лет, обнаруживаются новые факты, документы, возникает новая трактовка событий. Невозможно даже предположить, что необъятная тема Отечественной войны могла бы быть исчерпана за какие-нибудь полтора десятка лет. Скорее всего, что лучшие книги о войне еще не написаны; писатели снова и снова будут обращаться к этой неисчерпаемой и благодатной теме великого народного подвига.

Еще одним доказательством тому может послужить сборник-альманах «Годы великой битвы», задуманный и выполненный по инициативе Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей РСФСР.

У этой книги свыше пятидесяти авторов. Несхожие почерки, разные жанры, вещи значительные и менее удачные — однако, сведенные вместе под одной обложкой, они образуют сплав чудесной силы. Лаколичные художественные документы военных лет, написанные в самой гуще событий, и произведения с исторической перспективой, созданные после того, как умолкли пушки, — и то и другое одинаково принадлежит большой литературе. Произведения, собранные в книге, в подавляющем большинстве своем до сих пор нигде не публиковались или же были опубликованы в свое

время в военной печати — в армейских и фронтовых газетах. В книге представлены самые разные жанры: проза, стихи, дневники, документы, мемуары, письма.

Первые тревожные дни войны и торжествующие часы штурма рейхстага, партизанские леса и волжские переправы, артиллерийская дуэль под Мурманском и штурм Севастополя, фашистский концлагерь и колонны пленных немцев, бойцы московского ополчения и моряки-подводники, разведчики вражеского тыла и водителя «ЗИСов» на Ладоге, Москва, Сталинград, Берлин — пожалуй, у нас еще не было книги, которая так широко и свободно охватывала бы тему войны.

Есть еще одна особенность у этой книги. Написанная писателями, она рассказывает главным образом о самих же писателях. О писателях на войне. Герои — они же и авторы книги — военные корреспонденты «Правды», «Красной Звезды», фронтовых газет. Но это ни в коем случае не книга для писателей. Это книга для всех, книга для народа. Советские писатели неразрывно связаны с жизнью своего народа, и в годы войны эта связь была особенно нераздельной. Достаточно напомнить такие цифры: около тысячи советских писателей ушло на бой с фашизмом по первому зову партии и правительства. Из них было убито и погибло на фронтах 275 человек. Из каждых семи писателей двое погибло — соотношение горестное и поразительное. Писатели были на фронте не только писателями, но и воинами. Пулеметчик партизанского отряда Аркадий Гайдар, сапер Виктор Некрасов, разведчик Эм. Казакевич, боец ополчения Юрий Либединский; писатели — Герои Советского Союза, политработники, агитаторы, пропагандисты. Наравне со всеми они несли все тяготы войны, по праву разделяли лавры победы.

Таким образом, можно отметить еще одно достоинство книги: это своего рода боевое донесение (разумеется, далеко не полное) о том, что делали советские писате-

Годы великой битвы. Сборник. Составитель Г. Гайдовский. 804 стр. «Советский писатель». М. 1958.

ли на фронтах Отечественной войны, как они сражались, умирали, побеждали.

Вот пламенные, лаконичные и в то же время мастерски отточенные страницы из дневников Всеволода Вишневского. Что же делает на фронте специальный корреспондент «Правды», кроме того, что он пишет очерки в газету?

Стремительная запись: «Окунаемся в хаотический мир уличных боев... Советую бойцам идти вперед. Шучу, подстегиваю их. Двинулись дальше, вместе. Над головой свистят снаряды. Навстречу несут страшных, черных раненых. Рушатся дома...»

Потом писатель идет в бомбоубежище. «Говорю — которую уже — речь к немцам (как пригодилось знание языка!): о порядке, о повиновении, о приходе Красной Армии; о том, что мы им принесем мир и труд».

Еще одна запись, датированная 5 мая 1945 года, — скупой отчет о проделанной за день работе:

«День печати. Провел посвященную этому дню беседу с редакцией армейской газеты. Был в Военном совете. Говорил об обязанности генералов и офицеров — написать воспоминания об Отечественной войне».

Вместе с тем дневник Вс. Вишневского — произведение большой художественной силы. Публицистические раздумья о войне, о народе, о судьбах немецкой нации, боевые зарисовки, беглые, но тем не менее точные, запоминающиеся образы солдат, офицеров, яркие, неожиданные детали — нет смысла приводить примеры, для этого пришлось бы переписывать целые страницы.

Был военным корреспондентом на фронте и Герой Советского Союза Сергей Борзенко. Его записки «Выход из окружения» свидетельствуют, что перед нами не только отважный воин, но и хороший рассказчик. Записки С. Борзенко написаны четко и сурово. Наша армия выходит из окружения под Николаевом. Операцией прорыва руководит комдив Шепетов. Трое суток его дивизия ведет наступательный бой и рвет кольцо окружения. Комдив отдает боевой приказ — всем спать два часа — и сам становится в караул. Генерал и военный корреспондент мечтают: «А хорошо было бы описать в стихах, как мы рвали окружение, смерть Гамзы».

Напряженный сюжет, детали, полные

глубокого смысла, — все это делает повествование интересным и значительным.

Матрос из ополчения неодобительно отзывается об инженерах, которые не могут придумать «такую винтовку, чтобы любой танк наскрозь пробивало». «Я посмотрел в упрямое лицо матроса, подумал: раз появилась у народа мечта, такая винтовка обязательно будет».

Вышедшая из окружения армия переправляется на левый берег Днепра. Но Борзенко думает о другом берегу, о правом: «Он был круг и высок, и я думал о мужестве солдат, которым придется форсировать реку и возвращать родине этот каменистый берег, который отдавали сейчас без боя».

Не менее выразителен и драматичен дневник героически погибшего на фронте военного корреспондента «Правды» Петра Лидова о первых днях войны в Минске, о горечи отступления, о неугасимой вере в победу.

Тем же первым неделям и месяцам войны посвящены волнующие «Странички из дневника» Владимира Ставского, записи Юрия Либединского. Настороженный затемненный город. Полки народного ополчения покидают притихшую Москву. Строго и сдержанно рассказывает Ю. Либединский о том, как роты ополчения маршируют к фронту; рассказ перемежается с воспоминаниями автора о гражданской войне — традиции освободительной армии свято хранятся народом. Остается только пожалеть, что автор почему-то вдруг оборвал свои записки и оставил их незаконченными.

О днях Сталинграда рассказывает дневник немецкого писателя-антифашиста Эриха Вайнерта, уже знакомый читателю по публикациям в журнале. Трагические дни немецкого народа показаны глазами немца, и это тем более сильно и поучительно. Прекрасным дополнением к этому дневнику служит статья Вилли Бределя, страстная, острая, боевая публицистическая статья, перепечатанная из газеты «Нейес Дейчланд» за 1957 год.

Документальные произведения не выделены составителем в особый раздел, и это правильно: они равноценны другим произведениям художественной прозы, включенным в книгу. Здесь и знакомые нам главы из романа М. Шолохова «Они сражались за родину» — и читатель с удовольствием перечитает эти уже полюбившиеся ему отрывки, и очерк А. Фадеева «Летный день».

Здесь и неизвестные публикации из архивов Алексея Толстого и публицистические статьи П. Павленко, новые стихи, рассказы, очерки.

«Рассказы Алексея Кузьмича Горевского о мирных встречах и боевой традиции» Петра Вершигоры заслуживают, вероятно, отдельной рецензии, но все же хочется сказать о них и здесь хотя бы несколько слов.

П. Вершигора в этих рассказах продолжает разрабатывать свою старую тему партизанской войны, при этом он счастливо избегает опасного повторения самого себя. Разнообразны краски, которыми пользуется писатель. Здесь и трагическая новелла о генерале Сиборове, прообразом которого послужил советский командарм Ефремов, и трогательный, пронизанный тонким юмором рассказ «Тот, кто у Щорса воевал...», и яркая новелла «Скупердяй» — разительно веселая история о партизанском помпозе Михеиче, своего рода история о деде Щукаре военного времени.

Интересны другие рассказы: «Павлик», «Архивариус», «Войско» — в них описаны различные эпизоды партизанской жизни, веселые и героические, трогательные и волнующие. Слабее беглые зарисовки — «Дед Мороз», «Сестра любви», — где чувство вкуса и такта изменяет автору. Слегка запутался П. Вершигора и в форме подачи своих рассказов: все они ведутся от первого лица, но иной раз просто невозможно сообразить, кто же это рассказывает — то ли очередной рассказчик, то ли придуманный писатель Горевой, от лица которого написан весь цикл рассказов, то ли автор действительный — сам Вершигора. Подобная нарочитая усложненность не оправдывает себя. Тем не менее в целом новые рассказы П. Вершигоры — значительный шаг в творчестве этого интересного писателя.

О Дороге жизни рассказывает А. Сапаров в прекрасном очерке «Это было на Ладоге». Каждый фронтовик слышал о Дороге жизни, даже если он сражался за тысячи километров от Ленинграда. Ныне Дорога жизни стала историей, о ней знает каждый школьник. И тем не менее невозможно без волнения читать простые и бесхитростные очерковые новеллы А. Сапарова о героях шоферах, перевозящих грузы по льду Ладожского озера. Трудно даже разгадать, в чем здесь секрет. В предельной достоверности фактов и деталей, в точности языка, в будничности подвигов, о которых так невозможно (эпически невозможно!) рассказы-

вает А. Сапаров. О Дороге жизни не писали до поры до времени в военных сводках, ее герои были безвестны, их имена не обнародовали газеты, о них не рассказывали по радио. Они творили свои подвиги не ради славы, но ради жизни — для них это было так же естественно, как дышать. Но история не забыла их имен, и вот писатель прекрасно запечатлел эту историю — для истории.

На войне немало безвестных героев. Их гораздо больше, чем мы думаем. О неназванных героях-разведчиках рассказал в трех новеллах М. Маклярский («Герон, о которых молчат»); этому же посвящена напряженная драматическая новелла Д. Юферева «Иду на прорыв» — наглядный пример того, что о подвигах разведчиков глубокого тыла можно писать не только развлекательные детективы.

Вместе со всеми видами оружия в боевом строю литературы стояли и стихи. Советская поэзия особенно расцвела в годы войны, и составитель, естественно, решил отразить это в книге. Получился не совсем удачный вариант. Многих поэтов вообще нет. Творчество А. Суркова, Н. Грибачева, Е. Долматовского представлено далеко не лучшими их стихами. «Повезло» лишь одному Александру Яшину: в книгу включены три из действительно лучших его стихотворений. Нельзя не отметить великодушного, просящегося в хрестоматию стихотворения Михаила Светлова «Первый красногвардеец». Запоминаются интересные стихи о Севастополе Г. Поженяна, отрывки из героической поэмы А. Жарова «Иван-герой» — и это, пожалуй, все. Самый богатый род советской военной литературы — поэзия — представлен в книге наиболее бледно.

В особом разделе книги собраны воспоминания. Перед читателем оживают образы А. Афиногенова, И. Уткина, Б. Лапина и З. Хацревина, Ефима Зозули. Мастерски написаны воспоминания о «Красной Звезде» И. Эренбурга, интересны «Листки воспоминаний» А. Исбаха — любовно сделанные портреты двух замечательных писателей и деятелей: Бориса Горбатова и Матэ Залка. Юр. Корольков написал очерк «По следам песен Джалиля» — впечатляющий напряженный рассказ о трагической судьбе и героической смерти народного татарского поэта, лауреата Ленинской премии Мусы Джалиля. Менее удачны воспоминания К. Симонова о Евгении Петрове и биографический очерк М. Паланта о Гайдаре: обе вещи написаны сухо.

К сожалению, весьма беден заключительный раздел книги. Беден не тем, что опубликовано в нем, а тем, что опубликовано очень мало. Здесь напечатаны письма погибших писателей — человеческие документы огромной силы. Нежные, проникновенные письма Ивантера, бодрые новеллистические письма Джека Алтаузена, мужественное письмо Юрия Крымова, написанное, судя по всему, за несколько часов перед смертью.

В архивах военной комиссии Союза писателей, в Центральном государственном архиве литературы (ЦГАЛИ) хранится не-

мало других нигде не публиковавшихся документов — писем, дневников, воспоминаний. Разумеется, все они не могли быть включены в эту книгу, которая и без того получилась достаточно солидной. Однако несомненная удача этого своеобразного сборника-альманаха диктует конкретное предложение — работа военной комиссии должна быть продолжена совместно с издательством «Советский писатель», и тогда за первым альманахом последуют новые, столь же замечательные, боевые, вдохновенные книги о незабываемом времени великой битвы.

А. ЗЛОБИН.



Книги одной области

Передо мной три книги. На первый взгляд, они очень различны. В самом деле, в одной говорится о событиях уже далеких — о революционной борьбе русского народа за свое освобождение, во второй собраны высказывания иностранцев, в основном корреспондентов прогрессивных газет, по поводу увиденного и услышанного ими в нашей стране в наше время, и третья книга представляет собой сборник сибирских народных песен — старинных и революционных.

Но все эти книги изданы в одной и той же области — Новосибирской, и в них, в каждой по-своему, раскрывается и судьба народа, населяющего этот край, и его характер.

Автор первой из этих книг, А. Мисюрев, — старейший сибирский писатель. Новые книги появляются у него не часто, прежние его работы переиздаются тоже незаслуженно редко, и выход в свет небольшой книжечки этого автора «О злых богачах и народной борьбе» является фактом отрядным.

Рассказами участников революционных событий пятого года в Красноярске открывается этот сборник.

«Шестого декабря, когда проводили большую демонстрацию, присоединился к

А. А. Мисюрев. О злых богачах и народной борьбе. Редактор Е. Шарнина. 62 стр. Новосибирское книжное издательство. 1957.

Край, где нет невозможного. Составитель А. Китайник. Редактор В. Синагов. 132 стр. Новосибирское книжное издательство. 1957.

Сибирские народные песни. В записи композиторов А. Новикова, В. Левашова. 174 стр. Новосибирский областной Дом народного творчества. 1957.

нам железнодорожный батальон со всем своим оружием. В наших руках весь Красноярск оказался. В Батальонном переулке размещалась гауптвахта. Мы все двинулись туда.

— За что сидишь?

— За неотдание чести.

— Выходи!

— А ты за что?

— Фельдфебель меня облаял, а я не смолчал.

— Выходи!

Многих повыпустили.

Если где непорядки — иди жаловаться к нам, в боевую дружину. Ко мне приходили солдаты из эшелонов с востока, с Японской войны. Солдаты придут и рассказывают:

— Такой-то офицер — гад, издевался над нами.

Сделали суд на станции над одним офицером. Он ударил солдата, вывихнул ему руку. Приговорили, чтобы извинился по-хорошему и заплатил солдату 25 рублей. Деваться некуда — он это сделал, а мы смотрели.

Судили местного воинского начальника. Жалованья солдатам не платил.

Приходит он, такой гордый. Пальто офицерское с капюшоном сбросил на ходу, привык, чтобы подхватили и повесили, а никто и руки не протянул, оно на пол свалилось.

— Господа, ведь я офицер. Какое право имеете меня судить?

Насчет прав рассуждать с ним не стали.

— Жалоба на вас. Где солдатское жалованье? Почему не уплачено?

Он посмотрел, посмотрел, видит суровые лица. С нами не до шуток.

— Солдаты получат!

Поднял свою ротонду и ушел. На послезавтра получили все, до единого.

Так мы и наводили свой порядок».

Вот и весь рассказ.

Мы узнали из него многое: что в декабре 1905 года в руках рабочих «весь Красноярск оказался», что к рабочим присоединился на демонстрации железнодорожный батальон, что создана была боевая дружина, что дружина эта творила справедливый суд в защиту трудящегося человека.

Все это факты, представляющие интерес и для историка и для самого широкого читателя.

Но, кроме того, что нам стали известны факты, мы познакомились еще с рассказчиком — простым и мудрым человеком, мы с особой отчетливостью почувствовали высокие идеалы социальной борьбы в их повседневном, будничном, но ничего не потерявшем от этой будничности значении.

В рассказе нет ни слова от автора. Нет отступлений, рассуждений о психологии героя. Нет деталей обстановки, в которой разворачиваются события. Формально ничего этого нет, а все-таки это все есть, присутствует в словах рассказчика, в его интонации, которую мы так и слышим в этих строчках, и все это потому, что рассказчик не только повествует о событиях, но еще и очень ясно, определенно выражает свое отношение к ним, свое понимание этих событий, свое глубокое убеждение в правоте того дела, которое он сам творил.

Краткость рассказа, его лаконизм доведены до предела, и это не позволяет вниманию читателя хоть на мгновение отвлечься от событий, о которых ведется речь.

«В Батальонном переулке размещалась гауптвахта. Мы все двинулись туда».

И тут же, сразу же, без какой-либо передышки:

«— За что сидишь?»

Для писателя, очевидно, трудно было бы уберечься от соблазна и отказаться от описания того, как люди шли в Батальонный переулок к гауптвахте, как открывали двери, как арестованные встретили своих освободителей.

Оказывается, можно обойтись без всего этого. Можно сказать о событии так:

«— За что сидишь? — За неотдание чести. — Выходи!»

И вот уже перед вами возникла одна солдатская судьба.

«— А ты за что? — Фельдфебель меня облаял, а я не смолчал. — Выходи!» — И вот уже вторая судьба...

Далеко не каждому удается найти, услышать и увидеть среди тысяч людей вот такого рассказчика, не каждый может потом приложить к рассказу руку художника, приложить так, чтобы прикосновение это вовсе и не чувствовалось. А. Мисюрев обладает этим даром.

Это дарование тем более становится заметным, что фольклористы обычно собирают устные рассказы на самые различные темы, автору же сборника удалось отразить совершенно определенные и притом весьма значительные события.

Сначала это события 1905 года, затем 1918—1919 годов, а в целом это героика революционной борьбы народа.

Рассказы не носят «литературных имен», вроде «Навстречу бурям» или «Бурям навстречу». Но чуждые литературным канонам заголовки с поразительной ясностью передают содержание, основную мысль рассказа, иногда же в заголовках этих появляется еще и целый ряд деталей.

«Выходи на волю»... Попробуй-ка придумать что-либо более выразительное и точное для рассказа, о котором только что шла речь? «Народ меня спас», «Дедка Степан вывез на Рыжке».

И мы узнаем, каким образом остался жив рассказчик — Василий Иванович Черников, ныне пенсионер, житель города Куйбышева, хотя «очень был шетинистый», не мог терпеть, боролся, а остался он жив, потому что его самого спас народ.

И Анну Ивановну Бобову, жительницу Тюмени, когда она была совсем еще молодой женщиной, «дедка Степан вывез на Рыжке» ночью, через глухой лес, ни о чем не спрашивая ее, но безошибочно угадав в ней борца, революционера.

Все в этих рассказах о народной борьбе — правда, правда скромная, обыденная и великая. У каждого рассказа — точный адрес. Автор как бы говорит читателю: поезжайте, познакомьтесь с такими же рассказчиками, и вы обязательно узнаете еще многое от них, вы полюбите этих простых героев, а значит, еще больше полюбите свой народ и многому научитесь у него.

Корреспондент «Юманите» Пьер Энтжес — в Иркутске. Он знакомится со строи-

тельством ГЭС, с проблемой Ангарского каскада и говорит о своих впечатлениях:

«Нет необходимости задавать инженерам вопрос: «Удовлетворяет ли вас в этих условиях пятилетний план?»

В самом деле, разве мы когда-нибудь ставим перед собой такой вопрос? Дело ведь в том, что вопрос этот мог бы возникнуть лишь в том случае, если бы не всех нас, советских людей, план вовлекал в творческую деятельность, если бы оставались такие, кто не нашел применения своим силам, знаниям, энергии.

Постановка вопроса таким образом, как это сделано Пьером Энтжесом, заставляет советского читателя как-то по-новому взглянуть на самого себя, на дело рук своих.

Корреспондент английского журнала «Раша тудей» Арчи Джонстон говорит: «Главное впечатление, которое я вынес из моего путешествия: не столько агрономическая и техническая, сколько организационная сторона «битвы за урожай» сейчас представляется особенно сложной». И дальше: «Я давно думал о Советском Союзе как о стране безграничных возможностей. Теперь, после трех недель путешествия по целинным землям, а также по вновь поднимаемой нефтяной, железорудной и угольной «целине» Поволжья и Сибири, после того, как я видел всюду мужество и героизм... я сказал бы теперь, что Советский Союз — страна, где нет невозможного».

А вот Лютц Цемпельбург, заместитель редактора газеты «Нейес Дейчланд», поразился таким, казалось бы, обыденным для нас фактом:

— Товарищ Филатова — учительница начальной школы в Якутске. Она якутка, но большинство ее учеников — русские...

Можно было бы и дальше приводить впечатления наших друзей — впечатления, сложившиеся о нашей стране и об отдельных сторонах и деталях нашей жизни. Это интересно, поучительно, и можно было бы и дальше рассказывать о том, что написали о нашей Сибири в Англии, в ГДР, Чехословакии, Италии, Франции корреспонденты из «Раша тудей», «Берлинер цейтунг», «Праце», «Унита», «Юманите».

Однако дело не в этом пересказе. Интересен самый факт появления этой книги под названием «Край, где нет невозможного». Он знаменует собой все возрастающие связи между нашей страной и другими странами, все возрастающий интерес народов друг к другу.

Некоторые зарубежные недоброжелатели наши могут язвительно заметить, что мы, дескать, печатаем только «положительные» отзывы о нас и только таких авторов, которые принимают наш образ жизни.

Что же, мы и не скрываем того, что не собираемся брать на себя расходы и тратить бумагу на пропаганду взглядов наших идейных противников. Пусть уж расходы на эту стряпню целиком и полностью оплачивают заказчики и любители этой кухни. Мы знаем, что истина отнюдь не рождается из споров с людьми, которые утверждают, что белое — это черное, а черное — белое.

А вот объективное мнение прессы, которой дорог мир, прогресс и социализм, для нас очень важно.

И выход в свет сборника «Край, где нет невозможного», этих впечатлений зарубежных журналистов о Сибири, — факт, поучительный и для многих других областей, городов и республик нашего Союза.

Работа над таким сборником нужна немалая: она требует, чтобы с зарубежными журналистами и их печатными органами поддерживалась постоянная живая связь, требует очень вдумчивого отбора материалов, но работа эта попросту необходима. Это в конечном счете и есть итог тех культурных связей, которые все шире и шире развиваются между народами.

В Хакасии, в верхнем течении реки Абакан, расположены казачьи станицы: Арбаты, Абаза. И сам районный центр Таштып тоже заселен русскими переселенцами...

Прошло двадцать пять лет с тех пор, как я жил в трех краях, а до сих пор помнится мне и леса, и реки, и села той стороны. Все помнится, а вот слышанные там песни забылись.

Когда в Абазе или Арбатах пели, я слушал внимательно, однако — по молодости лет, что ли, — не придавал этим песням никакого серьезного значения.

Теперь часто думаю, что тогда я слышал очень редкие, очень своеобразные песни.

Впоследствии мне приходилось и еще бывать в Хакасии, но песен этих я так и не услышал больше.

Очень, очень жаль, что вот так случается с нами — проходишь мимо подлинного творчества, не замечая его, а когда хватишься, то уже и не найдешь того, что не подобрал когда-то.

Книжка «Сибирские народные песни» состоит из двух разделов — старинные и современные песни...

Начинаю искать в ней слышанные на Абакане слова. Вдруг обнаружу? В этих поисках прочитываю множество любопытных строк. Вот что говорится в одной старинной песне о женской доле:

...А на третий годик
Загрустила я.
К маменьке родимой
Запросилася.

Если идти пешей,—
Знаю, не дойду.
Если просить коней,—
Знаю, не дадут.

Песня «Варежки» — из современных, и слова уже другие, и другое настроение, а главное, другой характер.

Может, в Киеве, может, в Рязани
Не ложились девушки спать,
Много варежек теплых связали,
Чтоб подарок на фронт отослать.

Или вот песня, которую поют в Кулунде:

Эх, поля, да вы поля...
Ой, да, в Кулундинские поля
Вошли дружно трактора.
Эх, красавица земля!
Ленин дал нам счастье навсегда.

Из припевок и частушек:

Хорошо тебе, подруга,
Твой миленок токарь,
А мой только учится,
Кто знает, что получится.

Или:

Милый пашет целину.
Шью кисетик я ему...

Очень много хорошего и светлого прочел я в этой книжке. Не могу решительно утверждать, но мне все же кажется, что нашим сибирским поэтам, работникам клубов, участникам самодеятельности просто грех не иметь такой книжки у себя на полках. Да и только ли сибирским? Ведь песни эти — для всех, для всей страны.

Тех песен, которые я когда-то слышал на Абакане, ни в этой, ни в других книжках-

песенниках мне так и не удалось найти. А ведь, верно, кто-то их записывал, кто-то приносил в какое-то издательство, но только до них «не дошли руки».

Хотелось бы отметить одно общее свойство этих, казалось бы, таких разных книг.

Все эти книги — если присмотреться к ним внимательно — книги-агитаторы.

В самом деле, разве рассказы участников героической гражданской войны, рассказы невыдуманные, такие ясные по мысли и такие яркие по мудрому народному языку, — разве они не агитируют за наши коммунистические идеалы?

А впечатления друзей из-за рубежа о Стране Советов — это ли не материал для бесед агитатора в колхозе, в цехе, в студенческом общежитии?

А песни? Достаточно исполнить одну за другой две песни: одну — о женской доле крестьянки в прошлом, другую — о светлой судьбе колхозницы, чтобы слушатели невольно сопоставили прошлое с настоящим, еще и еще раз почувствовали всю глубину перемен, которые происходят у них на глазах.

Если это так, если все три книги не просто книги, а книги-агитаторы, — значит, местное издательство сделало большое и нужное дело, выпустив их в свет.

Жаль только, что книга А. Мисюрева вышла малым тиражом, без иллюстраций, на скверной бумаге.

Песни же изданы Новосибирским областным Домом народного творчества без выходных данных, неизвестен даже их тираж. Найти их на полках книжных магазинов невозможно. Между тем и эту книжку следовало бы расширить, обновить в ней некоторый материал и издать ее тщательно, любовно, красиво. Она этого заслуживает.

И еще на некоторые размышления наводят эти книги. Сколько же, в самом деле, у нас имеется еще не использованных возможностей для каждого издательства, которое внимательно будет относиться к народному творчеству — к материалу о своем крае, своей области, которое проявит подлинную инициативу в создании новых книг-агитаторов!

С. ЗАЛЫГИН.

„Лес Богов“ Балиса Сруоги

Топь, вязкий мох, пригорки... На пригорках, чудодейственной силой занесенных белым песком, стоят сосенки, высокие и стройные... В лощинах чахнут убогие березки — обделенные лаской и теплом сироты-горемыки... Давным-давно, в незапамятные времена, тут бушевало море. Должно быть, в бурю внезапно оцепенели волны, застыли, а северные ветры засыпали их белесой крупой песка... Давным-давно, в незапамятные времена, в лесу жили боги».

В двадцатом веке Лес Богов оказался типичным немецким захолустьем. «Невдалеке хирел крохотный городишко Штутгоф, почти деревня, каких в Германии были тысячи... И жили в нем самые скучные люди в Европе — прусские немцы, погрязшие в тине духовного убожества, боготворившие полицейского и вкусную еду, обожавшие порядок и пиво...»

Лишь «в 1939 году Лес Богов неожиданно проснулся, ожил, зашевелился, будто вернулись его стародавние владыки... Но нет, — не боги вернулись... Лес заселили люди, весьма похожие на чертей». И Лес Богов стал особым миром — со своей жизнью и своими законами, изолированный от всего земного, человеческого, от всего, что может создать воображение, что может вместить сознание нормального человека. Этот фантастический мир был хорошо упрятан от постороннего взгляда. Топь, мягкий мох, пригорки с сосенками создавали вокруг него иллюзию обычного, немного надоевшего пейзажа, где-то неподалеку «бродили и собирали грибы неприметные женщины, заморенные пенсионеры, да изредка плутал незадачливый охотник... Как и во всех концентрационных лагерях, так и здесь, в Лесу Богов, царил один закон: никто в мире не должен был знать, что творится за колючей проволокой». В самом деле, «не лучше ли осуществлять великодушные лагерные мерзоприятия втихомолку. Сторонний глаз и чужое ухо могут причинить непоправимый ущерб наемной пропаганде, превозносящей культуру и творческие достижения блюстителей порядка».

Так начинается книга известного литовского поэта и драматурга Балиса Сруо-

ги (1896—1947) — еще одно произведение в довольно обширной уже литературе, посвященной такому весьма своеобразному явлению в истории мировой цивилизации, как гитлеровские концлагеря.

Доктор философии, воспитанник историко-филологического факультета Московского университета, профессор Каунасского, а затем Вильнюсского университетов, Балис Сруога, как узнаем мы из краткого предисловия к его книге, приобрел у себя на родине славу одного из крупнейших литовских писателей. Он стал широко известен там и как выдающийся художник слова, и как знаток отечественной и мировой культуры, наконец, как замечательный переводчик. Сруога много сделал для пропаганды в литовском народе великой русской культуры. Это его перо подарило литовской сцене либретто «Евгения Онегина» и «Сказки о царе Салтане». Им переведено на литовский язык и «Слово о полку Игореве». С 1940 года Сруога читал в Вильнюсском университете курс русской литературы.

Еще при жизни автора на литовском языке вышло одиннадцать книг художественных произведений Сруоги. В 1957 году в Литве издано шеститомное собрание его сочинений. Ныне русский читатель имеет возможность ознакомиться с одним из последних произведений писателя — своеобразным художественным очерком, рассказывающим о почти двухлетней «жизни» Сруоги в штутгофском концентрационном лагере.

«Автор «Леса Богов», — читаем мы в предисловии, — не был активным участником антифашистского движения. В борьбе народов против фашизма Б. Сруога был скорее наблюдателем, хотя и высказывал антигитлеровские настроения». Но и заключение Сруоги в концлагерь и последующая эволюция его мировосприятия, приведшая этого честного и сильного человека к такому осознанно антифашистскому выступлению, каким явился «Лес Богов», — все это было достаточно закономерно.

Да, действительно, Сруога не занимался никакой антифашистской деятельностью. И все-таки он почти был уверен в том, что рано или поздно будет арестован. В нескольких словах Сруога рисует свое, так сказать, «предлагерное» состояние. «Слухов тьма. Один страшный другого. Никто не верит официально публикуемым известиям.

Балис Сруога. Лес Богов. Перевод с литовского Г. Кановича, Ф. Шуравина. Редактор А. Берман. 488 стр. Гослитиздат Литовской ССР. Вильнюс. 1958.

Никто не знает правды. Там якобы столько-то и столько-то арестовали, туг — вывезли, там — поставили к стенке... Откуда-то возникло неожиданное желание читать о жизни заключенных и каторжников, о их нужде и силе духа, о их жажде свободы». А когда гестаповцы, вконец озверевшие после отказа литовской молодежи «добровольно идти» в СС, перешли к прямым угрозам («литовская интеллигенция получит по заслугам» — ведь это она воспитала такую молодежь), Сруога отбросил всякие сомнения по поводу своей дальнейшей судьбы... И вот наконец «тяжелый стук подкованных сапог» на лестнице, «долгий повелительный звонок».

«— Что касается меня,— говорит на одном из первых «допросов» Сруога,— то... я поэт и политикой не занимаюсь.

— О! — восклицает гестаповец.— Поэты — народ чрезвычайно опасный!

— Ну, что вы... рейх — такой всемогущий, а я — такой ничтожный. Куда мне...»

На этот раз дело обошлось еще без мордобоя.

А вот и Штутгоф, Лес Богов: убогие березки, тополь, вязкий мох, проволока, бараки, вши, какие-то люди — ходячие скелеты, буро-желтый дымок над крематорием.

«— Эй вы там, профессора...— кричит писарь блока...— Эй вы, собачье охвостье, интеллигенция!..» Да, совершенно верно: интеллигенция, «люди книжных профессий», как говорят о них в лагере... Совершенно закономерно интеллигент Сруога — поэт и знаток искусства — попал в этот лагерь. Предчувствие не могло его обмануть — слишком ясно ощущал он всю невозможность, всю фантастичность своего существования в мире гитлеровского «порядка». Фашизм и культура — вещи несовместимые.

И потянулись лагерные дни, какое-то месиво из ужаса и отупения. «Концентрационный лагерь — весьма сложная мельница смерти. Каждый, попавший в него, обречен на смерть, один раньше, другой позже. Вечный голод, мордобой, изнурительный труд, отсутствие отдыха, паразиты, душный, зловонный воздух неизбежно делают свое дело, если даже не происходит какой-нибудь катастрофы или неожиданного убийства. Эта адская атмосфера и порождает ту жестокую психику, которая так характерна для обитателей лагеря».

Лагерные порядки на то и рассчитаны, чтобы человек «под влиянием инстинкта самосохранения незаметно для самого себя»

втягивался «в засасывающее болото жестокости и ужаса» и превращался «в его органическую часть». Эти порядки рассчитаны на притупление человеческого в человеке, оскотение человека, когда его уже не ужасает и не изумляет ни массовое доносительство, ни трупоедство... Гитлеровцы ничего не смогли сделать с «профессоришкой» Сруогой, он остался человеком в этом мире концентрированной античеловечности и потому смог так рассказать обо всем виденном там. Они ничего не смогли сделать со многими людьми, потому что зверье уже не может навязать свои законы человеку.

Для того, чтобы до конца оценить состояние Сруоги-лагерника, прошедшего почти все ступеньки лагерной жизни, по которым проходит почти каждый заключенный на пути к «команде доходяг» (Сруога побывал и в ней) и наконец к крематорию, для того, чтобы хорошо понять все это, надо, конечно, на секунду представить весь контраст между существованием в Лесу Богов и той атмосферой, может быть, даже несколько утонченной и изысканной, но, вне сомнения, действительной культуры, которая окружала этого человека в его «земной жизни». И в то же время здесь, в лагере, Сруога мог увидеть и нечто уже знакомое, что-то такое, что он уже знал раньше, какую-то концентрацию и завершение тех общественных ситуаций, наиболее характерные черты тех социальных тенденций, которые прочно связывали лагерные порядки с вполне обычными нормами всей гитлеровской империи и, что самое главное, всего буржуазного общества вообще. С одной стороны — жуткий контраст с прежней жизнью, с другой стороны — вполне логическое ее завершение.

«Гитлеровская Германия стала классической страной лагерей», — пишет Сруога. Эта «эволюция от барокко к бараку — своего рода исторический процесс, наглядно свидетельствовавший о развитии немецкой культуры под пятой Гитлера... В самой Германии расплодилось великое множество лагерей разного рода... И среди всей этой системы лагерей, появившейся в Германии с приходом к власти фюрера, первое место заняли концентрационные лагеря — венец, украшение, гордость гитлеровской культуры». Лагеря покрыли страну сплошной сетью, тень от решетки легла на каждого. Пали сознательные борцы с фашизмом, а число, как говорит Сруога, «нуждающихся» в заключении все росло и росло. В официаль-

ных обвинительных заключениях фигурировали такие «преступления», как «Staatsbe-trächtliche» (антигосударственные высказывания). чаще всего, замечает писатель, в частных письмах или за рюмкой вина в «дружеском кругу»; «politisch nicht einwand-frei» — зачастую, читаем мы в книге, «только по подозрению в политической неблагонадежности имярек расплачивался долгими годами пребывания в лагере, что фактически было равносильно смертной казни». Даже «unerlaubtes Musizieren» — недозволенные занятия музыкой служили достаточным основанием для того, чтобы любитель музицирования отправлялся к своим праотцам. И т. д. и т. п. Национальность также могла быть причиной репрессий. «В документах, — пишет Сруога, — тюремщики так и отмечали: Haftart, т. е. род преступления — еврей». «От ксендза до цыгана» — как говорит Сруога, — эта шкала политической неблагонадежности превращала заключение в лагерь в гражданскую потенцию почти каждого.

Тотальный концлагерь стал своего рода общественной необходимостью. «Лагерь росли, как грибы... По количеству «населения» они напоминали города, со своими филиалами и фабриками, со своими законами и правом, со своей моралью... со своими партиями и партийными распрями, со своими обычаями и житейской мудростью». И показательно, что для Сруоги режим концентрационного лагеря — не просто акт полицейского произвола, а прямое проявление некой социальной закономерности, эволюции определенной общественной тенденции. В конце концов вся жизнь страны — и экономика и политика ее — оказалась неразрывно связанной с диким институтом концентрационных лагерей. По существу вся фашистская Германия превратилась в сплошной концлагерь. И Сруога отнюдь не одинок в этом своем свидетельстве. Вспомним Германию Ремарка и Бёлля.

Сруога хорошо знал эту страну: в Мюнхене он заканчивал свое образование после приезда из России, а затем видел гитлеровцев на улицах родного Вильнюса, эволюция «от барокко к бараку» прошла перед его глазами. И из того, что пишет он об этой эволюции, столь логично, с такой закономерной последовательностью увенчавшейся для него Лесом Богов, возникает очень четкое осознание факта, который любой ценой хотелось бы скрыть идеологам современно-го империализма, как в свое время гитле-

ровцам хотелось скрыть то, что творится в их концлагерях: режим концлагеря оказывается таким же «естественным» продуктом фашистской диктатуры, каким сам фашизм является по отношению к «демократии» буржуазного общества вообще. Фашистский концлагерь — это объективная логика развития основных «норм» современного капиталистического мира, венец и завершение буржуазного «образа жизни» в нашу эпоху.

Автор краткого предисловия к книге Р. Шармайтис указывает на «некоторую ограниченность политического кругозора» создателя «Леса Богов». Действительно, выводы, которые смог сделать из всего виденного в фашистском концлагере сам Сруога, не всегда целиком совпадают с выводами, логически вытекающими из нарисованной им картины, не всегда достигают необходимой степени обобщения. Вместе с тем, как справедливо отмечается в том же предисловии, «Сруога объективен». Но, с другой стороны, сама эта объективность тесно связана с общей позицией писателя, с его отношением к виденному и пережитому. И вот когда Р. Шармайтис пишет, что «на книге Б. Сруоги, искренней и страстной, лежит отпечаток пассивного гуманизма», то тут, как нам кажется, следует сделать одно добавление.

Да, несомненно, книга Сруоги ценна прежде всего своей объективностью. Она ценна как документ — еще один документ в том «дсле», которое человечество завело на буржуазию и на основании которого история в свое время вынесет ей наконец свой окончательный обвинительный приговор. Но книга Сруоги — это и весьма своеобразное художественное произведение. И у этого произведения есть свой герой — так сказать, литературный двойник автора, его художественно интерпретированное alter ego. Мы не будем спорить со Сруогой — автором «Леса Богов»: он написал правду о себе — узнике фашистского концлагеря — и о самом этом лагере, и эта правда неоспорима. Но вот со Сруогой — героем книги, с некоторыми его взглядами, с его позицией в ряде достаточно важных вопросов мы не можем не спорить...

Читателя «Леса Богов» сразу же поражает та весьма своеобразная интонация какой-то жестковатой иронии, с которой Сруога рассказывает о своих злоключениях, о лагерной жизни, о людях, с которыми свела его общая беда, — словом, буквально обо всем том, что довелось ему увидеть и

пережить, перечувствовать за эти каторжные годы... Вот в крематорий везут на телеге трупы каких-то полуживых еще людей, торчат из-под брезента синие ноги-палки, чертит дорожную пыль окостенело скрюченный палец чьей-то свесившей вниз руки... Бредет «команда доходяг» — полулюди, полуживотные, с остановившимся взглядом, с отвисшими челюстями бредут навстречу своей смерти, сами себя ведут в крематорий... Новогодняя ночь, в «зале» одного из барачков елка, около елки по непостижимой прихоти какого-то садиста-эсэсовца поставлена виселица, на ней два раздувшихся трупа... Человек, взявшийся описать лагерную жизнь, должен, возможно, рассказать и о подобном. Все дело тут заключается в том, как об этом рассказать. И вот когда над невыдуманным кошмаром подобных сцен, над всем этим хороводом теней-скелетов, медленно кружащихся среди колец желтоватого дымка, возникает образ иронически усмехнувшегося человека, от лица которого ведется рассказ, читатель испытывает довольно сложное чувство.

С одной стороны, он ощущает, что эта ироническая усмешка как-то отделяет героя и его, читателя, от всего этого бреда наяву, ставит над этим бредом и вне его. И он понимает, что в условиях, описанных Сруогой, ирония — своего рода последнее убежище для какой бы то ни было человечности, симптом чудом сбереженного в этом аду душевного здоровья героя книги. Но, с другой стороны, в иронической усмешке, бросающей такой невозмутимо ровный свет на все, о чем только ни пишет Сруога, чувствуется и какой-то жутковатый холодок — холодок равнодушия. Того равнодушия, которому ничто уже не страшно, никакая гибель и никакой ужас, потому что в нем самом, в этом равнодушии, уже есть что-то от этого ужаса и гибели, своеобразный «нейтрализм отчаяния», иногда граничащий с цинизмом. И тогда ирония Сруоги начинает угнетать своей бесчеловечностью...

Герой книги подчас говорит в совершенно одинаковом тоне, с одними и теми же интонациями, с одной и той же горькой усмешкой со своего интеллектуального «высока» и о палаче и о жертве, о бандите с чудом уцелевшими чертами какой-то эмбриональной человечности и о человеке, из которого человекообразное зверье выбило, вытравило, выдавило капля за каплей все истинно человеческое. И тут читателю ста-

новится как-то не по себе. Этот своеобразный моральный пацифизм Сруоги имеет довольно глубокие корни. Дело здесь не только в манере описания.

«Пассивный гуманизм, — отмечает автор предисловия, — сказался в частности на том, как описывает писатель побег из лагеря». Действительно, Сруога по существу отказывается искать выход из положения, в которое попадает каторжник в гитлеровском концлагере, резко отрицательно относясь к побегам заключенных. Автор говорит, что эти побег в огромном большинстве случаев приносили лишь мучительную гибель беглецу (лагерь со всех сторон был окружен водой и топями) и жестокие репрессии по отношению к тысячам остальных заключенных. Часто, свидетельствует Сруога, неудавшийся побег служил поводом для уничтожения десятков людей, совершенно к нему непричастных. Но Сруога не указывает и никаких других путей, никаких иных средств борьбы. Единственной формой «спасения» остается его внутренняя, нравственно-интеллектуальная «самоизоляция» от лагерной жизни. Но это уже чисто интеллигентская иллюзия — и ничего больше. Такая позиция может привести лишь к постепенному отупению и гибели или волей-неволей к мелочному приспособленчеству к лагерным порядкам и в конце концов к подчинению этим порядкам. «Совершенно ясно, — замечает Р. Шармайтис, — что пассивное примирение с судьбой, отказ от борьбы с палачами — это не выход из страшного положения».

И тут приходится сказать несколько слов о заключительной части книги. Посвященная описанию блужданий по агонизирующей, панически откатывающейся на запад, прячущейся в подполье фашистской Германии двух отставших от эвакуируемого концлагеря заключенных и их стража — полуневменяемого уже от страха эсэсовца, эта часть производит очень тягостное впечатление. Кажется, что тут принцип «отказа от побегов» возводится уже в некий сомнительный абсолютизм. Эти двое «заключенных» (их страж теперь совершенно формально относится к своему «делу», к охране «вверенных» ему «преступников») буквально из последних сил, буквально на грани гибели от полного физического истощения пытаются... нагнать «свой» лагерь. Что это? Какая-то инерция лагерного мировосприятия? Механизм угнетенного сознания полуживого человека? Или, может

быть, какой-то дикий принцип «тюремного долга»? Во всяком случае, этот «побег наоборот» оставляет по-своему не менее жуткое впечатление, нежели многие самые страшные сцены лагерной жизни. Это — неясная и тягостная страница в книге.

Очевидно, в произведении Сруоги отразились некоторые и весьма глубокие противоречия авторского мировосприятия в целом, противоречия, в конечном счете связанные, с одной стороны, с несомненным и очень страстным антифашизмом этого высокоумного и высококультурного человека и с определенным демократизмом его, а с другой — со всем тем грузом своеобразной социальной инерции, которая была воспитана в Сруоге его жизнью в старой Литве, одной из клеточек всего того миропорядка, который сам постоянно чреват фашизмом.

Да, книга Балиса Сруоги не во всем своем содержании оставляет цельное впечатление. И мы видим и не приемлем в ней все то, что так или иначе, даже сложно опосредованно, связано с «моральным нейтралитетом», своеобразным непротивленчеством — этими наследственными болезнями значительной части даже прогрессивной буржуазной интеллигенции, зараженной тем или иным видом пацифизма — высшей философии культурной обывательщины. И мы обязаны решительно предостеречь читателя против тех, пусть даже и не очень значительных, элементов социального пацифизма, которые вкраплены в книгу Сруоги, обязаны показать читателю и обезвредить те микробы этой опасной заразы, которые проникли в эту в целом здоровую и мужественную книгу. Ибо социальный пацифизм, с его белыми, незапятнанными одеждами, с его елейными призывами, с его своеобразным моральным аристократизмом, якобы ставящим приверженцев этой теории «над» всякими политическими распрями и классовыми схватками, еще живуч и опасен именно в силу того лицемерия и скрытой фальши, которые заключены в самой его природе, и в то же время в силу безусловной искренности и субъективной честности многих его поклонников и носителей.

«Среди интеллигенции,— писал Луначарский,— есть такая часть, которую многие и многие привыкли называть «лучшей», которая чувствует себя согласно характерному названию одной из книг Романа Роллана «Над битвой». В сущности говоря, она, конечно, находится не над битвой, а между

ногами борющихся. Пока идет борьба, борьба, в сущности говоря, между светом и мраком, «лучшие среди интеллигенции» восклицают: «Братья, помнитесь!» Если мрак побеждает и преследует детей света, «лучшие» устраивают разного рода Красные Кресты; как умеют, помогают деятелям прогресса и сочувствуют им всецело. Но если происходит обратное и дети света берут верх над детьми мрака и если при этом положение ясно предсказывает разгром сил врага, вне которого нет спасения от самой мрачной реакции,— тогда «надбитвенные» начинают усовещивать детей света: «Разве вы не светлые, разве вам к лицу окровавленный меч, разве соединимы ваши святые идеалы прогресса с такой ужасной вещью, как террор?» и т. д. При этом «лучшие» не ограничиваются только такой критикой, они очень часто постепенно втягиваются либо в Красный Крест — в, так сказать, обозное обслуживание врагов победившей, но еще далеко не упрочившейся революции, или даже в прямую борьбу с ней под знаменем борьбы против всякого насилия».

Такова действительная логика социального пацифизма. И вот почему мы говорим, что те элементы и отраженные отзвуки этой теории и этого мировосприятия, которые мы находим иногда в книге Сруоги, противоречат и даже враждебны антифашистской направленности, пафосу утверждения истинной человечности — всему тому, в чем заключается подлинная ценность этого незаурядного произведения. Ибо именно в страстном призыве к самой ожесточенной и бескомпромиссной борьбе со всем тем, что гнетет человека, низводит или готовится низвести его до положения зверя, до состояния социальной первобытности, со всем тем, чему историей дано грязное имя фашизма,— именно в этом главное содержание и главное достоинство произведения Сруоги.

Сквозь всю книгу Сруоги проходит образ непобеденного, несломленного, ненавидящего свою судьбу и страстно любящего жизнь человека... Заключенные «роются в мусорных ямах. Грызут на свалке кости. Глодают навоз. Сосут ржавые гвозди...» Озверевшие палачи жгут пачками в крематории еще полуживых людей; беснуются, мечутся в хронической истерии садизма охранники. И во всем этом дьявольском месиве человек находит в себе силы остаться человеком, чтобы рассказать о виденном и испытанном, чтобы предосте-

речь других: люди, будьте бдительны, фашизм приходит не сразу, «эволюция от барокко к бараку» — путь к одичанию, попятное движение истории неизбежно приводит к печам крематория, у которых подчас уже поздно кидаться в бой, глупо звать к справедливости, у которых даже упоминание о гуманизме кажется дикой «шуткой».

Понимание всего этого звучит и в том тоне очень грустной иронии, с которой Сруога рассказывает о гибели своего товарища, в предсмертном бреду лепетавшего: «Гос-по-дин ко-мен-дант, ich bit-te um Gerechtigkeit — зываю к справедливости...», и в насмешке над собственным бессилием, бессилием своих знаний, своей культуры, и, наконец, в том же столь неожиданно ироническом подчас отношении к тюремщикам — во всех тех случаях, когда ирония Сруоги находит верную цель и точное звучание... Как-то в письме Сруоги домой тюремных цензоров возмутила фраза: «ужасно надоедливая штука сидеть за ржавой проволокой...» «Полагалось» писать только так: «я здоров и жизнью доволен». Сруога буквально извел обалдевшего

эзэсовца различными вариантами описания своей лагерной жизни. «— Как ты смеешь писать, что сидишь за ржавой проволокой! — орал тюремщик. — Ты что, ничего другого в лагере не видишь? Посмотри-ка, вон березки растут...» Последний — впрочем, также безжалостно отвергнутый — образец письма гласил: «Согласно официальным указаниям и действующим законам я совершенно здоров...» Конечно, подобные испытания начальственного терпения в любой момент могли кончиться катастрофой для столь надоедливого последователя эзэповского направления в эпистолярной литературе. Пожалуй, в этой проделке заключенного есть даже что-то жалкое — столь бессилён этот протест. Да вряд ли и сам Сруога не видел всей мизерности подобных уловок, своеобразного интеллигентского «фрондерства» в фантастических условиях лагерного режима. Но он видел, несомненно, и нечто другое: обреченность всех этих пигмеев, возмнивших себя «расой господ», тщету их зверств и смешную низость их попыток растлить и обесчеловечить души людей...

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

Две повести о воинском подвиге

Чем дальше отходим мы во времени от дней Великой Отечественной войны, тем ярче вырисовывается величие подвига, совершенного в этой войне советским народом. Почти четырнадцать лет прошло с того дня, когда над рейхстагом взметнулось знамя Победы, а жизнь приносит все новые и новые имена и факты. В марте прошлого года «Правда» напечатала строки, опаленные дыханием далекой военной зимы:

«Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить путь противнику, особенно танкам. Мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое — Коля, Володя и я — Александр. Но враги без пощады лезут. И вот еще пал один — Володя из Москвы. Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит духа, но не пропустим до подхода своих. И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счет.

Михаил Пархомов. Мы расстреляны в сорок втором. Повесть о мужестве. Редактор Е. Ильинская. 150 стр. Воениздат. 1958.
Павло Загребельный. Дума про невмирующего. Повесть. Редактор В. Гринчан. 254 стр. «Молодь». Київ. 1957.

Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдет мою когда-нибудь записку и вспомнит. Я из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. Ваш Александр Виноградов. 22/II—1942 г.»

Скупая, торопливая, потрясающая в своей «неприглаженности», эта записка в будущем была найдена в стволе дерева, где пролежала шестнадцать лет, запрятанная в винтовочный патрон.

Герои повестей Михаила Пархомова «Мы расстреляны в сорок втором» и Павло Загребельного «Дума о бессмертном» гибнут не в открытом бою — от руки гестаповцев. Но не случайно именно о них вспоминаешь, читая записку Александра Виноградова. При всех различиях индивидуальной судьбы и характера, это люди одного поколения, одного душевного строя.

Повесть Пархомова построена необычно — как цепь размышлений одного из ее героев, морского старшины Пономарева. Размышлений, начавшихся за проволочной изгородью концлагеря, в котором фашисты держат пленных моряков, и прерванных за секунду до расстрела, когда сделана последняя затяжка, палач уже скомандовал

«Ахтунг!» и можно успеть лишь взяться за руки, набрать полные легкие воздуха да подумать «о том, что... людям надо вот так вот крепко держаться друг за друга...» Лента воспоминаний стремительно раскручивается назад: перед нами проходит жизнь — мирная и военная — тех людей, что сейчас заключены в немецком концлагере, грязные, голодные и все еще страшные для врага.

Среди них — и такие, как Жора Мелешкин, до войны подметавший клешем Крешатик и лишь в лагере всерьез задумавшийся над тем, как мало успел он сделать в жизни, и такие, как Ленька Балюк — громадный, грубоватый, «медвежий» парень, оказывающийся на поверку человеком не только большой силы воли, мужества и стойкости, но и большой душевной красоты. При избииении пленных он подменяет Коцюбу (чтобы трус матросскую честь не опозорил); при расстреле смеется убийцам в лицо...

Особое место в повести занимает образ командира корабля, старшего лейтенанта Семина. Безукоризненно подтянутый, сдержанный, молчаливый, с неизменной трубочкой в зубах, Семин сначала настораживает: таких моряков мы в литературе встречали уже не раз. Спокойствие (даже и во время бомбежки), рассуждения о том, что вера выстраданная дороже слепой, — это ведь еще только грани характера, что свяжет их воедино? Лишь в плену Семин раскроется полностью. Комендант концлагеря, прослышав от старосты, что Семин был исключен из партии, предлагает ему работать на немцев. «Да, я действительно был исключен из партии, — отвечает Семин. — Но я коммунист. Был коммунистом и коммунистом остался... Я, черт побери, коммунист до ногтей, коммунист всем сердцем, всей душой и буду до последнего бороться за дело партии...» Пусть фашисты избивают Семина за это признание — сам он после него чувствует себя так, «словно бы... наново родился на свет».

«Коммунистами до ногтей» чувствуют себя в эти минуты и товарищи Семина по плену. Одни были такими с самого начала, другие стали ими. В черной, продывленной клуне, за окруженной пулеметами проволочной оградой живет и борется коллектив советских людей. Это он спасает от расстрела Бориса Бляхера; он пробуждает от духовной апатии Анатолия Сухарева, разуверившегося было в жизни

после измены любимой; это под его влиянием даже трус и шкурник Коцюба становится человеком в последний час своей жизни.

В повести нет лака. Там, где автор и его герои видят подлеца, они так и говорят: подлец! Таков Подлесный — человек с двумя «шпалами» на петлицах и с заячьей душонкой. Автор не тратит много слов на его описание. Всего несколько реплик, два-три портретных штриха, и для нас уже не кажется неожиданным, что именно Подлесного узнаем мы в человеке, лихорадочно закапывающем знаки различия и документы при первой же угрозе окружения...

Чубатый кавалерист, встретившийся морякам в том же лесу, где Подлесный закопал свои «шпалы», сначала кажется полной противоположностью Подлесному. Там, где первый трусит, у второго один ответ: «Ер-рунда!» Но есть в его дешевом ухарстве что-то такое, что мы не удивляемся, увидя его затем старостой немецкого концлагеря. И самоуверенность с него спадает, и в речи появляются те же заискивающие-блудливые нотки, которые мы уже слышали у Подлесного: «Понимаешь, старшой, — говорит он Семину, настаивая на выдаче Бляхера, — я лично против тебя ничего не имею, но приказ...» Как и Подлесный, кавалерист лишен той веры в человека, стремления до последнего держаться друг за друга, которое ярко раскрывается в предсмертном раздумье Пономарева:

«Люди вернутся с войны. Многие придут с орденами. Другие — без. Вернутся некоторые из тех, кто был с нами в плену. Так вот, пусть их никто не упрекнет за это. Как знать, быть может, иные из этих бывших пленных воевали не хуже тех, у кого грудь в крестах?»

И еще нам хочется, чтобы нас не забыли. Мы стоим лицом к лицу со смертью. За нами — голый бульвар. Что ж, посадят новые тополя. Землю, на которой мы стоим, зальют асфальтом. И по нему будут ходить люди. Так пусть они помнят, что эта земля густо обагрена нашей живой кровью».

Этот монолог характерен в какой-то мере для стиля всей повести. Перед нами как бы дневник, ведущийся от лица человека, для которого органична высокая романтика подвига и ненавистна громкость дешевой фразы. Это обусловило и своеобразие повествовательной манеры и известную субъективность видения.

Почему, например, нам кажется вначале несколько умозрительным образ Семина? Потому, что Семин ни по характеру, ни по обстоятельствам не может сразу же «раскрыться» перед рассказчиком, а автор лишен в этом случае возможности — естественной при другой манере повествования — порассуждать с читателем о герое без посредника...

Героев повести мы видим глазами рассказчика — в той мере и так, как они открываются ему самому. Такова была задача, таков был избранный способ ее решения. Не учитывать этого, требовать, чтобы автор выдвинул кого-то из персонажей «на первый план... сделав именно их настоящими героями повести» (как это предлагает Т. Громова в рецензии «Во имя жизни» — «Знамя», 1958, № 1), — значит подавать завяку на другую повесть и в ином жанре.

Но не всякий пробел повести предопределен жанром. Т. Громова права, всегда говорит о бледности, например, образа Тони. Рельефный поначалу, он чем дальше, тем больше расплывается, тает, и законы жанра тут решительно ни при чем. Озорная, смелая девчонка, которой даже грозный Балюк беспрекословно подчинился, уходит из повести, по существу так и не слившись с той, другой, похудевшей и посерьеневшей Тоней, какой ее последний раз видел и запомнил Пономарев. Получилось так не потому только, что Тоня выключена из дальнейшего действия, а и потому, что очень уж незримой, туманной, неправдоподобно бесплотной возникает она в памяти влюбленного в нее Пономарева — того самого, которому обычно свойственна как раз острота внутреннего зрения.

Не только герои даны через восприятие рассказчика. Их связь обоюдна: рассказчик тоже характеризуется тем, что и как он видит в своих героях. Не сумев увидеть Тоню глазами Пономарева, автор обеднил и облик героини и образ рассказчика.

У Пономарева, как правило, образное видение, иногда, пожалуй, чересчур образное, скорее художническое, чем солдатское. Оно зафиксировано и старушку, пытающуюся во время эвакуации «засунуть в чемодан мясорубку, как будто это самая необходимая в дороге вещь», и кота, дремлющего на противогазе, — мгновенно меняющиеся черты оставляемого города. Иногда скупая деталь вырастает в сознании рассказчика до символа: оконные стекла «крестнакрест заклеены бумагой. Это для того,

чтобы они не выпали, когда поблизости тарахтят зенитки. А кажется, будто перечеркнута радость в домах».

И не верится, когда тот же Пономарев начинает, по воле автора, рассуждать о любимой в таком «стиле»: «Как мало нужно, чтобы перевернуть жизнь! Выющийся локон, влажный блеск зубов в парной темноте и глаза — боже, какие глаза! Заглянешь в них — и кружится голова, и в судороге немеют руки, и нет большего счастья, чем то, которое ты нашел в их загадочной глубине!»

Иногда автор и открыто подменяет героя. Когда, например, в последней сцене мы видим Балюка смеющимся в лицо смерти, это хорошо и сильно потому, что органично. Но когда далее следует вызывающе высокомерная декларация: «Кто из вас способен на это?», явно противоречащая и характеру героя и замыслу произведения, отдающая уже не гордостью, а гордыней, — это слова не Пономарева. Это сам Пархомов не удержался и отдал под конец дань той дешевой риторике, с которой полемизировал на протяжении всей повести.

Едва ли не самый серьезный упрек повести — тот, что высказан в статье Ю. Барабаша «Спор о праве на бессмертие» («Литературная газета» от 19 августа 1958 года). Скажем сразу же: мы не можем присоединиться ни к утверждению критика, что, стремясь полемически развенчать книжных, ходульных «героев», Пархомов якобы отказался от героев действующих и «фактически рассказал лишь о медленном умирании горстки пленных, не умеющих бороться и не имеющих сил бороться», ни — тем менее — к его общей оценке повести как «проникнутой безнадежностью». Чтобы так сказать о повести и ее героях, надо просто не заметить и сцену допроса Семина фашистами, и силу товарищеской выручки, спасшую Бориса Бляхера, и борьбу коллектива пленных за души Сухарева и того же Коцюбы — за то, чтобы они хоть перед смертью поверили в жизнь. И то, что матросы перед расстрелом бросают врагам в лицо революционную песню, передавая, как эстафету, свое несломленное мужество жителям оккупированного Киева, представляется нам не «запоздалой, отчаянной вспышкой былого мужества людей, давно смирившихся, в сущности, со своей страшной судьбой» (Ю. Барабаш), а той «агитационной смертью», о которой говорил Фур-

манов, требуя: умирать так, чтобы и от самой смерти твоей была польза.

Нельзя осуждать героев повести за то, какую форму приняли в тех условиях их сопротивление и борьба. Но оценить естественность их поведения в плену с точки зрения соответствия их же собственным характеристикам можно и должно, а это соответствие, к сожалению, далеко не всегда достигнуто в произведении. Если для Семина в тех условиях органична именно такая форма борьбы, то от Балюка — особенно когда он терпит побои за Коцюбу — все время ждешь: вот сейчас он, такой, каким мы его запомнили и полюбили, не выдержит, ударит сам (хотя бы это потом стоило ему жизни). Нет, не дождались, — авторская преднамеренность нарушила логику образа.

Речь идет не о «частностях, не снижающих общего впечатления». Снижают, конечно, снижают! Сказать об этом стоит еще и потому, что болезнь авторского произвола свойственна не одному Пархомову и иной раз проявляется куда нагляднее, чем в повести о расстрелянных в сорок втором.

...Высокий хлопек подымается вместе с другими пассажирами на борт парохода «Октябрьская революция». Юношу никто не провожает. Родное село осталось на том берегу Днепра. Сейчас пароход отойдет от пристани, и все — берега, тростники, отец, мать, друзья, — все поплывет назад... «Что ж, так надо».

Надо, потому что война. Потому что он, Андрей Коваленко, один из многих Коваленков, выросших на Днепре, спешит на войну, на фронт, катящийся «ему навстречу, как степной вихрь». Спешит добровольцем, хотя ему только шестнадцать с половиной лет и хотелось ему быть не военным, а ученым. Что ж, еще не поздно; еще только тридцать километров отделяют тебя от родного села... Может, повернешь, Андрей, назад, к своему работающему и тихому батьке?

Андрей не повернул. «Он пришел на войну, как ходил в колхоз на работу», и уже на фронте нагоняет свое училище. С этого момента весь он как стрела, летящая навстречу подвигу. С корчагинским упорством продолжает он, ослепленный взрывом снаряда, стрелять — наугад! — по немецким танкам; с корчагинским упорством, перехитрив врачей, вырывается из госпиталя на фронт; оказавшись в плену, не сгибает головы перед фашистами, органи-

зует саботаж за саботажем, побег за побегом. И уже смертельно раненный, убедившись, что живым ему не уйти из плена, не увидеть свою родную мать, свой Днепр, свою любимую, — ухитряется подменить собой приговоренного фашистами к смерти польского военнопленного, дав ему возможность бежать.

Андрей Коваленко — герой «Думы о бес-смертном» П. Загребельного, произведения яркого и своеобразного.

Между повестями Пархомова и Загребельного много точек соприкосновения. Не только сама тема, материал (война, фронт, плен), не только общность судеб героев и подхода к ним как к оптимистической трагедии, но и лиризм стиля, романтичность повествовательной манеры.

Но здесь же начинаются и различия. Лиризм, романтика у этих двух повестей разные. Там, где у Пархомова — скулой подтекст, нарочито короткая, «рубленая» фраза, у Загребельного — щедрое певучее начало, фольклорная струя, пронизывающая всю поэтику повести, начиная с эпиграфа и кончая берущим за душу «реквиемом» автора герою, и заставляющая не раз вспомнить народных «дум».

В какой-то мере это различие в интонации объясняется, вероятно, и особенностями избранных героев. У Пархомова — это горожанин, на память цитирующий Маяковского; у Загребельного — крестьянский паренек, самые яркие довоенные переживания которого связаны с природой да с народными песнями. Но и взволнованный лиризм «дум» и подчеркнутый лаконизм дневника равно способны — каждый по-своему — передать ту романтику подвига, которой посвящены обе повести.

Однако романтика романтике рознь. Одно дело — патетичность интонации, гиперболы образных средств, вполне уместные и естественные, когда автор хочет выразить свое восхищение изображаемым. И совсем другое, когда стремление к романтике во что бы то ни стало заставляет автора произвольно обращаться с судьбами героев и обстоятельствами их деятельности. К сожалению, в повести Загребельного присутствует не только первое, но и второе.

Когда в самом начале повести читаешь такую (хочется сказать — «фадеевскую») фразу: «...капитан дивился на того юношу в сером костюме, и какая-то тоска сжимала его сердце, и молодость, его властная молодость, разом глянула на него из-за

этих угловатых, худых плечей, и его друзья шагнули из далеких-далеких годов и незримо стали рядом»; или когда узнаешь о раненом Андрее, копающем землю, чтобы вылезти из блиндажа, где его завалило, что «так, как трудился Андрей, не трудился еще никто и никогда», что «египетские пирамиды рядом с той кучкой земли, что он накопал за день, могли бы показаться жалкими муравейными кучами, а Великая Китайская стена — детской игрушкой»; или, наконец, когда слышишь предсмертный прощальный разговор Андрея с Ежи Фурчаком, которому он спасает жизнь, — не приходит же в голову проверять эти взволнованные страницы меркой бытового правдоподобия!

Но когда в далеком немецком тылу, в той же команде военнопленных, что и Андрей, оказывается его однополчанин Семен Баренбойм с сопроводительными документами на свое имя и Андрею удается на время обмануть фашистов, выдав Семена за своего брата Кармелюка, зачем-то сменившего фамилию, — в это уже не веришь!

Не более достоверными кажутся и «забастовка ногами», которую организовал Андрей в своей рабочей команде и за которую в любом другом, действительно существовавшем фашистском концлагере он был бы расстрелян немедленно (вспомним, что в повести Пархомова моряков расстреливают за невыход на прогулку); и страшные сторожевые овчарки, зарызающие всех непокорных, но странным образом милующие Андрея; и охранники, что неоднократно «люто замахиваются» на Андрея и собираются его пристрелить, да почему-то все не исполняют своей угрозы, хотя поводов к этому было более чем достаточно.

Эффект от таких сцен прямо обратен задуманному: они попросту перестают действовать на читателя, ибо слишком явно их исход решает не логика поведения героев и сила обстоятельств, а преднамеренность автора.

Еще более явен авторский произвол в создании образа самого Андрея. Убедительно и цельно легли в основание образа героя чистота и прямота души, незыблемая тяга к светлостям, хорошему и бескомпромиссная твердость души, ясность цели и сила воли, пламенная любовь к Отчизне. Но автору, видимо, показалось этого мало. И вот все новые черты начинают спешно «накладываться» на образ. Должен положительный герой расширять свой кругозор? И Андрей,

находясь в госпитале, срочно изучает... «Эстетику» Гегеля. Должен положительный герой бороться с алкоголизмом? И Андрей расстреливает из револьвера... винные запасы своего соседа по землянке. И, наконец, сказочно неправдоподобная сцена «викторины» — пари между немецким офицером и советским военнопленным (конечно, все тем же Андреем), — викторины, которую Андрей выигрывает с легкостью необыкновенной, отвечая, какое море не имеет берегов и кто написал «Эдду» (вопрос, на который не каждый филолог ответит!).

Откуда у Андрея, ушедшего на войну после сельской десятилетки, такая всесторонняя образованность? Писатель не дает ответа на этот вопрос, и это еще больше подчеркивает исключительность, избранность героя.

Думается, что чрезмерная «перегрузка» одного образа (в сочетании с некоторой беглостью в обрисовке других) создает в конечном счете некий идейный «перекосяк» повести: народ, коллектив становится в ряде ее мест лишь фоном, в лучшем случае — материалом для действий избранного героя с исключительными способностями и предопределенной судьбой. И дело тут, на наш взгляд, не просто в неумении распределить «площадь» произведения или в недостаточном внимании к другим персонажам повести (хотя и это, конечно, имеет значение), а в неверном понимании автором жанровых особенностей повести об одном герое в литературе социалистического реализма. Ведь такие разные произведения, как «Зоя» или «Как закалялась сталь», — это тоже в конце концов книги об одном герое! Об одном в смысле преимущественного внимания к его судьбе, но не в смысле его «приподымания» над другими — такого «приподымания», при котором мы можем лишь завидовать человеку, родившемуся героем, но не знаем, как им сделаться.

К счастью, этот пробел — серьезный пробел повести Загребельного — не стал в ней доминирующим. Там, где Андрей слезает с пьедестала, он становится живым человеком, простым, веселым, чуточку даже упрямым парнем, ничуть не теряя от этого в своей героичности. И когда слышишь его шуточные диалоги с Антроповым или Павлушей Банниковым — диалоги, в которых он выступает не как старший, не как школьный учитель, а как товарищ, могущий так же совершать ошибки, как они, и учащийся у них не меньше, чем они у него, —

такой Андрей куда ближе нашему сердцу, чем его торопящийся дать заявку на вечность двойник, хотя бы и наделенный автором чрезвычайными полномочиями.

...Две повести, близкие по материалу и теме, написанные по-разному. Ни одна из них не безупречна, в каждой — свои завоевания

и просчеты (природа которых, оказывается, однако, не столь уж и различна). Завоевания — там, где авторский замысел вытекает из верно понятой правды жизни, а не «накладывается» на нее. Просчеты — там, где об этой простой, но трудной истине искусства забывалось...

А. КОГАН.

★

Очерки о героях

Каждое новое повествование о боевых делах защитников социалистического государства встречается советскими людьми с неподдельным интересом. И тем большее значение имеет «Книга о героях», издание которой, как говорится в предисловии, «ставило целью познакомить читателей в первую очередь с теми Героями Советского Союза, подвиги которых еще мало или совсем не освещены в нашей печати».

Советская Армия — армия массового героизма. По самой своей природе подвиги — трудовые или боевые — людей, выросших в советские годы, воспитанных Коммунистической партией, — это массовое народное явление. Эту тему можно, пожалуй, считать лейтмотивом материалов, напечатанных в рецензируемом сборнике.

В книге собраны очерки, принадлежащие перу более сорока авторов и посвященные людям многих военных профессий. Читатель встретится здесь с солдатами и матросами, офицерами и сержантами, генералами и адмиралами. У каждого из героев очерков — свои ратные дороги и судьбы. Но корни их замечательных подвигов, истоки героических действий едины. Они — в непреходящем патриотизме граждан нашей великой страны.

Автоматчик Гулеген Тохтаров, летчик Алексей Катрич, сапер Сергей Шершавин, матрос Григорий Куропятников, десантник Николай Кологойда, танкист Василий Малинов, артиллерист Яков Киселев, пехотинец Унан Аветисян и многие другие воины — люди непохожих характеров, представители различных национальностей Советского Союза. И когда пришел их черед, в самую трудную минуту жизни, в острейший момент испытания всех человеческих сил, они, вероятно сами не думая об этом, показали всю меру горячей любви к своему

народу, верности делу Коммунистической партии, высокой боевой выучки.

В Ленинграде живет бывший военный летчик, коммунист Леонид Георгиевич Белоусов. В Отечественную войну этот человек, лишившийся ног, научился протезами управлять истребителем. Он продолжал участвовать в воздушных боях, расстреливал вражеские самолеты. «Мы помним Маресьева, слышали о комбайнере Нектове, недавно узнали о летчике Сорокине, — пишет в очерке «Всегда в строю» В. Рудный. — Но дело не в том, чтобы подвиг одного мерить подвигом другого. Белоусову, когда он учился заново летать, не были известны поступки ни одного из них, а между тем то, что он сделал, сродни тому, что сделали другие. Разве суть лишь в том, что человек летал без ног?.. Речь же идет не только о чуде летного искусства и не столько о преодолении барьеров, поставленных перед ним природой. Речь о человеке, о его умении по-настоящему жить».

Кто же научил по-настоящему жить, отдавать всего себя народному делу Леонида Белоусова и многих-многих таких, как он?

Ответ мы находим в побуждениях людей, о которых рассказано в «Книге о героях». Воспитателем советских воинов является наша Коммунистическая партия. Бесстрашный подводник, при непосредственном участии которого были потоплены в боях шестнадцать кораблей противника, человек, который, начав с матроса, стал контр-адмиралом, Иван Александрович Колышкин (о нем пишет Макс Зингер в очерке «Мастер торпедных ударов») говорил: «Когда я стою в центральном посту или в боевой рубке в походе, я знаю — рядом со мной командир корабля — молодой советский офицер, коммунист, верный сын партии. Я знаю, что на корабле акустик — коммунист, бывший учитель из колхоза... Я знаю, что не подведет и боевой наш товарищ коммунист механик. Я надеюсь на старшину

трюмных, хорошего члена партии. И на старшину торпедистов... Идет вперед в бой подводный корабль. Идут вперед в бой коммунисты, а за ними и весь личный состав корабля!»

Коммунисты и комсомольцы всегда были впереди, подавали личный пример отваги. Хорошо показано это и в коротеньком очерке М. Маковеева «Дерзкая схватка», посвященном пилоту Павлу Долгареву, и у П. Капицы, рассказывающего о командире подразделения морских охотников Дмитрие Глухове, и в очерке С. Корзинкина о пехотнице Порфирии Килине.

Несомненно, положительной стороной большинства очерков «Книги о героях» является показ того, что подвиг — это не дело простой случайности. Подвиг — это следствие моральных качеств и результат воинского мастерства. Леонид Белоусов еще в самом начале войны экспериментировал над останками сбитого вражеского самолета, выясняя, с какой дистанции и под каким углом выгоднее всего вести огонь в воздухе по машинам подобного типа. Артиллеристы братья Дмитрий и Яков Луканины (очерк Г. Травина) настойчиво, день за днем овладевали искусством прямой наводки и сумели затем блестяще проявить свои знания и умение в боях с танками противника. Упорно постигала воинское мастерство медсестра батальона морской пехоты Галина Петрова (очерк Е. Леваковской), которая «знает, хорошо знает и пулемет, и ПТР, и личное свое оружие». И вот пришло время, когда в десантной операции под Керчью понадобились все ее военные знания. За исключительную отвагу девушка была удостоена звания Героя Советского Союза.

Людьми большой силы воли, высокого мужества предстают перед читателями командир автоматчиков Владимир Массальский, комсорг батальона Грант Авакян, танкист Николай Нуждов и другие. Как выразительно сказал в своем очерке «Командир автоматчиков» Н. Колесов, «ненасытная жажда борьбы, отвага ума и сердца, единство мысли и действия, торжество рассудка и воли над чувством страха и болью ран — такова храбрость, ставшая талантом».

Очерки, помещенные в сборнике, написаны в различной манере. Наряду с последовательным жизнеописанием в одном очерке, в другом можно встретить лишь яркий эпизод из боевой биографии. В книге

воспроизведены письма в газету самих воинов, приведен рассказ морского разведчика о его товарищах по оружию. На наш взгляд, такая форма подачи материалов вполне оправдана.

В связи с этим нельзя не отметить, что иные литераторы в своих рассказах о наших людях непременно пытаются показать своего героя чуть ли не с первых дней его жизни вплоть до даты опубликования материала. Слов нет, такой замысел имеет право на существование. Однако, если положить рядом несколько очерков, написанных таким «биографическим» способом, то частенько их трудно отличить друг от друга.

За годы Великой Отечественной войны на полях сражений прославились очень многие советские люди. Звание Героя Советского Союза присвоено более чем одиннадцати тысячам воинов. В мирное время каждый день приносит нам добрые вести о замечательных трудовых подвигах, о присвоении рабочим, колхозникам, специалистам высокого звания Героя Социалистического Труда. Широкие массы читателей, естественно, хотят более подробно узнать о доблестных делах этих патриотов. И здесь, думается, почаще следует прибегать к тому приему, который довольно широко использован в рецензируемом сборнике, — к выразительному рассказу об отдельных, наиболее ярких эпизодах из жизни героя произведения, с тем чтобы наиболее выпукло проступили его характерные черты. Удачными в этом отношении мне представляются очерки в «Книге о героях»: М. Колесникова «Со дна морского» — о матросе Викторе Усе, поднявшем из моря под огнем противника сорок ящиков боезапаса; Н. Личака «Смелое решение» — об одном бое, проведенном командиром танковой роты Павлом Лапшиным; А. Кременского «В ночном небе» — о летчице Евгении Жигуленко и ряд других.

В сборнике есть, к сожалению, и произведения, над которыми следовало бы еще поработать и автору и редактору. Много, например, совершенно ненужных громких фраз и красотостей в очерке Г. Гайдовского «25 марта 1942 года». Подвиг матроса Ивана Голубца, выбросившего из горящего катера глубинные бомбы и тем спасшего соседние корабли, как-то теряется в довольно беспорядочном нагромождении разных событий из его биографии. Авторы иных очерков явно грешат искусственностью языка, излишне частым употреблением

пышных эпитетов, вместо того чтобы потрудиться и подыскать более точные и впечатляющие слова. Имеются кое-где и недостаточные грамотные в военном отношении места.

Но не эти отдельные недочеты определяют лицо книги — интересной, нужной. Выпустив сборник очерков о героях Великой Отечественной войны, Военное издательство сделало полезное дело. Хотелось бы эту

книгу, а также ранее вышедшие работы на данную тему рассматривать как первые главы большой книги о героях, которую, думается, обязательно нужно создать и в которой будут правдиво и талантливо описаны подвиги лучших сынов нашей Родины, награжденных Золотой Звездой.

Н. ДЕНИСОВ.

★

Политика и наука

Ленинская электрификация

Апрель 1918 года. Прошло всего пять месяцев со времени Октябрьского штурма, и Владимир Ильич Ленин в своем «Наброске плана научно-технических работ» выдвигает задачу составления единого государственного плана реорганизации всего народного хозяйства страны на основе электрификации. Великий основоположник Советского государства был не только инициатором, но и непосредственным руководителем разработки исторического плана ГОЭЛРО, возглавив первые шаги по его осуществлению.

И не случайно само понятие социалистической электрификации мы неразрывно связываем с именем В. И. Ленина. «Лампочка Ильича» — издавна говорят советские люди. Гениальный ленинский лозунг «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» звучит с новой силой теперь, когда наш народ вступает в период развернутого строительства коммунистического общества, в решающий этап осуществления идеи Ленина о сплошной электрификации страны.

В десятках томов ленинских сочинений и сборников разбросано множество высказываний Владимира Ильича по самым разнообразным вопросам электрификации, начиная с теоретических проблем современной физики и кончая оперативными поручениями строителям первых электростанций. Собранные в одном издании и снабженные примечаниями составителей сборника В. Стеклова и Л. Фотиевой, они показывают во всем объеме и глубине ленинское учение об электрификации как

материально-технической базе бесклассового общества. Действительно, трудно найти более яркий пример единства теории и практики, блестящего применения марксистских положений к решению задач хозяйственного строительства социализма.

В сборнике помещено свыше двухсот пятидесяти ленинских документов. Они систематизированы в четырех разделах, в каждом из которых материал расположен в хронологическом порядке.

В первом разделе в основном даны документы дореволюционного периода. Они показывают, что к мысли о необходимости проведения электрификации страны В. И. Ленин пришел задолго до Октябрьской революции. Как это ясно видно из целого ряда публикаций, еще в девяностых годах прошлого века Владимир Ильич на основании глубокого анализа путей развития современных производительных сил пришел к выводу о решающем значении электрификации. В 1899 году в работе «Капитализм в сельском хозяйстве» Ленин вновь подчеркивает, что электричеству «суждено сыграть еще более крупную роль в этой отрасли производства, чем пару», благодаря деимости, проводимости энергии, легкости двигателя и так далее.

Ленин с большим вниманием изучал разнообразную литературу, касающуюся вопросов применения электрической энергии для нужд промышленности и сельского хозяйства. Наряду с исчерпывающей характеристикой технической революции, которую вызывает применение электричества, Ленин показывает непримиримое противоречие между последовательной электрификацией и антагонистическим капиталистическим обществом. «...Пока остается капитализм и частная собственность на средства производства,— писал Ленин,— электрификация

В. И. Ленин об электрификации. Составители В. Стеклов, Л. Фотиева. Редактор З. Богуля. 384 стр. Госэнергоиздат. М. 1958.

целой страны и ряда стран, во-первых, не может быть быстрой и планомерной; во-вторых, не может быть произведена в пользу рабочих и крестьян. При капитализме электрификация неминуемо поведет к усилению гнета крупных банков и над рабочими и над крестьянами».

Особый интерес представляют выписки В. И. Ленина из Инженерного приложения к газете «The Times» (1905), в которых он отмечает, что «в следующем поколении все необходимое для страны электричество будет вырабатываться у входа в шахты и передаваться по воздушным магистралям на расстояния, которые в настоящее время, конечно, еще и не мыслятся». Как созвучно это нашим дням, когда советский народ начинает строительство грандиозных тепловых электрических станций в непосредственной близости к местам добычи дешевых сортов угля на востоке нашей страны. По линиям электропередачи напряжением 400—500 киловольт огромное количество электрической энергии будет передаваться к ее потребителям.

Во втором разделе сборника приведены высказывания Владимира Ильича о развитии электрификации в условиях социализма.

Можно только поражаться величию ленинского гения, который в дни тяжелых невзгод, выпавших на долю молодой Советской республики, мог намечать далекие перспективы коренного перевооружения всей экономики страны на основе ее электрификации. Материалы этого раздела книги показывают, как Владимир Ильич непосредственно руководил составлением этого народнохозяйственного плана. Ленин разработал основные принципы развития электрификации, которые были положены в основу плана ГОЭЛРО. Они и поныне не утратили своего значения. Во вводной статье к сборнику В. Стекловым и Л. Фотиевой сделана успешная попытка сформулировать сущность этих принципов.

Ленинские идеи технического перевооружения всех отраслей народного хозяйства на базе использования электроэнергии, обеспечения преимущественного роста тяжелой индустрии и опережающих темпов развития электроэнергетического хозяйства нашли свое отражение в контрольных цифрах на 1959—1965 годы. Рост производства электроэнергии за семилетие должен составить 200—220 процентов при росте ва-

ловой продукции промышленности на 80 процентов. Идея Ленина о концентрации энергетического хозяйства также находит свое воплощение в сооружении электростанций мощностью свыше миллиона киловатт, создании единых энергетических систем Европейской части СССР и Центральной Сибири, а также объединенных энергетических систем в районах Северо-Запада и Запада, Закавказья, Казахстана и Средней Азии. Выдвинутая Лениным задача использования «непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии с наименьшими затратами на добычу и перевоз горячего» решается программой преимущественного строительства тепловых электростанций с широким использованием дешевого угля новых месторождений, природного газа и мазута.

Ленинские принципы рационального равномерного размещения электроэнергетического хозяйства лежат в обосновании сооружения крупнейших электроцентралей в восточных районах нашей страны, где наряду с гигантскими тепловыми электростанциями будет построена Братская гидроэлектростанция на реке Ангаре мощностью 3,6 миллиона киловатт и развернется строительство еще более крупной Красноярской гидроэлектростанции на реке Енисее мощностью более 4 миллионов киловатт. Почти три ленинских плана ГОЭЛРО — в одной Красноярской гидроэлектростанции. Таков сегодняшний грандиозный размах социалистической электрификации! Как не вспомнить полные веры в победу всенародного дела слова Владимира Ильича о первых успехах в области электрификации, когда за 1920 и 1921 годы на всех электростанциях страны было введено в эксплуатацию всего 12 тысяч киловатт: «12 тысяч киловатт — очень скромное начало. Быть может, иностранец, знакомый с американской, германской или шведской электрификацией, над этим посмеется. Но хорошо смеется тот, кто смеется последним». Поистине пророчески звучат ныне эти слова Ленина. Ведь Советский Союз занимает первое место в Европе и второе в мире по производству электроэнергии. За годы социалистического строительства выработка электроэнергии увеличена в сто двадцать раз!

Десятки писем В. И. Ленина к Г. М. Кржижановскому, его многократные выступления по поводу плана ГОЭЛРО свидетельствуют о повседневной кропотливой

работе руководителя Коммунистической партии и Советского государства по электрификации страны. В жесточайшей борьбе с оппортунистами всех мастей Ленин отстаивал план ГОЭЛРО. Выступая на VIII Всероссийском съезде Советов, Ленин подробно охарактеризовал план ГОЭЛРО, заявив, что это вторая программа нашей партии. «Без плана электрификации,— говорил он,— мы перейти к действительному строительству не можем».

Документы третьего раздела сборника говорят о том, что Владимир Ильич был самым пламенным пропагандистом электрификации. Он неоднократно выступал с популяризацией этой идеи, поручал писать книги об электрификации, организовывал пропаганду ее на местах.

Огромный интерес представляют материалы, помещенные в четвертом разделе сборника — «Осуществление электрификации». Здесь составители поместили ленинские письма, телеграммы, записки, касающиеся строительства первых электростанций, организации торфяной промышленности, опытов по электропахоте. Ленин оказывал многостороннюю помощь сооружению первенцев социалистической электрификации —

Волховской гидроэлектростанции, Каширской и Шатурской тепловых электростанций. Он требует своевременного снабжения Каширстроя материалами и оборудованием, хлебом и фуражом, беспощадно борется с волокитой, мешающей нормальному ходу строительства. Документы, приведенные в сборнике, показывают, с каким исключительным вниманием и заботой следил Владимир Ильич за использованием электроэнергии в хозяйстве страны. Он тотчас же поддерживал всякую полезную инициативу, заботился о реализации изобретений, способствующих ускорению дела электрификации.

Составители сборника проделали большую, ценную работу и справились с ответственной задачей, стоявшей перед ними.

Книга снабжена хронологическим и именным указателями. В приложении даны важнейшие постановления Коммунистической партии и Советского правительства по вопросам электрификации, относящиеся к периоду жизни В. И. Ленина.

Думается, что тираж этой нужной книги — одиннадцать тысяч экземпляров — мал.

Инженер И. БЕСПРОЗВАННЫЙ.

★

Путь к коммунизму

Говорят, что статистика — зеркало жизни. Сборник «СССР в цифрах» вобрал в себя сорок один год истории страны социализма, и за каждой цифрой стоит коллективный труд нашего народа. Великий подвиг совершили советские люди, подняв свою Родину до величия и могущества, отраженных в цифрах сборника.

В 1913 году Россия занимала лишь пятое место в мире по объему валовой продукции. Казалось, где уж тут даже мечтать о том, чтобы стать хотя бы в один ряд с ведущими капиталистическими державами, если чугуна в то время мы выплавляли почти в восемь раз, а стали в семь раз меньше, чем Америка. И так по всем отраслям русской промышленности — отставание от США огромное: по добыче угля — почти в семнадцать раз, нефти — в четыре раза, по выработке электроэнергии — в двенадцать с лишним раз. Экономическая

отсталость приводила к печальным последствиям. Значительную часть оборудования и других средств производства царская Россия должна была ввозить из-за границы. Располагая буквально сказочными природными богатствами, она импортировала около 20 процентов потребляемого угля, 80 процентов свинца, 30 процентов меди, 80 процентов минеральных удобрений, 85 процентов металлорежущих станков, почти 100 процентов автомобилей, 60 процентов уборочных машин, свыше 30 процентов молотилок и сеялок; ввозились даже плуги и косы. Такой была царская Россия — этот «колосс на глиняных ногах».

«За годы Советской власти трудящиеся СССР ликвидировали вековую отсталость России в промышленном отношении и создали мощную промышленность, обеспечившую экономическую самостоятельность и независимость Советского государства», — говорится в тезисах доклада Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС. Наша страна теперь занимает второе место в мире и первое в Европе по объему промышленного про-

СССР в цифрах. Статистический сборник. 468 стр. Государственное статистическое издательство. М. 1958.

изводства. Ныне мы производим в два — два с половиной раза больше всех основных видов промышленной продукции, чем Англия и Западная Германия, в три — семь раз больше, чем Франция, и пока отстаем только от США, но этот разрыв сокращается темпами, которые заставляют империалистов истошно кричать об «опасности» коммунизма. Уже сейчас мы превзошли уровень США по производству некоторых видов продукции, например, шерстяных тканей, древесины и пиломатериалов, животного масла, сбору пшеницы, сахарной свеклы и картофеля.

И не за горами то время, когда Советский Союз выйдет на первое место в мире не только по общему объему производства, но и по выпуску продукции на душу населения.

Социализм вызвал к жизни такие силы народные, такой поток великой энергии миллионов, перед которым не могут устоять никакие препятствия, никакие трудности. Обратимся лишь к одной цифре: в 50 раз против 1917 года возросло промышленное производство СССР в 1958 году. Это значит, что каждую неделю страна дает столько изделий, сколько Россия производила за год. Таких темпов развития никогда не знала история человечества. Но и эти показатели не дают полной картины подвига народа, взявшего власть в свои руки. Ведь надо учесть, что первая мировая и особенно гражданская войны и иностранная интервенция отбросили далеко назад и без того отсталую экономику нашей страны. Дело дошло до того, что в 1920 году чугуна у нас выплавлялось в два раза меньше, чем в 1862 году, угля добывалось лишь немногим больше, чем в 1898 году, нефти — столько же, сколько в 1890 году, а хлопчатобумажных тканей вырабатывалось то же количество, что в 1857 году, при крепостном строе.

А годы Отечественной войны? Погибли миллионы людей, составлявших наиболее активную часть населения. Разрушены города и села, заводы и фабрики — 2 569 миллиардов рублей прямого и косвенного ущерба принесла нам эта война. Сколько можно было бы построить на эти средства, как далеко шагнули бы мы, не будь этих страшных потерь!

По сравнению с довоенным, 1940 годом мы выпускаем сейчас промышленной продукции в четыре с лишним раза больше. В среднем за сорокалетие ежегодный при-

рост в промышленности составлял 10,1 процента, но за одиннадцать послевоенных лет (1947—1957) он поднялся до 15,9 процента. А что значит один процент прироста? В 1928 году он составлял всего полмиллиарда рублей, а в наши дни — десять миллиардов рублей.

Цифры сборника убедительно показывают, как качественно изменилось лицо деревни, какой подъем принес ей советский строй, ленинский кооперативный путь развития.

До революции почти все работы в сельском хозяйстве производились вручную или при помощи конной тяги. Теперь пахота под яровые культуры механизирована на 98 процентов, сев — на 97 процентов, уборка зерновых культур комбайнами, включая кукурузу, — на 90 процентов. Среднегодовая товарная продукция зерна за четырехлетие 1954—1957 по сравнению с четырехлетием 1910—1913 увеличилась в 2,4 раза, товарная продукция хлопка-сырца — в 6,1 раза, сахарной свеклы — в 2,6 раза и так далее.

Один американский буржуазный социолог писал, что в конечном итоге спор коммунизма и социализма будет решаться долголетием человека при том или другом общественном строе. Ну что же, мы с гордостью отмечаем, что за сорок один советский год четверо уменьшилась общая смертность населения и в шесть раз — детская. В СССР люди дольше живут, позже умирают, больше у нас рождается детей, чем в США. Там на тысячу жителей число родившихся составляет 25, умерших — 9,6, в результате естественный прирост равен 15,4. А в СССР на тысячу человек рождается 25,3, умирает 7,8, прирост 17,5. Каждый год население СССР увеличивается примерно на три с половиной миллиона человек, а это больше, чем в США и во всех других главных капиталистических странах. Коммунизм увеличит сроки жизни еще больше и улучшит условия существования человека настолько, что никакая капиталистическая держава не сможет с нами тягаться. В. И. Ленин писал, что сила социализма в его примере. Экономические и социальные достижения СССР — свидетельство огромных преимуществ нашей системы.

При социализме человек — в центре внимания государства. Коммунистическая партия направляет все свои силы на удовлетворение разносторонних потребностей и нужд людей.

В сборнике есть таблица сравнительных данных о потреблении рабочими и колхозниками ряда областей важнейших продуктов питания в дореволюционное время и в 1957 году. Цифры очень показательны. Хлеба, например, рабочие и крестьяне стали есть на 12—16 процентов меньше, но зато мяса и сала — в два — два с половиной раза больше, молока и молочных продуктов — от двух с половиной до четырех раз больше, яиц — в два с половиной — четыре с половиной раза больше, сахара — в два — три с половиной раза больше. Лучшего качества носят теперь одежду советские люди. В десять с лишним раз больше покупают они шерстяных тканей (по сравнению с 1932 годом), в тринадцать раз больше — трикотажа, более чем в двадцать семь раз — шелковых тканей.

Ярким показателем уровня благосостояния народа служит отношение общества к ветеранам труда. В Советском Союзе пенсии получает около 18 миллионов человек. По старости они назначаются мужчинам по достижении 60 лет, женщинам — 55 лет при трудовом стаже соответственно 25 и 20 лет. А в США пенсионный возраст для мужчин установлен в 65 лет, для женщин — 62 года. Наше государство целиком взяло на себя все расходы по социальному обеспечению, а в США рабочий или служащий в течение всей жизни делает взносы и на-

половину обеспечивает этим свою пенсию. Пенсионный возраст в Швеции для мужчин и женщин — 67 лет, в Канаде, Ирландии, Норвегии — 70 лет.

Какой бы раздел сборника мы ни открыли, всюду находим цифры, которые вызывают чувство гордости за нашу страну, благодарности Коммунистической партии, приведшей наш народ к таким победам.

Статистические данные сборника сведены в таблицы, характеризующие развитие промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, рост материального благосостояния и культурного уровня населения за годы Советской власти. В книге есть сведения о перестройке управления промышленностью и строительством, осуществленной на основе решений февральского Пленума ЦК КПСС и VII сессии Верховного Совета СССР. Интересны цифры, характеризующие развитие экономики и культуры СССР в сопоставлении с капиталистическими странами. Большинство таблиц сопровождается кратким пояснительным текстом.

Великие достижения, отраженные в статистическом материале, собранном в книге «СССР в цифрах», вселяют уверенность в будущем. Они подтверждают реальность самых смелых планов, намечаемых нашей партией и правительством.

Е. БОРОДИН.



Они сражались за революцию

В последних числах мая 1918 года в Пензе начался бой. В результате происков эсеров и англо-французов части чехословацкого корпуса подняли мятеж против Советской власти. Как известно, после заключения мира с Германией чехословаки получили разрешение Советской власти выехать через Сибирь, Дальний Восток на Западный фронт, во Францию. Однако уже на пути следования эти люди поддались пропаганде ярких реакционеров и врагов только что родившейся пролетарской республики. И тогда на защиту Пензы вместе с русскими рабочими выступил первый революционный чехословацкий полк. На одной стороне баррикад гражданской войны оказались созна-

тельные чехословацкие пролетарии-интернационалисты, борцы за дело революции и тем самым за интересы рабочего класса Чехословакии. По другую сторону встали легионеры, воспитанные в духе буржуазного национализма, ставшие орудием своих контрреволюционных вождей и империалистов Антанты.

Сражение чехословацких красноармейцев в Пензе вызвало значительный отклик на их родине. Этот боевой пример морально укрепил левое крыло социал-демократии в его борьбе с оппортунистами и буржуазией.

24 мая 1919 года газета «Дельницкий денник» в статье «Памяти товарищей, павших в Пензе» писала: «Сегодня исполнился год с тех пор, когда 128 чешских пролетариев, перешедших в ряды русских коммунистов, нашли свою смерть в жестокой схватке с легионерами на высотах города

Я р о с л а в К р ж и ж е н. Пенза. Славные боевые традиции чехословацких красноармейцев. Перевод с чешского В. Аверина. Редактор С. Глебов. 244 стр. Пензенское книжное издательство. 1958.

Пензы. 128 чешских рабочих, твердо следовавших своим социалистическим убеждениям, отдали свои жизни за лучшее будущее пролетариата... Преступления чешской буржуазии, совершенные в России, столь тяжелы, что не могут быть искуплены».

В домюнхенской республике от народа тщательно скрывали, что около двенадцати тысяч чехов и словаков сражались в рядах Красной Армии. В своей книге чехословацкий историк Я. Кржижек на основе изучения многих документов советских и национальных архивов выясняет характер чехословацкого движения в России, те сложные процессы, которые в нем происходили под влиянием революционных событий, под могучим воздействием ленинских идей.

Чехословацкие легионы создавались с согласия Временного правительства в 1917 году частично из чехов и словаков, живших в России, частично из военнопленных этих национальностей. Они формировались для участия в войне с австрогерманцами. Затем после Октябрьской революции буржуазное руководство легионов (Масарик, Бенеш) решило поставить их на службу стран Антанты для свержения Советской власти.

Восстанию белочехов предшествовала почти полугодовая острая борьба между буржуазным руководством движения, которое в России было представлено отделением Чехословацкого Национального совета (эмигрантское буржуазное правительство, созданное в Париже в 1916 году), поддерживаемым правыми социал-демократами, и между левыми в социал-демократической партии, которые занимали интернационалистические позиции. Реакционеры всемерно стремились изолировать легионерскую массу от большевистских идей и обманывали ее националистическими лозунгами. Интернационалисты видели свою задачу в классовом воспитании легионеров, разъяснении им задач социалистической революции. Наиболее сознательная часть легионеров создавала свои партийные организации левых социал-демократов, принимала участие в революционных событиях, выпускала свои газеты. Особенно большую роль в объединении чехословацких интернационалистов сыграли левые группы в Киеве, Петрограде, а затем в Москве. Они выступали против руководства легионов, выдвигая требования защиты Октябрьской социалистиче-

ской революции. При вторжении немецких войск на Украину отряды чехословацких красногвардейцев, которых насчитывалось не менее тысячи, вели кровопролитные бои по обороне Киева и Харькова.

В конце мая 1918 года в Москве состоялся съезд чехословацких социал-демократов, на котором присутствовало 79 делегатов, представлявших 5600 членов социал-демократических организаций, и 22 делегата от 1850 красноармейцев чехословацких частей. На этом съезде была создана так называемая Чехословацкая коммунистическая партия на Руси, объединившая в своих рядах социалистов, принявших принципы марксизма-ленинизма. Ее центральным органом стала газета «Прукопник свободы» («Пионер свободы»). Члены партии, вернувшись на родину, сыграли важную роль в образовании левого крыла социал-демократической партии, из которого в мае 1921 года возникла компартия Чехословакии.

Чехословацкая коммунистическая партия на Руси являлась организатором частей чехословацких красноармейцев. Многие легионеры покидали эшелоны, поняв смысл происходивших событий. Так, в одной листовке, изданной бывшими легионерами, ставшими красноармейцами, писалось: «...Когда социалистическая Россия строит новую армию и кладет начало новой общественной жизни... мы, рабочие и социалисты, не можем и не имеем права покинуть Россию и отказать ей в своей помощи... Русская революция обогатила нас опытом, и она принесет нам и свободу — политическую и социальную!»

Коммунисты вели большую работу среди легионеров. Агитаторы, приехавшие в Пензу, через которую двигались эшелоны чехословацкого корпуса, привезли с собой сотни экземпляров газеты «Прукопник» («Пионер»), в которой была напечатана большая статья Ярослава Гашека, дающая оценку переброски легионов во Францию. Гашек призывал легионеров «принять деятельное участие в русской революции и помочь русскому народу укрепить республику Советов, от которой исходят лучи освобождения всего мира и нашего народа».

В книге рассказывается о славных боевых подвигах чехословацких красноармейцев в гражданской войне. Крупный отряд чехословаков, сформированный Гашеком, принимал участие в обороне Самары, а за-

тем Бузулука. В июле 1918 года отряды чехословаков дрались с легионерами под Уфой и Свердловском. Осенью и зимой 1918 года чехословацкие интернационалисты сражались с белочехами и колчаковцами в районе Перми.

Значительное число чехов и словаков было в красноармейских частях в Сибири, особенно в Томске, Петропавловске, Благовещенске, во Владивостоке. В Черемхове сформировался чехословацкий батальон. В него вступили военнопленные, работавшие на здешних шахтах. Знамя этой части — единственное сохранившееся знамя чехословацких красноармейцев. Ежегодно 6 октября, в День чехословацкой армии, это знамя пронесут впереди воинских частей, участвующих в торжественном параде.

Летом 1918 года на Царицынском фронте в составе 2-го полка 16-й дивизии находилось несколько сот чехов и словаков. В Луганской дивизии была рота чехословацких красноармейцев, которой командовал Ченек Грушка, ныне генерал-поручик, член ЦК компартии Чехословакии.

В боях с Деникиным отличился 3-й полк, сформированный в Москве из чехослова-

ков, входивший в состав 1-й интернациональной бригады. Как отмечает автор книги, чехи и словаки в рядах Красной Армии воевали почти на всех фронтах. Они сражались на Памире и на севере России, на Кубани и Украине, в Чапаевской бригаде и в коннице Буденного. Так закладывались основы боевого содружества и пролетарского интернационализма советского и чехословацкого народов.

Рецензию об интересной книге Ярослава Кржижека хочется закончить словами из статьи в газете «Дельницкий денник», в которой содержится оценка подвига интернационалистов в Пензе, приложимая ко всем чехословацким красноармейцам. «У них,— писала газета,— хватило мужества наперекор всем угрозам, несмотря на все проклятия, оскорбления, клевету и предательство охваченных шовинизмом фанатиков, выступить на защиту пролетарской республики... Идеалы трудового народа, за которые они сражались и отдали свои жизни, претворяются в действительность... Вечная слава их памяти!»

Кандидат филологических наук
Л. ЕРИХОНОВ.

★

Издательство и автор

Об этой книге читатели уже сказали свое слово: на протяжении года она вышла двумя изданиями, и оба издания сразу разошлись.

По существу это научное юридическое исследование; в нем последовательно излагаются все правовые вопросы, возникающие в процессе взаимоотношений между автором и издательством, ставятся теоретически спорные проблемы и дается их мотивированное решение. По форме же это живые очерки, написанные хорошим литературным языком.

К сожалению, жанр научной публицистики среди юристов не пользуется вниманием. До сего дня мы чаще всего встречаем брошюры, представляющие собой беглый пересказ законодательства, к тому же написанные столь унылым канцелярским языком, что без особой нужды читать такую литературу вряд ли кто-нибудь возь-

мется. А уж, казалось бы, какой простор для знающего и думающего юриста — донести до широких кругов читателей все богатство содержания советских законов, их нравственную силу, их преобразующую роль, завязать острый разговор о практике применения законов, о причинах их нарушения. Увы, юристы, за редким исключением, почему-то не очень склонны к такому разговору с широким читателем.

Дельная, интересная книга А. Ваксберга затрагивает сравнительно узкий и частный вопрос, но зато такой, который теснейшим образом связан с развитием науки, литературы и искусства. Уже по одному этому она имеет право на внимание большого и разнообразного отряда читателей.

«Потребителей» авторского права — многие тысячи, но популярных книг для них, где толково и доходчиво разъяснялись бы их права и обязанности, нет. И это особенно плохо, потому что авторское право разработано не в одном каком-либо акте, а в большом количестве мало кому ведомых инструкций, приказов и иных документов.

А. И. Ваксберг. Издательство и автор. Правовые взаимоотношения. Издание второе, дополненное. Редактор А. Мильчина. 260 стр. «Искусство». М. 1958.

И если бы А. Ваксберг задался целью просто собрать воедино весь этот материал и внятно донести его до не искушенного в юридических вопросах читателя, мы получили бы полезный справочник и уже за одно это могли бы сказать автору спасибо.

Но автор поставил перед собой более сложную и увлекательную задачу: показать, как авторское право служит развитию науки, литературы и искусства в СССР, раскрыть самую суть того или иного закона, причину, которая вызвала его к жизни, помочь издательствам и авторам в установлении правильных взаимоотношений. В результате книга, полностью сохранив свое утилитарное назначение, рассказала читателю о множестве интересных вещей, заставила его задуматься над такими вопросами, мимо которых он обычно проходил, под своеобразным углом зрения осветила труд ученого и писателя.

Вот, например, речь заходит о «скучном» и весьма прозаическом вопросе: как платить гонорар за стихи — по числу строк рифмованных или графических (если строка в стихотворении дробится). Во многих издательствах придерживаются первой точки зрения (ибо у поэтов-де при ином подсчете есть «неограниченные возможности для злоупотребления»). Ваксберг разделяет вторую точку зрения. Он пытается сам постигнуть в этой связи творческий процесс создания стихотворения и найти решение, которое привело бы к справедливому вознаграждению труда поэта. И тогда рождается такая аргументация: «Речь идет... о дроблении строки как поэтическом приеме, помогающем подчеркнуть мысль автора, выделить образ, усилить интонационное звучание стиха, то есть, иначе говоря, о приеме, который помогает восприятию стихотворения, его смысловому и эмоциональному воздействию на читателя. Этим приемом часто пользовались и пользуются такие несхожие между собой поэты, как Асеев, Кирсанов, Мартынов, Алигер, Долматовский, Тушнова, Межиров и другие. Характерно, что далеко не все стихи этих поэтов написаны с разбивкой строк — к этому приему прибегают в тех случаях, когда это диктуется замыслом поэта, характером стихотворения, его ритмикой, образным строем и словарем.

Таким образом, отказ от оплаты графических строк привел бы к тому, что подлинно творческий труд поэта не был бы достаточно вознагражден. К тому же понятие

ритмической строки порой бывает установить еще труднее, чем строки графической, ибо стихи, как известно, бывают нерифмованные, вольные и т. д.».

Как видим, А. Ваксберг взглянул на закон глазами человека, который не только хорошо понимает, но и любит свой предмет, ищет в каждом положении авторского права его главное, принципиальное, а не узковедомственное назначение. Любовью к литературе и искусству объясняется та страсть, с которой А. Ваксберг клеймит в своей книге графоманов и лентяев, разного рода «окололитературных жучков», громче всех кричащих о своих «правах» и умудряющихся иногда сорвать с издательства изрядный куш, пользуясь незнанием некоторыми работниками основ авторского права. В книге дается много практически полезных советов, как бороться с подобного рода «литераторами». В то же время А. Ваксберг средствами права стремится максимально защитить законные интересы добросовестных авторов.

Один из наиболее интересных разделов книги — о плагиате. Этот «больной вопрос литературного быта», как называет его автор, в теоретической литературе до сих пор совершенно не был исследован. На большом материале А. Ваксберг показал, как изменяются самые формы литературных краж, к каким тонким приемам прибегают нынешние плагиаторы, пользуясь пробелом в законе, расплывчатостью нормативного и теоретического понятия плагиата. «Иза этого,— пишет Ваксберг,— некоторые литературные вору ходят от ответственности даже тогда, когда по-житейски, по-человечески плагиат очевиден... Кража не перестает быть кражей от того, что наказание за нее недостаточно регламентировано законом. Никто не посчитает украденный костюм собственностью вора только потому, что он перекроил его по более модному фасону, перелицевал и наделал дополнительные карманы, хлястики и манжеты. В области же литературной, к сожалению, нередко исходят из весьма сомнительного тезиса, будто «спор о литературном заимствовании (так изящно, с чьей-то легкой руки, принято у нас называть литературное воровство) решается не установлением сходства, а установлением различий»... При таком положении не может быть привлечен к ответу ни один сколько-нибудь «способный» плагиатор, ибо у него всегда хватит профессионального мастерства, чтобы

вести новых героев, перекомпоновать эпизоды, заменить диалог».

Анализируя причины такого странного покровительства плагиаторам, А. Ваксберг приходит к выводу, что виноват в этом не закон, а либеральное разъяснение тридцатилетней давности, данное пленумом Верховного Суда РСФСР и заключающееся в том, что уголовная ответственность литературных воров может наступить лишь в случае злостного использования чужих произведений. «Но поскольку,— замечает Ваксберг,— никто отродясь не знал (и, видимо, не узнает), где граница между кражей «злостной» и «незлостной», закон об ответственности плагиаторов числится среди «устаревших» и неприменяемых статей Уголовного кодекса». И отсюда закономерный вывод: вернуть к жизни никем не отмененную статью закона, карающую плагиаторов, отменить ничего не разъяснившее разъяснение Верховного Суда РСФСР.

Пафос этой книги в утверждении законности на одном из важнейших участков нашего культурного фронта — в издательской деятельности. В социалистическом обществе сложился совершенно новый тип отношений между авторами и издателями. Это отношения сотрудничества в создании и выпуске высококачественных произведений науки, литературы, искусства. И если у автора возникает с издательством какой-либо конфликт, он должен разрешаться с подлинно принципиальных позиций, то есть когда превыше всего ставятся интересы дела.

В свете этой основной идеи и написана вся книга А. Ваксберга. Он прав, утверждая, что «знание как издательскими работниками, так и авторами своих прав и обязанностей и неуклонное следование предписаниям закона — одно из надежных средств вообще избежать каких-либо конфликтов». Это в самом деле так, потому что наши законы об авторском праве гармонически сочетают личные интересы автора с общественными интересами, стремятся стимулировать творческую деятельность и в то же время оградить организации, использующие авторский труд, от недобросовестных действий нарушителей договоров, от наскоков графоманов, от кляуз лжелитераторов и лжеученых.

Для нас, издательских работников, эта книга особенно ценна тем, что она способствует повышению издательской культуры, как и книга о практике редактирования, о художественном оформлении или полигра-

фической технике. Этим вполне оправдано ее появление на книжном рынке с маркой издательства «Искусство».

Но чем больше находишь в этой книге достоинств, тем сильнее хочется говорить о ее недостатках. Хочется говорить не потому, что без перечня недостатков рецензии писать не принято, а потому, что такой полезный и интересный труд мог быть свободен от тех недомолвок, противоречий, неточностей, которые, к сожалению, «имеют место».

В книге воспроизводится известное положение закона о том, что издательским договором непременно должен быть предусмотрен максимальный тираж издания, исходя из которого и определяется причитающийся автору гонорар. Иной порядок допустим лишь в том случае, если закон сделал на этот счет специальное исключение. Однако буквально через три страницы автор забывает об этом и рекомендует «взять за правило во всех издательских договорах на произведения изобразительного искусства делать оговорку о праве издания произведения «без ограничения тиража», что позволит издательству платить одинарный гонорар художнику за все издание» (стр. 135). Концы с концами явно не сходятся. Правда, автор ссылается при этом на приказ бывшего Главиздата Министерства культуры. Но, во-первых, приказы Главиздата обязательны только для издательств его системы, а во-вторых, напрашивается вопрос: правилен ли вообще этот приказ, если он явно противоречит закону? Не сам ли Ваксберг на каждой странице своей книги ратует за строгое соблюдение закона? Так почему же в этом вопросе он счел за благо воздержаться от высказывания своего отношения к приказу и не позаботился даже о том, чтобы как-нибудь устранить столь очевидное для всех противоречие?

Эта робость в постановке больших, общественно-значимых проблем снизила ценность и ряда других разделов книги. Я имею в виду прежде всего раздел о порядке оплаты гонорара за работы, выполненные по плану научно-исследовательских институтов и вузов их штатными сотрудниками. Ныне действующий порядок заключается в том, что авторы так называемых плановых работ при издании их произведений гонорара не получают. Считается, что труд их уже вознагражден заработной платой. А. Ваксберг добросовестно воспроиз-

водит это правило и ставит здесь точку. Между тем целесообразность сохранения этого правила в существующем виде, без некоторых уточнений, нуждается в обсуждении. Оно приводит к уравниловке в оплате активно работающих научных сотрудников и людей, годами не дающих никакой полезной научной продукции. Оно не создает у автора стимула к совершенствованию своего труда, к ускорению темпов в работе, к более широкому исследованию сравнительно с формулировкой плановой темы.

Вопрос этот, конечно, очень серьезный, он выходит за рамки собственно авторского права и может быть решен только в связи с решением более общего вопроса о планировании и оплате труда научных работников. Но все же вряд ли следовало в научно-публицистической работе уклониться даже от постановки этого очевидного и для автора рецензируемой книги вопроса.

Вместе с тем А. Ваксберг считает возможным внести явно необоснованные и нереальные предложения, например, о полном переходе на аккордную оплату гонорара, об ограничении права автора на правку в корректуре. Он дает издательским работни-

кам и такие рекомендации, которые обюрократили бы процесс живого, непосредственного общения с авторами и сильно усложнили бы работу редакторов, порядок извещения соавторов о необходимости внести в рукопись поправки.

В книге встречаются и просто ошибки. Так, А. Ваксберг утверждает, что издательство вправе неоднократно предъявлять автору требования о переработке работы. Да, вправе, но при одном непременном условии: это должны быть требования о правильном выполнении первоначально сделанных замечаний. Новые замечания юридически для автора не обязательны, о чем прямо говорится в ст. 8 Типового издательского договора. Ваксберг не делает этой существенной оговорки и тем самым может поставить недостаточно осведомленного редактора в неловкое положение, а иногда и материально подвести издателя.

При всех своих частных недостатках книга А. Ваксберга — ценное издание, которое представляет интерес не только для издательских работников, но и для любого автора.

И. ЛАТЫШЕВ.



Нет, они не близнецы!

Города, как и люди, имеют свое лицо. Бывают они красивые и непривлекательные, оживленные и унылые, молодые и старые... Разумеется, лицо города зависит от многого. Его черты определяют разные политические, экономические, культурные факторы.

Минск, Хабаровск, Ашхабад, Тула и другие столичные и областные центры необъятной Советской страны... На сотни и тысячи километров отстоят они один от другого, населены людьми разных национальностей, каждый имеет свою историю, развивается своими путями. Попробуем познакомиться

с ними ближе через книги, о них написанные.

Начнем с Хабаровска — города-юбилера и к тому же относительно «молодого»: в минувшем году он отметил свое столетие.

Это один из первых русских городов, заложённых на берегу Амура. Возник он из солдатского поселения Хабаровки, названного так в честь отважного землепроходца Ерофея Павловича Хабарова, много потрудившегося для освоения Амурского края.

Прославленный путешественник Н. Пржевальский сразу предрек молодому поселку большое будущее. «Выгодное положение этого селения при слиянии двух громадных водных систем — амурской и уссурийской — обещает ему широкое развитие даже в недалеком будущем», — писал Пржевальский.

Эти слова оказались вещими. Хабаровск рос, как говорится, не по дням, а по часам. Много интересного можно было бы рассказать о его развитии, и для этого отнюдь не обязательна объемистая книга.

В своей монографии «Хабаровск» В. Чернышева в краткой исторической справке достаточно ярко обрисовала его дореволю-

В. И. Чернышева. Хабаровск (К 100-летию города). 104 стр. Хабаровское книжное издательство. 1958.

Ф. С. Мартинкевич. Минск. 96 стр. Географгиз. 1958.

М. И. Ростовцев. Тула. Экономико-географический очерк. 164 стр. Тульское книжное издательство. 1958.

В. К. Лаздынь, В. Р. Пури. Рига. 96 стр. Географгиз. 1957.

В. Б. Жмуйда. Ашхабад. 72 стр. Географгиз. М. 1957.

ционное прошлое: полукустарную промышленность, запущенное коммунальное хозяйство, низкую общую культуру. Самыми крупными предприятиями там были артиллерийские мастерские и папиросная фабрика с пятьюдесятью рабочими, имелось всего несколько каменных домов, один клуб и небольшой кинотеатр «Иллюзион», а что касается автотранспорта, то его представлял единственный автомобиль, принадлежавший генерал-губернатору.

Нелегко завоевывалась хабаровцами новая жизнь. Напряженной была борьба за Советскую власть. Непосредственный участник революционных событий, В. Чернышева подробно останавливается на этом периоде.

Автор знакомит нас и с сегодняшним Хабаровском. Мощные индустриальные предприятия, школы, высшие учебные заведения и научные институты, театры, клубы, библиотеки, стадионы и многое другое, созданное здесь за время Советской власти, ярко свидетельствует о многогранной, кипучей жизни города.

Но как вяло, холодно обо всем этом говорится в книге! В тексте мелькают цифры, даты, статистические сведения, но зато утрачивается живость описания.

Являются ли недостатки работы В. Чернышевой исключением, или они присущи другим книгам о городах?

Книга Ф. Мартинкевича посвящена Минску. Это один из древнейших городов нашей страны. Он исстари имел важное экономическое значение и, находясь на ответвлении великого пути «из варяг в греки», был перевалочным пунктом, где происходил меновой торг. Недаром славяне называли его Меньск. Лаконично и содержательно описывает автор этот исторический период.

А каков нынешний Минск? Для характеристики его экономической жизни в книге сообщаются самые разнообразные сведения. Чувствуется, что для этой цели использован обильный материал.

Но, странное дело, у читателя не создается четкого впечатления об экономике белорусской столицы. Почему? Да только потому, что автор книги в основном пользуется языком статистики. Однако абсолютные цифры и процентные отношения, нужные в отчете или докладе, не должны занимать основное место в брошюре, «рассчитанной на широкие круги читателей, интересующихся географией нашей страны», о чем сказано в аннотации издательства.

Что может, например, сказать таблица с громоздким названием: «Структура промышленного производства Минска и удельный вес его в промышленном производстве Белоруссии»? Проанализировать такую таблицу в состоянии только специалист. Поэтому нельзя согласиться с мнением автора, что «приведенные данные со всей очевидностью свидетельствуют о направлении структурных сдвигов, об изменении удельного веса отдельных отраслей, о превращении Минска в сложный индустриальный комплекс с разнообразным промышленным производством».

Отнюдь не «со всей очевидностью», а с трудом воспринимает читатель тяжеловесный «доклад» Ф. Мартинкевича.

Не повезло и Туле, о которой написал М. Ростовцев. Город этот издавна славится своей технической культурой, людьми большого умения и таланта. Недаром легендарный лесковский Левша, сумевший подковать «аглицкую блоху», стал символом искусного труда туляков. Продукция с маркой тульских заводов и фабрик ныне известна в самых отдаленных уголках нашей страны и в разных странах мира. Чугун и качественные стали. Металлорежущие станки и многотонные путеукладочные машины. Приборы высшего класса точности, мотороллеры, комбайны, химикаты... Не счесть всего, что изготавливается туляками.

В своей книге М. Ростовцев пытается сделать нечто подобное. Но доброе намерение автора упомянуть обо всем привело лишь к номенклатурному описанию различных изделий. Список получился весьма длинный и с такими хвалебными отзывами о каждом предмете, что невольно вспоминаются рекламные объявления. Швейные машины «Тула» «отличаются универсальным выполнением швейных работ». «По звучности и отделке баяны и гармоники тульских фабрик считаются лучшими в стране». Охотничьи ружья лучше, самовары лучшие... Даже местные пряники не забывает восхвалять увлекшийся автор. Что это — неумеренный местный патриотизм? Да, отчасти. А кроме того, неумение отобрать материал, чтобы рассказать самое нужное о самом главном.

Стремление «объять необъятное» в еще большей мере сказалось на описании Риги, сделанном В. Лаздынь и В. Пуриным. Авторы этой книги не ограничиваются подробным перечнем местной продукции, они сообщают также самые

различные сведения о родном городе. Сведеньи уйма! Кажется, нет такой области жизни, о которой не говорилось бы в тексте. Читатель может узнать, сколько троллейбусов и автобусов — и какой заводской марки — курсирует на улицах, названия цветов и деревьев, растущих в парках, и даже сколько человек посещает танцы в саду «Аркадия».

А вот как выглядит старинный, красивый город в рассказе авторов книги. «На правобережье раскинулись наиболее благоустроенные кварталы, имеющие плотную застройку, изобилующие скверами и садами». Вслед за тем сообщается: «устроены детская купальня и песчаный пляж, пользующиеся большой популярностью у детей». На другой странице уже говорится, что «большой популярностью среди молодежи пользуются мореходное и речное училища». Затем оказывается, что и район Огре является «популярным местом».

Сомнительную радость сулят авторы тому, кто хочет познакомиться с Ригой по их книге. И о чем только они не упоминают, описывая свой родной город! Но, несмотря на множество подробностей, образ его не становится привлекательным и ясным для читателя. Латвийская столица в действительности гораздо краше и поэтичнее, чем о ней пишут В. Лаздынь и В. Пури.

Город Ашхабад. О нем рассказывает книга В. Жмуйды.

На первой же странице автор сообщает, что слово Ашхабад в вольном толковании означает «город любви, прохлады и изобилия». Поэтичное толкование! Но как обидно: читая эту книгу, забываешь, что речь идет о городе любви... и так далее.

Она начинается с описания природных условий столицы Туркмении. Однако даже цветущая горная местность Фирюза не вдохновила автора на более художественное описание. В тексте то и дело приходится спотыкаться на частое в лексиконе автора слово «является»: «Хребет Копет-Даг, являясь...», «Прикопетдагский район является», «серный завод является», «догора является...»

Что же узнает читатель о самом Ашхабаде? Мало и очень уж обезличенно, формулировочно говорит о нем автор. Читатель так и не постигает, чем отличается

Ашхабад от прочих наших городов. А ведь речь идет об имеющей свои национальные особенности столице республики, где древняя культура туркменского народа оставила свой неизгладимый отпечаток.

Признаться, путешествие наше пока утомительно однообразно. Слишком одинаково выглядят города в названных книгах. Почему так получилось?

Рассказ о советских городах имеет совсем иные задачи, чем учебное пособие или путеводитель. Познавательность в таких произведениях нельзя делать самоцелью. Вместо того чтобы выделить наиболее существенное, характерное, авторы рецензируемых книг «навалом» собирают цифровые сведения, мало-мальски относящиеся к местной промышленности и коммунальному хозяйству.

Цифры далеко не всегда бывают красноречивы. А когда им «несть числа», они становятся немые или просто скучны. Статистический метод создает обезличенные представления. Именно это происходит в книгах, в которых живое описание подменяется сухим отчетом. Читаешь такие произведения и невольно закрадывается мысль: «А не близнецы ли города, которым посвящены эти книги?» Очень уж схоже о них говорится.

Познавательность... Волшебная притягательная сила таится в этом слове. Но как важно, чтобы познавательность сохраняла свою привлекательность, а не вызвала обратную реакцию — скуку. Сумел же С. Виткович в своей книге об Узбекистане с художественным мастерством рассказать о Ташкенте, Самарканде, Бухаре и других городах. Автор тоже говорит об их прошлом и настоящем, приводит сведения экономического порядка. Он знакомит с жителями, рассказывает о национальных особенностях и быте. В книге тоже встречается немало цифр, однако они не являются основным способом объяснения.

На великий интерес читателей к литературе о наших новых растущих и молодеющих старых городах надо ответить не сухими отчетами, а содержательными, художественными очерками. Географизму и местным издательствам, право, стоит подумать об этом.

А. ТАЛАНОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

СЕРГЕЙ ВАШЕНЦЕВ. Из военной жизни. Повести и рассказы. Воениздат. М. 1958. 568 стр. Цена 9 р. 70 к.

Темы, связанные с армией — с учебой, бытом, боевыми действиями воинов, — главные в творчестве одного из советских писателей старшего поколения, С. Васиенцева. В одноименник «Из военной жизни» вошли произведения, написанные С. Васиенцевым на протяжении многих лет. Повесть «Канны», например, самая крупная работа писателя, создана в 1933—1934 годах. В ней, в образе офицера Каляева, автор раскрывает черты, характерные для воина советской эпохи: стойкость, мужество, честность, стремление к совершенствованию, к овладению знаниями. Рассказы «Первый концерт», «Санаторий «Санитас», «Подвиг», «На острове», «Хорошая дорога» были написаны С. Васиенцевым во время освободительных походов Советской Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию и войны с белофиннами, когда писатель находился в рядах Советской Армии. После Великой Отечественной войны он опубликовал рассказы «В Карпатах», «Самый крепкий металл», «Испытание» и «Случай в степи», также вошедшие в аннотируемый сборник.

Для произведений С. Васиенцева характерно любовное отношение к воину, защитнику Отечества.

С. МСТИСЛАВСКИЙ. Накануне. 1917 год. Издательство «Советская Россия». М. 230 стр. Цена 4 р. 55 к.

В дни Февральской революции, когда Николай II задумал бежать за границу, Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов вынес решение об аресте царской семьи. Во главе отряда, направленного в Царское Село, стал Чрезвычайный комиссар Петросовета Сергей Дмитриевич Мстиславский, революционер-подпольщик, позднее активный участник гражданской войны, видный советский литератор, автор романов «Крыша мира», «На крови», повести «Грач — птица весенняя» и других. Повесть «Накануне» (вышедшая впервые в 1940 году) — первая часть задуманной автором трилогии о 1917 году. Время действия — от убийства Распутина до приезда Ленина в Питер. Судьбы «вымышленных» персонажей (студентка-большевичка Марина, солдат Мартьянов, подпольщик рабочий Василий) сплетаются с рассказом о подлинных

исторических лицах (Гучков, Николай II, Милоков, Родзянко, Чхеидзе, Керенский).

Особое место в повести занимает образ Ленина. Сцена приезда Ленина в Питер и его выступления перед массами не только композиционный, но и идейный итог повести. Исторические факты, составляющие сюжет повести, воспроизведены с точностью очевидца и зоркостью художника.

Е. ЮНГА. Путь матроса. Рассказ о Павле Дыбенко. Воениздат. М. 1958. 108 стр. Цена 2 р. 80 к.

Среди славных имен героических борцов за революцию, за власть Советов имя матроса-электрика, а впоследствии первого народного комиссара по морским делам Павла Дыбенко занимает почетное место. Вступив в большевистскую партию в 1912 году, он до конца дней своих оставался верным ленинцем, бескорыстным и самоотверженным человеком, для которого превыше всего были интересы народа. Его отличали, как пишет автор этой книги, «трезвость ума, кругозор государственного деятеля, способность разбираться в обстановке и делать правильные выводы».

Читатель с интересом прочтет в этой книге, как мужал, закалялся в битвах матрос Дыбенко, каким великодушным организатором, подлинным вожакom масс проявил он себя в самые трудные моменты борьбы, сколь велик был его авторитет среди матросов Балтийского флота, где Дыбенко возглавлял Центробалт — знаменитую выборную организацию, осуществлявшую подготовку флота к Октябрьскому вооруженному восстанию.

Автор книги «Путь матроса» использовал обширный документальный материал, воспоминания участников революционных событий, в том числе и самого Дыбенко, характеризующие обстановку того времени и революционную деятельность матросов-балтийцев.

МАКС ЗИНГЕР. Путь героя. Издательство ДОСААФ. М. 1958. 56 стр. Цена 85 к.

Темой книги Макса Зингера является жизнь и деятельность замечательного советского летчика Сигизмунда Леваневского.

Мы встречаемся в книге с юношей Леваневским, решившим остаться в Советской России, резко отвергнувшим призыв брата Юзефа ехать в панскую Польшу.

Работа в продотряде, борьба с Колчаком, поступление в Севастопольскую школу морских летчиков...

С напряженным вниманием читатель следит за подвигами Леваневского; перегон самолета «СССР Н-8» из Севастополя на Чукотку, спасение американского летчика Джемса Маттерна, участие в спасении челоюскинцев, наконец, полет «Н-209» из СССР в Америку, трагически прервавшийся в августе 1937 года.

Гимном герою кончает автор свою книгу: «...И если случится тебе, мой читатель, увидеть когда-нибудь действующий ныне ледокол «Леваневский» или пройти по улице, носящей имя этого героя, в Полтаве или Буйнакске, знай: Советские Герои бессмертны! Живут, не умирают их дела!»

Книгу открывает теплое предисловие ученика и товарища С. Леваневского по его летной работе — Героя Советского Союза генерал-майора А. Ляпидевского.

КПСС О ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Сборник документов. 1917—1958. Госполитиздат. М. 1958. 420 стр. Цена 6 р.

На всех этапах развития Советского государства Коммунистическая партия проявляла постоянную заботу о строительстве, укреплении и совершенствовании наших вооруженных сил, воспитании их личного состава.

Об этом со всей наглядностью свидетельствуют решения партийных съездов и конференций, постановления, директивы Центрального Комитета.

Важнейшие из этих документов вошли в аннотируемый сборник. Ряд их публикуется впервые. Книга открывается декретом Совнаркома от 15 января 1918 года «О Рабоче-Крестьянской Красной Армии», где говорится: «С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти...» Последний документ, включенный в сборник, это «Приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР воинам доблестных Вооруженных Сил Советского Союза» в день сорокалетия Советской Армии и Военно-Морского Флота — 23 февраля 1958 года. В этом документе отмечается, что «советские люди горячо любят свою армию, гордятся ее боевой славой и свято чтят память воинов-героев, отдавших жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Материалы сборника расположены в хронологическом порядке.

А. С. БУБНОВ. О Красной Армии. Воениздат. М. 1958. 240 стр. Цена 4 р. 90 к.

В сборник вошли опубликованные в двадцатых—тридцатых годах статьи, доклады и речи А. С. Бубнова, профессионального революционера-большевика, крупного военно-политического деятеля, неоднократно избиравшегося членом ЦК партии, с 1929 по 1937 год — наркома просвещения РСФСР.

В своих выступлениях автор показывает процесс создания наших вооруженных сил начиная с боевых дружин и Красной гвар-

дии. Много места отведено проблемам теории военного дела, широко освещены вопросы дисциплины и политико-просветительной работы в армии.

Интересны мемуарные материалы сборника. Значительная их часть посвящена В. И. Ленину, основателю первого в мире социалистического государства, строителю Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Совместная работа с М. В. Фрунзе в подполье и в годы гражданской войны дала возможность А. С. Бубнову тепло и живо рассказать о нем, нарисовать яркий образ мужественного революционера, талантливого полководца и в то же время «отличного товарища и боевого друга красноармейской массы и мягкого, отзывчивого, обаятельного человека». Запоминается рассказ о таких эпизодах, как захват Лимоновской типографии в Шуге, забастовки рабочих в связи с арестом товарища Арсения, под именем которого знали тогда М. В. Фрунзе.

С. И. ГУСЕВ. Гражданская война и Красная Армия. Сборник статей. Воениздат. М. 1958. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.

С. И. Гусев был в 1896 году членом петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса, а в 1903 году стал большевиком. Один из активных участников пролетарской революции, принимавший деятельное участие в ее подготовке, С. И. Гусев проявил незаурядные способности военно-политического деятеля и прошел путь от секретаря Петроградского Военно-революционного комитета, затем члена Реввоенсовета армии, фронта, республики до начальника Политуправления Красной Армии.

Книга представляет собой сборник военно-теоретических статей, написанных в период 1918—1925 годов. Здесь обобщен опыт гражданской войны, ставятся проблемы строительства кадровых вооруженных сил, армии нового типа. Ряд материалов посвящен вопросам организации и содержания партийно-политической работы в Советской Армии.

В главе «Марксизм и военная наука» автор подверг уничтожающей критике рассуждения Троцкого, отрицавшего военную науку и ее роль в строительстве вооруженных сил.

Книга снабжена обстоятельным предисловием, написанным Н. Копыловым, и краткой биографической справкой.

ВЛАДИМИР ЛЕНЧЕВСКИЙ. 80 дней в огне. Записки разведчика. Сталинградское книжное издательство. 1958. 124 стр. Цена 2 р.

Лаконичным языком фактов участник Сталинградской битвы рассказывает о наиболее напряженных днях борьбы с фашистскими захватчиками на Волге. Со страниц книги встают образы героев-солдат дивизии полковника Гуртьева. Не раз воин-сибиряк, пишет автор, заменял тогда целый взвод, дрался раненым, умирающим, внушая ужас врагам своим упорным сопротивлением.

Автор встречался со многими и разными людьми: с самоотверженной медсестрой

Ниной Лянгузовой, с храбрцами воинами братьями Сахно, с командармом В. И. Чуйковым. По разным дорогам пришли они на передовую линию огня, не с одинаковой легкостью овладели трудной и тяжелой тактикой войны. На фронте их роднит не только клочок заветной земли, который насквозь простреливается гитлеровцами, но и стремление патриотов вернуть утерянный мир, спокойствие, народное счастье, как говорит комдив Гуртьев.

В книге убедительно показано духовное, моральное превосходство наших воинов над врагом.

СВЕРХСРОЧНИКИ. Сборник очерков. Воениздат. М. 1958. 239 стр. Цена 4 р. 90 к.

В этой книге командиры и политработники воинских частей и кораблей, журналисты рассказывают о людях высокого долга — воинах-сверхсрочниках, составляющих гордость Советских Вооруженных Сил.

Один из них — В. Курочкин. Исколесив фронтовые пути-дороги, овладев артиллерийским делом, старшина сейчас сам обучает и воспитывает солдат, передает им свои знания и опыт. Не одно минное поле прошел сапер Н. Калашник, не один вражеский танк сразила багарея И. Писаренко.

Любовь к военному делу родилась у В. Блинова еще в те годы, когда свободолюбивая Испания боролась с немецкими и итальянскими интервентами. После этого он прошел многолетнюю школу военного мастерства, мужества, стойкости. Грудь ветерана украшают несколько орденов и медалей.

Образ требовательного и заботливого начальника, умелого воспитателя и наставника матросов встает со страниц очерка о мичмане И. Ярмошке, трижды подрывавшемся на минах и трижды тонувшем в штормовых водах Балтики.

Немало интересного и поучительного рассказано о заслуженных воинах сверхсрочной службы и в других очерках. И всюду это образы советских людей, преследующих благородную цель: верой и правдой служить Отечеству, своим личным примером, неутомимостью в воинском труде увлекать за собой солдат и матросов.

ВЕРА ДРИДЗО. Надежда Константиновна Крупская. Госполитиздат. М. 1958. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

В этом месяце советские люди отмечают 90-летие со дня рождения Н. К. Крупской. И хорошо, что Госполитиздат может предложить вниманию читателей рассказ о видной деятельнице нашей партии и государ-

ства, жене, друге и помощнике Ленина, переданный человеком, на протяжении двух десятков лет работавшим под непосредственным руководством Надежды Константиновны в качестве ее личного секретаря.

В основу брошюры положены личные наблюдения автора, архивные документы, а также то, что говорила о себе сама Н. К. Крупская. «Это не биография, — замечает автор, — а лишь краткие записки о ее жизни, борьбе и труде».

Читатель знакомится с той средой, в которой воспитывалась Н. К. Крупская. Еще в ранней молодости увлечение литературой, которая «делает жизнь полнее», потом связь с марксистским кружком студентов, жадное изучение трудов Маркса и Энгельса и впоследствии вывод: «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».

С большим вниманием читаются страницы, где рассказывается о встрече Крупской с Лениным, об отдельных примечательных эпизодах их большого совместного пути.

В главах «Душа Наркомпроса», «Дел — выше головы» и других говорится о том, с каким громадным энтузиазмом боролась Н. К. Крупская за коммунистическое просвещение и воспитание трудящихся, за строительство новой, советской школы. В напряженной деятельности прошли и ее последние дни вплоть до кончины 27 февраля 1939 года.

ШРИ ЧАКРАВARTИ РАДЖАГОПАЛА-ЧАРИЯ. Человечество протестует. Статьи, речи и заявления по проблемам атомной войны и испытаний атомного оружия. Перевод с английского. Издательство иностранной литературы. М. 1958. 132 стр. Цена 2 р. 35 к.

Книга известного политического деятеля Индии Ч. Раджагопалачария посвящена одной из самых актуальных проблем современности — устранению угрозы атомной войны и прекращению испытаний термоядерного оружия.

Автор положительно оценивает конструктивные предложения Советского Союза по вопросам разоружения и конкретные шаги, предпринимаемые нашим государством в этом направлении.

Ч. Раджагопалачария призывает великие державы прекратить гонку вооружений и испытания атомного и водородного оружия, рассматривая это как реальный вклад в дело улучшения международной обстановки и укрепления мира во всем мире.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Пленум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза 15—19 декабря 1958 года. Стенографический отчет. 544 стр. Цена 9 р.

Вопросы труда в СССР. 408 стр. Цена 8 р. 50 к.

И. Вострышев. Художественная литература в агитационной работе. 56 стр. Цена 70 к.

П. Джапаридзе. Избранные статьи, речи и письма. 1905—1918 гг. 344 стр. Цена 5 р. 70 к.

И. Ф. Ивашин. Очерки истории внешней политики СССР. 560 стр. Цена 9 р.

Х. Ш. Иноятов. Октябрьская революция в Узбекистане. 320 стр. Цена 7 р.

Н. Н. Калинин. Англо-американские противоречия на современном этапе. 164 стр. Цена 2 р. 50 к.

Коммунисты. Сборник статей. 504 стр. Цена 10 р. 30 к.

Б. М. Левин. Экономия черных металлов в народном хозяйстве СССР. 344 стр. Цена 11 р.

Международный политико-экономический ежегодник. 1958. 728 стр. Цена 20 р.

Организация и совершенствование производства (Опыт Горьковского автозавода). 336 стр. Цена 7 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»

Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. С изменениями и дополнениями, принятыми на второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва. 32 стр. Цена 25 к.

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР. 32 стр. Цена 25 к.

Законы СССР и постановления Верховного Совета СССР. Приняты на второй сессии Верховного Совета СССР пятого созыва. 144 стр. Цена 3 р.

СОЦЭГГИЗ

Г. А. Курсанов. Гносеология современного прагматизма. 194 стр. Цена 6 р. 25 к.

Г. П. Куропятник. Захват Гавайских островов США. 248 стр. Цена 9 р. 25 к.

А. Г. Рашин. Формирование рабочего класса России. 623 стр. Цена 24 р. 50 к.

О. В. Сальковский. Экономическое положение рабочего класса Австрии. 112 стр. Цена 2 р. 35 к.

С. И. Тюльпанов. Колониальная система империализма и ее распад. 259 стр. Цена 4 р. 15 к.

Г. М. Харахашьян. Заработная плата при капитализме. 104 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ч. Айтматов. Рассказы. Перевод с киргизского. 160 стр. Цена 3 р. 30 к.

П. Бахтин. После школы. Повесть. 256 стр. Цена 4 р. 75 к.

В. Боков. Заструги. Стихи. 288 стр. Цена 4 р. 60 к.

К. Гордиенко. Девушка под яблоней. Роман. Перевод с украинского. 320 стр. Цена 5 р. 70 к.

М. Горький и поэты «Знания». 424 стр. Цена 7 р. 70 к.

Е. Дорош. Деревенский дневник. 384 стр. Цена 7 р.

М. Дудин. Мосты. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 40 к.

Н. Зарьян. Отчий дом. Стихи. 216 стр. Цена 4 р. 80 к.

Э. Котляр. Ветка. Стихи. 80 стр. Цена 1 р. И. Лежнев. Путь Шолохова. 428 стр. Цена 9 р. 70 к.

Ю. Либединский. Современники. Литературные воспоминания. 360 стр. Цена 8 р. 35 к.

С. Марвич. Дорога мертвых. Роман. 840 стр. Цена 14 р. 10 к.

А. Марков. Цветы и камни. Стихи. 288 стр. Цена 4 р.

Г. Николаева. Битва в пути. Роман. 752 стр. Цена 13 р. 60 к.

С. Орлов. Голос первой любви. Стихи. 68 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ю. Палецкис. Возрождение. Стихи. Перевод с литовского. 184 стр. Цена 3 р. 65 к.

С. Петров. Советский исторический роман. 484 стр. Цена 11 р. 30 к.

Б. Сейтаков. Беспокойные люди. Рассказы. 232 стр. Цена 4 р. 20 к.

В. Сириос-Гира. Буэнос-Айрес. Повесть. 192 стр. Цена 3 р.

П. Слетов. Шаги времени. Роман и повести. 600 стр. Цена 8 р. 60 к.

В. Солоухин. Ручьи на асфальте. Стихи. 68 стр. Цена 1 р.

Ф. Сухов. Половодье. Стихи. 96 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Твардовский. За далью даль. Стихи. 144 стр. Цена 4 р.

Э. Шим. Ночь в конце месяца. Рассказы. 192 стр. Цена 2 р. 45 к.

А. Эрлих. Молодые люди. Повесть. 368 стр. Цена 6 р. 25 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Антология украинской поэзии. В двух томах. Том I. 508 стр. Цена 23 р. 30 к.

Демьян Бедный. Избранные произведения в двух томах. Том I. 344 стр. Цена 9 р. 20 к.

Александр Безыменский. Избранные произведения в двух томах. Том 1. 312 стр. Цена 8 р. 30 к. Том 2. 299 стр. Цена 8 р. 30 к.

А. А. Бесгужев-Марлинский. Сочинения в двух томах. Том I. 632 стр. Цена 11 р. 65 к.

Тимофей Бордуляк. Рассказы. Перевод с украинского. 183 стр. Цена 2 р. 75 к.

Г. Вчеличка. Кафе на главной улице. Авторизованный перевод с чешского. 180 стр. Цена 1 р. 90 к.

Ц. Дамдинсүрэн. Избранное. Перевод с монгольского. 219 стр. Цена 4 р. 90 к.

Мирза Ибрагимов. Избранные произведения в двух томах. Перевод с азербайджанского. Том I. 600 стр. Цена 11 р. 65 к.

М. Е. Елизарова. Творчество Чехова и вопросы реализма конца XIX века. 200 стр. Цена 5 р. 80 к.

Вс. Иванов. Собрание сочинений в восьми томах. Том I. 720 стр. Цена 11 р.

И. Кушевский. Николай Негорев или благополучный россиянин. 344 стр. Цена 4 р. 60 к.

Ю. Оксман. Летопись жизни и творчества В. Г. Белинского. 644 стр. Цена 18 р. 40 к.

Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания. 848 стр. Цена 13 р. 90 к.

Ф. И. Панферов. Собрание сочинений в шести томах. Том I. 551 стр. Цена 10 р. 50 к. Том 2. 662 стр. Цена 11 р. 20 к.

Эдгар По. Избранное. Перевод с английского. 344 стр. Цена 6 р. 80 к.

Расул Рза. Стихотворения. Перевод с азербайджанского. 248 стр. Цена 4 р. 60 к.

Сулейман Рустам. Стихотворения. Перевод с азербайджанского. 263 стр. Цена 4 р. 10 к.

Николай Тихонов. Собрание сочинений в шести томах. Том I. 551 стр. Цена 10 р.

Генри Филдинг. История жизни покойного Джонатана Уайльда Великого. Роман. Перевод с английского. 240 стр. Цена 5 р. 60 к.

Сватоплек Чех. Поэмы. Перевод с чешского. 132 стр. Цена 2 р. 30 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Амиран Абшилава. Добрый ветер. Стихи. 64 стр. Цена 2 р. 30 к.

Султан Акбари. Пламя. Поэма. 64 стр. Цена 2 р. 45 к.

Василий Ардаматский. «Я 11—17». 256 стр. Цена 5 р. 30 к.

Лив Балстад. К северу от морской пустыни. 336 стр. Цена 7 р.

Агния Барто. Про слезы и дела. 142 стр. Цена 5 р.

Б. Быстров. Под солнцем и дождем. Повести и рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 20 к.

Голубятня. Сборник. 392 стр. Цена 20 р.

Георгий Гулия. Белая ночь. Рассказы и очерки. 320 стр. Цена 6 р. 10 к.

И. Завалий. Утро. Рассказы. 127 стр. Цена 1 р. 80 к.

С. Залыгин. В стране друзей. Очерки. 320 стр. Цена 6 р. 25 к.

Ирина Ирошникова. Чудесная высота. 240 стр. Цена 5 р. 85 к.

Первая книжка вожатого отряда. Сборник. 208 стр. Цена 4 р. 10 к.

Владимир Попов. Сталь и шлак. Закипела сталь. 672 стр. Цена 14 р. 5 к.

Ю. Сорин. На заре. 89 стр. Цена 1 р. 25 к.

Василий Федоров. Белая роща. Поэма. 136 стр. Цена 5 р. 35 к.

В. Черкасов. Кружка молока. Рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 5 к.

Иван Шамякин. Неповторимая весна. Повести и рассказы. 240 стр. Цена 4 р. 95 к.

ДЕТГИЗ

А. Александрова, М. Туберовский. Зеленая пиала. 160 стр. Цена 4 р. 70 к.

Алпамыш. Узбекский народный эпос. 224 стр. Цена 5 р. 85 к.

В. Ардаматский. Пять лепестков. Репортаж о VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. 192 стр. Цена 4 р. 75 к.

Д. Батожабай. Невскрытые конверты. Повесть. Перевод с бурятского. 96 стр. Цена 2 р. 30 к.

Д. Бедный. Про землю, про волю, про рабочую долю. Избранные стихи, басни, поэмы, сказки, легенды. 208 стр. Цена 5 р. 60 к.

В. Берестов. Жар-птица. Стихи. 64 стр. Цена 1 р. 65 к.

М. Булатов. Крылатые слова. 192 стр. Цена 3 р. 40 к.

С. Вальдгард. Что надо знать о машинах. 168 стр. Цена 6 р. 35 к.

Ю. Вебер. Профиль невидимки. 144 стр. Цена 2 р. 95 к.

Ф. Зубарев. Каменная подкова. Рассказы. 120 стр. Цена 2 р. 85 к.

Историко-революционная книга для детей. Сборник статей. 136 стр. Цена 3 р.

М. Карим. Лунная дорога. Стихи. Перевод с башкирского. 112 стр. Цена 2 р.

А. Кононов. Повесть о верном сердце. Трилогия. 736 стр. Цена 14 р. 15 к.

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. Перевод с английского. 144 стр. Цена 2 р. 35 к.

Е. Лукина. Птичий городок. 160 стр. Цена 3 р. 50 к.

И. Майский. Близко-далеко. Повесть. 400 стр. Цена 7 р. 15 к.

Лобату Монтейру. Сказки тетушки Настасии. Перевод с португальского. 160 стр. Цена 3 р. 75 к.

Н. М. Пржевальский. Путешествия. 320 стр. Цена 16 р.

Родные поэты. Стихотворения русских поэтов-классиков XIX и начала XX века. 256 стр. Цена 4 р. 65 к.

А. Сарсенбаев. Рожденные на волнах. Повесть. Сокращенный перевод с казахского. 248 стр. Цена 5 р. 45 к.

В. Скотт. Пертская красавица. Перевод с английского. 464 стр. Цена 9 р. 55 к.

А. Смирнов. В тайге у Байкала. 96 стр. Цена 2 р. 40 к.

Л. Соболев. Батальон четверых. Рассказы. 80 стр. Цена 2 р. 30 к.

У подножия Памира. Рассказы таджикских писателей. 128 стр. Цена 3 р.

А. Шлыкович. После уроков. Книга занимательных головоломок. 160 стр. Цена 3 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

М. А. Бокучава. Биохимия чая и чайного производства. 587 стр. Цена 26 р.

Ю. П. Васильев. Уголь, нефть и природный газ в США. 144 стр. Цена 4 р. 60 к.

М. А. Виленский. Развитие электрификации СССР. 184 стр. Цена 3 р.

Вопросы физической географии. К 75-летию со дня рождения А. А. Григорьева. 372 стр. Цена 17 р. 55 к.

И. С. Достян. Борьба сербского народа против турецкого ига. XV в.— начало XIX в. 196 стр. Цена 7 р.

А. А. Зубрилин, Е. Н. Мишустин. Силосование кормов (теория вопроса). 228 стр. Цена 3 р. 30 к.

Р. Ф. Иванов. Борьба негров за землю и свободу на юге США (1865—1877 гг.). 323 стр. Цена 12 р. 90 к.

Из истории рабочего класса и революционного движения. Памяти академика А. М. Панкратовой. Сборник статей. 796 стр. Цена 43 р. 75 к.

Г. Ф. Ильин. Старинное индийское сказание о героях древности. Махабхарата. 142 стр. Цена 2 р. 15 к.

С. Маршалль. Избранные атеистические произведения. 463 стр. Цена 16 р. 60 к.

Музыкальное наследие Чайковского. Из истории его произведений. 542 стр. Цена 39 р.

Полные солнечные затмения 25 февраля 1952 г. и 30 июня 1954 г. Труды экспедиции по наблюдению затмений. 338 стр. Цена 20 р. 80 к.

Е. М. Фаерман. Развитие отечественной горной науки. 232 стр. Цена 10 р. 40 к.

Фань Вэнь-лань. Древняя история Китая. От первобытно-общинного строя до образования централизованного феодального государства. 294 стр. Цена 12 р. 90 к.

Ядерные реакции при малых и средних энергиях. Труды Всесоюзной конференции. Ноябрь 1957 г.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Н. А. Веглугина. Развитие музыкальных способностей дошкольников в процессе музыкальных игр. 248 стр. Цена 6 р. 15 к.

Вопросы психологии памяти. 216 стр. Цена 9 р.

Проблемы высшей нервной деятельности нормального и аномального ребенка. 456 стр. Цена 17 р. 40 к.

Л. С. Славина. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным ученикам. 216 стр. Цена 5 р. 65 к.

ГЕОГРАФИЗ

Г. Бейтс. Натуралист на реке Амазонке. 428 стр. Цена 11 р.

Я. Н. Гузеватый. Индонезия. 88 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Расмуссен. Великий санный путь. 180 стр. Цена 3 р. 20 к.

Экономические районы США. Север. 829 стр. Цена 25 р. 40 к.

МЕДГИЗ

В. Байер и Э. Дернер. Ультразвук в биологии и медицине. Перевод с немецкого. 188 стр. Цена 8 р. 10 к.

А. Н. Беринская, Н. В. Калинина, Т. И. Меерзон. Исходы и прогноз инфаркта миокарда. 272 стр. Цена 10 р. 90 к.

А. А. Бусалов. Физиологические обоснования некоторых вопросов хирургии. 224 стр. Цена 8 р. 85 к.

М. М. Кольцова. О формировании высшей нервной деятельности ребенка. 144 стр. Цена 5 р. 35 к.

А. Л. Лещинский. Гигиена и организация умственного труда. 84 стр. Цена 1 р. 30 к.

М. И. Певзнер. Основы лечебного питания. 584 стр. Цена 26 р.

А. Г. Просекаяя. О гигиене политехнического обучения. Для учителей, школьных врачей и школьных медицинских сестер. 56 стр. Цена 1 р. 35 к.

М. В. Смирнова, А. Я. Евгенова. О лечении заикания у детей-школьников. 20 стр. Цена 30 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Д. Жуковский. Как сохранить урожай картофеля. 67 стр. Цена 90 к.

З. Игумнова. Женщины Москвы в годы гражданской войны. 92 стр. Цена 1 р. 10 к.

Н. Михайкин. Холод служит человеку. 77 стр. Цена 1 р. 20 к.

Анатолий Франс. Избранное. 554 стр. Цена 10 р. 20 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

М. И. Ковалев, П. Т. Васьков. Причинная связь в советском уголовном праве. 72 стр. Цена 1 р. 95 к.

М. И. Козырь. О праве колхозной собственности. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Е. Пашерстник. Рассмотрение трудовых споров. 216 стр. Цена 3 р. 60 к.

Е. И. Филиппов. Судебная защита трудовых прав граждан СССР. 64 стр. Цена 80 к.



БОРИС АНДРЕЕВИЧ ЛАВРЕНЕВ

Скончался Борис Андреевич Лавренев.

Миллионы советских читателей и зрителей полюбили Лавренева как талантливого писателя, выдающегося мастера слова.

Разнообразной и многогранной была его литературно-художественная деятельность. Романист и рассказчик, драматург и сценарист, он внес богатый вклад в развитие не только литературы, но и театра и кинематографии. В лице Лавренева советское искусство потеряло активного, передового борца.

Была в его жизни и еще одна сторона деятельности — менее заметная на первый взгляд, — которой он отдавал много сил и энергии. Работа Лавренева-редактора, члена редколлегии «Нового мира» отличалась теми же чертами партийности, высокой культуры, как и его творческий труд. Превыше всего он ставил интересы читателя и судил о произведениях нелицеприятно, требовательно, строго принципиально.

Равнодушие было органически чуждо ему. Редакционные отзывы, написанные им, носят на себе печать ума острого и пронизательного, характера страстного и яркого. Он не прощал серости, надуманности, незнания родной русской речи, знатоком и ценителем которой он был.

И потому все талантливое, новое, исполненное жизни неизменно восхищало Лавренева. Всего лишь за неделю до смерти он, войдя в редакцию, сказал: «А я еще раз перечитал в журнале повесть своего «крестника» — превосходная все-таки вещь!» (Речь шла о первом произведении молодого автора, которое Лавренев рекомендовал для печати и сам отредактировал.)

Несмотря на свою болезнь, Лавренев принадлежал к числу наиболее деятельных членов редакционной коллегии «Нового мира». Читатель должен знать, что в каждую книгу журнала вложено много его заботливого труда.

Мы обращаем к нашему ушедшему товарищу прощальные слова любви и благодарности, в уверенности, что глубокую скорбь разделяют вместе с нами все читатели его книг.

Память о Борисе Андреевиче Лавреневе всегда будет жить в наших сердцах.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс, Б. А. Лавренев, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25/XII-58 г.

Подписано к печати 31/I-59 г.

А 00238. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л. — 24,66 печ. л. Тираж 140 000. Зак. № 2375.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.